4.1974

# Иностранная литература

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

№ 4

Апрель 1974

## СОДЕРЖАНИЕ

ФЕЛИКС ПИТА РОДРИГЕС — Ленин *(Стихи. Перевод с испанского Инны Тыняновой)* 3

ГОЛАМХОСЕЙН САЭДИ — Страх *(Повесть. Перевод с персидского и вступление Алексея Михалева)* 4

УМБЕРТО САБА — Стихи *(Переводы с итальянского Евгения Солоновича и Татьяны Макаровой. Вступление Евгения Солоновича)* 95

ГЕРМАН КАНТ — Выходные данные *(Роман. Продолжение. Перевод с немецкого И. Каринцевой)* 103

ПЬЕТРО А. БУТТИТТА — Листок *(Повесть. Перевод с итальянского и послесловие Ю. Добровольской)* 179

**Критика**

М. ЛАНДОР — «Общество изобилия» — и смысл жизни (Заметки об американских новеллах) 217

И. МЛЕЧИНА — От крушения к исцелению (Мартин Вальзер — романист и драматург) 227

**Культура и современность**

**Заметки на полях**

А. Горбунов — Жив ли Уолден? (Коммуны в Англии и США) А. Николаевская — Мираж «честного диалога» 235

## Публицистика

НГУЕН ТУАН — Звенья в цепи времени *(Вступление, перевод с вьетнамского и примечания М. Ткачева)* 243

## Наши интервью

Т. КИРИЧЕНКО — Последняя встреча с Давидом Альфаро Сикейросом 261

## Наши гости

М. Т. — Год мира, год труда (Вьетнамские писатели — в «Иностранной литературе») 263

## Изобразительное искусство за рубежом

Е. ЛЬВОВА — Светлин Русев 267

## Из месяца в месяц

269

## Авторы этого номера

287

*На обложке — картина мексиканского художника ДАВИДА АЛЬФАРО СИКЕЙРОСА «Странники».*

*На цветной вкладке - работы болгарского художника СВЕТЛИНА РУСЕВА.*

© «Иностранная литература», 1974.

# ФЕЛИКС ПИТА РОДРИГЕС

## *Ленин*

*Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ*

Ленин.

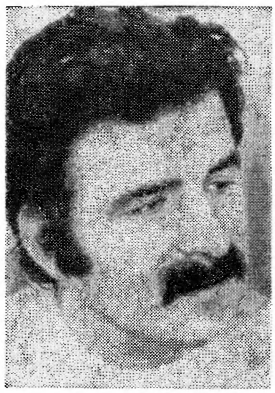
Это имя, скрыто-стеклянного блеска,
точено-серебряных нитей и шепчущей где-то далёко
родниковой воды,— это имя сильнее, чем ветер,
и объемней, чем ночь,
и выше, чем дождевые колонны,
и чище, чем глубокие, прочные минералы,
какими заря полирует свои прозрачные утра.

Ленин.

Нет ничего у земли роднее, чем это имя,
нежное имя с плоскогорий мечтанья,
охраняющих молнию человеческой мысли.
Нет ничего у земли, что столь бы ей было присуще,
что ясней бы для нас раскрывало ее богатство.

Ленин.

И алхимический корень с немым и глубинным соком,
и антрациты суровые сумерек, что сохранили
воспоминанья земли вековые на черных своих страницах,
и базальты, что так молчаливо
спят в лабиринтах мира, чуждые темной тайне,
определяющей медленный рост их,— все это
умереть в забвении может,
но короткое имя, тверже металла,
раскрывая свои лепестки вороненой стали,
с каждою новою жизнью будет рождаться снова.



# ГОЛАМХОСЕЙН САЭДИ

# *Страх*

ПОВЕСТЬ

*Перевод с персидского и вступление*
*Алексея МИХАЛЕВА*

**Голамхосейн Саэди — молодой иранский писатель, живо интересующийся историей своей страны, бытом и психологией беднейших слоев окраин Ирана. Саэди много путешествует и помимо художественных произведений пишет также этнографические монографии.**

**В частности, внимание писателя привлекает район Персидского залива, особенно та часть побережья, где не ведется добыча нефти и которой еще не коснулись экономические и социальные преобразования, значительно изменившие за последнее десятилетие жизнь крупных городов и промышленных центров страны.**

**Персидский залив — связующее звено между Африкой и Азией, перекресток важнейших торговых путей минувших столетий — до сих пор хранит многие экзотические, уникальные черты, отличающие его от других областей Ирана.**

**Население этого района сложилось из коренных иранцев, а также выходцев из Индии и африканских негров, предки которых некогда были завезены сюда работорговцами из Сомали и Занзибара. Религиозные верования жителей побережья Персидского залива причудливо сочетают в себе исламские догмы с ритуалами африканских племен, с верой в силу могущественных духов-ветров, принимающих любые обличья и подчиняющих себе тело, душу и разум «попавшихся» на их пути. Некоторые исследователи сравнивают верования жителей Персидского залива с водуизмом аборигенов Гаити.**

**Глубокое невежество, тяжелейшие условия жизни, удаленность от более развитых районов, отсутствие элементарной медицинской помощи — все это закрепощает сознание обитателей рыбацких деревушек, разбросанных по краю Персидского залива, заставляет их с ужасом и страхом встречать любое непонятное им явление.**

**Повесть «Страх» — заметное явление в современной литературе Ирана. Рассказывая о нравах, психологии и взаимоотношениях рыбаков одной из деревень Персидского залива, как две капли воды похожей на другие рыбацкие общины этого района, Голамхосейн Саэди продолжает реалистические традиции лучших представителей иранской прозы.**

## *История первая*

### *I*

Солнце прошло половину дневного пути, когда Салем Ахмад проснулся. Стояла духота, и вместо прохлады раннего утра из отверстия в потолке комнату текла жара. Салем Ахмад встал, поднял с пола лежавшую у стены чалму, накрутил ее на голову и пошел в умывальную. Взяв ведра, он вышел на террасу, какое-то время постоял, привыкая к резкому свету полдня, потом поставил ведра на землю, поднял велосипед, прислоненный к дер-

жидереву, и перенес его в тень. Он развязал веревку на багажнике и прикрепил ведра к сиденью велосипеда, потом надел деревянные башмаки и, придерживая велосипед рукой, двинулся вдоль террасы к выходу со двора. Он шел и смотрел, как в темных окнах зимней комнаты шло вместе с ним отражение его ног и велосипеда.

Когда он уже дошел до калитки, раздался чей-то чужой кашель. Салем Ахмад остановился и замер. Кашель повторился, а затем послышался странный звук — как будто сломанное весло разрезало толщу воды.

Салем Ахмад посмотрел вокруг. Ветви держидерева шевелились, и казалось, что в листьях прячется чья-то темная тень. Салем Ахмад попятился, потом овладел собой и пошел к выходу. Он собрался было выйти на улицу, как вдруг взгляд его остановился на смотревшем во двор оконце гостевой комнаты. Оно было приоткрыто. Салем Ахмад прислушался. Все было тихо. Он подумал — кто бы мог открыть окно гостевой? Много лет уже туда никто не заходил. Потихоньку, на цыпочках, он подошел ближе. В комнате был полумрак. Полоска солнечного полуденного света сквозь щель в двери освещала порог. Салем пробормотал про себя молитву и торопливо вышел на улицу. У калитки стояла корова Мухаммада Хаджи Мустафы и ела помои. На берегу аккуратным рядом лежали баркасы, над ними кружились блики и неясные тени. Сети, распластавшиеся под жгучим полуденным солнцем, казались живыми и как будто двигались.

Салем Ахмад прислонил велосипед к тумбе соседнего дома и со страхом огляделся по сторонам. Дверь и наружные окна гостевой были открыты. Теперь Салем был твердо уверен: в гостевую кто-то вошел.

Нетвердыми шагами он направился к гостевой, и его тень тоже зашагала к гостевой. Из комнаты доносился приятный запах. С моря чей-то голос окликнул Салема. Он обернулся — за спиной не было никого. На горизонте неподвижно стоял кораблик размером со спичечный коробок. Салем осторожно поднялся на цыпочки и, вытянув шею, заглянул в окно гостевой.

У очага сидел тощий высокий негр с очень маленькой головой, одетый в длинную дашдаше[1]. Одна нога у него была деревянная. Он сидел, вытянув деревянную ногу к очагу, а здоровую поджав под себя.

В очаге пылал яркий огонь. Негр грел на нем большой кофейник, всегда стоявший в гостевой. Комната была наполнена резким запахом кофе.

Салем отпрянул от окна и, забыв про велосипед, бегом помчался к домам по другую сторону деревенской площади.

## II

Салех Камзари спал в умывальной, когда туда вошел Салем Ахмад. Салех сдвинул с лица чалму, и, по-прежнему лежа на полу, открыл глаза, и спросил:

— Что тебе, Салем?

Салем Ахмад забормотал:

— Вставай, Салех! Вставай быстрее!

Салех Камзари поднялся и, усевшись, поинтересовался:

— Что случилось, Салем? Чего это на тебе лица нет?

Салем сел у входа в умывальную и собрал в кулак край старого полотенца, повешенного вместо занавески.

---

[1] Верхняя мужская одежда типа длинной просторной рубахи. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

— Ох, Салех... Я собирался на пруд воды принести, как тут ему и попался...

— Попался? Где?.. Как? — спросил Салех и заерзал.

— Сперва я услышал его кашель. У меня руки-ноги поотнимались, я и двинуться не мог. Думал, он на дереве, но на дереве его не было...

— Так где же он был? В умывальной?

— Нет, в умывальной его тоже не было.

— Может, ты ему у колодца попался?

— Да нет, прости тебя бог! Разве я сумасшедший — в это время дня к колодцу идти?!

Салех в испуге передвинулся в другое место и, устроившись напротив Салема, воскликнул:

— О, Мухаммад — пророк аллаха! Где же он был?

— В гостевой.

Салех приподнялся и переспросил:

— В гостевой?

— Да. Покарай меня аллах, если я вру! Он сидел у очага и варил кофе.

— Господи помилуй! — выдохнул Салех.

Салем спросил:

— Что мне теперь делать, Салех? Еще немного — и я ума лишусь, столбняк на меня найдет.

Его начала бить дрожь.

Салех предложил:

— Хочешь, принесу тебе кальян? Покуришь...

— А мне от него будет лучше?

— Непременно. Дым тебя успокоит. Кальян от всех бед лечит.

— Принеси, покурю. Глядишь, табак мне и впрямь поможет.

Салех Камзари поднялся и вышел из комнаты. Салем Ахмад, дрожа от страха, принялся рассматривать умывальную, пустые ведра по углам, отверстие для стока воды, в котором кружилась маленькая черная тень. Холодный пот выступил у него на спине. С опаской, едва переставляя ноги, он вышел во двор. Подветренная стена умывальной полуразвалилась, и завеса из солнечного света падала на обломки. Ветровая отдушина в стене была открыта. Шум моря копился в ней и переливался в умывальную.

Пришел Салех Камзари и поставил перед Салемом кальян.

— Кури, Салем.

— Во мне от страха все переворачивается,— сказал Салем.— Хоть бы мне бог помог...

— Даст бог все обойдется.

Оба замолчали. Салем Ахмад докурил кальян. Они поднялись и вышли на улицу.

— Салех, ты видишь?

— Ты про что?

— Дом мой видишь? Гостевую?

— Нет, отсюда как следует не видно.

— Ну, что теперь делать будем?

— Не знаю.

— Я сейчас умру от страха. Не могу теперь домой идти.

— Неразумно тебе, Салем Ахмад, домой идти. Пойдем лучше оповестим общину.

Они прошли мимо кучи мусора и направились к мечети.

Салех сказал:

— Ты здесь сядь посиди и не думай больше ни о чем.

Салем уселся на землю и опустил голову, а Салех взобрался на стоявший возле мечети гроб[1] и закричал:

— Нет бога кроме аллаха, и Мухаммад — пророк аллаха!

Голос Салеха звучал все громче. Двери домов начали открываться. Жители деревни, решив, что кто-то умер, высыпали на улицу, на ходу обматывая головы чалмами.



## III

Собравшись, мужчины пришли к дому старосты и уселись в кружок. Староста сказал:

— Это никому из нас не под силу. Надо позвать Захеда.

— Вряд ли в это время дня Захед будет дома сидеть,— заметил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Боже милостивый и справедливый, сделай так, чтобы он дома был! — заныл Салем Ахмад.

— Откуда ты знаешь, что его там нет? Пусть кто-нибудь пойдет и позовет его,— предложил Закария.

Салех спросил:

— Ну, кто же пойдет?

— Пусть пойдет Мухаммад Ахмад Али и позовет его,— решил Абдул Джавад.

— А если он спит, тогда что делать? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

— Ничего не делай. Просто позови его и скажи, пусть идет сюда,— объяснил Закария.

Мухаммад Ахмад Али поднялся и ушел. Он прошел между домами, свернул за пруд Айюба, миновал развалины дома покойного Нахеда ибн-Али и оказался у хижины Захеда. Вход был закрыт занавеской, изнутри не доносилось ни звука. Мухаммад Ахмад Али сделал несколько шагов вперед и кашлянул. Никто не отозвался.

— Захед! Эй, Захед! — громко позвал Мухаммад Ахмад Али.

Из хижины раздался голос Захеда:

— А, это ты, Мухаммад Ахмад Али! Заходи, заходи.

Мухаммад Ахмад Али отодвинул занавеску и вошел. Захед сидел на циновке и смешивал килию[2] с табаком.

— Салам-алейком, Захед.

Захед, не подымая головы, ответил:

— Алейком-ассалам, Мухаммад Ахмад Али! Угощайся.

Мухаммад Ахмад Али сел и, взяв немного килии, заложил ее за щеку. Захед сделал то же самое, пожевал и проглотил сок.

— Ну как килия? Хороша?

— Очень острая и хорошая тоже очень,— ответил Мухаммад Ахмад Али.

— Мне ее один нищий индиец дал,— объяснил Захед.

— А ты ему что взамен дал?

— Бамбуковую палку.

— Хорошая сделка,— похвалил Мухаммад Ахмад Али, взял еще горсть килии и завязал в край чалмы.

— Бамбука у меня много,— сказал Захед,— а вот килии не было.

Мухаммад Ахмад Али повернулся и принялся разглядывать барабаны, курильницы и бамбуковые палки, нагроможденные в хижине.

---

[1] По обычаю, существующему в деревнях ряда южных провинций Ирана, у мечети всегда стоит один или несколько пустых гробов, которые жители деревни могут взять, когда кто-то умирает.

[2] Пряная жевательная смесь из кореньев и трав.

— У меня теперь, когда в море хожу, ноги опухают,— сказал Захед.— Море со мной не в ладах.

— Вот уж правда,— согласился Мухаммад Ахмад Али.— Море всем нам нынче врагом стало. С чего бы оно так, Захед?

— Откуда мне знать. Море, оно море и есть. Один день — хорошее, другой — плохое; то друг тебе, а то — враг.

Мухаммад Ахмад Али ничего на это не ответил. Он сидел и молчал, глядя, как Захед длинными черными пальцами крошит килию.

Неожиданно за хижиной раздался голос Закарии:

— Эй, Мухаммад Ахмад Али! Ты что, Захеда не нашел?

Узнав голос Закарии, Захед крикнул:

— Это ты, Закария? Заходи. Я тут неплохой килии раздобыл.

Закария отодвинул занавеску, просунул голову в хижину и спросил:

— Эй, Мухаммад Ахмад Али, ты зачем сюда пришел: Захеда позвать или килию жевать?

Потом он повернулся к Захеду:

— Слушай, Захед, выйди на минутку, тебя община ждет.

Захед встал, взял с барабана чалму и вместе с Мухаммадом Ахмадом Али вышел из хижины. Все мужчины деревни пришли к пруду Айюба и стояли в ожидании. Мухаммад Хаджи Мустафа, стоявший поодаль от других, громко сказал:

— Куда ты запропастился, дикарь? Тут все тебя на солнце ждут, а ты и выйти на минуту не в силах!

Захед засмеялся:

— Пожалуйте все ко мне. Килия есть — всем достанется.

— Погоди, Захед, помоги сначала этому бедняге,— сказал Салех Камзари, указывая на Салема Ахмада.

Захед с удивлением спросил:

— Что случилось?

— Ничего,— ответил Салех.— Час назад на него порча нашла.

Посмеиваясь, Захед спросил:

— А ты не шутишь?

— Нет,— ответил Салех Камзари.— Разве в это время дня кто шутит?!

Захед подошел ближе и остановился, глядя на Салема Ахмада, который неподвижно лежал на земле. Все притихли. Захед нагнулся и взял руки Салема Ахмада в свои. Салех Камзари и Мухаммад Хаджи Мустафа, стоявшие рядом с Захедом, присели на корточки. Вдалеке что-то зарокотало. Казалось, чей-то голос из моря звал Салема.

## *IV*

Вернувшись к мечети, мужчины уселись в кружок.

Захед сказал:

— Спешка к добру не приведет. Лучше подождем и посмотрим, что получится.

— И сколько ждать будем? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Теперь Захеду решать,— сказал Закария.— Как он скажет, так и будем делать.

Захед сел рядом с Салемом Ахмадом.

— Ну, Салем Ахмад, расскажи мне все сейчас как следует, чтобы я понял, как это случилось.

— Не знаю я, как это случилось, Захед,— ответил Салем.— Я его только раз-то и видел.

— Какой же он был из себя?

— Не спрашивай, Захед. Если начну рассказывать, столбняк на меня найдет.

— Ну, если так, то не говори,— согласился Захед и, повернувшись к остальным, продолжил: — Точно вижу — порча это. Может и на других беду накликать.

Салема начало трясти.

Отошедший подальше Мухаммад Ахмад Али спросил:

— Что собираешься делать, Захед?

— Непременно нужно из него зло изгнать,— ответил Захед.

Староста спросил:

— Как его изгонять-то?

— Это дело не наше,— заметил Закария.— Это уж самому Захеду делать придется.

— Страшно мне... боюсь я,— дрожащим голосом произнес Мухаммад Ахмад Али.

— Перво-наперво, кроме Салема Ахмада, на которого порчу навели, никому бояться не следует,— сказал Захед.— Постарайтесь что-нибудь с собой сделать, чтобы храбрость не потерять, а то все мы можем бесноватыми стать и умереть.

Закария прикрикнул на Мухаммада Ахмада Али:

— Мухаммад Ахмад Али! Ты слышишь, что Захед говорит? Захед говорит, чтобы никто не боялся и головы не терял.

Салех Камзари спросил:

— Что сейчас будешь делать, Захед? В барабаны бить будешь?

— Если решит в барабаны бить, я схожу ему их принесу,— предложил Абдул Джавад.

— В это время дня нельзя бить в барабаны,— сказал Захед.

— Тогда что же нам делать? — спросил Закария.

— Останемся здесь до вечера.

Салех спросил:

— Значит, совсем ничего делать не будешь?

— Нет,— ответил Захед.— До вечера ничего делать не буду. Кому надо, пусть уходит. Здесь останется Салем Ахмад, я и еще кто хочет.

Салех спросил:

— Когда нам возвращаться?

— Как вечер наступит, так и возвращайтесь,— ответил Захед.

Община поднялась, и все разбрелись. У мечети остались Салем, Захед и Мухаммад Ахмад Али. Мухаммад Ахмад Али развязал край чалмы и достал оттуда немного килии. Захед взял щепотку, заложил за щеку и посоветовал Салему Ахмаду:

— Возьми немного, тебе полегчает.

— Страшно мне,— пробормотал Салем Ахмад,— ох как страшно!

— Пожуешь килии, лучше станет,— сказал Захед, а Мухаммад Ахмад Али добавил:

— Очень острая и хорошая тоже очень. Захед ее у одного нищего индийца выменял.

Салем Ахмад взял щепотку килии, положил в рот и, дрожа от страха, взглянул на небо. Солнце пламенело вовсю, до вечера было еще очень далеко.

К мечети пришла корова Мухаммада Хаджи Мустафы. Она обошла площадь и скрылась в улочке напротив. Салему Ахмаду неожиданно стало худо, и его вырвало. Страх заполнил все его существо. Захед поднялся и уложил Салема на землю, а сам, с помощью Мухаммада Ахмада Али, подтащил гроб и поставил его сбоку от Салема Ахмада, чтобы его не беспокоило яркое дневное солнце.

# V

Наступил вечер. Все пришли к мечети, совершили намаз и расселись вокруг Салема Ахмада. В море не вышел ни один.

Захед сказал:

— Теперь надо идти на берег и бить в барабаны. Зло может испугаться и само уйти.

— Боюсь я,— застонал Салем.— Страшно мне, когда в барабаны бьют.

— Чего ж ты боишься?! — успокоил его Захед.— Ничего ведь не случилось. Чуть-чуть напугался, а уже все поджилки трясутся.

— Море сегодня уж больно неспокойное,— заметил Салех.— Боюсь, не будет барабаны слышно.

— Ничего, что-нибудь придумаем,— сказал Захед.— Пусть кто-нибудь сейчас сходит ко мне и принесет большой и малый барабаны.

Закария распорядился:

— Мухаммад Ахмад Али, подымайся! Иди принеси большой и малый барабаны Захеда.

— Мне одному туда идти? — спросил Мухаммад Ахмад Али, подымаясь.

— Да, да. Иди один и смотри не засни там в хижине,— сказал Салех.

— Страх меня разбирает, боязно одному идти...

— Ладно уж,— сказал Абдул Джавад.— Я с тобой пойду, только не хнычь.

Мухаммад Ахмад Али и Абдул Джавад зашагали по направлению к пруду Айюба.

— Не думаю я, чтобы Салему Ахмаду лучше стало,— заговорил Мухаммад Ахмад Али.— Он пока за гробом лежал, его несколько раз вырвало.

— Дай бог, чтобы наш дикарь сумел ему как-нибудь помочь,— сказал Абдул Джавад.

— Даст бог, поможет,— согласился Мухаммад Ахмад Али.

— Заклинанье ему тоже не помешало бы, — заметил Абдул Джавад.

— Не думаю. Захед говорит, что ни молитвы, ни заклинания тут не помогут,— в барабаны бить надо.

Они прошли мимо пруда Айюба, обошли стороной место, где темнота была такой густой, что казалось, воздух застыл в напряжении, и приблизились к хижине Захеда. Дул ветер, море поднялось, и волны закрывали собой горизонт.

Абдул Джавад сказал Мухаммаду Ахмаду Али:

— Пойди и вынеси оттуда барабаны.

— А сам ты почему не пойдешь?

— Нет у меня охоты в ночное время заходить в хижину какого-то дикаря.

— А я только теней боюсь.

— Ну, иди, иди! Я здесь постою и покараулю.

Мухаммад Ахмад Али отодвинул занавеску и вошел в хижину. Через несколько мгновений в хижине раздался грохот, и Мухаммад Ахмад Али вышел с большим барабаном в руках. Абдул Джавад взял у него барабан, а Мухаммад Ахмад Али вновь скрылся в хижине и вынес оттуда еще один большой и один малый барабаны. Он поставил их на землю, зашел в хижину еще раз и тотчас же вышел с пучком барабанных палочек. Потом Мухаммад Ахмад Али взвалил большой барабан на плечо, а малый взял под мышку. Абдул Джавад подхватил

второй большой барабан, и они пустились в обратный путь. Обойдя стороной густую темноту, они подошли к пруду Айюба. С пруда доносились странные звуки, как будто в глубине его с шумом что-то надувалось. Мухаммад Ахмад Али и Абдул Джавад спустились в деревню. Около мечети было пусто, и вокруг не было видно ни души.

— Куда же они ушли? — удивился Мухаммад Ахмад Али.

Вдали на берегу виднелся тусклый, дрожащий свет. Абдул Джавад и Мухаммад Ахмад Али поспешили на берег.

Община собралась вокруг перевернутой лодки, на которой сидел Закария и держал фонарь. Захед поил из чашки Салема Ахмада. Абдул Джавад и Мухаммад Ахмад Али поставили барабаны на землю и остановились в ожидании.

Захед обернулся и, увидев их, воскликнул:

— О, аллах, о, Мухаммад! Теперь будем бить в барабаны до утра.

Рокот моря усилился. Дул ветер, и в ночи стонали барабаны.

## VI

Когда взошло солнце, мужчины уже устали. Они отложили барабаны в сторону и сели на землю. Море затихло, и цвет его постепенно менялся. Неожиданно Салем Ахмад вскрикнул и отполз назад. Мужчины оглянулись. Створки дверей гостевой комнаты Салема Ахмада были открыты, и на пороге стоял худой негр, опираясь на деревянные костыли. На нем была красная чалма и длинная дашдаше, доходившая до земли.

Все вскочили на ноги и в ужасе попятились. Негр стоял не шевелясь и разглядывал их.

Захед громко крикнул:

— Верой, правдой и богом! Уходи из этой деревни, ступай своей дорогой!

Все застыли в тишине. Негр по-прежнему стоял на месте без движения. Захед сделал шаг вперед. Остальные тоже шагнули вперед. Захед закричал:

— Ты меня слышишь?

Негр ничего не ответил. Захед опять закричал:

— Ты меня слышишь или нет?

— Может, он не понимает, что ты ему говоришь? — предположил Салех Камзари.

Захед завопил:

— Ты зачем сюда пришел? Откуда ты взялся?

Салех сказал:

— У тебя голос слабый, Захед. Пусть с ним Закария говорит.

Закария сделал несколько шагов вперед и громко закричал:

— Зачем ты сюда пришел? Откуда взялся? Чего хочешь?

Негр молчал. Закария спросил:

— Ты меня слышишь? Да?

— Скажи ему, что нам до него дела нет,— посоветовал Захед.— Пусть убирается своей дорогой.

Закария раздраженно крикнул:

— Эй, давай уходи!

Салех Камзари тоже закричал:

— Давай уходи! Убирайся!

И вся община закричала:

— Уходи давай! Тебе говорят, уходи! Уходи!

Негр, опираясь на костыли, сделал несколько шагов вперед. Мужчины отступили назад.

Закария крикнул:

— Скажи что-нибудь! Ты что, говорить не умеешь?

Раздался приглушенный, слабый звук. Всем показалось, что негр засмеялся.

Мухаммад Ахмад Али спросил:

— Что он говорит?

Закария крикнул:

— Что ты сказал? Громко скажи, чего тебе надо?

Негр подошел ближе. В тишине раздались всхлипывания Салема Ахмада, укрывшегося за спинами других. Закария, а за ним и вся община шагнули вперед, и Закария громко выкрикнул:

— Чего ты хочешь?

— Помогите мне,— сказал негр.

— Что он сказал? — переспросил Захед.

— Говорит, чтобы помогли ему,— объяснил Закария.

Салех тихо пробормотал себе под нос:

— Помогать тебе еще?! Господь тебя покарай!

Абдул Джавад спросил у Захеда:

— Какая ему помощь нужна?

Захед повернулся к общине:

— Не верьте ему и не слушайте, что он говорит. Это все — хитрость и обман.

Негр подошел ближе. Община отступила назад.

Закария закричал:

— Ты куда идешь?

Негр умоляюще протянул вперед руку и заскулил:

— Помогите! Помогите!

Закария спросил:

— В чем помочь-то?

Мухаммад Ахмад Али вскрикнул:

— О, пророк аллаха! А он все ближе подходит!

Захед, отходя подальше, заметил:

— Никак не понять, что это он задумал. Будьте начеку, он зло затевает.

Закария снова спросил:

— Чего ты хочешь? Если есть что сказать, говори. И не подходи к нам.

— Хлеба хочу,— сказал негр.

— Врет он,— заявил Захед.— Не хочет он хлеба. Хочет ближе подойти и на всех нас порчу навести.

Закария закричал:

— Еще чего хочешь?

— Зачем ты его об этом спрашиваешь? — удивился Салех.

— Хочу понять, зачем он сюда пришел.

— Правильно делаешь,— похвалил Захед.— Спрашивай его дальше. Посмотрим, чего он еще хочет.

Закария крикнул:

— Кроме хлеба еще чего-нибудь хочешь?

— Хлеба хочу, рыбы... Да, рыбы тоже хочу... — ответил негр.

— Чего еще? Еще чего-нибудь хочешь?

— Фиников хочу... я финики тоже люблю.

— Ну и нахал! — возмутился Мухаммад Ахмад Али.

— Да будет он унижен господом! — воскликнул Захед.— Знаю я, чего он хочет! Финики и хлеб ему не нужны, он кое-что другое хочет.

— А как тебе сыр? Сыра не хочешь? — закричал Закария.

— И сыра тоже хочу,— сказал негр.

— А рис как? Рис не любишь?

— Люблю... я рис очень люблю.

— Покарай тебя господь! — пробормотал Захед.— Все это — ложь. Знаю, знаю, что ему нужно. Не риса он хочет, а совсем другого.

— Нет бога кроме аллаха, и Мухаммад — пророк его! — прошептал Мухаммад Хаджи Мустафа.

Староста повернулся к Захеду:

— Что теперь будем делать?

Захед посоветовал:

— Спросите у него, что он собирается делать. Хочет отсюда уйти или нет?

Негр потихоньку приближался к ним. Община единым рядом отступала, стараясь сохранить расстояние между собой и негром.

Закария громко прокричал:

— Что собираешься делать? Хочешь отсюда уйти или не хочешь?

— Нет,— ответил негр,— я не хочу отсюда уходить.

Чей-то голос из моря позвал Салема.

Захед переспросил:

— Что он сказал?

— Уходить не желает,— объяснил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Все повернулись и посмотрели на Захеда.

— Если он не уйдет, горе тогда Салему! — сказал Захед.— Всем нам горе!

Мухаммад Ахмад Али спросил:

— Что же, он тогда на всех порчу наведет?

— Да уж непременно,— ответил Захед.

— А нельзя его как-нибудь отсюда выгнать? — спросил староста.

— Именно так и нужно сделать,— ответил Захед.

— Схватить его и бросить в море! — решил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Вряд ли нам это удастся,— усомнился Закария.

— Придумайте же что-нибудь поскорее,— попросил Мухаммад Ахмад Али.— Он все ближе подходит.

Закария спросил:

— А если его убить, это грех?

— Если он собой порчу наводит, греха не будет,— ответил Захед.

— Ясно, что порчу наводит,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Если бы он порчу не наводил, с Салемом Ахмадом ничего бы и не случилось,— добавил Абдул Джавад.

— Если его даже и убить здесь, он в другом месте объявится,— объяснил Захед.— Такие не унимаются, пока мир существует.

— Э-э-э, он ближе подходит,— закричал Закария.— Посмотрите на него! Глядите!

Негр подошел ближе. У него было совершенно плоское лицо без выпуклостей или впадин, как будто что-то сжевало его нос и губы.

Захед нагнулся, поднял камень и с криком: «По велению аллаха, по велению пророка!» бросил его в негра. Тот испуганно попятился. Закария крикнул общине:

— Он хочет скрыться! Уходит! Не жалейте его!

Негр закричал:

— Есть хочу! Голодный я!

Мужчины нагнулись, подобрали с земли камни и стали кидать в негра.

Негр запричитал:

— Я хлеба хочу, фиников хочу... сыра...

— Не хочет он хлеба. И фиников и сыра тоже не хочет. Знаю я, чего он хочет,— крикнул Захед.

Негр взмолился:

— Голодный я!

— Не щадите его! Не щадите! — кричал Захед.

Салех кинул большой камень и попал прямо в деревянную ногу. Негр повалился на землю.

Захед завопил:

— По велению аллаха! Не жалейте его!

Все схватили камни и бросились на негра.

## VII

Прошло три дня и три ночи. Салему Ахмаду стало еще хуже. С криками и плачем он бегал по деревне, ничего не ел и пугался черноты пальм.

Захед распорядился, чтобы никто не ходил в море, и ни один из общины так в море и не вышел. Все лодки лежали на берегу. Община била в барабаны, творила заклинанья и читала молитвы — проку не было. Вокруг было неспокойно. Что-то недоброе по ночам сотрясало море изнутри и всех пугало.

На третью ночь Салема Ахмада обвязали веревкой и привели к мечети.

Захед сказал:

— По-моему, бедняга Салем уже не поправится.

— Ты ничего с ним больше сделать не можешь, Захед? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Все что мог уже сделал. Теперь его только бог исцелить может.

Салем вскрикнул и дернулся. Ему связали руки и ноги.

Захед обратился к общине:

— Лучше, говорю, отнести его к Самому...

— Отнесем к Самому, а что потом? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

Абдул Джавад сказал:

— Эй, Захед! Если хочешь на этого несчастного беду накликать, я тебе сразу скажу: я не согласен.

— Нужно отнести его туда и попросить у Самого исцеления,— предложил Захед.

— Неплохая мысль,— одобрил Салех.— Может быть, исцелится.

Мужчины поднялись на ноги и волоком потащили Салема в сторону моря, к сложенному из камней холму. Чем ближе они подходили к холму, тем громче становились стоны Салема Ахмада. Когда они пришли к цели, Закария привязал свободный конец веревки к якорю лежавшего там суденышка, а затем все отошли от Салема Ахмада.

Захед распорядился:

— Пусть сейчас кто-нибудь пойдет и принесет ему еды.

В воздухе повисло что-то мрачное. Море темнело.

Закария сказал Мухаммаду Ахмаду Али:

— Сходи ко мне домой, принеси кувшин воды и горсть фиников.

Мухаммад Ахмад Али тотчас же ушел. Община направилась к деревне. Мужчины не прошли и нескольких шагов, как услышали жалобный стон Салема Ахмада. Все обернулись и посмотрели на него. Салем сидел на камнях и глядел на море.

Мухаммад Хаджи Мустафа спросил:

— Ну как он теперь, Захед?

И Захед радостно ответил:

— Поправляется. Бог даст лучше ему станет.

Салем неподвижно сидел лицом к морю. Море плескалось, и чей-то ласковый голос звал Салема издалека.

# *История вторая*

## *I*

Закария и Мухаммад Ахмад Али только что вернулись из моря. Они тащили лодку на берег, когда из-за развалин домов бесшумно выкатил старенький «пикап». Подъехав к берегу, машина затормозила. Из окна высунулась бородатая голова шофера. Сначала он посмотрел на море, а потом взглянул на рыбаков. Рядом с шофером сидели еще двое. Они оба, как и шофер, были толстыми коротышками в очках.

Мухаммад Ахмад Али тихо сказал:

— Боже милостивый и справедливый! Кто они?

— Тебе-то что? Не гляди на них,— ответил Закария.— Кто бы ни были, нам что с того?

— Видно, что не из этих краев... Чужие. Зачем это они сюда приехали?

— Захотелось им, вот и приехали. Ты что, мог им приказать, чтобы не приезжали? Не мог ведь?!

— Остановились зачем-то и нас разглядывают...

— Опять ты всего боишься. Если уж так тебе страшно, иди обратно в море.

— Слушай, Закария, а может, они арабы?

— Арабы? А хоть бы и так. С каких это пор ты стал арабов бояться?

— Я не боюсь, Закария. Прямо тебе говорю — арабов я не боюсь!

— Ты, Мухаммад Ахмад Али, вообще бы не разговаривал! Когда на тебя страх находит, много вздора несешь.

Ухватив лодку за нос, Мухаммад Ахмад Али напрягся и потянул ее на берег, приговаривая:

— Дай бог, чтобы ушли своей дорогой... терпенья моего на них не хватает.

Раздался автомобильный гудок. Закария и Мухаммад Ахмад Али отпустили лодку и повернулись к чужакам. Мужчина лет сорока, в военной фуражке, выглядывая из-под брезентового верха машины, показывал рукой, чтобы они подошли.

Мухаммад Ахмад Али сказал:

— Закария, не ходил бы ты!

— Почему же не пойти? — удивился Закария.— Я ведь не ты, чтобы всего бояться.

— Я не всего боюсь... Я только чужих боюсь.

— А я и чужих не боюсь,— заявил Закария, намотал на голову чалму и зашагал к «пикапу».

Бородатый мужчина в фуражке, выглядывая из-под брезентового верха, сказал:

— Салам-алейком.

Закария ответил:

— Салам-алейком, ва алейком-ассалам! Мархаба, мархаба! [1]

Человек в фуражке спросил:

— Сколько домов в этой деревеньке?

— Много в ней домов,— ответил Закария.

— А что финики? Роща пальмовая есть?

— Есть.— ответил Закария.— Конечно есть.

Человек в фуражке спросил:

— Народ здешний чем занимается?

— Все больше в море ходят, рыбу ловят,— ответил Закария.

---

[1] Традиционные слова приветствия.

— Значит, хорошее здесь место? Так?

— Нам здесь хорошо,— сказал Закария.— Как другим — не знаю.

Человек в фуражке рассмеялся:

— Значит, и другим хорошо. Всякое место, где человек селится, благословенно и обязательно должно быть хорошим.

Он свесил ноги с борта и спрыгнул вниз. Он был маленького роста, с массивным квадратным туловищем, круглой головой и очень большими руками. Ноги у него были короткие и маленькие, как у ребенка. На шее висел на веревке старый кожаный портфель, из кармана рубашки торчали две авторучки. Закария взглянул на него и удивился: как человек его возраста мог остаться таким маленьким? Человек в фуражке сделал рукой знак шоферу. Двое мужчин, сидевших на переднем сиденье, тотчас кивнули головами. Шофер поправил на носу очки, и «пикап» уехал. Закария, а следом за ним приезжий направились в сторону Мухаммада Ахмада Али, который все это время оставался у лодки. Когда они подошли к лодке, приезжий поздоровался с Мухаммадом Ахмадом Али, а Закария сказал:

— Эй, Мухаммад Ахмад Али, пошевеливайся. Пойдем в деревню, гость приехал.

Приезжий уселся подле наполненной рыбой корзины Мухаммада Ахмада Али, открыл свой портфель и достал оттуда сигарету. Закария и Мухаммад Ахмад Али ухватили лодку за нос и корму и потащили на сушу. Приезжий закурил сигарету и, обращаясь к Мухаммаду Ахмаду Али, спросил:

— А у вас нет такой штуки, которую подкладывают под дно, а потом легко вытягивают лодку на берег?

— Отчего же? Есть,— ответил Мухаммад Ахмад Али,— только это для больших баркасов, а на эту и нашей силы хватит.

Закария закинул якорь лодки в песок. Якорный канат натянулся, и лодка качнулась. Мухаммад Ахмад Али подложил под нос лодки обгорелое полено и остановился в ожидании. Приезжий поднялся, и все трое двинулись к деревне. Приезжий шел, широко расставляя ноги, на несколько шагов впереди Мухаммада Ахмада Али и Закарии.

Мухаммад Ахмад Али потихоньку спросил Закарию:

— Он что, к кому-то приехал?

— Не знаю, наверно, к кому-нибудь приехал.

— А по какому делу приехал? Зачем?

— Не знаю я зачем.

— А может, он приехал в солдаты брать?

— Нет,— сказал Закария,— у него ружья нет.

— А может, у него что-нибудь в портфеле?

— Ну что, например?

— Что-нибудь такое, что напугать может.

— Опять ты всякую чепуху придумываешь.

— Я чепуху не придумываю. Ты фуражку его не видишь, что ли?

Закария рассмеялся и покачал головой:

— В солдаты брать всегда жандарм приходит, а это ведь не жандарм. Наверно, приехал список писать.

— Не знаю,— сказал Мухаммад Ахмад Али.— А правда, Закария, если он захочет список писать, что нам делать?

— Ничего не делать. Пусть себе пишет свой список сколько его душе угодно.

— А я не хочу... Если соберется меня силой в список записать, я убегу.

— Почему убежишь?

— Не хочу, чтобы мое имя в тетрадь вписывали.

Приезжий оглянулся и спросил:

— Вы почему отстаете? Устали? Или поговорить хотите?

— От работы в море человек устает,— ответил Закария.

— Пора уже совершать вечерний намаз,— добавил Мухаммад Ахмад Али,— вот мы и говорим, что надо бы в мечеть идти.

Они проследовали между двумя рядами домов и подошли к мечети. Приезжий обернулся, посмотрел с высоты на море и засмеялся. Мухаммад Ахмад Али тоже обернулся и взглянул на море. Закария незаметно толкнул его в бок. Мухаммад Ахмад Али испугался и тотчас же повернулся обратно. Под навесом у мечети сидели мужчины, ожидая заката. Мухаммад Хаджи Мустафа только что совершил омовение и теперь сидел с засученными рукавами на крышке гроба и ждал, когда раздастся призыв к молитве. Увидев приближающихся, община поднялась и застыла в ожидании. Приезжий поздоровался.

Мухаммад Хаджи Мустафа сказал:

— Добро пожаловать. Салам-алейком, мархаба!

— Уж не гость ли к нам? — спросил староста и подошел поближе.

— Да вот, увидел эту деревню, и потянуло меня сюда,— ответил приезжий.— Говорят, вода у вас хорошая, не правда ли?

— Есть малость,— согласился староста.— Три пруда у нас и колодец.

Приезжий спросил:

— А мулла? Мулла у вас есть?

— Зачем нам мулла?! — сказал Мухаммад Ахмад Али.— Писем-то мы не пишем, да и, слава всевышнему, молитвы и заклинания нам тоже не нужны.

— Это хорошо, что у вас нет муллы,— заметил приезжий,— потому что я — мулла и грамоту знаю. Если кто из вас захочет письмо куда послать или чтоб за него помолились, пусть ко мне приходит — я хочу здесь на время задержаться.

— Муллы у нас нет,— сказал староста.— У нас есть тут один черный, Захедом зовут. Хороший человек. Знающий... В барабан бьет, молитвы читает. Писать вот, правда, не умеет.

Приезжий сказал:

— Я много чего умею. От колдовства избавляю, да и не бедный сам. Деньги у меня есть.

— Нет, наш Захед не такой,— заметил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Он очень бедный. В хижине живет, за прудом Айюба.

Староста сказал:

— Ты присаживайся, отдохни с дороги.

Мулла снял с шеи портфель, уселся на циновке выше всех и спросил:

— Солнце здесь когда заходит?

Закария повернулся и посмотрел на небо и море. Мухаммад Ахмад Али, обращаясь к мулле, сказал:

— А когда ему захочется, тогда и садится, нас не спрашивает.

## II

Когда кончился намаз, все встали и пошли к дому старосты. Из дома Мухаммада Хаджи Мустафы принесли лампу. Мулла первым, а потом староста и все остальные вошли в дом. Мулла осмотрел комнату, прошел к дальней стене и уселся, поджав под себя ноги. Сын старосты принес таз с водой. Мулла ополоснул руки, снял фуражку и положил ее на подушку, затем снял с шеи портфель и поставил рядом с собой. Поняв, что гость остается в доме старосты, Закария и Мухаммад Ахмад Али почувствовали себя неловко. Староста сходил при-

нес скатерть, расстелил ее перед муллой, а потом вместе с остальными вышел из комнаты. Мулла взглянул вначале на пустую скатерть, а потом посмотрел в открытую дверь, за которой плотной пеленой повисла ночная чернота. Из черноты возник сын старосты с большим подносом. В комнате запахло свежим луком и пряностями. Мулла передвинулся, принял поднос из рук сына старосты и поставил перед собой. Сын старосты вышел. Рыбаки сидели в темноте у входа в дом.

Староста спросил:

— Воду ему отнес?

— И воду тоже,— ответил его сын.

— Ладно,— сказал староста,— иди обратно и подожди у двери. Как закончит ужинать, скажи нам — мы зайдем поговорить.

Сын старосты вошел в дом и встал на пороге комнаты. Мулла был занят едой. Он ел быстро, глотал не жуя и каждый кусок запивал глотком воды. Закончив, он вымыл руки в тазу. Подняв голову, мулла увидел стоявшего на пороге сына старосты и ухмыльнулся.

Сын старосты спросил:

— Еще чего-нибудь хочешь?

— Нет,— сказал мулла.— Пойди принеси постель. Я спать буду.

— Отец хотел зайти к тебе — посидеть, поговорить.

— Сейчас поздно. Время разговоров уже кончилось,— ответил мулла.

Сын старосты принес и расстелил постель. Мулла лег и сразу же заснул. Сын старосты взял лампу и вышел к рыбакам.

Закария спросил:

— Лампу зачем принес?

— Он не хочет разговаривать,— ответил сын старосты.— Спать ему захотелось. Уже улегся.

## *III*

Утром, когда все вернулись с намаза, муллы нигде не было. Староста просунул голову в дверь, чтобы позвать муллу, но увидел, что в комнате его нет, а постель так и лежит на полу расстеленная.

Староста спросил сына:

— Мулла что, ушел?

Сын старосты заглянул в комнату, оглядел все вокруг и в свою очередь спросил:

— Куда ушел?

— Не знаю куда Может, из деревни ушел.

— Не может он из деревни уйти. Куда ему идти-то?

— Но ведь нет же его.

— Вышел, наверно, куда-нибудь на утренний намаз.

— Мы-то из мечети идем. Его там не было,— сказал староста.

— А он, может быть, к морю пошел.

Староста повернулся и окинул взглядом берег. Там никого не было. Несколько суденышек, как спичечные коробки, были разбросаны далеко на горизонте.

— И там его нет.

— Да никуда он не уйдет,— сказал сын старосты,— не беспокойся. И вещи его, и сумка здесь остались.

— Чего мне беспокоиться? Ушел — так ушел. Я вот думаю, чай нам заваривать или нет.

— Лучше заварим. Если он пить не будет, мы сами попьем.

— Гость наш пьет жидкий чай, а я люблю крепкий,— сказал староста.

— Ничего, один раз можешь и жидкий чай попить.

Внезапно староста сказал:

— А вот и он. Сюда идет.

Мулла шел, широко расставляя ноги. Его большие руки при ходьбе болтались. Подойдя ближе, мулла сказал:

— Салам-алейком, староста. Как житье-бытье?

— Алейком-ассалам, дай вам бог здоровья. Как ваши дела? Куда ходили?

— За деревню ходил на намаз. Потом сходил посмотрел пальмовую рощу, на пруды заглянул, по деревне прогулялся и вернулся.

— Ну как, понравилось вам?

— Очень. Очень тут хорошо. Финиковые пальмы ваши посмотрел — милостив к вам аллах! До чего ж тут у вас много шекари и мосалла[1]!

— Кроме мосалла и шекари у нас еще и замердан есть,— заметил староста.

— И замердан есть?! Очень хорошо, жаль, я не видел. А кроме замердана что еще есть?

— Кабкабы есть хорошие,— сказал сын старосты.

— Э-э? Правда? И кабкабы есть? Очень хорошо. Я очень люблю кабкаб кушать.

— Ну и на здоровье,— сказал староста.

— А кроме кабкаба и замердана еще что-нибудь есть?

— Шекари есть, мосалла,— сказал староста.

Сын старосты добавил:

— В саду у Мухаммада Хаджи Мустафы есть пятьдесят пальм кентаров.

— Пятьдесят пальм кентаров! — повторил мулла.— Милостив к вам аллах! Пятьдесят пальм кентаров! Ах, как хорошо!

— Милостив к нам аллах, тысячу раз милостив! Как же! — воскликнул староста.— Эти пятьдесят пальм кентаров у Мухаммада Хаджи Мустафы! В его саду, не в нашем!

— А у вас в саду что? Хорошее что-нибудь есть?

— У нас есть шекари, мосалла... четыре кабкаба,— сказал староста.

— А замердан? Замердан тоже есть?

— А как же! Замердан тоже есть,— ответил сын старосты.

— А вот интересно, в этой деревне длинный панг есть? Понимаешь, о чем я говорю?

— Э-э-э, слава тебе господи! Длинный панг — вещь хорошая,— ответил староста.

Сын старосты заметил:

— Найдется и длинный панг. По ту сторону пруда Айюба есть маленький сад без хозяина. Теперь вроде как считается садом Захеда — это того черного, что в барабан бьет.

— И что там?

— Я в том саду как-то раз видел несколько пальм длинного панга. У самого Захеда ума не хватает, их другие обрывают.

— Хорошо объяснил, обстоятельно,— похвалил мулла.

— Велика ваша доброта! — откликнулся староста.— Господь да продлит вашу жизнь!

— Вот что я тебе скажу, староста: очень я люблю это самое кушать.

— Что «это самое»? — спросил сын старосты.

---

[1] Речь идет о различных сортах фиников.

— Да то самое, о чем говорил: замердан, кабкаб, шекари... Особенно люблю желтый шекари.

— Ну и хорошо, и ешь себе все это,— ответил староста.

— Я каждый раз, как замердана поем,— продолжал мулла,— у меня и спина, и руки, и ноги болеть перестают.

— Оно и понятно — он ведь целебный,— сказал староста.

— А кабкаб в хорошее настроение приводит... Не потому, что мягкий, а потому, что, когда ем, хорошо мне делается, на душе светло.

— А вот этого я не знал,— заметил староста.

— Если кабкаб после яичницы кушать, он еще сильнее действует. Много у него свойств, и самых-то разных...

— Этого я, мулла, не знал. Наверно, так и есть, как ты говорить изволишь.

— Да, отец,— продолжал мулла,— каждый из этих даров господних какое-нибудь свойство имеет. Одно помогает от болей в пояснице, другое головную боль излечивает, третье хорошо для женатого мужчины. Например, если утром поешь шекари, а вечером мосалла, у тебя настроение будет лучше обычного.

— Дело известное,— сказал староста.— Если человек какую вкусную вещь нашел и съел, у него настроение и будет лучше обычного... Только, видишь ли, мулла, здесь всего этого столько нет, чтобы всегда поесть хватало. У нас только Мухаммад Хаджи Мустафа концы с концами сводит, но и у него-то сад невелик. Человек он семейный, но и черных и нищих оделяет — набожный!

— Верно говоришь. Только я в книге читал, что все эти пальмы в садах — не без смысла. Они как люди. Люди бывают самые разные, так и они. Бог без смысла ничего не делает.

— Благослови тебя аллах,— сказал староста.— Очень хорошо ты все знаешь.

Сын старосты сказал:

— Пойду принесу чай. Какой любите: жидкий или крепкий?

— Мне все равно,— ответил мулла.

— Тогда будем пить крепкий,— решил сын старосты и пошел в дом.

— Садись, мулла, посиди. Стоя устаешь,— сказал староста.

Они сели. Мулла, усевшись, стал всего на вершок ниже ростом.

— Вот что я тебе скажу, староста: если в деревне нет хороших женщин и хороших фруктов, из такой деревни уходить надо. Ты думаешь, сколько мне лет? Я тебя ведь намного старше, а ты посмотри— у меня и волоса седого нет. А ты покажи мне хоть один черный волос — нету! Знаешь, почему так? Я всегда о себе заботился... Куда ни приезжал, всюду находил себе хорошую женщину, ел хорошо... Скажи-ка, чей это большой дом там, в начале улицы?

— Который? — спросил староста.

— А вон тот, где на двери прибиты большие рога и толстые гвозди торчат.

— А-а, понял. Там Закария живет. Почему ты спросил?

— Когда я с пруда возвращался, одна женщина, толстая такая, плотная, воду несла. Я шел себе просто так, гляжу — она в этот дом вошла. Скажи, а муж у нее есть?

— А-а, это сестра Закарии. Нет у нее мужа, то есть был, но разошелся с ней и уехал на остров.

Мулла ухмыльнулся:

— Я так и подумал, что у нее мужа нет. Видно по тому, как она ходит. Эх, староста, в хорошее место я приехал! Через часок-другой сходи домой к Закарии и спроси, хочет он сестру замуж выдать или нет. А потом скажи ему, что есть, мол, тут один раб божий, мулла,

грамотный, при деньгах — хочет, мол, жениться. Если он скажет «да», ты скажи «господь благослови» — и дело с концом.

— Схожу,— ответил староста.— Надо только подождать, когда солнце взойдет и Закария из моря вернется, тогда ему и скажу.

— Как думаешь, он согласится?

— Конечно согласится. Что ему еще остается?

— Слава аллаху! — воскликнул мулла.— Сразу видно, человек ты понимающий и с соображением. У меня много жен было... Теперь разбираюсь, какая женщина хороша, какая нет; с какой можно ужиться, а с какой нельзя. Есть женщины, что мужчину от позора спасают, а есть и такие, что сами позорят. Я вот в книге читал, что женщины из деревень лучше всяких других. Все, что холостому человеку надо, знают, во всем хороши. Только женщина может плохое настроение мужчине исправить. Да-а, бог ничего без смысла не делает.

— Хорошо сказал, мулла! Одна здесь загвоздка — чтобы женщину в жены взять, деньги требуются, а свою выгоду все знают.

— Дело говоришь, староста! У меня деньги всегда водятся. А сейчас пойди сосватай ее за меня.

Появился сын старосты с кувшином воды. Мулла присел на корточки и плеснул себе в лицо, потом он набрал воды в рот, прополоскал его, потер пальцами десны и зубы, выплюнул воду и снова открыл рот. Через несколько секунд откуда-то из самой глотки муллы вылетел целый рой мелких мушек.



## IV

Староста пошел домой к Закарии и скоро вернулся. Мулла сидел у окна, поджав коротские ноги под тяжелое туловище.

— Ну как?

— Закарии дома нет,— ответил староста.— Ушел в море рыбу ловить и еще не вернулся.

— А когда вернется?

Староста взглянул на море.

— Он вместе с Мухаммадом Ахмадом Али ушел... Думаю, вот-вот вернутся.

— Пойдем на берег подождем их,— предложил мулла.

Староста и мулла пошли к морю. На берегу они сели на перевернутую лодку и стали ждать. Рыбацкие лодки рассеялись по морю и стояли без движения. Издали они напоминали мертвых птиц, примерзших ко льду.

— Как думаешь, они скоро вернутся? — спросил мулла.

— Когда захотят, тогда и вернутся,— ответил староста.— Закария всегда раньше других возвращается.

— Эти двое, что идут к берегу, не они?

Староста приставил ладонь козырьком к глазам.

— Да, это они... они самые.— И он громко позвал: — Закария! Эй! Закария!

В ответ послышался голос Мухаммада Ахмада Али:

— Э-эй! Э-эй!

Староста опять позвал:

— Закария! Закария-а!

Мухаммад Ахмад Али и Закария дошли до места, где сидели староста и мулла, и поздоровались. Староста спросил:

— Как море? Хорошее, слава богу?

— Хорошее,— ответил Закария.— Оно ведь, староста, если один день неприветливо, то другой день — ласково.

— Благодарение богу! — сказал староста.— Ты присядь, Закария, мы с муллой сюда по делу пришли. Мулла хочет твою сестру в жены взять. Говорит, деньги у него есть, тебе часть даст, если сестру твою возьмет. Другими словами, у тебя на один рот меньше станет. Что скажешь? Отдаешь свою сестру мулле или нет?

Закария сел, посмотрел на короткие ножки и длинные руки муллы и сказал:

— Некрасиво получится, староста. Жена у меня тяжелая, вот-вот родить должна. Сестра на пруд ходит — воду носит. Если ее замуж отдам, некому будет нам воду носить.

Староста повернулся к мулле:

— Верно он говорит, мулла. Если сестру тебе отдаст, некому будет для них воду носить.

— Это трудность невеликая,— сказал мулла.— Я ей скажу, чтобы каждый день два раза на пруд ходила и вам тоже воду носила.

— И вот еще что,— продолжал Закария.— прежний муж сестры, который на остров уехал, говорил, что в конце лета вернется и снова на ней женится. Я ему свое согласие обещал, а теперь что мне делать?

Мулла, закурив сигарету, сказал:

— Э-э, когда еще лето кончится! До конца лета целая жизнь. А если сейчас вернется, скажешь ему, что нашелся, дескать, хороший человек, я ему ее и отдал. Пустяки! Ты денежного мужа для сестры не хочешь?

— И вот еще что... Во-первых, у тебя дома своего нет...

— Это не беда, заведу себе и дом. Выберу один из этих пустых домов и приведу в порядок или новый построю. Ну, а если не получится, сейчас тепло становится, шалаш поставлю, пока не похолодает.

— А во-вторых, сестра моя... не то чтобы я хвалил, но все знают — самая хорошая женщина в наших местах. Расходы на такую женщину будут велики. Ты можешь себе их позволить?

— Ее расходы на меня лягут, ты ведь платить не будешь,— ответил мулла.— Велики ли будут, малы ли — мне платить. Еще хочешь что-нибудь сказать?

Закария подумал и снова оглядел муллу с головы до ног.

— О господи... не знаю я.

— Что? Сомневаешься? Не хочешь ее мне отдать, так и скажи, не бойся.

— Хочешь правду? — сказал Закария.— Я ведь еще и не знаю, кто ты.

— Я? — переспросил мулла.— Известно кто. Грамотный, мулла... деньги у меня есть.

— Так-то оно так,— согласился Закария,— ты грамотный, писать умеешь, и в конце концов кто-то ты да есть, но...

— Нет здесь никаких «но»,— сказал мулла.— Я — мусульманин. В этом-то ты не сомневаешься? Езжу себе повсюду и совесть имею. Я дармоедом быть не хочу и на голову другим не сажусь. Верю в господа, пророка — благослови его аллах! — и в закон божий и хочу жену себе взять.

Староста и Мухаммад Ахмад Али пробормотали восхваление аллаху.

Мулла добавил:

— Вот что... Для меня тут никакой разницы нет, мне жена нужна, твоя ли это сестра, старосты или кого другого — нет здесь разницы. В том только разница, что, говорят, твоя сестра лучше. Ты прикинь как следует... Если увидишь, что выгодней тебе от лишнего рта освободиться, то и слава богу!

— А он неплохо говорит, Закария,— заметил староста.— Лишний едок с твоих плечей свалится.

Закария в сомнении повернулся и посмотрел на Мухаммада Ахмада Али.

— Ведь и староста, наверно, плохого не скажет,— заговорил Мухаммад Ахмад Али.— А закон божий о том же толкует, и ничего тут не поделаешь.

Закария подумал и решил:

— Аллах благослови! В полдень приходи ко мне домой. Кусок рыбы и горсть фиников всегда найдутся, пообедаем вместе.

Мухаммад Ахмад Али сказал мулле:

— Приходи, мулла. Я тоже приду к Закарии. Закария сам говорил. «Если море будет хорошее,— говорит,— приходи как-нибудь ко мне пообедать». Вот я к нему и пойду. Рыбы, слава богу, много наловили. Вчера и сегодня море очень добрым было.

Мужчины повернулись лицом к морю и с нежностью взглянули на спокойную, гладкую поверхность.

## V

Когда обед был съеден, в комнату вошла сестра Закарии и села в темном углу. Сигэ[1] прочли еще до обеда. Мухаммад Ахмад Али, наевшись рыбы и фиников, ушел. Мулла сидел у дальней стены комнаты, поджав короткие ноги под массивное тело, и казалось, что если он встанет, то будет ростом выше Закарии. Фуражка и портфель муллы лежали рядом с ним.

Сестра Закарии сидела лицом к стене и никуда не глядела. Мулла погладил себя по животу и заговорил:

— Я в книге читал, что ни одна вещь не нужна и не обязательна для жизни человека в такой же степени, как еда.

— Если уж в книге написали, значит, действительно нужна и необходима,— откликнулся Закария.

— Да,— продолжал мулла.— В книге написано, что любой человек, если хорошо поест, будет себя и чувствовать хорошо. Голова у него болеть не будет, ноги... в животе все успокоится.

— Наверно, так и есть, как ты говоришь.

— Да-а, сегодняшний обед очень мне был для здоровья полезен. Сейчас вижу, что самочувствие у меня очень хорошее и настроение тоже. И тяжести никакой не испытываю, легко мне.

— Благодарение господу! — откликнулся Закария.

— Вот, говорю, есть у меня еще одна привычка,— продолжал мулла.— Я никогда после хорошей еды и вообще после всего, что хорошо, не сплю, а если плохое что-нибудь съем, сразу спать ложусь. Сон в таком случае по нескольким причинам полезен: во-первых, человек забывает и вкус еды, и все, что с ней связано; во-вторых, живот свое дело быстрее делает и все вскорости переваривается; а, в-третьих, сон все вредное, что в пище было, убивает. Но вот когда хорошие вещи кушаю, не сплю. Во-первых, чтобы вкус еды не забыть; во-вторых, чтобы слишком быстро не переваривалось; ну и, в-третьих, потому, что в хорошей пище ничего вредного нет, чтобы сон это убивал. Хорошая еда, как и все другое, что хорошо, силу человеку дает. А человек, когда силы набирается, встает и идет. Понимаешь? Другими словами, настроение у человека лучше делается. Все это в книгах написано.

— Я-то этого не знаю,— сказал Закария,— я кроме работы в море

[1] Обрядовая религиозная формула, зачитываемая при заключении брака.

ничего не знаю. Захед вот кое-что знает, но это, конечно, и ему неизвестно.

— Не-ет, книги нужны. Без книг ни в чем пользы не будет.

— Верно. Тебе вот книги нужны, а мне — лодка, сети и рыба.

— Да, Закария, каждому что-нибудь да нужно. Очень ты дельно сказал.

— Известное дело. Например, если у человека дома нет, что ему делать? Где спать? В пустыне? Или в море?

— Верно говоришь. Слушай, Закария, а можем мы взять себе один из этих пустых домов?

— Почему же нет?! — ответил Закария.— Бери любой, только все они худые.

— Не горюй. Я заплачу, и мне любой дом починят.

— Когда?

— Да сегодня же вечером. А циновки, паласы и все прочее, что в хозяйстве нужно, я найду.

— Где найдешь-то?

— А что, разве не продают?

— Здесь ведь базара нет,— объяснил Закария.

— Ну что ж, сегодня после вечернего намаза скажу в мечети, что, если кто хочет продать палас, циновки, матрас или посуду, пусть приносят — куплю.

— Дай тебе бог!

— Да, Закария, закон пророка гласит, что, если взял себе жену, подумай и об ее удобстве. Как бы там ни было, а ведь женщины тоже мусульмане и рабы божьи.

Сестра Закарии обернулась и взглянула сначала на брата, а потом на муллу. Мулла опустил голову — он не хотел в присутствии Закарии разглядывать его сестру.

## VI

После захода солнца мулла и Закария вместе отправились в мечеть. К тому времени они уже привели в порядок дом для муллы, и мулла там же на месте расплатился с помогавшими ему Закарией и Мухаммадом Ахмадом Али.

У мечети на возвышенности рядом с гробом стоял Салех и читал призыв к молитве. Его голос разносился по деревне. Мулла шагал, высоко подымая короткие ноги. Фуражку он держал в руке, на шее по-прежнему висел портфель.

Лампы в мечети не было. Из круглой дыры в потолке падал свет, освещая середину мечети, где сидели Мухаммад Хаджи Мустафа и Абдул Джавад. Из отверстия в центре михраба[1] пробивался тусклый лунный свет, к которому были прикованы глаза всех, пришедших на молитву. Когда намаз кончился, мулла вошел в михраб и заслонил собой полосу света.

— Послушаем, что он будет говорить,— сказал Салех.

— Община! — заговорил мулла.— Мне нужны два паласа, несколько занавесок, пара кувшинов, лампа, несколько циновок, два матраса и несколько одеял. Плачу и покупаю. Если кто желает продать, продавайте мне!

— Кто этот чужак, который хочет все тут купить? — спросил Захед.

---

[1] Ниша во внутренней стене мечети, указывающая направление к Мекке.

— Это мулла,— ответил староста.— Он взял в жены сестру Закарии и хочет хозяйство завести. У кого что есть, мулле продавайте.

— Все продать нельзя, староста,— сказал Салех.— Мы сами тогда что делать будем?

— Все то, что самим не нужно. Понятно? — ответил мулла.— Если у кого есть что-нибудь лишнее и ему не нужное...

— Все что не нужно? — переспросил Абдул Джавад.— У меня есть две сабли, я их продать собираюсь.

— Не хочу я сабли,— сказал мулла.— Мне сабли не нужны.

— А ты не хотел бы повесить их у себя в комнате? — спросил Абдул Джавад.

Староста сказал:

— Абдул Джавад! Мулле не нужны сабли, ему нужны вещи, необходимые в хозяйстве.

— Я же не говорю, чтобы он обязательно их покупал,— ответил Абдул Джавад.— Я сказал, что они у меня есть и, если он хочет, я ему продам, а если не хочет — себе оставлю.

— Продли господь твою жизнь, Абдул Джавад! — сказал староста.

— Велика твоя доброта,— ответил Абдул Джавад.

— Староста! А мне нечего продавать. Что мне делать-то? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

— Ничего и не делать,— сказал Салех Камзари.— Если у тебя ничего нет, что ты продавать собираешься?

Сын старосты сказал:

— У меня есть большой сундук без крышки. Если он хочет, могу продать.

— Если хочет купить барабан или бамбуковую палку — у меня есть,— подал голос Захед.— Продаю.

— Сейчас уже вечер, а в темноте торговля не ведется,— рассудил староста.— Завтра утром, когда из моря вернетесь, берите все, что у вас есть на продажу, и приносите к моему дому. Мулла, что ему нужно, купит.

— Ай-ай, разумный ты человек! — воскликнул мулла.

Все вышли из мечети. Море было неспокойным. Луна бросала на воду мрачную тень. Мулла и Закария направились к первой улочке. Мухаммад Ахмад Али радостно сообщил:

— Староста! Каус подул!

Мужчины остановились и с удовольствием вдохнули прохладный вечерний бриз.

## VII

Когда мулла и Закария подходили к дому старосты, там уже собралось много народа. Женщины держались поодаль, мужчины стояли ближе к дому. Перед домом была беспорядочно накидана куча домашней утвари: битые тарелки, лампа, палас, котел и треножник, ветхое одеяло, циновки, веер, бахрейнские миски, старинная сабля, трость, ручная мельница, длинный кинжал, маленькие и большие кофейники, ведро, кувшины, форма для выпечки хлеба, сужающиеся к середине арабские стаканы, несколько мешков со старой мукой, жестяной сосуд для омовения, несколько весел, стулья со спинками, обитыми циновками...

Увидев муллу, женщины теснее придвинулись друг к другу. Мулла шагал большими шагами, широко расставляя короткие ноги. Подой-

дя к толпе, он снял с шеи портфель и уселся на тумбу у дома. Из толпы вышел староста и сел рядом с муллой.

Мухаммад Хаджи Мустафа, сидя на корточках, сказал:

— Вот, мулла, что было — принесли.

Мулла взглянул на груду вещей.

— Все это для меня принесли?

— Конечно для тебя,— ответил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Даст бог, тебе вещи понравятся и ты все это купишь.

— Все это мне не нужно. Я хочу купить один-два паласа, несколько циновок и остальное, про что говорил вчера в мечети.

Мулла поднялся со своего места и подошел к куче. Подняв маленький котелок, он спросил:

— Это чье?

— Одной старухи,— сказал Салех и махнул рукой в сторону женщин.

— Что я с ним буду делать? — спросил мулла.— Погляди-ка, Закария! На дно посмотри! Все насквозь в дырках... Что в нем сваришь? Рис? Рыбу? Забирай обратно, матушка, мне это не пригодится...

Чей-то голос из толпы женщин сказал:

— Прошу тебя, господа ради, возьми его себе и дай мне, несчастной, хоть сколько-нибудь.

— Возьму, а потом что с ним делать? Если он никому не нужен, почему я его брать должен? Закария, скажи им, что я всегда ищу, что получше, и только хорошие вещи беру...

Мулла поднял лежавшую рядом сломанную ножку от лампы и спросил:

— А это еще что?

— Ножка от лампы,— ответил Салех.— Сначала была целая лампа, потом она упала, разбилась, а это вот осталось.

—Та-ак... — сказал мулла.— А мне это зачем?

— Можешь поставить в стенную нишу, или перед окном, или просто так где-нибудь — тоже хорошо. Может, когда-нибудь тебе попадется склянка, куда масло наливают, приделаешь к ножке, и получится хорошая, целая лампа.

— Велика твоя доброта! Мне лампа нужна, а не ножка от лампы.

— Раз все это тебе не нужно, купи тогда этот трос,— предложил Салех.— Это корабельный трос! Если у тебя когда-нибудь будет лодка, шаланда или даже большой баркас, привяжешь к носу трос, а на берегу закрепишь, чтобы ветер твой баркас не бил или море его не проглотило.

— Не пойдет! Я вам говорю, говорю, а вы никак понять не можете...

— Отчего же, мулла? — удивился Салех.— У нас здесь много вещей, которые тебе пригодятся. Хочешь глиняный кувшин, чтобы вода холодной была? Или саблю? Саблю можно на стенку повесить...

— Нет. Мне ничего этого не надо. Я хочу купить то, что для хозяйства нужно. Я, когда в деревню приезжаю, всегда в жены хорошую женщину беру и хорошие вещи покупаю. Раз уж я сейчас здесь оказался, то хочу все хорошее иметь.

— Э-э,— протянул Салех.— Хорошие вещи нам самим нужны.

— А вам они зачем? У меня деньги есть, я взамен вам денег дам.

— Значит, хочешь, чтобы мы тебе хорошие и целые вещи продали?

Староста сказал:

— Ты, Салех, не спеши, подумай, что лучше. Что ты больше любишь: деньги или котел, деньги или палас? Что лучше?

Дремавший все это время Мухаммад Ахмад Али пробормотал:

— Конечно деньги лучше.

— Так дело не пойдет,— сказал мулла.— Я пошлю Закарию, чтобы он обошел один за другим все дома. Что ему понравится, то и купит.

— Пусть так и будет,— решил староста.

Община поднялась. Каждый взял свои вещи, и все разошлись по домам.

## VIII

Вечер был шумным. Гулко билось море, и все вокруг было неспокойно. Захед и Мухаммад Ахмад Али с двумя большими барабанами сидели у края кладбища. В улочках мелькали и исчезали тени, отовсюду слышались звуки шагов.

Захед сказал:

— Мулла говорит, чтобы в барабаны не били, а его женщина говорит: «Я без барабанов замуж не пойду».

— Она дело говорит,— заметил Мухаммад Ахмад Али,— разве не так, Захед?

— Конечно так... А жалко, что мы с тобой бедные и нет у нас денег, чтобы жену взять...

— Если бы мне так повезло, я бы семь дней в барабан бил, да теперь уж время мое прошло,— сказал Мухаммад Ахмад Али и засмеялся.

— Зато в другом мире тебе легко и спокойно будет, Мухаммад Ахмад Али. Больше тебе воздастся.

— Помнишь, год назад голод был?

— Угу.

— Мне в тот год, когда потом рыбы много стало, удалось на время женщину взять...

— Прислушайся-ка,— сказал Захед.— Они сюда идут.

— Никто не разговаривает, женщины не голосят... Не получилась свадьба. Будто покойника несут. Без радости и настроения... С чего бы это так, Захед?

— Не всем же свадьбам быть хорошими, некоторые и такими бывают.

— Это ты разумно сказал.

Из улочки показались люди. Община уныло шагала, приближаясь к кладбищу.

— Вставай, Мухаммад Ахмад Али! Вставай, в барабаны будем бить,— поторопил Захед.

Увидев кладбище, женщины деревни шумно и с удовольствием заголосили.

## IX

Через два дня похолодало и к берегу пришел целый косяк мелкой рыбы. Закария и Мухаммад Ахмад Али взяли ручные сети — «накиды» и пошли к морю.

На берегу они увидели муллу, который в фуражке и с портфелем на шее сидел на перевернутой лодке.

— Ва-ассалам-алейком, — приветствовал муллу Закария.

Мухаммад Ахмад Али отошел подальше. Мулла дремал, надвинув фуражку на лоб. Услышав голос, он поднял голову и спросил:

— Вы зачем сюда пришли в это время дня? Что вы здесь делаете?

— Рыбу пригнало,— сказал Закария.— Мы пришли рыбу ловить.

— Если много наловим, и тебе чарак[1] дадим,— добавил Мухаммад Ахмад Али.

— Мне не надо, я уезжаю,— ответил мулла.— Дело у меня в другом месте...

Закария спросил:

— А как же дом... жена?

— Это все здесь останется, я один еду.

— Как же она жить будет? На что?

— Это дело не твое. Я сам обо всем позаботился.

— Велика твоя доброта! — сказал Закария.— Я тогда молчу.

Мухаммад Ахмад Али подвернул лонг[2] повыше и пошел в воду. Закария тоже закинул свою сеть. Постепенно намокая, она погружалась в воду. Оглянувшись, Закария увидел, как рядом с муллой затормозил старый «пикап». Бородатый шофер, высунувшись из окна, наблюдал за рыбаками. Рядом с ним сидели еще двое. И шофер, и его спутники были в очках.

— Боже милостивый и справедливый! — вскрикнул Мухаммад Ахмад Али.— Опять они приехали.

— Не смотри на них, занимайся своим делом,— посоветовал Закария.

Мулла ухватился за поручни и втиснулся в машину. Под брезентовым верхом сидело еще несколько человек. Мулла махнул рукой. Закария тоже помахал ему. «Пикап» бесшумно заскользил по песку и исчез.

— Эй, Закария! — окликнул его Мухаммад Ахмад Али.

Закария увидел, что его «накид» уходит на дно, нагнулся и начал выбирать сеть из воды. Мухаммад Ахмад Али тоже ухватил свою сеть и потащил наверх.

— Э-э, Мухаммад Ахмад Али,— произнес Закария.

— Ты на свой «накид» посмотри! — вскрикнул Мухаммад Ахмад Али.

Оба «накида» были до отказа набиты мелкой черной пятнистой рыбой, которая настойчиво билась, пытаясь освободиться от опутывающей ее сети. Сначала Мухаммад Ахмад Али, а потом и Закария в страхе с силой встряхнули сети. Рыбешки высыпались обратно в море, а рыбаки торопливо вышли из воды.

## X

Вечером, когда мужчины сидели у мечети, в море показалось суденышко. Оно двигалось по воде зигзагами, то приближаясь к берегу, то отдаляясь от него, будто пугаясь суши.

— Что это у него на уме? — поинтересовался Мухаммад Хаджи Мустафа.— Пристать хочет или уплыть? Что ему надо?

— И на месте не стоит, движется... — сказал Мухаммад Ахмад Али.— Гребут они...

— Из какой же они деревни прибыли? — полюбопытствовал староста.

— А кто их знает?! — ответил Салех.

— И я вот тоже не знаю, из какой они деревни,— заметил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Мимо с большим кувшином воды прошла сестра Закарии и направилась к дому брата. Мужчины краем глаза посмотрели на нее.

— Слышите? — сказал Мухаммад Ахмад Али.

---

[1] Мера веса, равная примерно 7,5 кг.

[2] Длинная набедренная повязка.

Сидевший рядом с гробом Закария спросил:

— Что?

— С моря нас зовут.

Все прислушались. Салех сказал:

— Да, это нас зовут.

Староста распорядился:

— Подымайтесь, пойдем к воде!

Они встали и пошли на берег. Суденышко уже подплыло ближе, и теперь его от берега отделяло расстояние не более нескольких шагов. Это был старый, разбитый баркас, едва державшийся на воде и еще не развалившийся лишь потому, что его кое-как скрепили проволокой и гвоздями, замазав щели разноцветными слоями краски. С носа суденышка свисала мертвая морская птица с головой, похожей на совиную. К корме баркаса были привязаны две маленькие лодки, в каждой из которых возле жестяной печурки сидел негр и курил кальян. На самом баркасе было десять — двенадцать человек. Почти все они были слепы. Они стояли лицом к берегу — зрячие впереди слепых — и старались короткими взмахами весел удержать баркас на месте.

Мужчина, согнувшийся на носу баркаса, крикнул:

— Эй! В ваши края чужой не заходил?

Староста спросил Салеха:

— Что он говорит?

Салех ответил:

— Спрашивает, не заходил ли чужой в наши края.

Староста приказал:

— Скажи: «Нет, не заходил».

Салех крикнул:

— Нет, никто чужой в наши края не заходил.

С баркаса пояснили:

— Мы про одного муллу говорим... Не заходил сюда?

Салех сказал общине:

— За муллой приехали...

Закария крикнул:

— Отчего же? Мулла сюда приезжал... Два дня назад уехал.

С баркаса спросили:

— А куда уехал?

— Нам не сказал. Взял и уехал,— ответил Закария.

На баркасе заговорили о чем-то между собой.

Закария спросил:

— А вам он зачем нужен?

Мужчина, сидевший на носу баркаса, ответил:

— Он к нам в деревню приезжал, жену себе взял. Жена его нынче при родах умерла, мы и приехали ему сообщить.

Стоявшие на берегу обменялись взглядами. Никто ничего не сказал. Гребцы налегли на весла, суденышко развернулось и поплыло обратно вдаль. Удары весел по воде участились. Негры, курившие кальян у жестяных печек, обернулись и посмотрели на берег. Мужчины следили глазами за баркасом, уходившим все дальше в море. Постепенно он уменьшался в размерах и, наконец, стал похож на плавающую в море туфлю.

## XI

Вначале послышался неясный шум, потом раздался автомобильный гудок. Абдул Джавад, повернул голову и закричал:

— Мулла приехал!

Мужчины, лежавшие в тени под навесом мечети, поднялись на ноги и торопливо зашагали к берегу. Впереди всех шел Закария. У берега стоял «пикап». Шофер сидел в машине, свесив руку из окна, и смотрел на море. Когда община подошла поближе, шофер обернулся и снял очки. Он был один, на переднем сиденье больше никого не было. Закария обошел «пикап» сзади, приподнял брезентовый верх и заглянул в кузов. В «пикапе» никого не было. В кузове стоял большой гроб и лежал набитый чем-то здоровый мешок. В другом углу была насыпана кучка лука.

Закария подошел к шоферу. Шофер спросил:

— Где дом муллы?

— Мулла уже очень давно уехал. Ты же сам приезжал его увозить.

— Мне дом его нужен, а не он.

Закария показал на кладбище:

— Вон в той стороне.

Шофер попросил:

— Пойди скажи его жене, чтобы шла сюда. Я ей посылку привез.

— Она не может прийти... Тяжелая... Не сегодня-завтра должна разродиться.

— Родственники у нее есть?

— Я ей брат.

Шофер протянул Закарии посылку, завернутую в кусок черной материи.

— Отдай ей это.

Закария взял посылку. Шофер отвернулся. Машина поехала и скрылась за развалинами домов. Община двинулась к дому муллы. По дороге мужчинам встретилась жена Закарии, которая несла с пруда Айюба воду для жены муллы.

## *XII*

За несколько дней до родов сестре Закарии стало совсем плохо. Она лежала с распухшими руками и ногами и почти не могла дышать. Женщины с вениками в руках дежурили вокруг дома и время от времени бросались на неведомого врага, выкрикивая: «Кыш, кыш! Уходи!»

Жена Закарии с женой Салеха Камзари и его старшей дочерью сидели на пороге, когда сестра Закарии вдруг громко закричала. Женщины подошли к ней и, трясясь от страха, приняли ребенка. У новорожденного была большая голова и короткие ножки. На животе торчала большая выпуклая родинка с длинными черными волосами. Под ней было мягкое полупрозрачное вздутие, похожее на открытый коровий глаз.

Жена Закарии воскликнула:

— О, Мухаммад! О, пророк аллаха! Что же это такое?

Жена Салеха сказала:

— Положи его на землю и не прикасайся. Это не ребенок вовсе.

При каждом вздохе новорожденный надувал щеки и веки его раскрывались. Из-под век красные живые глазки разглядывали окружающее. Жена Закарии в ужасе положила ребенка в плетеную люльку и спросила:

— Что с ним делать?

— Смотри, чтобы он не закричал,— роженица испугается,— сказала жена Салеха.

Жена Закарии взяла люльку, вышла из комнаты и поставила ее под старую пальму. Жена и старшая дочь Салеха тоже пришли под пальму. Жена Закарии приказала дочери Салеха:

— Сходи сообщи новость.

Дочь Салеха вышла, и через мгновение во двор хлынули женщины с вениками в руках. Они сгрудились вокруг пальмы.

Жена Мухаммада Хаджи Мустафы воскликнула:

— Это что же такое? Вы на ногти его посмотрите!

— Вы живот его не видели! — сказала жена Салеха.— У него на животе глаз и еще какая-то странная штука.

— С самого начала было ясно, что так и будет,— сказала жена старосты.— Сам он был урод, понятно, что и ребенок у него уродом получился.

— Ртом-то что делает! — вскрикнула жена Закарии.— Дышит как, а?!

— Это он не дышит... Это совсем другое,— покачала головой жена Салеха.— Видели, как рыба рот надувает?

— Нужно подумать, что с ним делать,— сказала жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

— Что ж тут придумаешь? — спросила жена Закарии.

— Давайте положим ему на грудь камень, чтобы дыхание остановилось, он и умрет... — предложила жена Салеха.

— Нет, сестра,— возразила жена старосты.— Откуда ты знаешь, что на нас не ляжет тогда грех убийства?

— Нет, пусть уж он так себе и останется. Посмотрим, что дальше будет,— решила жена Закарии.

Женщины склонились над люлькой. Новорожденный открыл глаза и улыбнулся, а потом спокойно-спокойно выдохнул из надутых щек воздух и закрыл глаза.

— Благодарение господу! Умер,— сказала жена Салеха.

Жена Закарии набросила на трупик тряпку в пятнах крови. Женщины с облегчением посмотрели друг на друга.

— Сейчас давайте пойдем к роженице, посмотрим, как она,— сказала жена Салеха.

Женщины устремились к комнате. Они оставили веники у двери и вошли внутрь. Сестра Закарии, распластавшись, лежала лицом вниз посредине комнаты. Тело ее почернело. Жена Закарии вскрикнула:

— Вай, господи! Взгляните! Посмотрите, что случилось!

Женщины прошли вперед и с опаской приблизились к трупу. Жена старосты спросила:

— Умерла?

— Да, сестра,— ответила жена Салеха Камзари.— Садитесь, поплачем. Померла сестра Закарии, плачьте!

Женщины уселись и заплакали с причитаниями. Жена Мухаммада Хаджи Мустафы, не переставая причитать, поднялась, принесла из дальнего угла большой палас, набросила его на труп и снова уселась плакать вместе с остальными.

Когда они как следует поплакали, жена Закарии сказала:

— Пойдем сообщим новость мужчинам.

Жена Мухаммада Хаджи Мустафы и жена старосты поднялись и вышли из комнаты. Они взяли свои веники и прошли со двора на кладбище. Из оконца дома вырывался женский плач и раскатывался по деревне. Пройдя мимо кустов алоэ, женщины увидели Мухаммада Ахмада Али, Захеда и Мухаммада Хаджи Мустафу, которые, взвалив на плечи гроб, торопились к дому муллы.

# XIII

Наутро сын старосты и еще десять — двенадцать парней спустили на воду большой баркас, чтобы заглянуть в соседние деревни и разыскать муллу. Мухаммад Ахмад Али тоже отправлялся с ними. Пришедший на берег Закария громко твердил одно и то же:

— Во что бы то ни стало найдите его и скажите, что у него жена умерла. Пусть хоронить приезжает.

Сын старосты встал на нос баркаса. Парни вошли в воду и, ухватив баркас за корму, потащили его в море, следя за руками сына старосты, показывавшего им, что делать. Когда баркас поплыл, сын старосты уселся за руль. Мухаммад Ахмад Али сел спиной к берегу и, опустив голову, обхватил ее руками. Юноши быстро работали веслами. Сын старосты спросил:

— Мухаммад Ахмад Али, что это с тобой?

Мухаммад Ахмад Али поднял голову и, глядя на море, ответил:

— Каждый раз, как кто-нибудь умирает, худо мне делается... Дрожь пробирает, и от страха все внутри холодеет. И так со мной всякий раз... Приходится в море идти. В море мне хорошо... Когда под ногами вода, меня страх отпускает, дрожать перестаю. Если бы вы сейчас в море не вышли, я бы один поплыл, несколько часов бы в море побыл, помолился, делами бы себя отвлек... Я сейчас не могу оглядываться и на землю смотреть. Даже если лучше мне станет, как на берег вернусь и на землю ступлю, у меня сердце замирает и от страха все во мне переворачивается... Не нравится мне по мертвым ходить...

— Да помилует господь! — сказал сын старосты.

— Аминь! — ответил Мухаммад Ахмад Али.

Один из юношей сказал:

— Зря мы отправились муллу искать. Даже если найдем его, ничего уже не сделать — жена-то его умерла... Что он приедет, что не приедет — теперь уже поздно.

— Дело-то в том, что он ее хозяин и должен ее земле предать. Если его за сутки не найдем, самим это делать придется,— сказал Мухаммад Ахмад Али.

На закате они подплыли к селению, стоявшему на обрывистом берегу. Глиняные домишки были разбросаны далеко друг от друга. У стены одной из развалюх сидело несколько человек, поджидая, когда сядет солнце и наступит время намаза. А на горизонте солнце, как корабль, отправляющийся в далекое и долгое плавание, радостно и беззаботно подставляло себя волнам, которые, то подымаясь, то опускаясь, плескали ему в лицо.

Сын старосты встал на нос баркаса и сделал знак гребцам, чтобы гребли помедленнее. Мухаммад Ахмад Али по-прежнему сидел лицом к морю. Сын старосты крикнул:

— Э-э-эй!

С берега отозвались. Сидевшие у стены поднялись на ноги и подошли к берегу.

Сын старосты крикнул:

— Эй! В ваши края чужой не заходил?

Один из стоявших на берегу спросил:

— Какой чужой?

— Я про одного муллу говорю... Не заходил сюда?

Тот же голос ответил:

— Отчего же?! Мулла здесь был... Несколько дней назад свадьбу справил, а вчера уехал отсюда.

— Куда уехал? — спросил сын старосты.

— Не знаем мы,— ответил голос.

Юноши спросили сына старосты:

— Теперь что будем делать?

— Ничего мы сделать не сможем,— сказал Мухаммад Ахмад Али.

С берега спросили:

— А зачем он вам нужен?

— Жена у него умерла. Мы ему сообщить приехали,— ответил сын старосты.

Стоявшие на берегу переглянулись и ничего не сказали.

Сын старосты взмахнул руками. Гребцы подняли весла. Баркас развернулся и устремился к алеющему горизонту.



## *История третья*

### *I*

Незадолго до захода солнца мужчины пошли в ущелье за деревней посмотреть, как веселятся цыгане. Таборные жестянщики сидели у своих черных шатров, пригорюнившись, и не работали. Цыгане играли на дудках и скрипках, звенели бубнами; цыганки танцевали. У подножья холма были разбросаны приземистые и рваные шатры. Время от времени из-за них подымался густой дым и быстро таял.

Староста, Закария и Мухаммад Хаджи Мустафа, окруженные другими мужчинами общины, сидели на пригорке.

Закария, бывший в хорошем настроении, сказал старосте:

— Надо бы Захеда позвать, пусть придет на них посмотреть и поучится, как они, играть.

— Захед не музыкант, Закария. Он если и бьет в барабан, то только потому, что сам черный. Если в барабан бить не будет, что ему еще делать останется?! — ответил староста.

— Да и, кроме того, Захед старый уже и нищий,— добавил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Если когда что и знал, то теперь и это забыл. Так-то.

Закария заметил:

— Ну и шум же они подымают, эти цыгане!

Староста ответил:

— Судьба у них ведь такая, Закария, господи спаси. Бог сам им сказал: «Если петь да играть не будете — не мои вы больше рабы». А один цыган мне рассказывал, что если кто из них несколько дней подряд не поет, не играет и вообще без веселья живет, то такого из дома выгоняют и ему приходится в черном шатре жить, заниматься жестяным делом.

Они глядели, как три худые темные цыганки плясали перед мужчинами, бившими в бубны, и помахивали платочками. Сын старосты, сидевший пониже остальных, окликнул Закарию:

— Эй, Закария! Хочешь потанцевать?

— С этими цыганками?

— А что тут такого?

Закария встал, чтобы спуститься с холма, и неожиданно увидел Мухаммада Ахмада Али, который, пыхтя, подымался на холм с другой стороны. Закария засмеялся и крикнул ему:

— Мухаммад Ахмад Али! Что нового?

Мухаммад Ахмад Али остановился перевести дыхание и ответил:

— Ох, Закария, у Абдул Джавада жена помешалась.

Все повернулись и взглянули на Мухаммада Ахмада Али. Староста спросил у Закарии:

— Что случилось?

— У Абдул Джавада жена помешалась,— ответил Закария.

Мужчины поднялись на ноги. Юноши повернули головы и посмотрели на них.

Сын старосты спросил:

— Куда это вы собрались?

Мухаммад Хаджи Мустафа ответил:

— В деревню пойдем. Жена Абдул Джавада помешалась.

— Что вы с ней делать будете? — спросил сын старосты.

— Вы себе сидите тут, на цыган смотрите! — сказал Закария.

— Если что случится, нас позовите,— сказал сын старосты.

Мужчины спустились с холма. Мухаммад Ахмад Али взял Закарию за локоть и потянул к себе.

— Закария, как ты думаешь, что будет?

Закария не ответил. Мухаммад Ахмад Али снова спросил:

— Думаешь, что-нибудь плохое случится? Если ты так думаешь, мне скажи.

— Откуда я знаю? Уж если что случится, так случится... Что тут говорить-то!

— Почему это так получается, Закария? Как будто все умирать собрались?

— До чего ж ты смерти боишься, Мухаммад Ахмад Али! Сам-то как умирать будешь? Смерти боишься, мертвых боишься! В конце концов ведь придется умереть, разве не так?

— Верно, Закария. Я же не говорю, что не нужно умирать. Смерть нам в наследство от отцов досталась. И нам придется вслед за ними уйти в землю. Нет от нее спасения!

— Если тебе земля не нравится, иди живи себе в воде.

— Ничего я не могу с собой поделать, Закария. Каждый раз, как услышу, что кто-то умер, у меня сердце обрывается.

— А раз у тебя сердце обрывается, зачем столько о смерти говорить? Не говори!

— Ладно, не буду. Ты мне только скажи что-нибудь хорошее, чтобы я обо всем этом забыл!

— И ничего-то хорошего я не знаю... Сейчас сходим посмотрим, что там случилось, а вечером отправимся вдвоем с тобой в море, сеть закинем.

— Сегодня хорошая вода,— заметил Мухаммад Ахмад Али.

— Да,— согласился Закария.— Сегодня ночью большой прилив будет... очень большой.

Оба повернули головы и посмотрели на небо. Справа висела бледная луна с мутными неровными краями, похожими на чешуйки рыбы, полежавшей на солнце.

— Благодарение господу! — произнес Мухаммад Ахмад Али.

Когда они подошли к деревне, Закария сказал:

— Слушай, если тебе не по себе, ты не ходи к дому Абдул Джавада, а иди-ка в мечеть.

Мухаммад Ахмад Али обрадовался, отпустил руку Закарии, отделился от остальных и торопливо побежал к мечети. Мужчины прошли через улочку и вышли к деревенской площади, где были свалены старые, прохудившиеся гаргули[1]. На площади тоскливо сидел Абдул

---

[1] Проволочные корзины-ловушки для донного лова рыбы, применяемые рыбаками Персидского залива.

Джавад, обхватив голову руками. Увидев мужчин, он поднялся и пошел навстречу.

— Ну, Абдул Джавад, что же это случилось? — спросил староста.

— Не знаю я... Говорят, оттого, что ребенка родила, а потом фиников поела, в голову ей и ударило.

— Ребенка-то когда родила? — спросил Закария.

— Вчера.

— Ребенок здоров?

— Он мертвым родился.

Закария оглянулся и посмотрел вокруг. Увидев, что Мухаммада Ахмада Али нигде нет, он с облегчением вздохнул. Мужчины подошли ближе и уселись на корточках вокруг дома Абдул Джавада. Мухаммад Хаджи Мустафа спросил:

— А сейчас она как?

— Женщины за ней присматривают. Когда она спокойна, моя мать ей отвар дает пить, а когда ей в голову ударяет, с ней никто справиться не может — ломает все, бьет, воет и плачет.

— Может, это с ней оттого, что, не дай бог, ребенка мертвым увидела,— предположил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Бог его знает,— ответил Абдул Джавад.

— Не нужно было давать ей понять, что случилось. Если бы не поняла, ничего бы с ней и не было,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Да это на нее нашло еще до того, как она поняла.

— Ты Захеду сообщил? — спросил староста.

— А зачем ему-то сообщать? — удивился Абдул Джавад.

— Да неплохо бы... Душа у него хорошая, стихи читает, в барабан бьет, всякое другое умеет...

— Это все слова, староста,— вздохнул Абдул Джавад.— Захед умеет только для себя в барабан бить, чтобы самого себя успокоить. Нет, никто тут не поможет.

— Не так это, Абдул Джавад,— возразил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Господь и страдание дает и исцеление. Господь милостив и справедлив.

— Так-то оно так,— сказал Абдул Джавад,— только стихи — не спасение, Хаджи. Если бы ты про лекаря говорил или про лекарства, я бы и слова не сказал, а вот если Захед в барабан бить начнет, мне кажется, хуже ей станет.

— Дело говоришь, Абдул Джавад,— сказал староста,— только откуда нам лекаря и лекарства взять? Если бы Исхак-лекарь поблизости был, как-нибудь бы его разыскали...

— Я слышал, он нынче никуда из Гурзэ не выезжает,— сказал Салех Камзари.— Теперь всякого, кто заболеет, туда везут. Говорят, Исхак расхотел возвращаться в Иерусалим...

— Ну, что же тут поделаешь?! А в Гурзэ ее отвезти нельзя? — спросил Абдул Джавад.

— Почему же нельзя? Конечно можно,— ответил Закария.

Неожиданно из дома Абдул Джавада послышались визг и крики женщин.

Мужчины обернулись. Дверь дома распахнулась, оттуда на площадь выбежали, подталкивая друг друга, женщины и бросились врассыпную. Мужчины встали. Закария сказал:

— Эй, Абдул Джавад, посмотри-ка, что там происходит.

Абдул Джавад быстро вошел в дом, а мужчины повернулись спинами, чтобы не видеть жену Абдул Джавада, которая выскочила на порог и стояла там полуголая, с поленом в руке.

# II

Наутро следующего дня жену Абдул Джавада обвязали цепями и отнесли к морю, чтобы посадить в баркас. Стояла хорошая погода, и море было спокойным.

Из морской дали несся странный гул, от которого вода чуть дрожала. Связанную по рукам и ногам жену Абдул Джавада завернули в черную чадру. Мужчины, обступившие больную со всех сторон, обдумывали, как перенести ее на баркас. Каждый раз, как женщина вскрикивала или дергалась, мужчины в испуге отступали подальше.

— И каким же образом вы собираетесь ее в баркас переносить? — поинтересовался староста.

— Перенесем без всякого такого образа, и все тут! — сказал Мухаммад Ахмад Али.

— Со всех сторон несчастную обвязали — она и двинуться не может,— заметил староста.

— Не думай ты об этом,— посоветовал Закария.— Абдул Джавад ее на плече перенесет.

Мухаммад Ахмад Али спросил Абдул Джавада:

— Абдул Джавад! А ты не боишься ее нести?

— Чего же мне бояться? Разве кто своей жены боится?! — ответил Абдул Джавад.

Все повернулись к Мухаммаду Ахмаду Али, а Салех бросил на него гневный взгляд. Мухаммад Ахмад Али юркнул за спину Закарии. Мухаммад Хаджи Мустафа сказал:

— Поторапливайтесь. Нужно отправляться, пока прилив не начался.

Абдул Джавад подошел к больной и взялся за концы цепей.

— Закария,— попросил он,— ты бы взял ее за ноги, чтобы она меня в море не опрокинула...

Закария подошел ближе. С общей помощью Абдул Джавад взвалил жену себе на плечо, а Закария, крепко зажав ее дергающиеся под чадрой ноги, сказал:

— Давай, Абдул Джавад, ступай вперед! Не бойся, друг! Иди.

Сын старосты вместе с другим молодым парнем зашли в воду и двинулись к баркасу по обе стороны от Абдул Джавада. Абдул Джавад быстро зашагал по воде, подымая брызги, летевшие в лицо Закарии. Закария шел, держа над головой ноги больной, и каждый раз, когда она стонала или вскрикивала, отворачивался и крепче стискивал руки.

— Как бы она из баркаса в море не выпала! — сказал Мухаммад Ахмад Али Мухаммаду Хаджи Мустафе.

— Да не волнуйся ты! Даст бог, ничего такого не случится,— успокоил его Мухаммад Хаджи Мустафа.

Староста заметил:

— Зря Абдул Джавад везет ее к Исхаку. Он все же еврей, душа у него нечистая.

— Будет тебе, староста,— возразил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Нам с тобой до этого дела нет. Тут муж распоряжаться должен. К кому захочет, к тому и повезет. Абдул Джаваду вот захотелось к Исхаку жену свезти. Глядишь, бог поможет, исцелит ее.

— Эй, староста! Хаджи Мустафа! — вскрикнул Мухаммад Ахмад Али.— Глядите, как они ее несут! Как будто в гроб кладут!

Стоявшие на берегу молча наблюдали, как Абдул Джавад и Закария приблизились к баркасу. Сын старосты и второй парень крепко держали больную с двух сторон, а Абдул Джавад и Закария подняли

ее над баркасом, как поднимают покойника перед тем, как положить в гроб.

Закария крикнул стоявшим на берегу:

— Скажите, чтобы мать Абдул Джавада тоже в баркас села!

Мухаммад Ахмад Али вошел в воду и подтянул к берегу маленькую жестяную лодчонку. Мать Абдул Джавада села в нее, и Мухаммад Ахмад Али, пятясь, потянул лодчонку в море, следя, чтобы она не перевернулась. Когда все уселись в баркас, староста громко крикнул с берега:

— Эй, Абдул Джавад! Эй, Закария! Исхак этот — бессовестный! Если вдруг увидите, что он с вас последнюю рубаху снять хочет, смотрите не будьте ишаками!

Никто ему не ответил. С моря доносился звон цепей.

## III

Когда они причалили в Гурзэ, начинался прилив. Воздух был спокоен, но море волновалось. Мухаммад Ахмад Али и Закария сходили в деревню и вернулись оттуда на арбе с резиновыми колесами, в которую были впряжены два осла. Жену и мать Абдул Джавада посадили на арбу, туда же сел и возница, а мужчины пошли рядом. От кромки моря они поднялись к дороге, ведущей в деревню. Жители деревни сидели на улице у своих домов, когда арба въехала в селение и остановилась на площади. Какой-то мужчина в зеленой чалме[1] вынес из дома кувшин воды. Закария, Абдул Джавад и сын старосты напились, Мухаммад Ахмад Али пить не стал. Они опять двинулись в путь и миновали улочку, с одной стороны которой стояли глиняные дома, а с другой — была стена со множеством зубцов. Дорога пошла в гору. Возница слез с арбы и зашагал рядом с мужчинами.

Закария спросил:

— Деревню мы уже прошли. Где же его дом?

— Вон, за крепостью,— ответил возница.

— В степи? — удивился Закария.

— Да, он там себе место нашел и дом построил.

— В деревню не выходит?

— Нет, все время дома сидит.

— Кто же ему дома прислуживает?

— Двое черных: мужчина и женщина.

— Они тоже евреи?

— Нет, они с островов. Мужчину зовут Хамиз, а женщину — Хаджер.

— А больных он где смотрит?

— Вокруг его дома шалашей понаставили, туда больных и кладут.

— Ну и как? Поправляются?

— Конечно же поправляются!

Закария спросил:

— Он наш язык знает?

— А как же! — ответил возница.

Они замолчали и больше уже не разговаривали. Им пришлось еще идти и идти, пока, наконец, они не добрались до крепости. Это было развалившееся строение с источенными ветром и позеленевшими каменными стенами. Из крепости доносилось звякание цепей и слышал-

[1] Зеленую или черную чалму в Иране носят мусульмане, называющиеся «сеидами» и, по преданию, происходящие из семейства пророка.

ся кашель ребенка. Они обошли крепость и попали в ровную низину у берега моря, где находился дом Исхака.

Со всех сторон дом окружали старые дырявые шалаши, занавешенные холщовыми лохмотьями. В некоторых шалашах сидело по одному или несколько человек, и сквозь щели соломенных стен угадывались ноги и головы. Арбу поставили перед домом. Закария и возница помогли Абдул Джаваду взвалить жену на плечо и постучали в дверь. Им открыл негр-старик в белых штанах. На шее у него был металлический ошейник.

Возница спросил:

— Исхак не спит?

— Не спит,— ответил негр.

— Мы больную привезли,— сказал возница.

Оглядев стоявших у двери, старик распорядился:

— Заносите сюда,— и показал на внутренний дворик дома.

Первым вошел Абдул Джавад, за ним — Закария и остальные. Возница и Мухаммад Ахмад Али вошли последними.

Дворик был четырехугольный и совсем маленький. В стене дома, выходившей сюда, было две узкие двери, на одной из которых висел замок. Никаких окон в стене не было. Абдул Джавад опустил жену на каменную тумбу. Старый негр через незапертую дверь прошел в дом.

Закария сказал:

— Абдул Джавад, проверь-ка, как там твоя жена. С тех пор как с баркаса сошли, она и не пошевелилась ни разу.

Абдул Джавад сделал знак матери. Мать Абдул Джавада раздвинула складки чадры больной, нагнулась и, посмотрев, покачала головой, давая понять, что ничего не случилось. Все уселись на землю, только Мухаммад Ахмад Али так и остался стоять. Негр вышел во дворик и сказал:

— Несите ее в дом.

Закария и Абдул Джавад подняли больную и отнесли в дом. Остальные продолжали сидеть на земле. Возница посоветовал Мухаммаду Ахмаду Али:

— Ты бы тоже присел.

Мухаммад Ахмад Али сел и спросил:

— А что с ней сейчас делать будут?

— Одному богу известно. Мне откуда знать? — ответил возница.

Мухаммад Ахмад Али показал на комнату за приоткрытой дверью и спросил:

— Он там?

— Он за той дверью, на которой замок,— ответил возница.

— Как же так? Замок тогда для чего?

Сын старосты сказал:

— А тебе какое дело? Сейчас черный пойдет и приведет его сюда.

— Эти две комнаты соединены между собой,— объяснил возница.

Закария высунул из-за двери голову и позвал мать Абдул Джавада. Мухаммад Ахмад Али в страхе огляделся по сторонам и начал читать молитву. Мать Абдул Джавада встала и с трудом протиснулась в комнату через приоткрытую дверь. В комнате было темно и пахло сыростью. На земле было разостлано несколько циновок. В верхней половине стены, разделяющей две комнаты, было пробито оконце, закрытое красной занавеской. Под этим оконцем было еще одно, через которое можно было на четвереньках проползти во вторую комнату. В дальнем углу сидела старая негритянка. В руках у нее был большой нож, а рядом стояло ведро с водой, откуда она вынимала крупных живых крабов и клала на лежавший перед ней измазанный кровью

камень. Она выжидала, пока крабы начинали шевелить клешнями, и тогда, хихикая, ударом ножа разрубала их пополам и смотрела, как постепенно разрубленные половинки переставали двигаться. Затем она подбирала неподвижные куски и бросала их в большой кувшин. В другом углу комнаты была набросана куча сена, под которой что-то беспокойно шевелилось. Время от времени старуха отрывалась от своего занятия, вставала, брала лежавшую под рукой палку и несколько раз ударяла по сену. Потом она возвращалась в свой угол и снова садилась, а шевеление под сеном замирало.

Больной развязали руки и ноги. Старый негр собрал цепи, выкинул их во двор, вернулся в комнату и подошел к занавешенному оконцу. Несколько секунд он постоял в раздумье, поглядывая на мужчин. Они заерзали под его взглядом и начали поправлять на себе одежду. Негр постучал одним пальцем по раме оконца. С другой стороны раздался глухой низкий кашель. Негр уселся на землю и обхватил колени руками. Под сеном опять что-то зашевелилось. Все ждали. Голос из темноты спросил:

— Что там еще?

Негр ответил:

— Женщину одну привезли.

— Больна?

— Очень даже больна,— ответил негр.

Стоявшие в комнате теснее прижались друг к другу. Стало слышно, как крабы царапают стенки ведра. Старуха ударила палкой по ведру, и царапание прекратилось. На четвереньках старуха подползла ближе и села рядом с мужчинами. Еще через несколько секунд красная занавеска медленно поплыла вбок, и в оконце показалось худое и очень длинное лицо старика с большой белой бородой. Абдул Джавад попросил Закарию:

— Слушай, Закария, если он что-нибудь спросит, ты отвечай вместо меня. Ладно?

— Ладно, отвечу,— согласился Закария.

Глаза и рот старика прятались за густыми седыми волосами.

— Где здесь больная? — спросил он.

Закария показал на жену Абдул Джавада.

— Подтащите ее к стене, я взгляну.

Мужчины подтащили неподвижно лежавшую на полу женщину к стене.

— А она не умерла? — спросил старик.

— Нет, не умерла. В баркасе сознание потеряла,— ответил Закария.

— Откуда ты знаешь, что не умерла?

— Дышит она.

Старик громко приказал:

— Эй, Хамиз, посмотри, жива она или нет!

Хамиз на четвереньках подполз к больной и сделал рукой знак старухе. Вдвоем они уложили больную так, что теперь она лежала на земле, вытянувшись во весь рост. Хамиз измерил пядями неподвижное тело жены Абдул Джавада и что-то шепнул старухе на ухо. Потом он подошел к оконцу и сказал:

— Жива.

Старик засмеялся и произнес:

— Очень хорошо.

Затем он задернул занавеску и исчез. Хамиз и Хаджер радостно запрыгали и расцеловались.

— Что такое? С чего это они вдруг? — спросил Абдул Джавад.

— Невдомек мне,— ответил Закария.

— Тс-с-с, не разговаривайте! — буркнул Хамиз.

— Почему? — удивился Закария.

— Он думает! — ответил Хамиз и показал на занавеску.

— Ну что ж, пусть думает,— ответил Закария.

Все притихли. Занавеска вновь отодвинулась, и в оконце показалась голова старика. На этот раз у него в руках был кальян. Старик часто затягивался и пускал в комнату густой дым.

Закария повернулся к Абдул Джаваду:

— Смотри, что сейчас делать будет!

— Тише! Не разговаривайте! — одернул его Хамиз.

Старик, зажав в кулаке мундштук кальяна, спросил:

— Деньги принесли?

Абдул Джавад вынул мешочек с деньгами и отдал Закарии.

— Принесли,— ответил Закария.

— Дай-ка взгляну,— сказал старик.

Закария отдал мешочек Хамизу, а тот передал его старику. Старик взвесил мешочек на ладони.

— С такими деньгами проку не будет.— Он швырнул мешочек в комнату и задернул красную занавеску.

В ведре заскреблись крабы.

— Что теперь делать? — спросил Абдул Джавад.

— Не знаю,— ответил Закария.

— Закария! Хочешь не хочешь, а надо во что бы то ни стало его уговорить. Если у тебя есть с собой деньги, дай мне, а, когда вернемся в деревню, я тебе отдам.

Закария достал мешочек с деньгами и положил его на мешочек Абдул Джавада. Хамиз постучал по оконцу. Занавеска поползла вбок, и появилось лицо старика. Он взял оба мешочка, покачал их на ладони и ухмыльнулся. Закария и Абдул Джавад переглянулись.

Старик спросил:

— Сколько вас тут?

— Да человек семь-восемь,— ответил Закария.

Старик приказал Хамизу:

— Отведи их в большой шалаш.

Голова старика исчезла, и занавеска задернулась.

Хамиз открыл створки нижнего оконца, а Хаджер торопливо принесла из дальнего угла кувшин с разрубленными крабами и на четвереньках заползла в комнату старика.

## *IV*

Шалаш был весь в дырах, и с моря его продувал холодный ветер. Воздух и море были неспокойны. Все вокруг дышало тревогой: и большие волны, бившиеся в темноте ночи, и сильные порывы ветра, подминавшие водяные гребни, и звон цепей, раздававшийся со всех сторон. Из ночного мрака слышался чей-то смех; сдавленный кашель несся из шалашей; все вокруг тонуло в темноте.

Иногда появлялась луна, и тогда из шалашей высовывались головы, оглядывались по сторонам и снова исчезали.

Жена и мать Абдул Джавада лежали на каменной плите посреди шалаша. Остальные спали сидя. Не спалось только Мухаммаду Ахмаду Али. Он ходил по шалашу взад-вперед и каждый раз, как появлялась луна, высовывал голову наружу и смотрел по сторонам.

Среди ночи завыванья ветра усилились настолько, что проснулся и Закария. Он выпрямился и спросил у Мухаммада Ахмада Али:

— Ты почему не спишь?

— Не дают мне уснуть никак.

— Кто?

Мухаммад Ахмад Али показал рукой на выход. Закария высунул голову из шалаша. Мимо проезжала арба, двигаясь в сторону деревни. Закария повернулся к Мухаммаду Ахмаду Али:

— Кто это был?

— Страшно мне,— сказал Мухаммад Ахмад Али.

— Что ж тут страшного? Чего ты боишься? Подымайся, выйдем на улицу. Увидишь, что все спокойно.

Они вышли. Резкие порывы ветра обрушивались на шалаши, тряся и раскачивая лохмотья занавесок.

— Ну что, Закария? Куда пойдем? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

— Пошли к морю.

Они долго шли и, дойдя наконец до воды, двинулись вдоль берега. Фиолетовые искры и огоньки, вспыхивавшие в накатывавшихся друг на друга волнах, расцвечивали море.

Медленно шагая по берегу и разглядывая море, Закария и Мухаммад Ахмад Али приблизились к дому Исхака. Мухаммад Ахмад Али шел, с трудом переставляя ноги и прячась за спину Закарии. Неожиданно он вскрикнул:

— Эй, Закария! Смотри-ка! — и показал на горизонт.

Закария остановился.

— Что там?

— Корабль! Точно гора! Когда же он приплыл? Откуда?

Закария пристально вгляделся и сказал:

— Совсем ты сдурел. Это не корабль, волны это.

Мухаммад Ахмад Али успокоился. Они опять пустились в путь. Еще через несколько шагов Мухаммад Ахмад Али снова вскрикнул:

— Эй, Закария!

— Ну что тебе опять? Чтоб тебя!..

— Сейчас-то видишь?

Закария взглянул на море и увидел большую лодку, приближавшуюся к берегу. Притаившись за стоявшим на берегу шалашом, Закария и Мухаммад Ахмад Али смотрели, как лодка медленно причалила. Они увидели, как на берег сошел Исхак-лекарь. Длинное белое одеяние окутывало его высокую фигуру. Следом за ним появились Хамиз и Хаджер и подняли со дна лодки тяжелый предмет, похожий на человеческий труп с болтающимися руками и ногами и длинной странной головой.

Закария и Мухаммад Ахмад Али, пятясь, отошли подальше и кружным путем возвратились в свой шалаш.

В шалаше было тепло. Все спали. Только возница, проснувшийся среди ночи, сидел и курил.

## V

Как только взошло солнце, за больной к шалашу пришли Хамиз и Хаджер.

Никто уже не спал. Мать Абдул Джавада поила больную водой.

Хаджер спросила:

— Встали?

— Встали уже,— ответил возница.

— Несите ее,— распорядилась Хаджер.

— Куда нести? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

— Несите! Он хочет начать,— сказал Хамиз.

— Разве он уже проснулся? — спросил возница.

— Он всегда на ногах, никогда не спит,— ответил Хамиз.

Мухаммад Ахмад Али незаметно подтолкнул Закарию. Тот обернулся и посмотрел на Мухаммада Ахмада Али. Теплый ветер раскачивал шалаш, снаружи неслись запахи солнечного утра.

Хаджер и Хамиз вошли в шалаш и оглядели приезжих. Хаджер сказала:

— Скорей! Торопитесь!

— Если опоздаете, у него настроение испортится и он для вас ничего больше не сделает,— предупредил Хамиз.

— Почему же ничего не сделает? — спросил Закария.

— Почему, почему! Привычка у него такая! Стар уже стал, терпения у него не хватает,— ответил Хамиз.

Закария и Абдул Джавад переглянулись и встали. Абдул Джавад взвалил больную себе на плечо и вышел из шалаша. Закария и остальные пошли следом.

Мухаммад Ахмад Али сказал:

— Закария! Я лучше не пойду. Зачем мне туда идти? Я здесь останусь, шалаш покараулю.

— Ничего здесь караулить не нужно,— заметил возница.

— Ладно, сиди себе тут,— разрешил Закария.

Мухаммад Ахмад Али сказал вознице:

— Ты бы тоже не ходил. Чего тебе там делать? Посиди здесь со мной!

— Нет, мне надо пойти. Посмотрю, что да как,— ответил возница и пошел за остальными.

За ночь ветер нанес песчаный холм между их шалашом и домом Исхака, и им пришлось сделать круг, обходя холм стороной. Двор Исхака был заставлен большими хумами[1] и сосудами причудливой формы; на земле валялись ремни и цепи, рядом стояло несколько ведер и два пустых гроба. На одной из каменных плит был разожжен большой костер. Абдул Джавад и Закария внесли больную в дом, а остальные уселись во дворе. Мать Абдул Джавада хотела было войти в дом, но Хаджер сказала ей:

— Ты не ходи. Женщин он не пускает.

— А почему же тебе можно? — спросила мать Абдул Джавада.

— Я — черная, и ему прислуживаю.

Мать Абдул Джавада пошла в тень и села между возницей и сыном старосты. Хаджер и Хамиз вошли в дом и закрыли дверь.

Абдул Джавад и Закария уложили больную на пол комнаты, а сами сели. В комнате было полно больших и маленьких медных сосудов, ножей и кинжалов, чаш из скорлупы кокосового ореха, разной величины курильниц. У стены стоял широкий медный таз, наполненный раскаленными углями. Хаджер подошла к тазу, поворошила угли и бросила в поднявшееся пламя горсть какой-то сухой травы. Комната наполнилась резким запахом. На полу за головой больной расстелили белую скатерть. Хаджер принесла низенькую табуретку и поставила в изголовье больной.

Закончив приготовления, Хаджер подала знак Хамизу. Хамиз постучал по раме оконца и сел у стены. Красная занавеска ушла вбок, и появилась голова Исхака. Он обвел глазами комнату, засмеялся и задернул занавеску. Хаджер сделала знак Хамизу. Он открыл нижнее оконце, а потом отполз в сторону и уселся в углу. Закария и Абдул Джавад нагнулись, пытаясь заглянуть в комнату Исхака. Хамиз жестом показал им, чтобы они не делали этого. Они снова сели прямо.

---

[1] Глиняные кувшины емкостью в несколько десятков литров.

Через несколько мгновений Исхак на четвереньках вполз сквозь нижнее оконце в комнату, поднялся на ноги и выпрямился во весь рост. Он был одет в длинное белое одеяние, волочившееся по земле. Множество морщин скрывало его глаза. Расчесанная борода доходила ему до пояса. Закария и Абдул Джавад встали и отошли в угол. Исхак медленно прошел вперед и, широко расставив ноги, сел на табуретку, стоявшую на расстеленной скатерти. Он подал знак. Хаджер и Хамиз подтащили больную вперед и положили на скатерть. Хаджер раздвинула чадру больной и сняла с ее лица покрывало. Глаза женщины были открыты и изумленно разглядывали потолок. Исхак нагнулся и посмотрел ей в глаза. Больная застонала и задергалась. Исхак подал знак Хаджер, и та принесла небольшую кропильницу с розовой водой и капнула несколько капель на губы больной. Женщина вздрогнула и сжала ноги. Исхак улыбнулся. Хамиз подполз к Хаджер. Хаджер вложила в руку Исхака большие ножницы.

Исхак срезал прядь волос с правого виска больной. Хаджер протянула руку и, достав из медного сосуда большого живого краба, положила его на обнаженный висок. Какое-то время краб не двигался. Когда влага на панцире стала подсыхать, он медленно вытянул длинные клешни и вонзил их в висок. Хаджер посыпала краба солью, и краб задергался.

— Что он собирается делать? — спросил Абдул Джавад.

Исхак обернулся и сердито посмотрел на него. Хамиз и Хаджер поднялись, открыли дверь и выгнали Закарию и Абдул Джавада из комнаты. Они вышли во двор и сели рядом с возницей. Мать Абдул Джавада спросила:

— Что он с ней делает?

Закария пожал плечами. Мать Абдул Джавада снова спросила:

— Видели, что он с ней делает?

— Делом занят,— сказал Абдул Джавад и спрятал голову между коленями.

Все во дворе прислушались. Было слышно, как в комнате что-то раскалывали. Открылась дверь, и во двор вышел Хамиз. Рукава его рубашки были закатаны. Он подошел к одному из больших хумов, поднял крышку и понюхал, потом открыл другой хум, опять понюхал, наполнил миску черной жидкостью, пошел обратно в комнату и снова закрыл дверь.

— Что это он налил? — спросила мать Абдул Джавада.

— Не знаю я,— ответил Абдул Джавад.

— А ты, Закария? Ты тоже не знаешь?

— Наверно, для дела ему нужно,— предположил Закария.

Из комнаты послышался стон жены Абдул Джавада.

Мать Абдул Джавада сказала:

— Абдул Джавад, встань, сходи посмотри, что он с ней делает!

— Он нас туда не пускает,— ответил Абдул Джавад.

Дверь комнаты открылась. Оттуда вышла Хаджер. Она проворно схватила широкий нож и высокий длинный сосуд и снова скрылась в комнате, закрыв за собой дверь. Из комнаты раздались кашель и смех. Кто-то запел. Было слышно, как захихикала Хаджер, а вслед за этим закашлял мужчина.

— О, господи милостивый и справедливый! — выговорил Абдул Джавад.

Снова раздался стон. Мать Абдул Джавада начала плакать.

— Не плачь, не подымай шума! — сказал Абдул Джавад.

Дверь комнаты открылась. Вышел Хамиз с белой тряпкой в руках. Он снял крышку с одного из хумов, намочил тряпку желтой жидкостью, вернулся в комнату и вновь закрыл дверь.

Море шумело, и во двор со всех сторон несся тяжелый угрожающий гул. В воздухе чувствовалось напряжение, все вокруг подрагивало, и тем, кто был во дворе, казалось, что они плывут на корабле и их укачивает.

— У меня голова кружится,— пожаловалась мать Абдул Джавада.

— Ты приляг, все пройдет,— посоветовал ей Закария.

— Не могу.

— Ну, если не можешь, то и не ложись,— сказал Абдул Джавад.

Мать Абдул Джавада спросила:

— Почему до сих пор ничего нам не сказали?

— Сколько часов это длится? — спросил Закария у возницы.

— Я не знаю. Кроме него самого, никто не знает,— ответил возница.

Во двор вышли Хаджер и Хамиз. Хамиз нес медный таз с потухшими, засыпанными золой углями. Он высыпал содержимое таза на землю у каменной плиты, а Хаджер, взяв в руки щипцы, наполнила таз свежими полыхающими углями. Затем они вернулись в комнату. Море ревело громче, воздух дрожал сильнее... Ветер поднял во дворе густую пыль. Вопль жены Абдул Джавада заставил всех вскочить на ноги. Мать Абдул Джавада заплакала, а возница ушел на улицу.

Прошло несколько минут. Хаджер и Хамиз вышли во двор, подняли один из гробов и понесли его в комнату.

## VI

Ближе к вечеру шторм затих, море успокоилось, и показалась луна. Они вышли из шалаша и уселись на песок, ожидая возницу, чтобы, когда он вернется из деревни, отправиться в обратный путь. Мухаммад Ахмад Али лежал в шалаше. У него был жар. Другие шалаши опустели. Послеполуденный ветер снес многие из них и раскидал обломки по песку вдоль берега.

Они сидели и глядели на море, как вдруг на горизонте показался огромный корабль со светящимися глазами окон. Он был украшен разноцветными флагами, на палубе с двух сторон стояли большие медные пушки. Из дома выбежали с бубнами Хаджер и Хамиз и принялись плясать и петь. Закария подошел к ним и, взяв Хамиза за плечо, спросил:

— Что случилось? Откуда этот корабль? Зачем он идет сюда?

Дрожа от радостного возбуждения, Хамиз ответил:

— Из Иерусалима прибыли. Исхака увозят.

С корабля раздалось несколько пушечных залпов.

# *История четвертая*

## I

Под вечер Салех Камзари и сын старосты отправились на небольшой лодке в море. Они плыли вдоль берега и подбирали дрова — многочисленные обломки деревьев, пригнанные вчерашним штормом. Подталкивая дрова сломанным веслом ближе к лодке, Салех сказал сыну старосты:

— Никак мне море не понять. Его настроение никогда не разберешь! Вот сейчас если бы всей общиной уселись и подумали, все равно бы не догадались, откуда столько дерева сюда нанесло. Да-а, есть в море какая-то загадка, очень оно себе на уме. Один день пустое, другой — полное, то в нем ничего не найдешь, а то — все что хочешь есть. Можно подумать, шутит оно с человеком. Сейчас вон сколько дерева на воде, а через минуту и щепки не будет!

— Потому и говорят, что море человеку не понять,— заметил сын старосты.

— Как подумаешь, так ясно становится, что все, что на суше есть, из моря пришло... Море страха не знает, ничего не боится, а его все боятся.

Потеряв терпение, сын старосты сказал:

— А тебе-то что до этого? Собирай себе дрова, пока есть, и много не разговаривай!

Обидевшись, Салех положил весло на собранные дрова и собрался закурить. Взгляд его скользнул по берегу, и неожиданно он вскрикнул:

— Э! Посмотри-ка туда!

Сын старосты оглянулся и увидел, как, удаляясь от деревни, по берегу большими шагами шел мальчик, совсем малыш.

— Видишь? — спросил Салех.

— Чей это ребенок?

— Не знаю. Совсем как взрослый шагает.

— Далеко как от деревни ушел! Может, он не из нашей деревни?

— Чей же он тогда?

— Бог его знает. Может быть, цыган или, может, городских.

— Каких таких цыган? Не время им еще здесь быть.

Сын старосты спросил:

— Ну, и что же с ним делать? Ты что скажешь?

— Давай возьмем его с собой.

— Нам сейчас лодку на берег не вытащить.

Салех решил:

— Ты прыгай в воду и плыви к берегу, а там его заберешь.

Взяв весло, Салех оттолкнул подальше от лодки скопившиеся вокруг дрова. Сын старосты снял рубашку и нырнул. Отодвигая от себя дрова и высоко задрав голову, он быстро поплыл к берегу. Салех уселся на кучу дров и глядел, как сын старосты плывет наперерез мальчику, по-прежнему размашисто шагающему по берегу.

Когда сын старосты вышел из воды, от мальчика его отделяло всего несколько шагов. Ребенок был одет в тонкую двухцветную рубашку. Его курчавые волосы и нежная тонкая кожа блестели на солнце. Он держал под мышкой большую кость и, не обращая внимания на шум за спиной, шел вперед большими шагами.

Сын старосты свистнул. Мальчик, не оборачиваясь, ускорил шаг. Сын старосты тоже пошел быстрее, описал полукруг и преградил ребенку дорогу. Увидев его, мальчик остановился. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

Сын старосты, глядя на круглое большеглазое лицо ребенка, спросил:

— Куда это ты, друг, шагаешь?

Мальчик ничего не ответил. Сын старосты спросил:

— Ты чей?

Мальчик осторожно отошел назад. На его лице был страх.

— Боишься? Чего же ты боишься?

Мальчик остановился и нахмурился. Чтобы ребенок перестал его бояться, сын старосты засмеялся. Мальчик внимательно оглядел его

с ног до головы и переложил кость из-под мышки правой руки под мышку левой. Сын старосты опустился на колени в песок. Он медленно раскрыл руки, осторожно обнял мальчика и вместе с ним поднялся на ноги. Они посмотрели друг другу в глаза. Сын старосты спросил:

— Ты откуда идешь?

Ребенок ничего не ответил.

— А куда идешь?

Мальчик поджал губы.

— Ты чей? Кто твой отец?

Мальчик заулыбался. Сын старосты тоже улыбнулся и спросил:

— Что у тебя под мышкой?

Мальчик отвернулся и стал смотреть на глухо рокочущее море.

— Что, говорить не умеешь?

Мальчик снова нахмурился и поджал губы.

— Ну ладно, ладно. Не мое это дело. Не хмурься!

С моря раздался голос Салеха:

— Э-э-эй! Эй!

Сын старосты повернулся и крикнул:

— Что тебе?

Салех показал ему, чтобы он возвращался в лодку. Сын старосты посадил мальчика себе на плечи и вошел в воду. Он сделал несколько шагов вперед и поплыл. Мальчик крепко держался за его голову и перебирал в воде ногами.

Когда они подплыли к лодке, Салех нагнулся и поднял мальчика на борт. Сын старосты подтянулся и тоже влез в лодку. Несколько секунд сын старосты и Салех с удивлением смотрели на ребенка.

— С чего это он такой? — удивился сын старосты.

— Ты на его глаза взгляни! — сказал Салех.

Сын старосты нагнулся и посмотрел.

— Да-а. Один глаз у него одного цвета, а второй — другого.

— Откуда он? — спросил Салех.

— Не разговаривает. Совсем ничего не говорит,— ответил сын старосты.

Салех поднял мальчика и усадил на дрова.

— Что с ним будем делать?

— А что с ним сделаешь?

— Непохоже, что он из нашей деревни. У нас вроде ни у кого нет такого чудно́го ребенка.

— Ты разве всех детей в нашей деревне знаешь?

— Знаю... Так что, говоришь, отвезем его в деревню?

— А что с ним еще делать? В море бросить, что ли?

Они развернули лодку и поплыли к деревне. Море к тому времени пришло в движение и начало уносить дрова от берега.

— Приглядывай за ним, чтобы в воду не свалился,— сказал Салех сыну старосты.

Сын старосты обернулся, поднял заснувшего на куче дров ребенка и уложил на дно лодки.

## II

Когда они подплыли к берегу, все другие лодки уже вернулись из моря. Мужчины и женщины выгружали дрова. Закария и Мухаммад Ахмад Али взвешивали их на больших весах, а староста сидел на перевернутой лодке и перебирал четки.

Когда лодка Салеха и сына старосты подошла к берегу, Салех сошел в воду и взял мальчика на руки, а сын старосты скрутил в

кольцо трос с якорем и закинул его в песок. Потом он спрыгнул в воду и пошел к берегу рядом с Салехом. Абдул Джавад увидел их и крикнул:

— Что, Салех, устал небось?

Неожиданно его взгляд упал на ребенка. Абдул Джавад с удивлением подошел ближе и спросил:

— Эй, Салех, а это еще что?

— Это ребенок,— ответил Салех.

Глаза Абдул Джавада округлились от изумления, и он закричал во все горло:

— Эй, староста! Эй, Мухаммад Хаджи Мустафа! Эй, Захед! Эй, община! Салех с моря ребенка привез!

Все сбежались, столпились вокруг Салеха и сына старосты и оторопело уставились на ребенка, спокойно сидевшего на руках у Салеха.

Абдул Джавад, суетливо подпрыгивая на месте от возбуждения, приговаривал:

— Смотрите-ка! Ребенок!.. Ребенок!

Стоявший поодаль Мухаммад Ахмад Али спросил:

— Из моря мальчик, да? Морской ребенок?

— Одежда на нем, однако, какая?! Нет, не морской он,— решил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Закария, подошедший позже других, протолкался сквозь толпу и подошел к мальчику. Он погладил его по щеке и заметил:

— Кожа-то у него какого цвета! А глаза какие!

— А ну, говорите правду! Где вы его взяли? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Салех ответил:

— Он по воде шел, когда мы его увидели.

— Врет он. Ой и врет же Салех Камзари,— сказал Закария.

— Зачем нам врать? Разве мы не с моря вернулись?! — сказал сын старосты.

— Отвезите его обратно в море,— посоветовал Мухаммад Ахмад Али.— Морской ребенок несчастье приносит.

— Ну хватит, говорите правду, а то, боюсь, Мухаммад Ахмад Али опять свихнется,— сказал Закария.

— Мы его вон в той стороне, на берегу нашли,— объяснил сын старосты.

Все с облегчением вздохнули и подошли поближе.

— Чей же это ребенок? — спросил староста.

— Он не из нашей деревни,— ответил Салех.

— А он, случаем, не цыган? — предположил Закария.

— Цыгане пока еще не появлялись,— сказал сын старосты.

— Тогда чей же он? Откуда сюда пришел? — спросил Закария.

— Никто и не знает. Одному богу известно,— ответил сын старосты.

— Когда вы его увидели, он что делал? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Шел себе по берегу и вперед смотрел, как сейчас,— ответил Салех.

— Он что же, ходить уже умеет? — спросил Абдул Джавад.

— Еще как умеет! — сказал Салех и поставил ребенка на землю. Все отодвинулись, освобождая мальчику дорогу. Ребенок положил кость под мышку и широкими шагами двинулся к деревне. Община пошла следом за ним.

— Ну и диво! Идет-то как! — удивился Абдул Джавад.

— Да... Но вот говорить не умеет,— сказал Салех.

— Как же это так? Ребенок если ходит, то вроде бы и говорить должен уметь,— заметил Закария.

— А этот вот не умеет,— сказал Салех.

— И идет себе, и идет! Пойдите возьмите его,— приказал староста.

Сын старосты подбежал к ребенку, взял его на руки и вернулся к общине. Все расступились. Сын старосты уселся на дрова и поставил ребенка между колен.

Одна из женщин протянула Салеху кусок хлеба.

— Дай ему, пусть поест. Посмотрим, есть умеет или нет.

Салех положил хлеб мальчику на ладонь, и ребенок тотчас же принялся уплетать его за обе щеки. Все облегченно вздохнули и подошли ближе.

— Ну и что же теперь нам с ним делать? — спросил староста.

— Нужно, чтобы кто-нибудь его к себе взял,— сказал Закария.

— Кто же его возьмет? — спросил староста.

— Кто-нибудь, у кого своих детей нет,— ответил Закария.

— В нашей деревне у всех дети есть,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Это не беда,— сказал Абдул Джавад.— Пока что можно его по очереди к себе ночевать брать, а там, глядишь, родители его объявятся.

— Неплохо сказано, Абдул Джавад,— похвалил староста.— Так кто же его сегодня к себе возьмет?

— Сегодня ты его возьмешь. Первую ночь гостю у старосты проводить полагается,— сказал Закария.

Староста немного подумал.

— Хорошо, я согласен.

Солнце уже село, становилось темно. Все поднялись, и Салех Камзари передал ребенка сыну старосты. Община двинулась в деревню. Когда они прошли несколько шагов, Мухаммад Ахмад Али подошел к Салеху.

— Эй, Салех, Закария не хочет, чтоб мне правду говорили, а мне жутко делается. Скажи по правде, откуда вы его взяли?

— А я, по правде-то, и сам не знаю, откуда мы его взяли,— ответил Салех Камзари.

## *III*

Поздно вечером мальчика привели в дом старосты. Жена старосты замесила тесто и напекла лепешек. Староста, его сын и Мухаммад Ахмад Али собрались в кружок вокруг гостя, который сидел у стены, вытянув ноги к стоявшей на полу лампе.

Море волновалось, ветер бился о стены дома. Староста закрыл деревянные ставни окон, чтобы лампу не задуло.

Ужин кончился, и староста спросил:

— А теперь что с ним делать?

— Спать уложим,— ответила его жена.

— Смотри, как он спокойно сидит, как будто и не думает спать идти.

— Если бы он хоть чуть-чуть говорил, может быть, мы что-нибудь и поняли бы,— сказал сын старосты.— А он и не смеется, и не плачет, и не говорит совсем. Плохо это.

— Вовсе это и не плохо,— сказала жена старосты.— Чем ребенок тише да спокойней, тем лучше.

— Чем же это лучше? — удивился сын старосты.

— А по-твоему, было бы лучше, если бы он орал и плакал?

— Лучше бы не было, но и так, как сейчас, тоже нехорошо,— сказал сын старосты.— Сидит себе, точно взрослый, и всех разглядывает... Жутко становится.

Шум ветра усилился, и в это время в дверь постучали.

— Пришел кто-то,— сказала жена старосты.

Сын старосты встал и открыл дверь. На пороге стояли жена и невестка Мухаммада Хаджи Мустафы.

— Благодарение господу! Пожалуйте, проходите! — захлопотала жена старосты.

— Гостя вашего поглядеть пришли,— сказала жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

Женщины вошли в комнату. Они нагнулись и уставились на ребенка, а потом уселись возле лампы. Староста поднялся и ушел спать в умывальную. Мухаммад Ахмад Али отсел подальше.

— Вы его знаете? — спросила жена старосты.

— Нет, я его не знаю,— ответила жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

Невестка Мухаммада Хаджи Мустафы спросила:

— А почему это у него глаза такие?

— Он совсем как взрослый смотрит,— подал голос из угла Мухаммад Ахмад Али.

— И что же вы с ним делать собираетесь? — спросила жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

— Да ничего. Сегодня у нас останется, а завтра его к вам приведем,— ответила жена старосты.

Шум ветра усилился, и в дверь постучали.

— Никак гость пришел?! — удивилась жена старосты.

Сын старосты встал и открыл дверь. За дверью стояли жена и дочь Салеха.

— Добро пожаловать! Входите! — пригласила жена старосты.

— Мы ребенка посмотреть пришли,— сказала жена Салеха.

Вошедшие сели рядом с женой и невесткой Мухаммада Хаджи Мустафы.

— Салех вам рассказывал, как его нашли? — спросила жена старосты.

— Да кое-что рассказал. Я и пришла взглянуть, какой он из себя,— сказала жена Салеха.

— Вы на глаза его поглядите,— сказала невестка Мухаммада Хаджи Мустафы.

Все нагнулись и посмотрели.

— Видите дело рук господних? — спросила жена старосты.

— Откуда он, говорите, взялся? — поинтересовалась жена Салеха.

— А никто и не знает. То ли дитя пустыни, то ли с моря пришел,— сказала жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

— И что же с ним делать собираетесь? — спросила жена Салеха.

— Сегодня он здесь останется, завтра побудет в доме Мухаммада Хаджи Мустафы, а послезавтра к вам отправится,— ответила жена старосты.

Шум ветра усилился, и в дверь постучали.

— Еще один гость пришел,— сказала жена старосты.

Сын старосты встал и открыл дверь. За дверью стояла мать Абдул Джавада.

— Заходи, мать Абдул Джавада, заходи! — сказала жена старосты.

— Салам-алейком,— сказала мать Абдул Джавада.— Зашла по-

смотреть, правду ли говорят, что к вам привели с моря чудно́го ребенка.

— Правду, правду говорят. Гляди себе, пожалуйста,— сказал сын старосты.

Мать Абдул Джавада подошла поближе и нагнулась, рассматривая ребенка. Потом она уселась рядом с дочерью Салеха.

— Видишь, он какой? — спросила жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

— Точно куколка! И не двигается,— сказала мать Абдул Джавада.

— Совсем как взрослый,— сказала невестка Мухаммада Хаджи Мустафы, а Мухаммад Ахмад Али добавил из темноты:

— Ты, мать Абдул Джавада, на глаза его взгляни!

Жена старосты сказала:

— Сегодня он здесь останется, завтра будет гостем Мухаммада Хаджи Мустафы, послезавтра — гостем Салеха, а потом — вашим гостем.

Ветер усилился, и в дверь постучали.

— Ах ты боже мой! Никак еще гость?! — воскликнула жена старосты.

Сын старосты встал и открыл дверь. За дверью не было никого. В комнату ворвался резкий ветер и погасил лампу.

## *IV*

Рано утром, когда солнце уже взошло, а мужчины еще не вернулись с моря, жена старосты привела мальчика к дверям дома Мухаммада Хаджи Мустафы. Жена Хаджи варила для коровы пойло из рыбьих голов и финиковых косточек. Услышав голос жены старосты, она вышла к дверям. Жена старосты поздоровалась и сказала:

— Я тебе, жена Хаджи, гостя привела.

— Горя и хвори тебе не знать! Доброе дело сделала! — отозвалась жена Мухаммада Хаджи Мустафы, взяла ребенка за руку и повела в дом.

— Знала бы ты, что с нами из-за него вчера было! — сказала жена старосты.— Мало того, что сам не спал,— нам вздремнуть не дал. Все ходил себе по дому, щель искал, чтобы сбежать.

— Что же вы с ним сделали?

— Под утро, когда мужчины в море уходили, руки-ноги ему связали и в сундук положили. Я его только сейчас оттуда выпустила и к тебе привела.

— Может, он, не приведи бог, есть хотел?

— Не хотел он есть вовсе, ему ночной ветер в голову ударил. Каждый раз, как ветер налетал, он всякий покой терял и все ему хотелось на улицу сбежать.

Жена Мухаммада Хаджи Мустафы молча посмотрела на жену старосты, потом взглянула на ребенка и сказала:

— Дай бог, чтобы сегодня ночью как следует себя вел!

— Дай бог! — ответила жена старосты, попрощалась и вышла.

Жена Мухаммада Хаджи Мустафы взяла мальчика за руку и отвела под навес. В жестяной лохани закипела коровья похлебка, и во все стороны поплыл горький запах дров и финиковых косточек. Женщина усадила мальчика у стены и подошла к огню помешать варево. Ребенок сидел, не двигаясь и глядя прямо перед собой. Глаза его стали еще больше и, казалось, занимали половину лица.

Жена Мухаммада Хаджи Мустафы присела на землю возле очага и, пристально глядя на ребенка, спросила:

— Что ты так смотришь, малыш?

Мальчик ничего не ответил.

— Здесь сейчас никого нет. Ты мне потихоньку скажи, чей ты, откуда пришел.

Ребенок, не отвечая, встал, подошел к жене Мухаммада Хаджи Мустафы и уселся перед очагом, глядя, как пламя машет короткими крыльями. Жена Хаджи поднялась на ноги, подошла к лохани и, налив немного похлебки на щепку, положила щепку перед мальчиком.

За стеной замычала корова, и ребенок принялся есть.

## V

Поздно ночью в дом к Мухаммаду Хаджи Мустафе постучали. Жена Хаджи поднялась и открыла дверь. У порога ждали двое — цыган и цыганка. Цыган курил, а цыганка сидела в темноте на земле и рылась в большом мешке. Жена Мухаммада Хаджи Мустафы поспешно вернулась в дом и крикнула:

— Эй, Хаджи! За ребенком пришли! Забрать его хотят!

Только что заснувший Мухаммад Хаджи Мустафа поднялся с постели и вышел к двери. Цыгане ждали в узком проходе внутреннего двора.

— Салам-алейком, добро пожаловать! Проходите в дом,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

Цыгане, ничего не ответив, вошли в гостевую. Жена Мухаммада Хаджи Мустафы зажгла лампу и принесла ее в комнату. Цыгане присели у стены. Мухаммад Хаджи Мустафа открыл окна, чтобы в комнате стало попрохладнее, и уселся напротив цыган.

— Ну вот вы и объявились наконец! — сказал он.

Цыган взглянул сначала на Мухаммада Хаджи Мустафу, потом на его жену и засмеялся.

— Что, радуешься ведь? Ну ладно, сейчас мы тебе твоего ребенка отдадим живым-здоровым, домой его заберешь.

Цыган обернулся и посмотрел на цыганку. Они оба засмеялись. Потом цыган спросил:

— Не найдется у вас глотка воды?

Жена Мухаммада Хаджи Мустафы пошла в умывальную и вернулась с большим стаканом воды.

Цыгане напились и поставили пустой стакан рядом с лампой.

— Прошлой ночью он и глаз не сомкнул, а сейчас спит без задних ног,— сказала жена Мухаммада Хаджи Мустафы.— Как решите уходить, я его тотчас и разбужу.

Цыгане переглянулись и ничего не сказали.

— Его Салех Камзари и сын старосты нашли, когда в море ходили,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Салех Камзари? — переспросил цыган, а цыганка отвернулась к стене, и ее плечи затряслись от смеха.

— А вы что, Салеха Камзари знаете? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Нет,— ответил цыган.

— А сына старосты?

— Сына старосты? — снова переспросил цыган и закрыл лицо руками, давясь от смеха.

Мухаммад Хаджи Мустафа тоже засмеялся.

— Значит, и его тоже не знаете?

Цыган и цыганка встали. Жена Мухаммада Хаджи Мустафы сказала:

— Сейчас я вам ребенка приведу.

Она пошла в другую комнату. Не дожидаясь ее возвращения, цыгане открыли дверь и со смехом исчезли в темноте.

## VI

На рассвете жена Мухаммада Хаджи Мустафы привела мальчика в дом Салеха Камзари. Жена Салеха ушла за водой на пруд, дома была дочь Салеха. Она сидела во дворе и пекла лепешки.

Войдя во двор, жена Мухаммада Хаджи Мустафы отпустила руку мальчика и уселась рядом с дочерью Салеха.

— Сегодня ваша очередь. Вот привела его к вам погостить.

— Мать нездорова нынче,— ответила дочь Салеха.— Вряд ли сможет за ним присматривать.

— Она сама так сказала?

— Ветром ее продуло. Как она за ним присматривать будет?

— Тогда ты присматривай! Тебя ведь не продуло,— сказала жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

— Я должна за матерью ухаживать.

— Ну ладно, пусть твоя мать вернется, тогда посмотрим. А пока дай-ка ему кусок лепешки.

Дочь Салеха отрезала кусок лепешки и протянула мальчику. Через несколько минут во двор вошла с кувшином воды жена Салеха.

Жена Мухаммада Хаджи Мустафы сказала:

— Салам-алейком. Я к тебе цыганенка привела погостить. Сегодня твоя очередь за ним присматривать.

— Плохо мне сегодня,— ответила жена Салеха.— Внутри все дрожит, еле двигаюсь... Как я за ним присматривать буду?

— Если сама не можешь, пусть твоя дочь за ним смотрит, Салех пусть приглядывает.

— А может, он и сегодня у вас переночует?

— Никак нельзя. Ты бы знала, жена Салеха, что с нами вчера ночью из-за него приключилось!

— Что такое?

— Среди ночи к нам в дверь цыгане постучались, зашли в дом, воды попросили. Мы думали, они родители ребенка, а они его не взяли и ушли. А ребенок, когда они ушли, проснулся и давай себе бродить, а на нас на всех страх нашел. А он все ходил и ходил, а дом, как катер на воде, дрожал, и нас тоже трясло.

— И что же вы делали-то? — спросила дочь Салеха.

— А мы друг друга окликали. Я звала Хаджи, он — сына, а потом я — их обоих.

— А ребенок что? — спросила жена Салеха.

— Да ничего. Все бродил себе и бродил по комнате.

— Ты как думаешь, кто все это подстроил? — спросила дочь Салеха.

— Думаю, цыгане это,— ответила жена Хаджи.

Женщины замолчали. Было слышно, как на берегу кто-то играл на сазе и весело покрикивали чьи-то голоса.

# VII

Вечером староста, Мухаммад Хаджи Мустафа и Салех отвели мальчика к Захеду. Захед сидел в темноте перед хижиной и жевал килию.

Староста громко сказал:

— Эй, Захед, салам-алейком! Гостя к тебе привели.

— Алейком-ассалам! Добро пожаловать! Хорошее дело сделали,— ответил Захед.

— Гость тебе не в тягость будет,— сказал Салех.— Ест немного, места мало занимает.

— Да какой гость ни будь, все одно — сердцу хозяина всякий гость мил.

Староста подтолкнул ребенка к Салеху и добавил:

— Ну, а этот гость совсем крошка!

— Что ж, староста, в этом плохого ничего нет,— ответил Захед, посадил ребенка к себе на колени и, достав из кисета горсть килии, протянул ее мужчинам.— Килии хотите?

Салех взял щепотку килии и заложил за щеку, а Мухаммад Хаджи Мустафа сказал:

— Велика твоя доброта!

Мужчины быстро ушли. Захед повернулся к ребенку и взглянул на него. Глаза мальчика ярко блестели и освещали его личико. Под взглядом Захеда ребенок нахмурился.

— Что ты хмуришься? Я тебе не нравлюсь? Что ж поделаешь — я никому не нравлюсь! Потерпи как-нибудь один день. Ты ведь тоже вроде меня. А правда, зачем ты на свет появился? А? Впроголодь жить? В хижине спать? С ветрами дружить? Для одержимых и порченых в барабан бить?

Мальчик встал на ноги. Захед засмеялся.

— Терпения у тебя не хватает все это слушать, да? Куда же ты собрался? Не ходи, кругом темнота, а у меня лампы нет, чтобы тебе посветить.

Мальчик пошел прочь от хижины. Захед забежал вперед и, расставив руки в стороны, сказал:

— Ну чего ты хочешь? Хочешь уйти и заблудиться? Хочешь, чтобы в темноте с тобой несчастье случилось? Упадешь вот в пруд Айюба и утонешь! Ты сегодня у меня в гостях, потерпи уж, а то завтра что я людям скажу? Не смог, скажу, такого малютку гостя уберечь?!

Ребенок сел на землю. Захед тоже уселся напротив, и они уставились друг на друга. С пруда Айюба слышался непонятный шум, как будто кто-то бил по воде руками и ногами.

— Сегодня ночь очень недобрая, слышишь? Вставай, пойдем в хижину!

Мальчик встал и бросился наутек. Захед поднялся и пошел за ним по пятам, тыкая расставленными рогаткой пальцами в тени, мелькавшие в темноте перед его глазами, и приговаривая:

— Куда же ты уходишь? Что ты задумал? Постой! Я тебе хлеба дам, воды... печенья дам. Ты мне сыном будешь. Постой! Подожди.

Так они дошли до пруда Айюба. Захед прыгнул вперед, поймал мальчика и взял его на руки. Из пруда послышался смех.

Тяжело дыша, Захед забормотал:

— Ты ведь не понимаешь, что делаешь! Сейчас мы с тобой в хижину пойдем, я для тебя на барабане поиграю, да? А ты мне слово дай, что больше никуда не убежишь, а не то я тебя свяжу по рукам и ногам, положу в самый большой барабан и в темном месте подвешу.

## VIII

В полдень Мухаммад Ахмад Али пришел к дому Закарии. Закария сидел во дворе и вязал сеть. Мухаммад Ахмад Али с улицы окликнул Закарию. Тот поднял голову, выглянул в оконце в стене и сказал:

— Заходи!

Мухаммад Ахмад Али вошел во двор и поздоровался.

— Что это тебя принесло сюда в это время дня?

Мухаммад Ахмад Али снял чалму.

— Да вот зашел посмотреть, что ты делаешь.

— Сеть вяжу.

— Давай я тоже вязать буду.

Закария протянул ему другой конец сети и моток бечевки.

Мухаммад Ахмад Али, натягивая сеть себе на колени, сказал:

— Ты послушай меня, Закария.

— Что тебе?

— Сейчас в мечети после намаза никто не захотел ребенка на сегодняшнюю ночь к себе взять.

— Ну и что же с ним будут делать?

— Да ничего... На улице оставят.

— А ты-то что хочешь?

— Так ведь, если его на улице оставят, он ночью непременно ко мне придет.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, и все тут. Обязательно ко мне придет, Закария.

— И что же ты собираешься делать?

— Не могу я поэтому дома оставаться. К морю хочу пойти.

— А у моря что тебе делать?

— Я в лодке Мухаммада Хаджи Мустафы переночую.

— Сегодня погода плохая, штормит.

— Что же мне тогда делать? В мечеть я спать не пойду — порченым станешь...

— Ты к Захеду пойди,— посоветовал Закария.

— Нет, к Захеду тоже не пойду — он среди ночи встает и в барабан бьет...

— К кому же ты хочешь пойти?

— Не к кому мне идти, Закария. Вот если бы ты разрешил, я бы к тебе пришел, посидел бы до утра в умывальной, сеть бы тебе вязал.

— Ладно уж, приходи ко мне,— согласился Закария.— Кальян тебе приготовлю, а сетью ты не занимайся. Сиди себе, только спокойно, шума не подымай.

— Слово тебе даю, Закария... Даже плакать ночью не буду.

## IX

На закате Мухаммад Ахмад Али пришел домой к Закарии и заперся в умывальной. Салех Камзари и сын старосты тем временем привели ребенка к мечети. Они насыпали ему в подол рубашки печенья, а когда мальчик принялся есть, потихоньку отошли от него и скрылись. Через несколько минут все двери в деревне захлопнулись.

Ночь была тревожной. Что-то сотрясало море, и вода бурлила. Мальчик встал и пошел прочь от мечети. Сначала он пришел к дому старосты и поскребся в дверь. Притаившиеся за дверью староста и

его жена принялись молиться. Мальчик пошел дальше и пришел к дому Мухаммада Хаджи Мустафы. Жена Хаджи, прячась за дверью, пригрозила ребенку и осыпала его бранью.

Мальчик отправился к дому Абдул Джавада. Сидевшая на крыше мать Абдул Джавада позвала сына. Абдул Джавад поднялся на крышу и вылил ребенку на голову кувшин воды.

Странный гул покатился по деревне — казалось, что кто-то рвется из глубины, раздвигая пласты земли.

Мухаммад Ахмад Али, лежавший в умывальной Закарии, в ужасе прижался лицом к полу.

Из-за пруда Айюба громко забил барабан Захеда.

## X

Утром ребенка нашли в хижине Мухаммада Ахмада Али и привели к мечети. Абдул Джавад сходил за старостой и Мухаммадом Хаджи Мустафой. Община собралась в кружок у мечети. Небо было затянуто облаками, море шумело.

— Вчера никто до утра глаз сомкнуть не мог,— сказал Закария.

— Да что там сон! От страха все голову потеряли,— добавил староста.

— Одно нам остается — как можно скорей нужно от него избавиться,— решил Закария.

— Это все Салех виноват, что его в деревню привел,— сказал Абдул Джавад.

— Я не один его привел. Сын старосты вместе со мной был,— откликнулся Салех.

— Откуда мы знали?! Мы думали, он обыкновенный ребенок,— сказал сын старосты.

— Один есть выход — отвести его в пустыню подальше от деревни и там оставить,— предложил Абдул Джавад.

— Звери на него нападут — мы этим господа прогневить можем,— сказал староста.

— Ничего с ним не будет, староста. Заколдованный это ребенок, никакого несчастья с ним не произойдет,— возразил Мухаммад Ахмад Али.

— Абдул Джавад дело говорит,— сказал Закария.— Салех, бери ребенка на руки! Пойдем оставим его на тропе, которой цыгане ходят.

Салех взял мальчика на руки, и мужчины гуськом двинулись за пределы деревни. Шум моря к тому времени усилился, слабый ветер подымал на дороге пыль. Мужчины шли молча и по очереди несли ребенка на руках.

Они шли по тропинке, вьющейся между холмами, которая вскоре привела их к небольшому круглому солончаку.

— Вот здесь и проходит цыганская тропа,— сказал Закария.

— Значит, тут его и оставим,— решил Салех.

Ребенка посадили на землю и положили рядом мешочек с печеньем. Мальчик неподвижно сидел, разглядывая солончак. Закария сделал знак остальным — они тихо обошли солончак и зашагали между извилинами холмов.

— Пошли быстрее,— сказал Абдул Джавад, и они прибавили шагу.

Они уже прошли довольно много, когда Закария оглянулся и, посмотрев назад, вскрикнул:

— Э! Да он сюда идет!

Все обернулись и посмотрели назад. Мальчик размашисто шагал следом за ними.

— Сюда идет! Что делать будем? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Пойдем в другую сторону,— предложил Салех.— Он за нами пойдет и дорогу в деревню потеряет.

Мужчины свернули с дороги и стали подыматься на холм. Поднявшись до середины холма, они взглянули вниз. Мальчик, не обращая на них никакого внимания, быстрыми, широкими шагами приближался к деревне.

Воздух был чист и прозрачен, с моря слышался чей-то веселый смех, а оцепеневшие от ужаса и тревоги мужчины, сбившись в кучку, безнадежно глядели на свою деревню.

## *История пятая*

### *I*

Неожиданно море утихло и волны улеглись. С севера на катер дохнул прохладный, мягкий ветер. Мужчины, которые только что оживленно разговаривали, замолчали и прислушались. Что-то большое и тяжелое двигалось в глубине моря, освещая воду снизу приглушенным оранжевым светом.

Прошло какое-то время, и море вновь пришло в движение, поднялись волны. Что-то тяжело ударило под водой и затихло. Катер снова уверенно устремился вперед в окружавшую его темноту. Луны не было видно, густая чернота давила на катер и на людей. Куривший кальян Мухаммад Хаджи Мустафа спросил:

— Что это было?

Сидевший за штурвалом Закария, не отрывая глаз от моря, ответил:

— Внизу что-то ударило.

— Ничего и не было,— сказал сын старосты.

Примостившийся на сундуках Салех заметил:

— Что бы ни было, под водой проплыло и скрылось.

— Ну и слава богу! — сказал староста.

— Теперь, раз уж все кончилось, лучше не будем об этом говорить,— попросил Мухаммад Ахмад Али.

— Да, лучше вы об этом не говорите, а то Мухаммад Ахмад Али со страху голову потеряет,— сказал Абдул Джавад.

— И не страшно мне вовсе,— заявил Мухаммад Ахмад Али.

— Эй, Закария, слышишь? Мухаммад Ахмад Али больше не трусит, ничего теперь не боится. Отважным стал! Храбрость у него появилась! — поддразнил Абдул Джавад.

— Неправда, ничего у меня не появилось,— возразил Мухаммад Ахмад Али.

— Так, значит, все еще боишься, да? — спросил Абдул Джавад.

Отодвигаясь подальше, Мухаммад Ахмад Али пробормотал:

— Отстань ты от меня, Абдул Джавад! И нечего так на меня смотреть!

Салех Камзари и сын старосты засмеялись.

— А вы чего смеетесь? — повернулся к ним Мухаммад Ахмад Али.

Абдул Джавад, обращаясь к сыну старосты и Салеху Камзари, заметил:

— Не смейтесь! Разве вы не видите, что он боится?!

— Неправда! Не боюсь! — выкрикнул Мухаммад Ахмад Али.

Салех громко расхохотался.

Мухаммад Ахмад Али закрыл руками уши и уткнулся головой в колени. Его начало трясти.

— Я же говорил, что он боится,— заявил Абдул Джавад.

— Я испугался не потому, что Салех засмеялся,— объяснил Мухаммад Ахмад Али.— Там в море кто-то еще смеялся.

— Да отстаньте вы от него,— сказал староста.

Раздался странный звук. Из воды поднялось что-то темное и большое, быстро пронеслось мимо катера и исчезло. Мужчины вскочили на ноги и начали всматриваться в море.

— Что это такое, Закария? — спросил Салех Камзари.

— Что-то странное. Я, Салех, и не разобрался,— ответил Закария.

— В море много всяких разностей,— сказал староста.— Не думайте об этом. Нам и знать не нужно, что это такое было. Господа возблагодарите.

Мухаммад Ахмад Али и Мухаммад Хаджи Мустафа пробормотали молитву. Все притихли. Мелкие волны, скользнув по бокам катера, катились дальше. Что-то то выныривало из воды, то снова исчезало; время от времени в волнах зажигался блестящий глаз и, взглянув на катер, потухал.

— Даст бог, в следующее плавание луна светить будет,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Даст бог, так и будет,— согласился староста.

— В следующее плавание нас на катере не будет,— сказал Салех Камзари.— Это сейчас, в первый раз, мы все вместе отправились.

— Правильно,— согласился староста.— В этот раз оно и нужно было, чтобы мы все вместе пошли.

— Потом-то один Закария в море ходить будет. Он да катер — вот и все! — сказал сын старосты.

— Храни его господь! — воскликнул староста.— Закария завсегда все тяготы наши на себя принимает.

— Нынче все на этот катер наглядеться не могут,— заметил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Господь его благослови. Вот в конце концов, с помощью пророка, и наша деревня моторный катер завела.

— Даст бог, теперь, как лето наступит, не придется без работы сидеть и голодать,— сказал Салех Камзари.

— Дай бог, чтоб так и было! — подхватил Мухаммад Ахмад Али.

Староста сказал:

— Надо бы нам человека найти, чтобы писать умел. Он бы нам пятерицу[1] написал, мы бы ее в мотор положили...

— Да, очень бы хорошо,— согласился Мухаммад Хаджи Мустафа.— В порту вот один учитель есть, так он для каждого, кто катер покупает, пятерицы пишет. Я сам видел.

— Э-э! Смотрите-ка! — неожиданно вскрикнул Закария.

Над их головами стлалось облачко с тонкими отростками по краям.

— Видите? — спросил Закария.

— Облако! — удивился Абдул Джавад.

— Думается мне, что это не облако,— заметил Мухаммад Ахмад Али.— Откуда здесь облаку взяться? И почему это оно над нами остановилось?

Сын старосты, сидевший свесив ноги в моторный отсек, спросил:

[1] Талисман с именами пяти шиитских святых, по поверью, охраняющий от несчастий и болезней.

— Если это не облако, то что же тогда?

— А неизвестно,— ответил Салех.— Может, облако, а может, вовсе и не облако...

— Оно двигается! Видите? — спросил Закария.

— Да,— ответил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Такое облако всегда над матафом [1] появляется. Моряки говорят, оно корабли в водоворот затягивает, и они тонут.

— Не дай бог, и нас затянет,— забеспокоился Мухаммад Ахмад Али,— не дай бог мы около матафа оказались!

Мужчины взглянули на море и внезапно увидели, как впереди медленно поднимается из воды темный холм.

— О, пророк! — закричал Мухаммад Ахмад Али.

Неожиданно катер остановился, хотя мотор по-прежнему работал.

Закария повернулся к сыну старосты и громко крикнул:

— Ты что это там сделал?

Сидевший на палубе сын старосты ответил:

— Я здесь сижу и к мотору даже не притрагиваюсь! Ничего я не наделал!

Все в ужасе вскочили, а Мухаммад Ахмад Али запричитал:

— Господи милостивый и справедливый! Попались мы!

Он начал всхлипывать. Закария, осторожно выпустив из рук штурвал и поднявшись на ноги, сказал:

— Перестань скулить, Мухаммад Ахмад Али! Сейчас посмотрим, что там случилось.

Мужчины собрались в кружок. Море снова затихло, и вдалеке что-то тяжелое и большое опять прошло в глубине и скрылось.

— Непохоже, чтобы мы около матафа оказались,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— А что же это за холм из воды поднялся? — спросил Мухаммад Ахмад Али.— Разве это не матаф?

— На вершине матафа должна быть гробница имама [2] и пальма,— объяснил Мухаммад Хаджи Мустафа,— а здесь никакой гробницы нет.

— В темноте-то не видно,— возразил Абдул Джавад.— Откуда тебе известно, что ничего этого здесь нет?

— Если это матаф, то что же с нами, несчастными, будет? — заныл Мухаммад Ахмад Али.

— Замолк бы ты хоть на минуту, мы бы сообща что-нибудь придумать смогли,— прикрикнул Закария.

— Господь продли твою жизнь, Закария! — закричал Мухаммад Ахмад Али.— Думай побыстрее! Я молчу как рыба, ни слова больше не скажу.

— Зажгите-ка большой фонарь,— распорядился Закария.

Сын старосты принес фонарь, а староста и Мухаммад Хаджи Мустафа зажгли его.

— Что ты собираешься делать, Закария? — спросил Салех.

Закария взял фонарь и, пригнувшись, обошел катер, вглядываясь в море.

— Видишь что-нибудь? — поинтересовался староста.

— Нет.

— Вода кругом,— сказал Мухаммад Ахмад Али.

— Что же он тогда не идет? — удивился Абдул Джавад.— Не приведи господь, с мотором что-нибудь случилось!

---

[1] Огромный морской водоворот, который, по поверью, бытующему среди моряков и рыбаков Персидского залива, затягивает и топит суда. О матафах существует множество страшных полурелигиозных историй и мифов.

[2] Духовный глава мусульман-шиитов.

— С мотором все в порядке,— подал голос сын старосты.

— Господь продли твою жизнь, Закария! Взгляни-ка сам на мотор,— попросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Закария подошел к люку моторного отсека, свесил ноги вниз и спрыгнул. Сын старосты тоже спустился в люк. Абдул Джавад подал сверху фонарь сыну старосты, и все столпились вокруг люка, заглядывая вниз.

— Ну что, Закария? Что-нибудь с ним случилось?

— Да вроде ничего не случилось, но кажется мне...

Раздался странный звук, как будто что-то опустилось в воду. Катер легонько качнуло. Все вскочили на ноги. Катер тихо тронулся с места и неожиданно набрал скорость.

— Эй, Закария! Закария! — закричали хором староста и Мухаммад Хаджи Мустафа.

Закария и сын старосты быстро вылезли из моторного отсека. Закария подбежал к штурвалу и ухватился за деревянную ручку. Однако поворот штурвала нисколько не изменил направления катера. Что-то крутило катер и тащило его вперед, а какая-то сила сзади поднимала и опускала корму.

— Ничего не получается! Не получается! — закричал Мухаммад Ахмад Али.

— Закария, ты что там делаешь? — спросил Абдул Джавад.

— Ничего я не делаю! Он сам идет. Нас вперед что-то тащит.

— Куда же оно нас тащит, Закария? Куда? — засуетился Мухаммад Ахмад Али.

— Не знаю я куда. Не знаю!

Абдул Джавад закричал остальным:

— А вы чего стоите? Думайте!

— Закария думать должен,— ответил староста.

— Выключите мотор,— приказал Закария.

Сын старосты спрыгнул с палубы в люк и выключил мотор, но катер, не останавливаясь, с той же скоростью двигался вперед.

— Закария, он все идет и идет! — крикнул Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Якорь бросайте! Кидайте якорь! — закричал Закария.

Абдул Джавад и сын старосты бросили в воду большой якорь. Катер вздрогнул и остановился. Мужчины покрылись потом. Сын старосты принес фонарь из моторного отсека и поставил его на палубу. Мужчины уселись в кружок. Неожиданно послышался чей-то смех, и все в ужасе оглянулись.

— Что это было? — спросил Салех Камзари.

— Это какой-то черный! Я видел... Он вон оттуда выскочил, засмеялся и опять в воду спрятался,— едва выговорил Мухаммад Ахмад Али.

## II

Через некоторое время море успокоилось, а черное облако изменило форму и стало похоже на большую корову, лежащую на животе, поджав ноги под тяжелое туловище. Староста и Мухаммад Хаджи Мустафа сидели у сундуков и курили кальян, Мухаммад Ахмад Али забрался на сундуки, а сын старосты, Закария и Салех бродили по палубе. Абдул Джавад сидел и смотрел на холм, который был теперь совсем рядом с катером. Время от времени на вершине холма вспы-

хивал красный свет. Мухаммад Ахмад Али решил про себя, что это чернокожие в гробнице курят кальян.

Закария повернулся к Мухаммаду Хаджи Мустафе и старосте:

— По-моему, все теперь в порядке, можно трогаться в путь.

— А может, лучше подождем, пока взойдет солнце,— предложил староста.

— Нет уж, лучше солнца не ждать... Закария, наверное, знает, раз говорит, что можно трогаться. Гораздо лучше будет, если прямо сейчас и тронемся,— возразил Мухаммад Ахмад Али.

— Чем же это лучше? — удивился Абдул Джавад.

— Я тоже думаю, что лучше нам двигаться,— сказал Салех Камзари.— Что пользы здесь оставаться?

— Да,— согласился Мухаммад Хаджи Мустафа.— Завтра в полдень мы должны быть в Могвийе. Нас там ждут.

Закария приказал сыну старосты:

— Заводи мотор!

Сын старосты спустился в люк. Через несколько секунд катер задрожал и разнесся гул мотора. Мухаммад Ахмад Али слез с сундуков, а Закария, сев спиной к остальным и лицом к морю, взялся за штурвал. Сын старосты и Абдул Джавад ухватились за якорный канат, Салех начал крутить колесо лебедки, и вскоре якорь поднялся из воды. Он был опутан многочисленными веревками, и, кроме того, к нему была привязана длинная цепь, второй конец которой уходил в воду.

— Эй, Закария! — закричал Мухаммад Ахмад Али.— К нашему якорю цепь привязали!

Закария обернулся и посмотрел. Абдул Джавад отвязал цепь от якоря и бросил ее в воду. В то же мгновенье все изменилось: катер рванулся вперед с огромной скоростью, отовсюду слышался страшный гул. Катер снова начало крутить.

Закария ухватился за штурвал обеими руками, а сын старосты и Абдул Джавад начали сдвигать сундуки с бортов на дно катера, чтобы их не скинуло в воду. Салех Камзари бегал по палубе и перекатывал сундуки с места на место, стараясь сохранить равновесие катера.

Мухаммад Ахмад Али растянулся на палубе и, прижавшись лицом к деревянному полу, опять закричал:

— Эй, Закария! Закария!

А Закария громко повторял:

— Мы попали в водоворот! В водоворот попали!

И все поняли, что их затянул матаф.

## *III*

На рассвете что-то с грохотом разорвалось в море. Катер неожиданно остановился. Над водой показался край солнечного диска. Мужчины, вцепившиеся кто в поручни, кто в сундуки, несколько минут оставались в прежнем положении. Наконец они открыли глаза. Все насквозь промокли, от страшной усталости им не хотелось двигаться.

Не поворачивая головы, староста спросил:

— Все живы-здоровы?

— Я — нет! — жалобно закричал Мухаммад Ахмад Али.— Умираю я!

Закария поднялся от штурвала, подошел к люку и сел на палубу. Дул мягкий ветер, море было неподвижно. Абдул Джавад окинул море взглядом:

— Да-а, в матаф угодили.

Остальные тоже повернули головы к морю и взглянули на возвышающийся над водой холм. Вершина холма была вся в отверстиях, и каждые несколько секунд оттуда вырывался густой дым.

— Это и есть та самая гробница,— решил Мухаммад Хаджи Мустафа.— В ней один черный имам похоронен. Он всем морякам враг, всех губит, кто захочет через его владения проплыть...

— Это все Закария виноват, что не той дорогой поплыли,— сказал Салех.

— Если я не ту дорогу выбрал, вы-то что молчали? — ответил Закария.

— Штурвал-то в твоих руках был,— заметил Абдул Джавад.

— Это все ночь виновата и темнота. Закария здесь ни при чем,— рассудил староста.

— Я сколько ни говорил, что не следует ночью плыть, меня никто не послушался,— напомнил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— А ведь в полдень нас в Могвийе ждут,— сказал Закария.

— Теперь уж пусть ждут,— сказал Салех Камзари.— Мы в первый раз этой дорогой поплыли, нужно было тебе как следует смотреть.

— Не нужно было нам вообще этот катер покупать! Зря мы это сделали,— заявил Мухаммад Ахмад Али.

— Почему же зря? — удивился Мухаммад Хаджи Мустафа.— Другие ведь покупают. Разве у всех остальных катеров нет?! А нынче многие не то что один — по три, а то и по четыре катера имеют, да с их помощью без работы не сидят, не голодают никогда.

— Если бы я знал, что мы в матаф попадем, никогда бы на катер денег не дал,— заявил Абдул Джавад.

— Так ведь разве кто знал, Абдул Джавад?! — возразил староста.— Если бы мы знали, никто бы денег не дал.

— Теперь уже это дело прошлое,— сказал сын старосты.— О другом надо думать. Думайте лучше, как нам из матафа выбраться.

— Да уж понятно: что бы там ни было, а нам отсюда уходить надо,— согласился Салех.

— По-моему, прежде всего нужно груз спасать — его в Могвийе ждут,— сказал староста.

— Ничего подобного,— возразил Абдул Джавад.— Всегда, когда корабль тонет, все, что он везет, в море выбрасывают, чтобы корабль легче стал и люди уцелели.

— У нас-то ведь все иначе, Абдул Джавад,— сказал староста.— Это наше первое плавание. Если мы не сможем груз в целости и сохранности людям доставить, плохи наши дела, никто нам больше верить не будет, без работы останемся.

— Господь продли твою жизнь! — воскликнул Мухаммад Хаджи Мустафа.— Хорошо ты сказал, староста. Очень хорошо сказал!

— Почему же это нам верить не будут? — спросил Абдул Джавад.— Что, мы их груз съели, что ли?

— Так-то оно так,— согласился староста,— только они могут решить, что наш катер несчастье приносит. Что нам тогда делать?

— А почему вы о собственной жизни совсем не думаете? — удивился сын старосты.— Вы всё о катере, о грузе заботитесь, а ведь вначале самим спастись надо, разве не так?

— Светлая у тебя голова! — воскликнул Мухаммад Ахмад Али.— Очень ты это хорошо сказал. Вначале самим спастись надо!

— И самим спастись и груз, и катер сохранить,— сказал староста.

— Можно подумать, что весь мир в наших руках! — возразил

Мухаммад Хаджи Мустафа.— Вначале нужно понять, чего от нас матаф хочет: людей, катер или груз.

— Господи, только бы он меня не захотел! Меня бы только не захотел! — запричитал Мухаммад Ахмад Али.

— Дай бог, чтобы он никого из нас не захотел! — заметил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— А может, нам лучше в путь двинуться, Закария? — спросил Абдул Джавад.

— Да вряд ли это лучше будет,— ответил Закария.

— Так что же нам сейчас делать? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Сейчас хорошо бы несколько человек в лодку посадить, чтобы они от катера подальше отплыли. Мы бы тогда попытались отсюда выплыть, а если, не приведи бог, нам не удастся из матафа выбраться, они бы на лодке до Могвийе добрались и тамошней общине все бы рассказали,— предложил Закария.

— Господь продли твою жизнь, Закария,— похвалил староста.— Очень ты хорошо рассудил, ничего лучше и не придумать.

— Кто же в лодку сядет? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Я готов хоть сейчас в лодку сесть. Мне ужас как хочется в лодку! — затараторил Мухаммад Ахмад Али.

— Если решим, что часть из нас в лодку сядет, то не тебе там место, а старикам,— возразил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— В лодку двоим садиться надо,— сказал Закария,— тогда им и грести будет сподручно, и дорогу не потеряют. Я так думаю, что лучше бы в лодку Абдул Джавад и Салех сели.

— Ну что ж, давай тогда отправляться,— сказал Абдул Джавад, повернувшись к Салеху.

Салех Камзари и Абдул Джавад прошли на корму и отвязали болтавшуюся за катером лодку, уселись в нее, взяли весла и осторожно отплыли от катера. Все остальные наблюдали за ними с палубы катера. Закария громко крикнул:

— Эй, Абдул Джавад! Мы сейчас тронемся. Если увидите, что нам не выбраться, плывите быстрее в Могвийе и возвращайтесь с баркасом!

— Дай-то бог! — ответил Салех Камзари.

— Заводи мотор! — приказал Закария сыну старосты.

— Вначале вознеси молитву аллаху, а уже потом заводи,— распорядился Мухаммад Хаджи Мустафа.

Мухаммад Ахмад Али сел по-турецки и обхватил голову руками, а Закария взялся за штурвал и повернул его в сторону, противоположную матафу. Мотор тихо заскрипел и тотчас же зарычал вовсю.

Сын старосты высунулся из люка и спросил:

— Двинемся?

— Давай! — ответил Закария.

Сын старосты снова нырнул в люк. Внезапно катер сорвался с места и понесся с сумасшедшей скоростью. В лодке Абдул Джавад и Салех Камзари начали грести и выплыли из пределов матафа, водяным кольцом вращавшегося вокруг холма. Из вершины холма валил густой дым. Было слышно, как Мухаммад Ахмад Али и сын старосты что-то прокричали друг другу, и в то же мгновение катер скрылся за холмом. Абдул Джавад сказал Салеху:

— Как пить дать, через час крышка им будет.

— Дай-то бог, чтобы этого не случилось,— отозвался Салех.

Они начали грести в сторону Могвийе, то и дело оглядываясь назад. Из-за холма вновь показался мчащийся по кругу катер. Не сбавляя скорости, он снова скрылся из виду.

— Закарию мне жалко,— заметил Салех.

— Греби, Салех! Мы опоздать можем,— ответил Абдул Джавад.

Солнце поднялось из моря и двигалось к матафу. С севера дул свежий ветер. Несколько дельфинов, весело выпрыгивая из воды, неслись за лодкой.

## IV

Близился полдень, когда Салех Камзари и Абдул Джавад увидели берег: разбросанные островки пальм и неясные силуэты домов то возникали, то пропадали в высоких волнах. Салех и Абдул Джавад уже устали. Они спешили, море было бурным, над головой палило солнце. Иногда прямо перед лодкой всплывали огромные черепахи. Рассекая мягкими лапами воду, они вытягивали длинные узкие головы, кивая куда-то в неизвестном направлении, и снова ныряли под лодку.

Когда черепахи оставили лодку в покое, Салех и Абдул Джавад уже подплывали к берегу. На воде покачивался большой баркас. В нем сидело несколько человек. Все они вглядывались в море. Еще несколько человек сидело на корточках под навесом мечети.

— Они все на море глядят, а нас никто и не видит,— сказал Абдул Джавад.

— Это из-за солнца,— объяснил Салех.— Море сейчас как зеркало блестит и ничего не видно.

Абдул Джавад отпустил весла, приставил руки ко рту и громко крикнул:

— Э-эй! Эй!

Люди на баркасе встали и посмотрели на море. Из-под навеса чей-то голос откликнулся:

— Эй!

Люди с баркаса торопливо сошли на берег и пошли под навес.

Абдул Джавад снова закричал:

— Э-эй!

Ему коротко ответили несколько голосов из-под навеса.

— Они испугались,— сказал Салех Камзари.— Не знают, кто их зовет.

— Давай грести быстрее! Ну, скорее же! — поторопил Абдул Джавад.

Они налегли на весла. Их лодка приблизилась к баркасу. Салех и Абдул Джавад на минуту перестали грести и передохнули, затем Абдул Джавад подвернул свой лонг, а Салех Камзари привязал лодку к носу баркаса, и оба спрыгнули в воду. Когда они вышли на берег, их окружила толпа мужчин с палками в руках. На крыше одного из домов старый длинноволосый негр бил в барабан.

В испуге Абдул Джавад и Салех Камзари отступили назад. Старик с длинной дубиной в руках спросил:

— Вы кто такие?

— Мы не чужие... Мы с корабля Закарии,— ответил Салех.

— С чьего корабля? — переспросил мужчина в маленьких круглых очках.

— С корабля Закарии,— повторил Салех.— Мы с его корабля...

Негр из-за спины очкастого заявил:

— Врут они! Корабль Закарии еще не пришел.

— Корабль Закарии еще вчера вечером в матаф попал. Мы на лодке приплыли, чтобы вам сообщить,— объяснил Абдул Джавад.

Очкастый спросил:

— А откуда мы знаем, что вы правду говорите?

— Мы-то правду говорим, это вы не верите,— ответил Абдул Джавад.

Мужчины переглянулись и опустили палки.

— Мы приплыли, чтобы вам все рассказать. Если вы не поторопитесь, добро ваше на дно пойдет,— сказал Салех.

Никто ничего не сказал. Толпа замерла в недоумении. Воздух был раскален, палило солнце.

— Чего же вы стоите?! — удивился Абдул Джавад.— Если мы прямо сейчас в море выйдем, может быть, еще успеем что-нибудь сделать, а иначе катер потонет и мы с вами разоримся...

Очкастый повернулся к толпе:

— Вроде бы не врут они... Пожалуй, лучше нам скорей туда отправиться.

Мужчины побросали палки на землю. Несколько человек подвернули лонги и зашли в воду. Абдул Джавад и Салех Камзари уселись в баркас вместе с остальными. Мужчина с кожаной заплаткой на подбородке протянул им кувшин с водой. Салех напился, и не успел он передать кувшин Абдул Джаваду, как баркас тронулся.

С разных сторон забили барабаны, и их дробь долго провожала баркас.

## V

Жена старосты и жена Мухаммада Хаджи Мустафы соорудили на берегу моря маленький шалаш. В нем сидел Захед с двумя барабанами. Рядом стояло несколько курильниц. Вокруг Захеда расселись старухи, а дети обступили шалаш плотным кольцом. В море никого не было — все лодки общины лежали на берегу. Стояла хорошая погода. Солнце висело высоко над морем. Каждый раз, как вдали в воде появлялось темное пятнышко, дети хором кричали:

— Рыба! Рыба!

Захед насыпал перед собой кучку килии. Время от времени он отправлял за щеку щепотку и сплевывал себе под ноги. Жена Салеха Камзари принесла из дому кальян, а жена Закарии высыпала в угол шалаша горсть адраспана [1]. Жена старосты приготовила возле шалаша дрова для большого костра, и было решено, что, как только покажется катер, она начнет варить жертвенную похлебку.

Около полудня к шалашу подошла старая негритянка, поздоровалась и спросила:

— Ничего не слышно?

— Пока новостей нет,— ответил ей Захед.

Старуха нагнулась, взяла щепотку килии и высыпала себе на язык, добавив:

— Вряд ли они так быстро вернутся.

— Все возможно,— сказала жена старосты.— Может, даже сегодня приплывут, а может, ночью вернутся.

— Дай бог, чтобы скорей вернулись и нас всех порадовали,— пожелала жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

Жена Салеха Камзари спросила Захеда:

— Захед! Ты-то что скажешь? Когда они прибудут?

— Во-первых, это одному богу известно, а во-вторых, я думаю, что либо сегодня, либо завтра,— ответил Захед.

— Дай бог, чтоб так и было,— сказала жена старосты.

---

[1] Растение, дымом которого в Иране окуривают от «дурного глаза».

Жена Салеха заметила:

— Вот если бы Захед писать умел, он бы нам пятерицу написал, а мы бы ее к катеру прибили.

— Ничего писать и не надо! Господь сам их сбережет,— заявила жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

Дочь Салеха спросила у матери:

— А нас на катере покатают?

— Конечно покатают,— сказала жена старосты.— И так уже решили, что на следующей неделе все вместе отправимся на катере к гробнице Эльяса [1], помолимся и козу зарежем, чтобы море к нам ласково было.

— Жалко, что я не смогу с вами поехать,— подал голос Захед.— Я если на воду ступлю, мне видения явятся...

— А ты и не езди, здесь оставайся,— посоветовала жена старосты.

— Мухаммад Ахмад Али с тобой тут побудет, чтобы тебе скучно не было,— сказала дочь Салеха.

— А мне, благодарение богу, никогда скучно не бывает,— ответил Салех.— Я, когда один остаюсь, умерших вспоминаю, о своих черных братьях думаю — мне и хорошо делается...

— Дай тебе бог здоровья,— пожелала жена старосты.

— Да продлит господь твою жизнь,— добавила жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

Захед, жуя килию и покачивая головой, смущенно ответил:

— Велика твоя доброта! Велика твоя доброта!



## VI

Солнце стояло уже прямо над холмом, когда матаф перестал вращаться и катер замер на месте. Мужчины, из последних сил державшиеся за борта катера, начали стонать. С того времени, как лодка ушла в Могвийе, матаф крутил катер не переставая. Мухаммад Ахмад Али все это время, распластавшись на животе, лежал в моторном отсеке, Закария не выпускал из рук штурвал, а сын старосты перекатывал сундуки с места на место, следя за тем, чтобы катер сохранял равновесие.

Прошло несколько минут. Закария отпустил штурвал и повернулся к остальным:

— А где Мухаммад Ахмад Али?

Мухаммад Ахмад Али со стонами высунулся из люка и жалобно закричал:

— Здесь я, Закария! Один я тут... в темноте...

Староста спросил:

— Что же нам теперь делать, Закария?

— Не знаю. Я теперь ничего не знаю,— ответил Закария.

— Вот что я скажу: пока все снова не началось, давайте чего-нибудь поедим, чтобы с голоду не умереть,— предложил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— И намаз потом совершим — к аллаху и пророку душой устремимся,— добавил староста.

— Ни за что на свете! — возразил Мухаммад Хаджи Мустафа.— В матафе нельзя намаз совершать, это может черному имаму не понравиться, разгневается...

Столб дыма вырвался из вершины холма. Дрожа от ужаса, Мухаммад Ахмад Али взмолился:

[1] Один из мусульманских святых.

— Не говорите вы о нем! Имени его не упоминайте!

Послышался чей-то смех.

Сын старосты расстелил посреди палубы скатерть. Мухаммад Хаджи Мустафа с трудом придвинулся к скатерти и сказал:

— Ох, как не хочется мне здесь умирать! Где угодно готов умереть, а в матафе не хочу!

Поднявшись на палубу, Мухаммад Ахмад Али заявил:

— А я нигде не хочу умирать, Хаджи! Боюсь я.

— Ведь если мы умрем, в нашей деревне все прахом пойдет,— рассуждал Мухаммад Хаджи Мустафа.— Никто и поверить не сможет, что я, или Закария, или староста умерли.

Мухаммад Ахмад Али расплакался.

— Не плачь! Пока еще никто не умер,— утешил его Закария.

— Не верю я, чтобы что-нибудь такое случилось,— сказал сын старосты.— Похоже, что над нами кто-то забавляется.

— Все в руках судьбы! — заметил староста.— Может быть, мы прямо здесь умрем, а может, и не умрем... Ну, а если уж умрем, то смилуйся над нами господь! Прости нам грехи наши, воздай на том свете добром!

— Мы же еще не умерли, староста,— напомнил Закария.— Вот если умрем да на тот свет попадем, тогда пусть господь над нами смилуется.

— Верно ты сказал, Закария,— подхватил Мухаммад Ахмад Али,— очень хорошо сказал! Дай бог, чтоб так и было!

Закария придвинул к себе большой ломоть лепешки. Староста и Мухаммад Хаджи Мустафа сели у скатерти, а сын старосты и Мухаммад Ахмад Али встали в стороне.

— Вы чего же есть не идете? — спросил староста.

— Не хочется,— ответил Мухаммад Ахмад Али.— Ничего мне не хочется. Вернуться бы только на землю!

Сын старосты, прилегший рядом с сундуками, спросил Закарию:

— Как ты думаешь, Салех и Абдул Джавад уже добрались до Могвийе?

— Бог его знает... Может, добрались, а может, еще и не добрались.

— Дай-то бог, чтобы все снова не началось, пока они не вернутся! — пожелал староста.

Неожиданно Мухаммад Ахмад Али закричал:

— Вон они, вон!

Все обернулись и взглянули на море. Далеко на горизонте виднелась черная точка.

— Плывут! — сказал Мухаммад Хаджи Мустафа, а староста воздел руки к небу и воскликнул:

— Спасибо тебе! Спасибо!

Мужчины поднялись на ноги и не отрываясь смотрели на море. Черная точка приближалась. Внезапно из моря ударил фонтан. Заползая в моторный отсек, Мухаммад Ахмад Али прокричал:

— Это кит плывет! Здоровенный какой!

К матафу плыло несколько больших китов.

## VII

Солнце клонилось к западу, когда наконец показался холм. Море волновалось, и они еще издали услышали бурление матафа, который, урча, вращался вокруг холма и расползался по сторонам. По временам из отверстий на вершине холма валил густой дым. Над матафом висело черное облако, похожее на лежащую, поджав ноги, корову.

Они подплыли ближе к водовороту, но катера на воде не было. Салех Камзари закричал:

— Эй, Абдул Джавад! Нету их здесь!

— Опоздали. Горе нам! — откликнулся Абдул Джавад.

Мужчина с кожаной заплатой на подбородке спросил:

— Что же это? Значит, они на дно ушли?

— Думаю, что так,— ответил Салех Камзари.

Старик, державший весло обеими руками, предположил:

— А может, они выбрались отсюда?

— Это как же? Разве отсюда выберешься?! — возразил Абдул Джавад.

Сидевший на пустом ведре бородач заметил:

— Ничего в этом невозможного нет.

— Не думаю,— сказал Абдул Джавад.— Если бы они отсюда выплыли, мы бы их по дороге встретили.

Мужчина в очках пристально взглянул на Абдул Джавада и Салеха:

— А вы, часом, не наврали?

Салех и Абдул Джавад переглянулись, а остальные отпустили весла и уставились на них. Неожиданно Салех громко вскрикнул:

— Вот они, вот они!

Из-за холма показался бросаемый волнами катер. Все кинулись на нос баркаса и перегнулись через борт. Катер пронесся мимо них. Его мотало из стороны в сторону, вокруг пенились и вздымались волны. С баркаса они увидели силуэты нескольких людей, лежавших на палубе катера и перекатывавшихся от борта к борту, когда катер заносило особенно резко.

Абдул Джавад и Салех приставили руки ко ртам и закричали:

— Э-эй! Эй! Э-эй!

Им глухо ответили несколько голосов.

— Что же будем делать? — спросил мужчина с кожаной заплатой на подбородке.

— Придется подождать, пока водоворот успокоится,— ответил Абдул Джавад.

Они уселись и принялись ждать. Катер с дикой скоростью проносился мимо и вновь скрывался за холмом. Каждый раз, как он пролетал мимо баркаса, слышались стоны и вопли, призывающие на помощь. Солнце погружалось в воду, вокруг начинало темнеть. Что-то на дне моря колыхнулось, и катер, еще несколько раз прокрутившись вокруг собственной оси, остановился.

— Теперь быстро! — крикнул Абдул Джавад.

Мужчины взялись за весла и начали грести. Через несколько минут баркас приблизился к катеру. Лежавший возле штурвала Закария поднял голову. Черты его лица казались размытыми, глаза глубоко ввалились, и вся голова как будто стала меньше. Несколько мгновений он неподвижно смотрел на баркас, потом медленно поднялся и встал на ноги.

Салех торопливо перепрыгнул с баркаса на катер и спросил:

— Все живы?

Лежавшие на палубе староста и Мухаммад Хаджи Мустафа перекатились на бок и повернулись лицом к Салеху. Из люка моторного отсека раздался стон Мухаммада Ахмада Али.

На палубу катера поднялись мужчина в очках и второй, с кожаной заплатой на подбородке.

Старик, стоявший с веслами в руке, на носу баркаса, спросил:

— Сундуки целы?

— Целы. Не волнуйся,— ответил сидевший у сундуков сын старосты.

Бородач, не подымаясь с ведра, распорядился:

— Ай, Абдулла! Вначале перенесите сундуки!

Гребцы быстро перепрыгнули на катер и перетащили сундуки на баркас.

— Только сундуки забираете? Нас не повезете? — спросил, вылезая из люка, Мухаммад Ахмад Али.

— Вас тоже возьмем,— ответил очкастый.

Мухаммад Ахмад Али со всех ног бросился к баркасу. Мухаммад Хаджи Мустафа приподнялся и крикнул:

— Староста, вставай! Вставай, пока не поздно. Спасаться надо!

Староста поднялся и, держась обеими руками за голову, побрел к баркасу, поддерживаемый сыном.

— Эй, Закария! Переходи на баркас, пока опять не началось!— крикнул Салех.

— А с катером что же будет? — спросил Закария.

— Ты прежде о своей жизни подумай! — посоветовал очкастый.

— Мы все, что имели, продали и этот катер купили. Что ж, теперь самому спасаться, а его морю отдать?

— Ты ведь все равно ничего сделать не сможешь,— сказал Салех.

— Почему же не смогу? Я все это время штурвал из рук не выпускал, смотрел, чтобы матаф катер не проглотил...

— Так что же ты решил делать-то? — спросил староста.

— Мне здесь остаться нужно,— ответил Закария.

— А нам что делать? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Вы сейчас отправляйтесь и возвращайтесь с двумя баркасами. Мы тогда катер к баркасам привяжем, и, может быть, удастся вытащить его отсюда.

— Значит, ты решил остаться? — засомневался Мухаммад Ахмад Али.

— Да.

— Один-одинешенек?

— Да. Я должен остаться.

Очкастый спросил:

— У тебя вода есть?

— Да.

— А хлеб?

— И хлеб есть.

Сидевший на ведре бородач спросил:

— Больше тебе ничего не нужно? Может, килии или табака оставить?

— Не надо,— сказал Закария.— Возвращайтесь побыстрее!

Мужчины сели на весла. Баркас развернулся и поплыл, удаляясь от катера. Все смотрели на Закарию. Взяв кувшинчик с водой, Закария прошел на нос катера, сел и положил руки на штурвал. Освободившись от груза, катер стал легче и почти целиком поднялся над водой. Казалось, он стоит на чем-то мягком и скользком.

Баркас скрылся вдали. Солнце село. Со дна матафа угрожающе и тревожно забили чужие тамтамы. Они звучали в точности, как барабан Захеда по пятницам за кладбищем...

## VIII

На закате в море появился большой катер. Сидевшие на крыше дома Абдул Джавада дочь Салеха и старая негритянка спустились вниз, громко крича:

— Приплыли! Приплыли!

Все высыпали из домов и помчались к морю. Катер шел к деревне.

Жена Салеха побежала в шалаш и разбудила Захеда. Он подхватил большой барабан и вышел на берег. Увидев катер, Захед принялся подпрыгивать и бить в барабан. Женщины и дети радостно хлопали в ладоши и нараспев выкрикивали: «О, аллах! О, аллах!»

Жена Мухаммада Хаджи Мустафы, весело хлопая в ладоши, воскликнула:

— Как же хорошо все вышло! Как они вовремя подоспели!

— Сегодня всю ночь будем веселиться, никто спать не пойдет! — подхватила жена Салеха.

Жена старосты с помощью старухи негритянки разожгла огонь под большим котлом и высыпала в котел горсть соли.

Пританцовывая и весело покрикивая, жена Закарии раздавала всем леденцы.

— Угомонитесь вы! — сказала жена Мухаммада Хаджи Мустафы.— Устанете сейчас, а когда мужчины приплывут, не сможете больше танцевать и веселиться.

— Ну что ты! Мы не устанем. Мы до рассвета будем танцевать и петь — все равно не устанем! — заверила ее жена Закарии.

Захед бил в барабан и прыгал босиком по песку, кружась вокруг толпы.

Катер подошел ближе и остановился совсем рядом с берегом. Захед поставил барабан на землю. Женщины загалдели и начали махать руками. Из воды рядом с катером весело выпрыгнули несколько дельфинов. Дети засмеялись и тотчас же притихли.

— Надо было бы нам им навстречу лодку послать,— сказала жена старосты.

— У них самих лодка есть,— сказал Захед.— Сейчас в нее сядут и сюда приплывут.

— А что же они нам ничего не кричат? Почему не машут? — удивилась жена Закарии.

Все подошли ближе к воде. Сидевшие на палубе катера люди в черном встали и выстроились в ряд, разглядывая происходящее на берегу.

— Кто это? — вскрикнула жена Мухаммада Хаджи Мустафы.

— Какие они все высокие! — заметила жена старосты.

— Молчат почему-то, не говорят ничего! — удивилась жена Закарии.

— Захед, ты что скажешь? Кто это?— спросила жена Салеха.

— Это люди в черной одежде,— ответил Захед.

— Что же они делать собираются? — спросила жена старосты.

— Это уж неизвестно, что они надумали,— ответил Захед.

— Страшно мне, боюсь я их! — прошептала дочь Салеха.

— Ты их не бойся. Подожди, посмотрим, что они делать будут,— сказал ей Захед.

Прошло несколько минут. Мотор катера завыл, катер повернулся к берегу кормой и двинулся в открытое море. Солнце еще не успело сесть, как катер исчез из виду.

## *IX*

Баркасы приблизились к холму, когда солнце уже начинало всходить. Матаф, притихнув, медленно вращался вокруг холма. Катера не было и в помине. В воздухе висела дремота, волн на море не было. Несколько чаек с громкими криками кружились над баркасом.

— Несчастные мы! — воскликнул староста.— Катер потонул... Закария погиб...

С другого баркаса ему ответил Салех:

— Закарию мы ни за что ни про что потеряли. Зря мы разрешили ему на катере остаться.

— Несчастье на нашу голову свалилось,— подхватил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Всего, что имели, лишились. Нищие мы теперь!

— Бедняга Закария! Несчастный...— пробормотал Абдул Джавад.

Мужчина в очках спросил:

— Куда теперь вы плыть собираетесь?

— Возвращаться нужно. Чем скорее, тем лучше,— ответил староста.

— Я думаю, может, лучше разок вокруг матафа проплыть,— предложил Салех.— Может, катер за холмом стоит...

— Светлая у тебя голова! — похвалил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Дело говоришь.

Баркасы двинулись один за другим к матафу. Они проплыли совсем немного, как вдруг Абдул Джавад закричал:

— Эй! Эй! Смотрите! Вон там!

Все повернулись в ту сторону и увидели Закарию, уцепившегося за плавающий в воде обломок доски. Сын старосты нырнул в море и помог остальным втащить Закарию в баркас. Мужчина с кожаной заплатой на подбородке дал Закарии напиться. Мухаммад Хаджи Мустафа, усевшись напротив Закарии, схватил его за плечи и допытывался:

— Эй, Закария! Что случилось-то? Что случилось?

Закария открыл глаза.

— В воду его утянуло.

— А ты как же спасся?

— Я ему не нужен был... Он катер хотел,— ответил Закария. Глаза его снова закрылись, и он уснул.

— Быстрее! — крикнул староста.— В путь!

Бородач, куривший на пустом ведре кальян, спросил:

— В какую сторону поплывем?

— К нашей деревне,— ответил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Бородач кивнул, и баркасы пустились в путь.

## X

Около полудня в море показался большой катер, украшенный со всех сторон черными и красными флагами. К носу и корме были прикреплены диковинные маски. Катер двигался с большой скоростью и быстро пронесся мимо баркасов. На палубе шеренгой стояли высокие люди в черной одежде и внимательно разглядывали баркасы.

С катера доносились звуки трубы. Люди в черном, весело хохоча, спешили в сторону матафа.

# *История шестая*

## I

Под утро Мухаммад Ахмад Али вышел из хижины Захеда. В ту ночь Захед мучился животом, и Закария послал к нему Мухаммада Ахмада Али, чтобы тот приготовил отвар и растер Захеду живот жиром. Когда Захед уснул, Мухаммад Ахмад Али поднялся и, прихватив

с собой горсть килии из кисета Захеда, вышел из хижины. Ночной ветер уже успокоился, кругом стояла тишина. Над прудом Айюба висела маленькая багровая луна.

Мухаммад Ахмад Али немного постоял, разглядывая пальмы с поникшими плетьми листьев, рядами посаженные в саду Мухаммада Хаджи Мустафы, потом сделал несколько шагов к пруду Айюба и опять остановился, подумав: «Тихо-то как кругом, как будто что-то должно случиться».

Он заложил за щеку щепотку килии и снова подумал: «Нет, лучше уж я не пойду мимо пруда... Когда кругом все тихо, что-нибудь случиться может».

Он вернулся к хижине Захеда, обошел ее кругом и направился к морю. Придя на берег, он оглянулся и посмотрел назад. Луна сделалась еще меньше, а ее багровый цвет стал гуще. Со всех сторон луну окружали темные тени. Мухаммад Ахмад Али большими шагами двинулся вдоль берега к своей хижине. Через несколько шагов ему опять стало не по себе. Он остановился, прерывисто дыша, и с опаской поглядел на море. Неожиданно он заметил на горизонте неподвижную большую и черную тень. Им овладел страх. Он подождал немного. Издали донесся какой-то скрежет, и вслед за этим в море вспыхнули пятна света, исходившего изнутри черной тени.

Мухаммад Ахмад Али отвернулся и бросился бегом к деревне, громко причитая на ходу. За стеной улочки раздались чьи-то голоса, но Мухаммад Ахмад Али, не слушая и не отвечая, бежал по деревне, пока не добрался до дома Закарии. Он начал стучать в дверь, выкрикивая:

— Эй, эй! Закария!

Из отдушины в стене дома раздался голос Закарии:

— Э-эй! Это ты, Мухаммад Ахмад Али?

— Выходи на улицу! Выходи, Закария!

— Ну что тебе опять? Чтоб тебе пусто было! — проворчал Закария через отдушину.

— Ну выйди же на улицу! Выходи!

— С Захедом что-нибудь случилось?

— Иди сюда! Выходи же! — продолжал кричать Мухаммад Ахмад Али.

В темноте возле дома уже собралось несколько человек. С соседней улочки послышался голос старосты:

— Эй, Мухаммад Ахмад Али! Господь тебя порази! Опять ты крик поднял!

Мухаммад Ахмад Али к тому времени уже немного успокоился.

— Никакого крика я не подымал! Просто меня страх одолел.

— И чего же ты на этот раз испугался? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа, стоявший за спиной Мухаммада Ахмада Али.

— Хорошо бы ты со страху язык проглотил — нам всем спокойней было бы,— сказал сын старосты.

С фонарем в руке появился Закария.

— С Захедом что-нибудь случилось?

— С Захедом-то ничего не случилось, а вот в море что-то непонятное приплыло,— ответил Мухаммад Ахмад Али.

— А ты разве в море выходил? — спросил Закария.

— Нет, я с берега увидел.

— Разве мы не договаривались, что ты с Захедом сидеть будешь?

— А он заснул. Я встал и пошел на берег.

— Ты же собирался у него ночевать.

— Да он ведь с открытыми глазами спит — я не мог с ним оставаться!

Староста сказал:

— Ты же должен был мимо пруда Айюба пойти. Что тебя на берег понесло?

— Нельзя было мимо пруда идти. Там очень тихо было.

Сын старосты засмеялся:

— На тебя все жуть наводит! Шум поднимается — боишься, тишина вокруг — боишься, ветер подул — тебе страшно, не подул — опять страшно. И ночью тебе страшно, и днем! Хоть бы раз дал нам поспать спокойно!

— Да покарай меня бог! Вы бы на моем месте были, тоже бы испугались. Эта штука до сих пор там в море. Не верите, сходите сами посмотрите!

— Ладно, хватит,— сказал Закария.— Пошли посмотрим, что там в море-то.

Стало совсем темно. Луна над прудом Айюба горела язычками фиолетового пламени.

Закария и Мухаммад Ахмад Али пошли вперед. За ними к морю направились и остальные. Они пересекли площадь у мечети, обогнули дом Салеха Камзари и подошли к небольшому песчаному холму за домом Салеха, откуда было видно все море. Мужчины поднялись на холм и далеко на горизонте увидели большую черную тень со светящимися пятнышками огоньков, лучи которых высвечивали отдельные участки моря.

С дрожью в голосе Мухаммад Ахмад Али пробормотал:

— Видите? Я ведь не врал! Видите?

Мужчины молча глядели на горизонт.

— Что бы это могло быть? — спросил староста.

— Вроде бы стоит на месте и не двигается,— заметил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— По-моему, это какой-то чужой катер, а на нем кальян курят,— предположил Салех Камзари.

— Нет, это намного больше катера,— сказал Закария.— Я так думаю, это какой-нибудь большой корабль.

— Откуда же он приплыл? — удивился Салех.

— Может быть, из матафа? — предположил Абдул Джавад.

— О, пророк! — запричитал Мухаммад Ахмад Али.

— Дай бог, чтобы не из матафа,— сказал староста.

— И зачем только они приплыли в наше море?!— воскликнул Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Это неизвестно, но пока что им до нас и дела нет,— сказал Закария.

— Что, говорите, делать-то будем? — спросил староста.

— А ничего. Пойдем спать ляжем. Через час пора будет в море выходить, сети ставить,— ответил Закария.

— Неразумно сейчас спать идти,— заметил Салех.

— Правильно... никакого в этом нет смысла. Если он здесь останется, то и в море нельзя будет идти,— подхватил Абдул Джавад.

— Почему это нельзя? — спросил Закария.

— А может, что-нибудь случится, беда какая-нибудь,— ответил Абдул Джавад.

— Вот-вот, Закария, не ходи ты спать, бога ради,— попросил Мухаммад Ахмад Али.— Лучше посмотрим, что дальше будет.

— Верно они говорят, Закария. Лучше обождать,— сказал староста.

И все уселись на холме, ожидая, что будет дальше.

# II

Когда рассвело, они увидели дремавший на воде большой, длинный корабль. По палубе в разных направлениях торопливо сновали фигурки людей.

Мужчины по-прежнему сидели на холме. На берегу собрались женщины и дети деревни. Сын старосты и Салех забрались на крышу дома Салеха и оттуда следили за происходящим на море. Море медленно меняло цвет. Неожиданно раздался громкий крик Салеха:

— Эй! Эй!

— Что случилось? — спросил староста.

— Они к берегу плывут. Несколько катеров на воду спустили и в нашу сторону двигаются! — крикнул в ответ Салех.

— О боже, милостивый и справедливый! Так я и знал, что это случится! — воскликнул Мухаммад Ахмад Али.

— Пусть они сначала приплывут, а там уж увидим, что будет,— рассудил Закария.

— Эй, Салех! А сколько катеров идет? — крикнул староста.

— Хорошо видно три,— ответил сын старосты.

— Правильно говорит, отсюда три катера видно,— подтвердил Абдул Джавад, сидевший рядом с Мухаммадом Хаджи Мустафой.

Все в ожидании поднялись на ноги.

— Как вы думаете, кто они такие? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Я так вовсе не знаю,— сказал Абдул Джавад.

— Дай бог, чтобы они не задумали против нас зла какого,— пожелал староста.

— Так что же, говорите, нам сейчас делать? — забеспокоился Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Придется обождать,— сказал Закария.

— То есть, значит, сидеть себе сложа руки?!— возмутился Абдул Джавад.

— Мы ведь пока не знаем, зачем они к нам плывут. Пока не приплывут, нам и не разобраться, что к чему,— заметил Закария.

— А если, когда они приплывут, мы увидим, что у них что-нибудь на уме, тогда как? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Ну что, например? — поинтересовался Закария.

— А вот если захотят наши сады разорить?!

— Это на таком-то богатом корабле приплыли наши сады разорять?

— И ничего в этом невероятного нет,— возразил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Много раз такое случалось. Разве не так, староста? Ну ладно, пусть им наши сады не нужны... Но вот если они захотят нас самих ограбить, а потом еще кой-кого избить или даже убить, тогда что?

— Не дай бог, они сюда плывут в солдаты брать! Тогда ведь всех нас с вами заберут! — подал голос Абдул Джавад.

— Давайте-ка лучше возьмем и уйдем из деревни,— предложил Мухаммад Ахмад Али.

— А куда же мы пойдем? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Туда, где они не смогут нас поймать.

Староста поднял голову и спросил Салеха:

— Ну что, Салех? Все еще плывут?

— Плывут! И спешат к тому же!

— Слушай, староста,— заговорил Мухаммад Хаджи Мустафа,—

я вот что скажу: если они захотят кому-нибудь из нас зло причинить, мы все должны заодно стоять и ничего такого им не позволить!

— А если они захотят мне зло причинить? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

Ему никто не ответил.

Сын старосты сообщил с крыши:

— Медленнее поплыли, к берегу приближаются.

Мухаммад Хаджи Мустафа закричал:

— Женщины пусть домой идут! А ну, женщины, по домам!

Староста тоже прикрикнул:

— Давайте-ка пошевеливайтесь! Детей домой ведите!

Женщины и дети поспешно скрылись в улочках.

— Ну, а мы сами-то? Мы сами не пойдем? — спросил староста.

— Лучше бы нам всем в мечеть пойти,— предложил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Салех заявил:

— Я никуда не пойду. Я здесь останусь, посмотрю, что дальше будет.

— И я тоже не пойду. Побуду здесь вместе с Салехом,— сказал сын старосты.

— Если что-нибудь случится, нам тоже сообщите,— попросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Мужчины торопливо свернули за угол и направились к площади. Салех Камзари и сын старосты растянулись на крыше и впились глазами в катера, двигавшиеся по морской глади прямо к берегу.

## *III*

Тяжело дыша, сын старосты прибежал на площадь. Сидевшие у мечети поднялись.

— Ну, что там? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Они свернули и поплыли в ту сторону, где дом Салема Ахмада,— ответил сын старосты.— Уже на берег сходят.

— Значит, собираются с той стороны к деревне подойти? — спросил староста.

— По-моему, они в деревню не пойдут. Похоже, что собираются остаться там, где причалили.

— Остаться? — переспросил Закария.— Зачем же им там оставаться?

— Я не знаю зачем. Только они с собой столько всякого добра навезли, что диву даешься!

— А что же они привезли? — заинтересовался Закария.

— Десять-двенадцать шатров, большие сундуки и еще целую кучу всякой всячины.

— А сами-то они кто такие? Как выглядят?— спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Не знаю. Есть там и черные, и еще какие-то непонятные. Они все в разных диковинных шапках, одежда у них разноцветная.

— А это не арабы? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Нет, не арабы. Да видно, что и не с островов. В общем, совсем непонятно, откуда они. Сейчас шатрами своими занялись.

— А катера где? — спросил староста.

— Катера обратно ушли, к кораблю. Я так думаю, им до нас никакого дела нет. Салех сказал, что, если хотите, можете к нему на крышу пойти и на них поглядеть.

Закария сказал:

— Верно. Если им до нас дела нет, можно пойти поглядеть.

Мужчины отправились к дому Салеха.

— А все-таки нам лучше им на глаза не попадаться,— посоветовал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Почему же? — удивился Закария.— С чего это нам прятаться?

— Осторожность никогда не помешает, а то ведь, глядишь, все перемениться может. Откуда ты знаешь, что они задумали? Может, хитрят?! — ответил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Дело твое,— сказал Закария.— Поступай как знаешь, а я не боюсь, если они меня и увидят.

Они подошли к дому Салеха. Закария перешел улочку и поднялся на песчаный холм. Абдул Джавад взобрался туда же. Староста и Мухаммад Хаджи Мустафа зашли во двор Закарии, степенно поднялись по приставной лесенке и вышли на крышу дома Салеха. Салех сидел вытянув шею и, не отрываясь, глядел в ту сторону, где стоял дом Салема Ахмада.

— Чего это ты там высматриваешь? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Да вот на них гляжу,— ответил Салех и засмеялся.

— Ты с чего ж это смеешься, Салех Камзари? — спросил староста.

Салех ничего не ответил. Староста и Мухаммад Хаджи Мустафа тоже вытянули шеи, стараясь разглядеть происходящее.

За домом Салема Ахмада большая группа людей в причудливых шляпах ставила шатры. Они спешили. Шатры были разных цветов. На берегу стояло множество сундуков, блестевших, как золото под лучами утреннего солнца.

На холме Закария повернулся к Мухаммаду Хаджи Мустафе:

— Эй, Хаджи! Что-то непохоже, чтоб они приехали тебя грабить. У них самих все есть.

— Ну, а зачем же, по-твоему, они приехали?

— Откуда мне знать? Одному богу ведомо.

— Я так думаю, по ошибке они сюда заехали,— решил староста.

— Может, и так. Может, и по ошибке,— согласился Закария.

— Не дай бог, они охотиться приехали! А, староста? — предположил Абдул Джавад.

— Светлая твоя голова! Точно так и есть, как ты говоришь. Наверняка решили здесь поохотиться,— ответил староста.

Неожиданно сын старосты крикнул:

— Смотрите-ка! — и показал рукой на море.

Все обернулись. Катера снова приближались к берегу. На переднем катере под большими цветными зонтами стояли люди в темных очках. Другой катер вез мужчин в соломенных шляпах. Мужчины сидели на больших сундуках.

Салех закричал с крыши:

— Чтоб я помер, если вру! Как пить дать — товар везут!

Закария с холма подхватил:

— И неплохой, видать, товар!

— Думаю, они собираются пробыть здесь какое-то время,— предположил Салех.

— Если не будут нас трогать, пусть себе остаются, сколько их душе угодно,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

Не дойдя до берега, катера остановились. Несколько негров на берегу подхватили длинную доску, вошли в воду и подошли к большому катеру. Стоявшие под зонтами спустились на берег, опираясь на перильца, приделанные к доске.

— Пойду посмотрю, откуда они прибыли,— сказал Закария.

Ему никто не ответил. Закария зашагал к толпе чужестранцев.

# IV

На закате все собрались у дома Салема Ахмада. В деревне не осталось ни души. Мужчины, а за их спинами женщины и дети сидели на корточках, разглядывая чужестранцев. Мухаммад Ахмад Али сидел, спрятавшись за спину Закарии, а Захед, пришедший сюда, хотя никто ему ничего и не сообщал, лежал на каменной плите и не спускал глаз с шатров.

С моря дул прохладный ветер. Солнце садилось в воду, и на шатры надвигалась густая тень, отбрасываемая высоким выступом берега.

В одном из больших крайних шатров были установлены котлы. Несколько негров в белых передниках, повязав лица платками так, чтобы они прикрывали им рты, подымали поочередно крышки котлов и исследовали содержимое. Перед шатром на костре жарилась рыба. За шатром несколько мужчин что-то пилили. Из шатров, стоящих в середине ряда, слышался женский и мужской смех.

Захед, не подымаясь с каменной плиты, сказал:

— А запах-то какой хороший идет! Чуешь, староста?

— Да-а. По-моему, у них сегодня пир будет,— ответил староста.

Закария сказал:

— На здоровье! Пусть едят, сколько их душе угодно!

— Меня запах жареной рыбы и перца с ума сводит,— признался Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Хоть бы нам дали! Мы бы хоть тоже поели! — загалдели женщины.

— У меня в сердце томление делается,— сказал Мухаммад Ахмад Али.— Если бы позволили, я бы все подчистую съел!

— Как думаете, что они готовят? — полюбопытствовал Абдул Джавад.

— Все, что только пожелаешь! — ответил Мухаммад Хаджи Мустафа.— И уж готов поклясться, что из рыбы жаркое точно готовят!

— Даст бог, и плов сварят,— задумчиво произнес Мухаммад Ахмад Али.

Сын старосты сказал:

— Я вот что думаю: давайте-ка встанем и уйдем отсюда. Оттого, что мы здесь сидим, проку не будет. Ничего-то нам не перепадет.

— Сердце у меня разрывается, как подумаю, что отсюда уходить надо,— сказал староста.

— Вот и со мной то же самое,— подтвердил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Я такого ни разу в жизни не видывал.

— Я от этих запахов наслаждение получаю. В сердце томление делается,— повторил Мухаммад Ахмад Али.

— И у меня тоже,— кивнул Мухаммад Хаджи Мустафа.

Закария спросил:

— Хаджи, теперь тебе уже не кажется, что они против нас зло задумали?

— Не-ет, больше не кажется. Я теперь успокоился.

— Ох, если бы мы могли с ними парой слов переброситься,— протянул староста.

— Если бы мы с самого начала к ним подошли, поздоровались бы, о здоровье расспросили, нам бы сегодня что-нибудь и перепало,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Так еще ведь не поздно.— заметил Салех.— Можно и сейчас к ним пойти, о здоровье расспросить.

— Вряд ли они наш язык понимают,— сказал Закария.

Из шатров донеслись звуки незнакомого музыкального инструмента. Все замолчали и прислушались.

Абдул Джавад повернулся к Захеду.

— Эй, Захед! Слышишь?

Захед приподнялся, сел и кивнул головой:

— Слышу, да.

— Как думаешь, с чего это они вдруг заиграли? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

— Думаю, ветер на них порчу навел.

— Что же они тогда в барабаны не бьют? — спросил Закария.

— Они родом не из джунглей, а потому барабаны не любят,— объяснил Захед.

Громко заплакал чей-то ребенок. Староста раздраженно обернулся и приказал:

— Успокойте его сейчас же!

Одна из женщин поднялась и ушла подальше. Плач замер.

Несколько высоких чужестранцев вынесли большой стол и поставили перед шатром. Группа негров расставила на столе посуду.

— Ей-богу, сейчас начнут! — сказал Мухаммад Ахмад Али.

— Да, да! Ужинать собираются. Есть будут! — подтвердил Салех.

— Ай, как хорошо-то! Сейчас начнут! — подхватил Абдул Джавад.

— Есть-то они будут! Вы чего радуетесь?! — одернул Закария.

— Потому что хорошо это... Разве плохо поесть? — сказал Мухаммад Ахмад Али.

— Мне так очень поглядеть охота, как они есть будут,— сказал Салех.

— Известное дело как! Возьмут кусок, в рот положат да и съедят,— ответил Закария.

— Дай бог, чтоб так и было! Дай бог, чтобы как положено ели! — забормотал Мухаммад Ахмад Али.

— Ты, Мухаммад Ахмад Али, лучше бы заткнулся! Сами все увидим, что так, а что не так,— сказал староста.

Негры вынесли из шатра блюда с едой и поставили на стол. Ветер совсем стих. Темнело. Неожиданно раскатился громкий дрожащий гул, и в то же мгновение все шатры осветились.

— Слава пророку! — выговорил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Несколько мужчин тихо зашептали молитву.

— По-моему, они до утра сидеть собираются,— сказал Закария.

— Ну и пусть сидят, Закария. Пусть все, что им заблагорассудится, делают! — ответил староста.

Зазвенел колокольчик. Негры, кольцом обступившие стол, отошли в сторону. Из шатров вышли трое мужчин и три женщины в разноцветных одеждах. Лица женщин не были прикрыты чадрой, завитки волос падали на плечи.

— Ой, глядите же! На женщин их поглядите! — в восторге выкрикнул Мухаммад Ахмад Али.

— Ах ты боже мой! Видишь, староста? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Захед! Эй! Видишь? Женщин видишь? — повторял Мухаммад Ахмад Али.

— Вижу, вижу. Если им в таком виде хорошо, то и на здоровье! — ответил Захед.

— Ох, наверное, и удовольствие же они получают! — бормотал Мухаммад Ахмад Али.

— Да уж, должно быть,— согласился Захед.

— Ну прямо рыбки-маринки! Гладенькие да чистенькие!

— А белолицые какие! — присоединился Салех.

— И на вкус, наверно, хороши,— предположил Захед.

— Позавидуешь их мужчинам, да и только! — сказал Абдул Джавад.

— Да-а,— продолжал Мухаммад Ахмад Али.— Сейчас плову наедятся, а потом их с собой в шатры поведут. Тут и пойдет! И пойдет! Ох, и удовольствие же, ох, и наслаждение! До того-то им хорошо будет, что ночью солнце взойдет!

— Чего это тебя понесло, Мухаммад Ахмад Али?! Тебе-то не достанется,— сказал Закария.

— Знаю... Да я и не хочу, чтобы мне досталось.

— А вот мне бы хотелось! — сказал Салех.— Ей-богу, хотел бы, чтобы и на мою долю досталось. Очень я это люблю! Очень нравится мне удовольствие получать!

— А кому же это не нравится, Салех? — удивился староста.— Удовольствие получать все любят.

— Женщины — вещь очень хорошая! — заявил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Сначала еда, а потом женщины!

Чужестранцы стояли вокруг стола и над чем-то смеялись.

— Не иначе как потаскушки! Не видите, что ли? — сказал староста.

Чужестранцы наконец сели за стол и принялись за еду.

Салех сказал:

— Отсюда как следует не видать. Я немного поближе сяду.— И, не выпрямляясь во весь рост, он на корточках продвинулся на несколько шагов вперед.

— Салех верно говорит. Отсюда как следует не видно,— подтвердил Закария и подвинулся к тому месту, где устроился Салех.

— Ну, раз вы поближе сели, беды не будет, если я тоже с вами сяду,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа и подсел поближе к Закарии.

Тут уж и все остальные подобрались поближе.

— Сейчас тебе хорошо видно, Салех? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Были бы поближе, было бы еще лучше видно,— ответил Салех.

Он подвинулся еще на несколько шагов. Остальные тоже сдвинулись вперед.

— Салех дело говорит,— сказал Закария.— Были бы мы поближе, гораздо было бы лучше.

И все одновременно подвинулись еще вперед.

— Лучше слишком близко к ним не подходить, а то они нас могут увидеть, и им это не понравится,— сказал староста.

— Почему это им не понравится? — спросил Закария.— Мы же не еду их есть пришли, а только посмотреть на них.

— Конечно,— поддержал Мухаммад Хаджи Мустафа.— Мы только самую чуточку на них поглядим — и будьте здоровы! Ничего тут такого нет, чтобы им не понравилось.

Все подвинулись еще ближе.

— Богом клянусь, до чего мне хочется совсем близко к ним сесть! Ничего с собой поделать не могу! — признался Салех Камзари.

И все подвинулись еще ближе и оказались всего в нескольких шагах от стола. Чужестранцы сидели за столом и разговаривали. Стол ломился от разнообразной еды, а они вяло и неохотно время от времени отщипывали кусочек и опять принимались болтать и смеяться.

Мухаммад Ахмад Али сказал Абдул Джаваду:

— Вот бы мне съесть хоть кусочек с их стола!

— Ох, и мне бы тоже! Хоть кусочек! — подхватил Захед.

Неожиданно одна из чужестранок повернулась в их сторону. Увидев сборище, она встала из-за стола и удивленно и с испугом произнесла: «Э-э-э!»

Все сидевшие за столом тоже встали и замерли на своих местах, а перепуганные рыбаки в ужасе вцепились друг в друга и с круглыми от страха глазами, не двигаясь, застыли в ожидании.



## V

Когда они вернулись к дому Салема Ахмада, ночь уже подходила к концу. Наполненные едой медные кастрюли поставили у двери гостевой комнаты. Староста толкнул ворота двора и показал толпившимся за ним женщинам, чтобы они входили. Женщины и дети торопливо ринулись во двор.

— Откройте-ка двери гостевой — еду туда поставим,— распорядился Мухаммад Хаджи Мустафа.

Мухаммад Ахмад Али открыл дверь, и пищу внесли в комнату. В гостевой было темно и пахло золой. Мужчины снова вышли на крыльцо. Староста сказал:

— Нам бы лампу сюда...

— Сейчас устроим,— ответил Салех, пошел во двор и через несколько секунд вернулся с зажженным фонарем. Все снова вошли в гостевую. Салех повесил фонарь на деревянный крючок у очага. Кастрюли подтащили ближе к свету. Закария нагнулся и, заглянув в одну из кастрюль, сказал:

— И вовсе не понять, из чего они ее приготовили!

Мухаммад Ахмад Али протянул руку и схватил кусок.

— Сейчас я кусочек съем и, может быть, пойму, что это такое.

— А ну, чтоб никто не хватал! — рассерженно прикрикнул Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Потерпите немного. Сейчас посмотрим, что с едой делать,— сказал староста.

— Если они не мусульмане, тогда их пищу нам есть нельзя,— заявил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Почему же нельзя? — спросил Закария.— Пища для всех одна — и для мусульман, и для неверных.

— Можно ее есть! Очень даже можно! — засуетился Мухаммад Ахмад Али.

— Дай бог, чтобы они мусульманами оказались! Да, впрочем, если бы мусульманами не были, нам бы столько и не дали,— рассудил староста.

Салех спросил:

— Мухаммад Ахмад Али, вкусная штука?

Облизывая пальцы, Мухаммад Ахмад Али ответил:

— Я не знаю, вкусная или нет, но если бы позволили, я бы еще тысячу кусков съел!

— Если бы ты тысячу кусков съел, другим бы и понюхать не осталось! — сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Нет-нет, всем должно достаться! Все поесть должны! — сказал староста.— Вот если кто есть не захочет, тогда может свою долю другому отдать.

— Кто мне свою долю отдаст, тому бог и на этом свете и на том сторицей воздаст,— пообещал Захед.

— Я сторицы не хочу! Я свою долю съем,— решил Закария.

Женщины и дети, перегнувшись через окна гостевой, заглядывали внутрь и шушукались.

Мухаммад Хаджи Мустафа повернулся к ним:

— Вам что тут надо? Потерпите немного, сейчас разберемся, что к чему!

Женщины заворчали и отошли подальше.

— Не сердись ты на них, Хаджи,— сказал сын старосты.— Голодные они, есть хотят.

— Что они есть-то собираются? Вначале поделить все надо,— ответил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Мухаммад Ахмад Али расстелил свою чалму на земле и попросил:

— Мою долю сюда насыпьте!

Салех засмеялся, а другие мужчины тоже начали расстилать свои чалмы.

Закария спросил:

— Так кто же делить будет?

— Да ты и дели, Закария,— сказал староста.— И глаз у тебя хороший, и совесть имеешь.

Закария закатал рукава.

— Ну что ж. Раз, говорите, совесть у меня есть, возьму это дело на себя.

Он сложил ладони ковшиком, наполнил их едой и высыпал пищу в чалму Мухаммада Хаджи Мустафы.

— Господь да продлит твою жизнь! — воскликнул Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Велика твоя доброта! — ответил Закария и наполнил едой чалму старосты.

— Э-э, Закария! Почему это в этот раз у тебя пригоршня такая маленькая получилась?! — сказал староста.

— Ты что ж думаешь, у меня пригоршня больше или меньше быть не может?

— Не придирайся, староста! — вступился Мухаммад Хаджи Мустафа.— Твоя доля намного жирней моей.

Мухаммад Ахмад Али сказал Абдул Джаваду:

— Дай бог, чтобы, когда моя очередь подойдет, у Закарии пригоршня большой-большой стала!

Абдул Джавад расстелил перед Закарией свою чалму, и тот вновь опорожнил ковшик ладоней. Абдул Джавад положил кусок в рот и попробовал.

— Ну как, Абдул Джавад? Вкусно? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— У тебя у самого есть. Попробуй — узнаешь!

— Да ведь жалко! — признался Мухаммад Хаджи Мустафа.

А Закария все наполнял ладони пищей и высыпал ее в расстеленные чалмы.

— Женщин и детей не забывай считать, Закария! — напомнил староста.

— А я чем же виноват, если у меня ни жены, ни детей нет! — сказал Захед.— Мухаммад Ахмад Али, что ты скажешь?

— Раз у нас с тобой жен да детей нет, значит, должны меньше есть,— ответил Мухаммад Ахмад Али.

Женщины начали шушукаться громче. Закария обернулся и посмотрел в их сторону. Женщины сгрудились у окон. Они протягивали руки в комнату и ныли.

— А ну, по домам! — закричал, вставая на ноги, староста.— Сейчас принесем и вам поесть.

Слабый голос из темноты произнес:

— Старух-то не обделяйте!

А Захед добавил:

— Убогих тоже пожалеть надо. Побольше им дайте!

## VI



Мухаммад Ахмад Али только-только лег спать, как услышал за своей хижиной чей-то разговор. Он встал и, высунув голову из-за циновки, закрывавшей вход, увидел Абдул Джавада и сына старосты, шагавших к морю.

— Эй, сын старосты! Куда это вы отправились? — окликнул Мухаммад Ахмад Али.

— В море идем рыбу ловить,— сказал сын старосты.

— Еще же очень рано... Так, Абдул Джавад?

— Да, верно... Рано еще,— ответил Абдул Джавад.

— Тогда чего же вы в такую рань собрались?

— Да вот хотим потолковать немного,— сказал сын старосты.

Мухаммад Ахмад Али вышел из хижины и зашагал рядом с ними. Сын старосты спросил:

— А ты чего пришел?

— Я тоже хочу потолковать.

— Да не собираемся мы ни о чем толковать! — сказал Абдул Джавад.— Мы решили пойти поглядеть, что у них там делается.

— Ну и хорошо. Я тоже с вами пойду,— решил Мухаммад Ахмад Али, и все трое зашагали к шатрам.

— Они сейчас спят все, наверно,— предположил Абдул Джавад.

— Спят так спят. Нам-то что? — сказал сын старосты.

— А вдруг им не понравится, что мы пришли? — засомневался Мухаммад Ахмад Али.

— Если боишься, то лучше с нами не ходи,— сказал Абдул Джавад.

— Да нет, не боюсь я...

Они прошли всего несколько шагов, когда им на глаза попался Салех, направлявшийся с палкой в руках к дому Салема Ахмада.

— Салех! Куда это ты среди ночи собрался? — спросил Абдул Джавад.

— Да вот иду посмотреть, что там у них делается,— ответил Салех.— А вы куда это втроем идете?

— Мы тоже решили посмотреть, что там,— объяснил сын старосты.

— Даст бог, что-нибудь нам дадут,— сказал Мухаммад Ахмад Али.

— Ты ведь всего два часа назад до отвала нажрался! Опять, что ли, голоден? — удивился сын старосты.

За домом Салема Ахмада они увидели Закарию, Мухаммада Хаджи Мустафу и еще несколько человек. Все они сидели перед гостевой и глазели на шатры.

Шатры были по-прежнему освещены. Чужестранцы то выходили из шатров, то снова в них заходили. Издалека доносился женский и мужской смех.

Увидев вновь прибывших, Закария спросил:

— Вы почему спать не легли?

— Поглядеть пришли,— сказал Салех.— А вы что тут делаете?

— Мы тоже поглядеть пришли,— ответил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Салех Камзари и Мухаммад Ахмад Али уселись возле Закарии, а

сын старосты и Абдул Джавад устроились на корточках чуть ближе к шатрам. Море было чистым и прозрачным. Далеко на горизонте по-прежнему стоял большой корабль с зажженными огнями.

К собравшимся присоединился староста.

— Ну что, в конце концов разобрались, зачем они сюда пожаловали? — спросил он.

— Даст бог, разберемся,— ответил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Тут терпение требуется.

— Одно плохо — мы с ними и поговорить не можем,— пожалел Салех Камзари.

— Почему же? Многие из них наш язык понимают,— сказал Закария.— С ними можно поговорить.

Прошло несколько минут, и появился Захед. Староста спросил:

— Захед! Тебе же плохо было. Зачем ты сюда пришел?

— Не спалось мне, староста. Я и подумал, может, чего будет... Глядишь, вам что-нибудь дадут, а я в дураках останусь!

— Ты не волнуйся,— сказал Мухаммад Ахмад Али,— пока что ничего такого не было.

— То есть хочешь сказать, ничего вам пока не дали?

— Не дали нам ничего,— успокоил его Закария.

— А верить вам можно?

— Хочешь — верь, а хочешь — не верь,— сказал староста.

Захед повернулся к Мухаммаду Ахмаду Али:

— Эй, Мухаммад Ахмад Али! Если так получится, что меня здесь не будет, а вам что-нибудь перепадет, ты не забудь, что есть такой один несчастный черный, что всю свою жизнь за прудом Айюба голодает!

— Даст бог, не забуду,— ответил Мухаммад Ахмад Али.

Еще через несколько минут вся деревня собралась вокруг дома Салема Ахмада.

— Послушай, староста! Похоже, что сегодня вообще никто спать не лег,— сказал Закария.

— Ну что же, это их право. Да и кто же сегодня уснуть бы смог?! — ответил староста.

— Через несколько минут надо будет в море выходить,— заметил сын старосты.

— Мне так сегодня никакой охоты нет в море идти,— заявил Салех.

— Вот и мне тоже... Не хочется мне в море идти,— сказал Закария.

— А завтра что будете делать? Есть-то что будете? — спросил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Даст бог, что-нибудь на нашу долю достанется, голодными не будем,— сказал Закария.

— Даст бог...— повторил Абдул Джавад.

— Дай-то бог, дай-то бог,— подхватил Захед.

— Раз уж решили, что в море не идем, может, нам сейчас лучше подняться да поближе подойти? — сказал Салех Камзари.

— Светлая у тебя голова! До чего же хорошо сказал! — похвалил Мухаммад Хаджи Мустафа.

Они поднялись и крадучись двинулись к шатрам.

## VII

На рассвете из шатра вышел высокий негр в красной рубашке и увидел, что жители деревни, тесно прижавшись друг к другу, сидят прямо перед шатрами. Он немного постоял, а потом большими шагами

пошел в их сторону. Несколько человек хотели было отсесть подальше, но Закария сказал:

— Не двигайтесь! Ему до нас дела нет.

— Ой, не нравится это ему, Закария! По глазам его видно,— пробормотал Мухаммад Ахмад Али.

— Не обращайте внимания! — приказал Закария.— Сделайте вид, что ничего не понимаете!

Подойдя к общине вплотную, негр сказал:

— Зачем это вы здесь собрались?

— Ни за чем... просто так,— ответил Закария.

— Просто так ничего не делается,— сказал негр.— В такую рань заявились, небось дело у вас есть?

— Да нет, мы без всякого дела пришли. Просто так себе пришли, вот и сели,— ответил Закария.

— Что ж это, у вас разве дел своих нет?

— Сегодня нет... Нет у нас дел сегодня.

— А в море разве не ходите?

— В море? — переспросил Закария.— Нет, мы в море не ходим.

— Тогда чьи же эти все рыбацкие лодки?

— Да думаю, что наши...

— Значит, вы все-таки в море ходите, а?

— Да вот, иногда ходим, а иногда и не ходим.

— А сегодня что же не пошли?

— По правде, нам сегодня что-то не захотелось в море идти.

— Тогда чего же вы здесь уселись?

— Место здесь хорошее... нравится оно нам.

— А другие места вам что, не нравятся?

— По правде говоря, нет. Мы это место больше всего любим.

— Да ведь всюду-то одно и то же!

— Это ты верно говоришь: всюду одно и то же.

— Тогда вставайте-ка и идите себе в другое место!

— Велика твоя доброта, только нам и здесь хорошо.

Негр сказал:

— Ведь знаю же, вы сюда пришли на шатры глазеть. Так?

— Наверно, так,— ответил Закария.

— Вот что: незачем вам на шатры глазеть. Вставайте и уходите отсюда.

— Может, конечно, мы и на шатры глядим, а может, на море, а может,— и на небо или еще на что-нибудь.

Мухаммад Ахмад Али выкрикнул:

— Бог меня накажи! Я так все это время на море глядел!

— А я вообще никуда не глядел,— подал голос Захед.

— Вранье! — заявил негр.— Все это — вранье! Я-то знаю: вы все это время на шатры глазели. Господи ты боже мой! Вставайте и уходите отсюда!

— Никуда мы не пойдем,— сказал Салех.— Мы здесь останемся, мы никому и не мешаем вовсе.

— Это наше место,— добавил Абдул Джавад.

— Не выйдет! — отрезал негр.— Вставайте же, о господи! Идите себе в другое место! Ну, живо! Давайте, давайте!

— Мы же с тобой не ругаемся! Чего ты на нас кричишь?! — сказал Закария.

Вмешался староста:

— Ну ладно. Ты не ругайся! Мы сейчас встанем и уйдем.

Они поднялись и медленно побрели прочь. Негр повернулся кругом и пошел в один из шатров. Община остановилась, и все оглянулись назад. Салех сказал:

— Эй, Закария! А черный-то ушел.

— Пошли обратно! — решил Закария.

И они вернулись на прежнее место, уселись и впились глазами в шатры.

— Закария! На кухне-то за работу принялись! — сообщил Салех.

— Возблагодарим господа! — воскликнул староста.

— Дым-то какой повалил! — заметил Мухаммад Ахмад Али.— Дай бог, чтобы они побольше всего наготовили, сами бы не ели, а все бы нам отдали!

Неожиданно Мухаммад Хаджи Мустафа вскрикнул:

— Идут!

У шатра стояли двое негров в красных рубашках. Они смотрели на общину.

— Не смотрите на них! — приказал Закария.— Никуда не смотрите!

Все опустили головы и закрыли глаза. Через несколько мгновений оба негра стояли перед общиной.

— Вы что же, вернулись? — спросил первый негр.

Закария поднял голову:

— Что?

— Вы зачем вернулись? — спросил негр.

— Вернулись? — переспросил Закария.— Откуда вернулись?

— А вы разве не уходили?

— Не-е-ет! Куда это мы уходили? Мы никуда и не уходили. Эй, староста! Разве мы куда-нибудь уходили?

Второй негр спросил:

— Разве вы не знаете, что не имеете права здесь сидеть?!

— Нет, не знаем,— ответил Закария.

— Ну вот, теперь будете знать. Вам здесь сидеть не положено,— сказал второй негр.

— А что будет, если мы здесь посидим? — спросил Закария.

— Известно что,— ответил первый негр.— Они проснутся, и им это не понравится.

— По-моему, не должно им это не понравиться,— сказал Закария.

— Вставайте-ка лучше и проваливайте! — приказал первый негр.

Второй негр добавил:

— А не уйдете, вам же хуже будет!

— А если мы не уйдем...— начал было Закария.

— Ох ты ж господи, твоя воля! — заорал негр.— Подымайтесь быстро! Ну, живо!

Староста сказал:

— Хорошо, хорошо. Не шумите! Встаем и уходим.

— Подумаешь! — сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.— И без этого места найдется где посидеть!

Они встали и пошли прочь. Негры вернулись к себе в шатер. Рыбаки оглянулись и посмотрели назад.

— Закария! А они ушли! — сказал Мухаммад Ахмад Али.

— Что делать будем? — спросил староста.

— Вернемся! — решил Закария.

Они крадучись, незаметно вернулись на прежнее место и сели.

— Ой! О, пророк аллаха! — завопил вдруг Мухаммад Ахмад Али.

В их сторону мчались десять-пятнадцать негров, размахивая над головами длинными бичами.

Рыбаки вскочили на ноги и бросились наутек. Добежав до деревни, они оглянулись. Негров не было.

— Ушли. Не видно их,— сказал Салех.

— В шатер к себе вернулись,— подтвердил Абдул Джавад.

— Что будем делать? — спросил Мухаммад Ахмад Али.
— Вернемся! — решил Закария.
Они взялись за руки и с опаской двинулись обратно к шатрам.

## VIII

Под вечер Мухаммад Ахмад Али и Салех Камзари пришли в мечеть. Сидевший перед михрабом Мухаммад Хаджи Мустафа спросил:
— Какие новости?
— Новости хорошие! Добрые новости! — ответил Салех.
— Господь тебе воздаст! — воскликнул староста.— Что же вы нам расскажете?
— Целое море еды! Видимо-невидимо! Ешь себе до отвала! — затараторил Мухаммад Ахмад Али.
— Правда? — засомневался Закария.
— Да накажи меня бог! Столько всякой еды нам дали — можно две недели есть, и то не кончится!
— Где же она?
— Они ее всю у дома Салема Ахмада вывалили,— объяснил Салех.
— Чего же вы ее сюда не перенесли? — спросил староста.
— Это одному или двум не под силу. Нам всем туда пойти надо,— ответил Салех.
— Чего ж вы расселись? Подымайтесь, пойдем! — поторопил Мухаммад Хаджи Мустафа.
— В руках столько не унести, тара нужна,— сказал Мухаммад Ахмад Али.
— Иди ко мне домой,— распорядился Закария,— и принеси три корзины: две для меня и одну для себя.
— Я сейчас схожу лохань принесу,— сказал староста.
— А я две лохани возьму,— решил Мухаммад Хаджи Мустафа.
Они вышли из мечети. Темнело. Со всех сторон несся шум моря. Захед торопливо затрусил к дому Салема Ахмада.
— Эй, дикарь! — окликнул его Салех Камзари.— А тебе разве корзина не нужна?
— Не нужна мне никакая корзина. Я все, что мне достанется, сразу и съем!

## IX

Была уже ночь, когда мужчины собрались под навесом мечети. На земле в центре деревенской площади светился большой фонарь. Рядом с каждым стояли большие корзины, у кого — одна, а у кого — две.
— Давненько мы в море не выходили,— сказал староста.
— Да-а, давно,— согласился Салех.
— Представляете, сколько рыбы упустили?! — продолжал староста.
— Теперь ведь рыба никому и не нужна,— сказал Закария.
— Верно,— согласился Мухаммад Хаджи Мустафа.— Когда все сыты, зачем нам рыба?
— Никакой охоты нет в море идти,— заявил Абдул Джавад.— Меня сейчас хоть в шею толкай — в море не пойду!
— Море, оно для голодных, а мы-то, слава аллаху, сыты,— сказал Салех и погладил себя по выпирающему животу.
— Какой нам теперь от моря прок? Так ведь, староста? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

— Не знаю,— ответил староста.— Может, ты и прав, а может, и нет...

Море глухо шумело вдали.

## X

Около полудня, когда мужчины сидели перед мечетью, из улочки показались несколько негров. За ними шли те самые трое мужчин и три женщины и еще какие-то люди. Община поднялась. Мухаммад Хаджи Мустафа сказал Закарии:

— Эй, Закария! Если чего спросят, ты сам им отвечай!

— Дай бог, чтобы ничего не спрашивали,— заметил Закария.

— А зачем они сюда идут, Закария? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

Закария не ответил.

Негры подошли ближе. Они были в хорошем настроении и пересмеивались.

Староста вышел вперед:

— Добро́ пожаловать! Милости просим!

— Ты спроси их, зачем сюда пришли? — подсказал Мухаммад Ахмад Али.

Закария толкнул его в бок, Мухаммад Ахмад Али замолк и отошел подальше.

Один из негров сказал:

— Они пришли здешние места посмотреть.

— Здешние места посмотреть? — переспросил староста.— Эй, Закария! Здешние места хотят посмотреть.

Закария вышел вперед:

— Что же именно они хотят посмотреть?

— Да все вокруг,— ответил негр.

— Ну что, например?

— Деревню вашу, дома...

— Слышите? Не говорил я вам разве? — забормотал Мухаммад Хаджи Мустафа, но Салех Камзари толкнул его в бок, и Мухаммад Хаджи Мустафа, замолчав, отошел назад.

— А зачем это им нужно? — спросил Закария.

— Так просто. Им вообще нравится все осматривать,— ответил негр.

— Я про дома говорю,— уточнил Закария.

— Они любят дома осматривать... Им интересно посмотреть, как вы живете.

— Живем, как все живут,— ответил Закария.

Мухаммад Ахмад Али громко заныл:

— Господи боже мой! Мы же ничего не сделали. Несчастные мы, нищие! Не трогайте вы нас!

Негр сказал:

— Да вы не бойтесь! Они вас не тронут, им только поглядеть хочется. Нравятся им деревеньки вроде вашей.

Другой негр добавил:

— А если вы не захотите, они и слова не скажут. Повернутся и уйдут.

— Только, если уйдут, вам же в убыток. Вы ведь нищие, несчастные — они вас пожалеть могут, дадут вам чего-нибудь, пособят,— пояснил первый негр и подмигнул.

Мухаммад Ахмад Али выбежал вперед:

— Тогда пусть сначала мой дом посмотрят. Ты им скажи, бога

ради, чтобы первым делом ко мне зашли. Я здесь самый несчастный, самый нищий! У меня ничегошеньки нет!

— Замолкни ты на минуту! — прикрикнул староста.— Пусть Закария с ними разговаривает.

Негр сказал:

— Они во все дома заглянуть собираются. Им нравятся всякие диковинки.

Стоявший поодаль Захед подошел к негру:

— Мой дом здесь самый удивительный! Я — Захед... дикарь. В барабан бью, петь умею. У меня есть двадцать, а то и больше бамбуковых палок из Индии и Маската [1].

— Им бамбуковые палки не нужны,— сказал Салех,— а барабаны они не любят.

Захед, обращаясь к негру, продолжал:

— Я им спою! Хорошо спою! Вот для этих всех,— он показал на общину,— сто раз, тысячу раз, а может, и больше пел...

— Ты можешь успокоиться?! — грозно прикрикнул Закария.

Одна из женщин, с очень длинными волосами, подошла к негру и что-то ему сказала. Негр ей ответил, и все чужестранцы собрались в кружок и заговорили о чем-то своем посмеиваясь.

— Эй, Закария! Что они там говорят? Над чем смеются? — спросил староста.

— Я их не понимаю,— ответил Закария.

Негр снова подошел к общине:

— Они говорят, что всего несколько домов посмотрят и с них будет довольно.

— Тогда пусть сначала мой дом поглядят,— сказал Абдул Джавад, взял негра за руку и повел к своему дому. За ними пошли и остальные. Они завернули за угол и вошли во двор дома Абдул Джавада. По стенам были развешены рыбацкие сети, на каменной тумбе стояли большой глиняный кувшин с водой и еще два кувшина поменьше. Мать Абдул Джавада, сидя на крыше дома, ручной мельницей молола зерно.

Абдул Джавад прошел вперед и открыл дверь комнаты. Все подошли к двери и заглянули внутрь. Одна из женщин что-то сказала, а остальные засмеялись. Потом та же женщина вошла в комнату и остановилась перед стенной нишей, над которой висело несколько кинжалов. Остальные тоже вошли в комнату и принялись все разглядывать.

— Это — кинжалы,— объяснил Абдул Джавад.— Очень хорошая штука!

Он снял со стены один из кинжалов и протянул длинноволосой женщине. Она вынула кинжал из ножен. Один из чужестранцев что-то сказал, а остальные опять засмеялись и начали щупать ножны.

— Я свои кинжалы очень люблю,— сказал Абдул Джавад.— Мне их с островов привезли.

Негр повернулся к чужестранцам, и они начали о чем-то между собой говорить. Мужчина, державший ножны в руках, сказал негру несколько слов. Негр спросил у Абдул Джавада:

— Ты согласен это продать?

— Конечно согласен. Очень даже хочу продать!

Негр рассмеялся и высыпал в ладонь Абдул Джавада горсть монет.

Салех Камзари, стоявший за спиной остальных, осведомился:

— Что, Абдул Джавад? Доволен ты наконец?

Абдул Джавад сказал негру:

— У меня еще две штуки есть. Очень тоже хорошие. Не купишь?

Староста раздвинул локтями толпу и пробился вперед:

---

[1] Порт на побережье Оманского залива.

— Не будет он ничего покупать! Что ты за нахал бессовестный, Абдул Джавад! Другим ведь тоже что-нибудь должно перепасть, не так?

Староста ухватил негра за руку, приговаривая:

— Сейчас ко мне домой пойдем. Посмотрите, что у меня есть...

И он потащил негра на улицу. Остальные, смеясь, пошли за ними. Когда все вышли из дома Абдул Джавада, Закария повернулся к общине и заявил:

— После старосты моя очередь. Заранее вам говорю, чтобы запомнили.

## XI

Солнце уже начинало садиться, когда пришла очередь хижины Захеда. Чужестранцы, неся в руках несколько паласов, кинжалы, пороховницу, глиняную чашу, посох, кофейник, кувшины и масляную лампу, прошли вместе с жителями деревни мимо пруда и добрались до хижины Захеда. Сам Захед шел впереди всех, голова его мелко тряслась. Когда они подошли к хижине, Захед потер руки и заговорил:

— Вот это — дом Захеда. Нет у Захеда ни кинжалов, ни пороховницы. Захед — нищий! Зато у него есть вещи получше: тамтамы есть, барабаны... Двадцать, а то и больше, бамбуковых палок... Килия у Захеда есть хорошая...

Он вошел в хижину и вынес оттуда кисет. Насыпав на ладонь горсть килии, он предложил ее чужестранцам. Те с удивлением переглянулись.

— Очень хорошая вещь,— сказал Захед.— Ни у кого, кроме меня, такой хорошей килии нет. Я любого, кто попросит, килией угощаю. Одному Мухаммаду Ахмаду Али тысячу раз, а то и больше давал, Салеху и старосте тоже — всех угощал! Очень вкусная. Попробуйте!

Он взял щепотку килии, заложил за щеку и затряс головой. Одна из женщин нагнулась, понюхала килию и поморщилась.

— Они не будут,— сказал негр.— Не любят они это.

— Хорошо, хорошо,— согласился Захед.— Если они килию не любят, я им свой бамбук покажу.

Он зашел в хижину и вернулся с несколькими длинными бамбуковыми палками.

— Очень хороший бамбук! Нигде такого не найдете! Две штуки из Маската, а остальные мне из Индии привезли. Замечательная вещь! Особые свойства имеет!

Один из чужестранцев сделал знак негру, и тот дал Захеду пригоршню монет, а бамбуковые палки положил себе под мышку. Женщины, переговариваясь между собой, вошли в хижину Захеда и разглядывали его тамтамы и барабаны.

— Это все — мое,— объяснил Захед.— Все-все здесь мое. Захед — нищий, черный дикарь, а вот сколько у него барабанов! Хотите, для вас поиграю?

Негр сказал женщинам несколько слов, они засмеялись и закивали головами. Захед взял большой барабан и вышел из хижины. Все встали в круг. Повесив барабан на плечо, Захед спросил:

— Староста! Что мне для них сыграть?

— То, что сам любишь,— посоветовал староста.

— Я хочу им что-нибудь хорошее сыграть.

— Пока ты собираешься, они уже уйдут,— сказал Закария.

— Даст бог, не уйдут, а останутся, послушают и бедняге черному какую-нибудь милостыню подадут. Я им сейчас «О, аллах!» сыграю.

— «О, аллах!» не годится. Что-нибудь другое сыграй,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Верно говоришь, Хаджи. Лучше я им сыграю «На рождение ребенка», а вы давайте пойте!

Захед смочил ладони слюной, взял в руки палочки и, мотая головой из стороны в сторону и подпрыгивая на месте, забил в барабан.

В эту же минуту из-за хижины послышался шум. Все обернулись и увидели, что из-за пруда Айюба к ним приближались, на ходу танцуя и звеня бубнами, женщины деревни.

## XII

Глубокой ночью они добрались до корабля. Море штормило, и они гребли, напрягаясь изо всех сил. На палубе горело несколько маленьких фонариков. Изнутри корабля не доносилось ни звука.

— Слушай, Закария! А если кто-нибудь на корабле есть, тогда что? — спросил Салех.

— Вряд ли кто тут остался,— ответил Закария.

— Да если и есть, бояться нечего,— сказал Абдул Джавад.

— Как это бояться нечего? — удивился сын старосты.

— Мы скажем, что просто пришли посмотреть. Ничего и не будет,— объяснил Закария.

— Что же нам тогда, с пустыми руками возвращаться?! — возмутился Абдул Джавад.

— Пошли, сначала посмотрим, что да как,— сказал Закария.

Они начали взбираться по трапу. С корабля по-прежнему не доносилось ни звука, и они осторожно поднялись на палубу. В воздухе висел странный запах. Мужчины отошли от перил и вошли в узкий крытый коридор, в который выходили две металлические двери, расположенные друг против друга. Закария остановился и прислушался. Затем он приоткрыл одну из дверей, заглянул туда и сделал рукой знак другим. Все вошли внутрь. Это была большая комната. Стены были утыканы толстыми металлическими гвоздями, а в дальнем углу стояли поставленные один на другой четыре сундука.

— Ну, быстро! Не мешкайте! — приказал Закария.

Салех взвалил один сундук себе на плечи и пошел через крытый коридор обратно на палубу. Уже у трапа его нагнали трое остальных, каждый с сундуком на плечах. Они осторожно спустились по ступенькам и поставили сундуки в баркас. Через несколько минут они снова поднялись на палубу и вошли в коридор. Закария потянул на себя вторую дверь, и она открылась. В комнате на маленьком диванчике сидел тощий негр и курил трубку. Увидев вошедших, он засмеялся и сказал:

— Здесь ничего нет, вот только связка веревок, да в том углу несколько жестяных коробок. Вряд ли это вам пригодится.

Салех, стоявший рядом с Закарией, заявил:

— Мне пригодится. Мне как раз веревки очень нужны.

Он прошел в комнату, собрал веревки и положил под мышку. Они вышли из комнаты и, оказавшись на палубе, увидели еще двух негров, которые, опершись на перила, разговаривали между собой и смеялись.

## XIII

Держа за ручки большую медную кастрюлю, староста и Мухаммад Ахмад Али вошли в шатер, где была кухня. Несколько негров сидели на скамейке у плиты и курили трубки.

— Салам-алейком,— сказал староста.— Еда готова?

Негр в белом переднике ответил:

— Пожалуй, что еще не готова.

Староста подошел ближе, приподнял крышку стоявшего на плите котла, заглянул внутрь и заявил:

— Готова. Очень даже готова!

Он подозвал Мухаммада Ахмада Али. Тот подтащил кастрюлю к плите. Староста взял большой черпак и щедро наполнил кастрюлю пищей. Потом он закрыл котел крышкой и сказал:

— Велика ваша доброта!

— На здоровье! — ответили негры и засмеялись.

Староста и Мухаммад Ахмад Али вышли из кухни и пошли к другому шатру рядом. Мухаммад Ахмад Али кашлянул и просунул голову в шатер. На диване лежал высокий мужчина и читал книгу.

— Салам-алейком,— сказал Мухаммад Ахмад Али.— Есть тут у вас что-нибудь, что нам пригодится?

Мужчина поднял голову и улыбнулся.

— Этот — из тех, которые наш язык не понимают,— пояснил Мухаммад Ахмад Али старосте.

Староста и Мухаммад Ахмад Али вошли в шатер и посмотрели по сторонам. У изголовья дивана на низеньком столике стояла коробка со сладостями. Староста взял коробку и сказал чужестранцу:

— До свидания!

Мужчина помахал рукой, а они вышли из этого шатра и направились к следующему. В шатре никого не было. На полу было раскидано множество непонятных и удивительных вещей.

— Э-э, староста! Можешь ты разобраться, для чего все это? — спросил Мухаммад Ахмад Али.

Староста поглядел и ответил:

— Нет, ей-богу, не понять.

— И я вот тоже никак в толк не возьму... Как ты думаешь, а что с этими штуками делают?

— Это одному богу известно.

Мухаммад Ахмад Али поставил кастрюлю на землю и вытащил из кучи вещей странный предмет. Это был длинный стержень, к которому с одного конца было приделано что-то наподобие перевернутой миски.

— Как ты думаешь, а это для чего?

— Не знаю... Может быть, очень хорошая вещь, а может, и нет.

— Вот и я думаю, что это хорошая вещь. Может, из нее похлебку едят?

— Как ты в нее похлебку-то нальешь? Все же выльется.

Мухаммад Ахмад Али задумался, потом поставил странный предмет так, чтобы миска стояла донышком вниз, а стержень торчал вверх.

— Вот думаю, они так и делают. Один этот стержень держит, чтобы не упал, а остальные вокруг рассаживаются и похлебку едят.

— Светлая у тебя голова! Хорошо разобрался!

— Нравится мне эта штука, я ее возьму себе,— решил Мухаммад Ахмад Али, подхватил стержень, и они вышли из шатра.

В четвертом шатре за столом сидели две женщины и пили кофе. Перед ними стоял негр. Староста вошел в шатер и сказал:

— Салам-алейком. Не найдется ли у вас чего-нибудь, что нам бы пригодилось?

— Что, например? — спросил негр.

— Да все равно. Посуда, одежда, еда, сигареты — все что угодно, только чтобы хорошее было. Нам все нужно.

Негр поговорил с женщинами, и они засмеялись. Негр сказал старосте:

— Мы и не знаем, что бы вам хотелось у нас взять.

Староста окинул шатер взглядом. Недалеко от входа лежала домашняя туфля. Староста нагнулся и поднял ее.

— Вот — хорошая вещь. Я ее возьму. Велика ваша доброта!

Женщины засмеялись. Староста и Мухаммад Ахмад Али направились к пятому шатру.

## XIV

Закончив еду, они встали и, с трудом дотащившись от кастрюль до мечети, тяжело повалились под навес.

— Я уже дышать не могу,— сообщил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— А я вот-вот лопну,— сказал староста.— Не могу до живота дотронуться.

— Меня как будто всего жратвой набили: всюду во мне еда — в животе, в груди, в руках, в ногах, в голове,— пожаловался Закария.

Ворочаясь и постанывая, Захед забормотал:

— Я теперь если тысячу лет не буду есть, и то не проголодаюсь.

— Меня как будто подменили,— вступил Мухаммад Ахмад Али.— Сейчас меня никто не смог бы на ноги поднять, а если б даже и удалось, я бы тотчас опять повалился.

— На Абдул Джавада посмотрите,— сказал Салех.— Его точно надули!

— На себя бы посмотрел! Раздулся, как дохлая корова! — ответил Абдул Джавад.

— Все мы такими стали,— сказал Закария.— Оттого, что столько за эти дни съели, разжирели все, разбухли, округлились...

— Дом мой теперь вроде меня — полон всякой всячины. Столько разного добра накопилось — не перечесть! — поделился староста.

— А у меня всякие удивительные вещи появились — ума не приложу, что с ними делать! — заметил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— У всех дома то же самое творится,— сказал Закария.— Сейчас нам лучше о здоровье своем подумать.

— Что же, говоришь, теперь нам делать? — спросил староста.

— Лучше всего не двигаться, а так и лежать, а там будь что будет,— посоветовал Салех.

— Верно он говорит,— согласился Абдул Джавад.— Нам сейчас на ноги подыматься опасно... Да и кто из нас в состоянии-то подняться?!

— Это все оттого, что они нас очень жирной пищей кормят,— сказал Закария.

— Тогда почему же они сами вроде нас не стали? — поинтересовался Мухаммад Ахмад Али.

— Это уж дело господа бога,— ответил Захед.

— Нет, Захед,— возразил Закария.— Это не божьих рук дело. Они просто сами столько не едят, сколько мы. Верно?!

— Я вот думаю, что, если и дальше так дело пойдет, мы через некоторое время сами себя не узнаем,— сказал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— И что же с нами такое будет? — полюбопытствовал Салех.

— Подобие человеческое потеряем,— ответил Мухаммад Хаджи Мустафа.

— О-ох, помираю,— застонал староста.

— Горе ты мое горькое! Дышать прямо нечем! — подхватил Закария.

— Хоть бы как-нибудь живот-то освободить! — закряхтел Салех.

— Да-а. Вот иметь бы в животе несколько дырок, чтобы часть жратвы оттуда вышла, и полегчало бы,— мечтательно произнес Абдул Джавад.

И они хором начали стонать. Через некоторое время из улочки напротив показались женщины. Все они сильно изменились: растолстели, раздались и опухли. С трудом они ползли вперед, перекатываясь с боку на бок. У каждой в руке была большая деревянная ложка. Когда им в конце концов удалось доползти до кастрюль, они уселись в кружок и со стонами и кряхтением начали зачерпывать полные ложки и запихивать еду себе в рот.

— О, владыка! — запричитала жена старосты.— Помоги мне! Места во мне больше для еды не осталось!

Жена Мухаммада Хаджи Мустафы добавила:

— Вот если бы у меня еще один живот был! Ох, два бы живота еще иметь!

— Раз уж другого выхода нет, то лучше нам не стонать, а дальше есть,— заявила жена Закарии.

— Верно говорит,— согласилась жена Салеха.— Давайте еще поедим.

Прошло несколько минут. Женщины выпустили ложки из рук, растянулись на земле возле кастрюль и принялись стонать.

Жена Салеха громко завопила:

— Ой, Салех! За что же на мою голову такое несчастье? Лопну ведь сейчас!

Лежавший под навесом Салех ответил:

— Ноги сдвинь вместе и дыши спокойно.

— Да разве ж я смогу?! — простонала она в ответ.— Как же я ноги вместе сдвину, когда вся-то я раздулась? Руки мои, ноги, голова, грудь — все едой набито! Разве ж я дышать могу?

## XV

Близился закат. На площадь пришли несколько негров с кастрюлями, до краев наполненными едой. Жители деревни по-прежнему лежали на земле с раздутыми животами.

Один из негров крикнул:

— Эгей! Что это с вами? Подымайтесь, ужинать пора!

— Сегодня еда особая, не как всегда,— добавил второй негр.

— Сегодня еда и жирней и вкусней, чем в прошлые разы! — крикнул третий негр.— Вставайте же, о господи! Ну, подымайтесь!

Мухаммад Ахмад Али ответил из-под навеса:

— Никто из нас и двинуться не может.

— Как бы там ни было, придется вам встать,— сказал второй негр,— а то иначе еда остынет и вкус потеряет.

— Дайте минутку передохнуть! — взмолился староста.— Я вот-вот лопну.

— Пожалейте нас! Совесть имейте! — застонал Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Невозможно,— ответил негр.— Мы это для вас готовили, не выбрасывать же теперь?!

— Нельзя осквернять пищу. Она — дар божий,— сказал третий негр.

— Не бойтесь, будьте спокойны! — заверил Салех.— Мы все съедим, не дадим ей пропасть.

— Эта ваша проклятая еда — точно известь,— сказал Абдул Джавад.— Липнет к кишкам и сердцу и не отстает.

— Потому что хорошая, сытная потому что,— ответил второй негр.

— Мы все распухли,— пожаловался староста.

— Я скоро на кита похож буду,— сказал Абдул Джавад.

— А я толще быка стал,— добавил Мухаммад Ахмад Али.

— Меня бы сейчас и четверка лошадей с места не сдвинула,— подхватил Мухаммад Хаджи Мустафа, а женщины запричитали:

— Пожалейте нас, помилуйте!

— Это все так,— сказал третий негр.— Вы все верно говорите, но только что же с ужином делать, а?

— Да съедим мы! — закричала жена Салеха.— Через час-другой все съедим!

— Правда? — усомнился первый негр.

— Правда, правда! — ответил Закария.

— Смотрите не хитрите! — предупредил третий негр.

— Какая же здесь может быть хитрость? С едой не хитрят,— ответил Закария.

Негры поставили полные кастрюли рядом с пустыми и ушли.

## XVI

Прошло несколько дней. Ранним утром мужчины деревни, взявшись за руки и заботливо поглядывая друг на друга, двинулись к лагерю чужестранцев. Они шли, тяжело дыша. Выпирающие животы заставляли их идти мелкими шагами. Когда они поравнялись с домом Салема Ахмада, Мухаммад Ахмад Али вскрикнул:

— Эй, Закария! Староста! Глядите!

Все повернули головы. Лагерь чужестранцев пропал, а от них самих на берегу не осталось и следа.

— Что же это такое? — удивился Мухаммад Хаджи Мустафа.

— Никак уехали?! — предположил Закария.

Они взглянули на море. На ровной глади не было видно ни корабля, ни катеров.

— Куда же они уехали? — спросил староста.

— Неизвестно,— ответил Салех.

— Не думается мне, чтобы они насовсем уехали. Даст бог, вернутся,— сказал Абдул Джавад.

— А если не вернутся, что делать? — забеспокоился Мухаммад Ахмад Али.

— Не знаю,— вздохнул староста.

— Горе нам, если они не вернутся! — воскликнул Закария.

— Мне горе, а не вам! — заныл Захед.— Я здесь самый несчастный! Вы-то можете в море идти, рыбу ловить, а мне что делать?

— Я в море не ходок! — заявил Салех.

— И я,— подтвердил Абдул Джавад.— Мне теперь о рыбной ловле и думать противно!

— Я уже привык каждый раз что-нибудь вкусное есть,— захныкал Мухаммад Ахмад Али.

— Я как увидел, что их нет, мне сразу есть захотелось,— сказал староста.

— О-ох,— протянул Закария.— Как мне сейчас хочется чего-нибудь очень вкусного, очень жирного!

— Я бы сейчас любой их еды наелся! Шурпа мне больше в глотку не полезет,— заявил Мухаммад Ахмад Али.

— Что теперь делать-то будем? — спросил староста.— Ведь никого из них здесь не осталось.

— Пошли к морю,— предложил Мухаммад Хаджи Мустафа.— Посидим на берегу, подождем... Авось вернутся...

С трудом передвигая тучные тела, они направились к берегу. Отлив заставил море съежиться; оно отступило от деревни, и побережье походило на подсыхающее болото. Утреннее солнце густым золотом

блестело на горизонте, и чья-то лодчонка с черным парусом болталась на воде из стороны в сторону, не зная, куда ей плыть.

## XVII

Когда Закария вышел из амбара Мухаммада Хаджи Мустафы, лампы в деревне были потушены — все спали. Взвалив на плечи тяжелый мешок и оглядываясь по сторонам, Закария, крадучись, пересек двор и вышел на улицу. В воздухе был разлит необычный свет. Полная луна горела багрово-фиолетовым пламенем над прудом Айюба.

Пройдя через площадь, Закария подошел к дверям своего дома. Деревня спала тяжелым сном. Густая темнота окутывала дома. Закария толкнул дверь, прошел во внутренний двор и, добредя до амбара в конце двора, свалил туда мешок, а сам вошел в дом.

Только он прилег, как со двора донесся странный шорох. Закария вскочил на ноги и, захватив длинный нож, выбежал во двор. Дверь амбара была распахнута, и было слышно, как кто-то там возится.

Закария подошел ближе. В ту же минуту из амбара вышел Салех с тяжелой торбой в руках.

— А ну постой, Салех! — произнес Закария.— Сейчас посмотрим, Салех Камзари, зачем это ты сюда пришел!

— Ни за чем,— ответил Салех.— Я просто мимо проходил.

— Через мой амбар?

— Вот-вот. Я себе шел, значит, и думаю: «Дай-ка сюда на минутку загляну».

— Чего это ты в торбу набрал?

— Да ничего... Барахло всякое, хлам...

Закария замахнулся ножом:

— Я тебе сейчас на месте брюхо распорю, чтобы знал, как мое добро таскать!

Салех Камзари отошел на несколько шагов и, неожиданно кинув мешок под ноги Закарии, бросился бежать что было сил. Закария с диким криком рванулся за ним и выбежал со двора.

Разбуженный криком Закарии староста встал и пошел к себе в умывальную намотать чалму. Неожиданно он увидел там Абдул Джавада, который, сидя в углу, что-то ел.

— Эй, Абдул Джавад! Ты что это в моем доме делаешь? — вскрикнул староста.

— А ничего. Меня голод одолел, я и подумал: «Дай, думаю, зайду сюда, поем чего-нибудь».

— «Зайду сюда, поем чего-нибудь»?! — повторил староста.— Это что же, твой дом? Ты что, свою еду жрешь, что ли? — И он бросился на Абдул Джавада. Увернувшись от кулаков, Абдул Джавад выбежал на улицу. За ним, крича во всю глотку, выскочил на улицу и староста. В деревне поднялась полная неразбериха: все высыпали на улицы, слышались вопли и ругань. Женщины залезли на крыши и швыряли оттуда камни. Закария бегал вокруг дома с ножом и орал:

— Любому, кто сюда подойдет, кишки выпущу! Кишки выпущу!

Из-под навеса мечети Мухаммад Хаджи Мустафа прокричал ему в ответ:

— Эй, Закария! У меня в амбаре пусто стало. Я знаю, чья это работа, мне Салех сказал. Подожди, солнце взойдет, я с тобой счеты сведу.

Сын старосты, держа в руке старый топор, крался вдоль стен улочки, подбираясь к Мухаммаду Хаджи Мустафе.

Ночь была темной и бесконечной. Над прудом Айюба вспыхнула и пропала луна.

■

# УМБЕРТО САБА

*С итальянского*

Лирика Умберто Сабы неотделима от того «чудесного мира», о котором на склоне лет поэт писал в рассказах-воспоминаниях как о чем-то бесконечно далеком. В этом мире его окружали дорогие ему люди, в этом мире было море, сливавшееся на горизонте с голубым небом, и на берегу моря — город, где не все взрослые становились моряками, но где каждый мальчишка мечтал о матросском костюме:

То был мой город, ибо я родился
в его стенах. Мой больше всех других.
Еще когда-то, будучи мальчишкой,
я чтил его, а сделавшись поэтом,
его в стихах с Италией венчал.

*(Перевод Н. Заболоцкого)*

Умберто Саба (настоящая фамилия его Поли) родился в Триесте в 1883 году. Мать хотела видеть Умберто коммерсантом и, не дав окончить сыну гимназию, пристроила его учеником в один из торговых домов Триеста, однако душа Сабы не лежала к коммерции. Едва ли он предполагал тогда, что со временем приобретет на деньги, завещанные дальней родственницей, скромный магазин антикварной книги, который станет для него не коммерческим предприятием, а неотъемлемой частью его «чудесного мира». «Лавка на улице Сан-Николо,— писал впоследствии Саба,— сделалась для меня на все годы фашистского режима убежищем, достаточно защищенным от громкоговорителей. Жить литературой для поэта — дело почти безнадежное; безнадежнее, чем когда бы то ни было, оно выглядело в те годы. Кроме всего прочего, старинные издания... не оскорбляли меня так, как современные: в каждой или почти в каждой выходившей тогда книге я усматривал чудовищное олицетворение времени».

Первый поэтический сборник Саба опубликовал в 1911 году. Стихи были традиционные, далекие от формальных поисков начала века. Следующие книги Сабы, подтвердив верность молодого поэта неоклассическим тенденциям, вместе с тем отчетливо выявили его стремление преодолеть инерцию формы за счет естественности синтаксиса, смелого сочетания возвышенной лексики с обыденной, последовательного отказа от «пророческой» интонации во имя разговорной. Пройдет еще несколько лет, и Саба окончательно охладеет к так называемым закрытым формам — канцоне, сонету, терцинам, однако метрическая система стихосложения по-прежнему останется для него единственно возможной. Зрелый Саба отдавал предпочтение белому стиху, иногда подрифмовывая отдельные — чаще всего далеко отстоящие одна от другой — строки.

В 1945 году Саба выпустил однотомник своих поэтических произведений — «Канцоньере» («Книга песен»). Последующие издания «Канцоньере» пополнялись новыми циклами, и, начиная с пятого — посмертного — издания, книга представляет собой итоговый свод стихотворений поэта.

Саба брался за перо, когда не мог, по его словам, «ничего поделать» со своими «думами и сердцем». Для лирической исповеди Сабы характерно реалистическое описание конкретной жизненной ситуации, места действия, окружения; это позволило известной итальянской писательнице Эльзе Моранте назвать «Канцоньере» «лиро-

Портрет Сабы работы Карло Леви.

эпической поэмой о судьбе человека». Книга Сабы шаг за шагом отразила его долгую нелегкую жизнь. Годы детства и юности, служба в армии, женитьба и рождение дочери, волшебный мир древних фолиантов в книжной лавке на улице Сан-Николо, вынужденная разлука с Триестом, жизнь изгнанника во Флоренции, когда-то любимой и ставшей ненавистной из-за фашистских молодчиков на ее древних улицах и площадях, одинокая старость, тяжелая болезнь — вот основные «главы» «Канцоньере», запечатлевшего и детские фантазии, и юношеские мечты о славе, и радость сознания себя «человеком среди людей», и беспредельную скорбь обездоленного:

Все отнял у меня фашист неумолимый
и гитлеровец-враг.

*(Перевод Н. Заболоцкого)*

Скрываясь во Флоренции, Саба продолжал писать. Рукопись сборника «Последние вещи», начатого еще до войны, была тайно переправлена в Швейцарию и опубликована там в 1944 году. Освобождение Флоренции от нацистов и чернорубашечников вернуло поэта к жизни, помогло ему вновь обрести утраченную было веру в человека. В послевоенных стихах Сабы снова звучат мотивы Триеста, молодости, любви. Однако годы берут свое: уже ничто не мешает поэту «думать о последнем дне», и воспоминания заменяют ему слова прощания.

Саба умер 25 августа 1957 года. Выступая в этот день по триестскому радио, известный писатель и художник Карло Леви назвал лирику Сабы «небесной», а его самого — «наиболее современным, наиболее древним, наиболее классическим из итальянских поэтов». Первые переводы Сабы на русский язык были напечатаны незадолго до смерти поэта. С тех пор отдельные стихотворения Сабы изредка появлялись у нас на страницах периодической печати, в авторских книгах Н. Заболоцкого, в разного рода сборниках, где имя Сабы стояло рядом с именами других поэтов. В настоящей публикации, носящей антологический характер, Умберто Саба представлен преимущественно стихами из последних циклов «Канцоньере».

ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ

## *Улица милосердия*

Ее я помню узкой, как носилки,
и скорбной от начала до конца.
Уже при мне на ней дома сносили
и редкие сажали деревца.

Но и сегодня на нее больница
угрюмо смотрит окнами палат.
Живые в дверь протиснуться спешат,
чтоб с мертвыми проститься,
и, словно у театра, черный ряд
фиакров вытянулся вдоль фасада
обшарпанного... Рядом
многострадальная часовня. Воздух
пропитан смесью ладана и воска
зловещею. И если что-то мне
мешает думать о последнем дне,
когда мы все теряем в миг единый,
что удержать, увы, не в нашей воле,
то это красный гребешок куриный
на фоне жалкой городской травы,
взошедшей на случайном здесь подзоле.

О том, поди, как в городе несладко,
кудахчет сиротливая хохлатка,
и над ее короною зубчатой
я вижу летний луг, пропахший мятой.

## *Подросток с тачкой*

Найдя в себе любовь минувших дней,
умей простить виновницу разрыва
и в глубине души самолюбиво
обиду не лелей.

Все окна в доме настежь распахни —
и ты себя почувствуешь иначе,
толпу увидев, моцион собачий,
игру... А вот, взгляни,

подросток в синем с тачкой впереди,
дорогу звонким расчищая криком,
несется под уклон в восторге диком —
попробуй не сойди

с дороги. Расступается народ
и непутевого парнишку хает.
А тот, чем громче тачка громыхает,
тем веселей поет.

## *Поэзия*

Вот так же для исхлестанного ветром
и снегом ослепленного (не город
вокруг, а некий заполярный ад) —
открывшаяся дверь в стене глухой.

Он входит. Он вознагражден с лихвой.
Он обретает этот теплый угол,
где доброта жива. Он слышит имя
забытое свое, он поцелуи
на светлых лицах запечатлевает,
которые в его тревожных снах
не улыбались никогда.
Выходит
он вновь на улицу, но и она —
уже не та. Меняется погода,
сбивают с тротуаров лед,
лазурь
забрезжила над ним и в нем. И вот он
идет и думает, что в зле предельном
всегда живет предвестие добра.

## *Озеро*

Горами стиснутое озерко —
днем из тебя коровы пьют, а ночью
ты зеркалом становишься для звезд,—
меня всего сегодня пронизала
твоя прозрачная голубизна.

Извечно юность в юность влюблена.
Сюда пришли влюбленные однажды —
не ожидали встречи ледяной.

## *Работа*

Когда-то
я жил легко и просто. Не скупилась
ни на цветы, ни на плоды земля.

А нынче грунт не тот. Сплошные камни
и корни.
Вот и приходится как можно глубже
вгонять лопату, словно ищешь клад.

*Перевод ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА*

## *Фонтан*

Под зимними деревьями бульвара
он тщетно предлагал свою прохладу.

Но летом стал иным его удел.
Теперь согбенному он дорог старцу
и юноше с упругой львиной статью,
который был рожден под знаком Льва.
Прохожий, чья пустая голова
вдруг отмечает контуры фонтана,
бесплатному глотку прохлады рад.

Даруя жизнь, фонтан не ждет наград.
Вкусив и позабыв глоток желанный,
к неведомой судьбе все прочь спешат.

## *Легчайший ветер*

Легчайший ветер словно сновиденье
для гавани и для флажка, в печали
поникшего над белою террасой
вблизи причала.
И море беспокойно, словно в бурю.

Под темным, напряженным небосводом
все ждут раската, первого раската.
Прогнутся тенты под могучей силой,
и вмиг захлопнутся зонты цветные,

благодаря которым лето было
добрее с нами.

Прохлада и конец грядут с раскатом.

*Перевод ТАТЬЯНЫ МАКАРОВОЙ*

## *Грузовик*

Бело-голубой грузовичок
вдоль бульвара мчится к морю мимо
горожан, по-летнему нарядных.
В кузове поют, и эта песня
музыкою звездной длится в сердце,
где любви не отзвучало эхо.

Юных велосипедистов рой
вьется рядом. Но и ты, что землю
топчешь столько лет,— и ты покорно
позволяешь подхватить себя
неустанному движенью жизни.

## *Деревья*

И голубю завидую, который
в гнездо соломинку несет, и вам,
безмолвные деревья. Ваши листья
позолотило солнце. Вы прекрасны,
как юноши прекрасные, как старцы,
чья старость не конец, а продолженье.
Кто наблюдает вас — на черных сгибах
взрываются зеленые хлопушки,
иные ветви умерли давно,—
тому подземные известны битвы,
и восторгается он вашим внешним
спокойствием.
И другом к вам приходит,
озера тени в жарком сердце лета.

## *Спектакль*

Доволен ты, ведь пьеса — про любовь,
и столько в ней иных хитросплетений...
Ты все происходящее на сцене,
мечтатель юный, сопереживаешь.

Когда я был такой, как ты, я тоже
не мог сдержать блаженных слез.

Но это в прошлом. Вещи обнажаются,
являя сущность. Нравится поныне
и мне красивая одежда. Чаще
она — пустая ложь. А это скучно.

## *Альберто*

ты умирая трубку мне оставил
и фьяску старого вина — в подарок

в насыщенные памятью минуты
за трубкой думать буду о тепле
которое ты излучал о жизни
которой ты не вынес
а вино
дождется брата твоего чтоб он —
чужак в Америке — смахнул слезу

вернувшись

*Перевод ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА*

## *Порт*

Чиновники, проворны, безбороды,
считали грузы. Под тяжелой ношей
согбенных потных грузчиков десятки
тащились вверх и вниз по трапам шатким
с причалов на большие пароходы.
Мне, стиснутому руганью и шумом,
одна лишь мысль была страшнее яда.

В порту искал я уголок отрады.
В тени беседок было их немало
в сумбурном городе. Мне не хватало
слиянья с ним, со строками. Пора
в зле города найти зерно добра.

Уйти б от времени куда-нибудь.
Укрыться от него — какое чудо!
Все будет. Только ни души моей,
ни времени былого не вернуть.

*Перевод ТАТЬЯНЫ МАКАРОВОЙ*

## *Посвящение*

Не верю, что вернусь когда-нибудь
к друзьям в Триест. Прими же песни эти,
Флоренция,— прими, не обессудь.

Как в молодости я тебя любил!
Потом нашлись в твоих стенах безумцы,
и ты несносной стала из-за них.

Но кровью чистой юношей твоих
один из августов тебя окрасил.
Ты снова, славный город, сердцу мил.

В годину злую ты меня укрыл.

## *Визит к Бруно и Марии Сангвинетти*

Поставив точку, ученик прилежный,
я набело страницу за страницей
переписал. И вот я с дочкой в доме
твоем, а ты, как водится, куда-то
уехал вдруг, и мы сидим с твоей
Марией и с твоими малышами.

Судьба свела под этой крышей этих
людей — она иначе не могла.
Смеркается. В камине пляшет пламя.

Овладевает ночь холмами, садом,
который хмурая зима раздела,
и дети хнычут — значит, скоро ужин,
а после белое тепло постели
и мамин поцелуй на сон грядущий.

Овладевает ночь холстом Болаффио,
где двое на скамейке под магнолией
беседу о политике ведут
и девочка несется по аллее,
толкая обруч. Некогда картина
была моею. Озаряла
весь дом она. Теперь ее как друга
я встретил у тебя. Спасибо, друг,
за то, что ты от нелюбви слепой
ее спасти решился. Боже мой,
уж двадцать лет как нет в живых Болаффио.

Овладевает ночь глазами дочери
и женщины черноволосой. Мне же
завеса влажная туманит взгляд,
в ней нет печали, что не знает сладу.

Час поздний. Даже стужу как отраду
приемлю. В сердце песня жизни вновь
звучит, в которой были кровью — кровь,
слезами — слезы. Итальянцы ей
едва внимали. Древняя, как дуб,
она сопротивляется распаду.

## *Любил я...*

Любил я —не в пример другим — слова
избитые. И эту рифму: кровь —
любовь,
одну из самых трудных и старинных.

Любил я правду, скрытую в глубинах,
в которой боль находит вновь и вновь,
как в сне забытом, друга. Опасенья
внушает правда сердцу до поры,
но, с нею сблизившись, ее совету
оно готово следовать во всем.

Люблю тебя. Люблю и карту эту,
оставленную под конец игры.

## *Улисс*

Я плавал в юности вдоль берегов
Далмации. Всплывали над волнами
покрытые темно-зеленой слизью,
прекрасные, как изумруды, рифы,
где птица редкая подстерегала
добычу. А когда прибой и ночь
стирали их, тогда, вбирая ветер,
бежали в море паруса, страхуясь
от неожиданностей. Нынче эта
ничья земля — мои владенья. Порт
огни готовит для других; меня же
по-прежнему в открытые просторы
упорно гонят дух неукрощенный
и к жизни безотрадная любовь.

## *Старцы*

У деревенских старцев есть табак
(когда он есть), вино и в двух шагах
погост, который им внушает страх.
А я (не кладбище меня пугает,
доброжелательное к побежденным),
я должен выздороветь, избежать
летального лекарства, загружать
себя все больше (такова основа
существованья): пиршество задать
в честь этого они мне дали слово.

Они, мои друзья. Ведь ничего
для нас не жалко близким, кроме смерти.

*Перевод ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА*

■

# ГЕРМАН КАНТ

# *Выходные данные*

РОМАН

*Перевод с немецкого И. КАРИНЦЕВОЙ*

7

Такая редакция все равно что обычное производство: пятидневка, боевой местком, привратники-стенкоры, обед в столовой — пальчики оближешь, лифт, взлетающий со скоростью допотопного ворота; главный бухгалтер, комната отдыха для женщин, у Фогель шашни с Никишем, стенгазета, что шагает в ногу со временем, ну разве чуть-чуть прихрамывает, ответственный за противопожарные мероприятия, инспектор по технике безопасности, каждые полгода кампания против электрокипятильников, а в СНМ-то чертовски весело, учеба в сети партпросвещения, диспетчер по имени Кассиус Клей и тоже, как тот,— Величайший, плановые цифры, отставание плана, перевыполнение плана, плановая дисциплина, обсуждение плана, обсуждение последнего пленума и вторичное обсуждение склонности коллеги Курца подчеркивать отрицательные стороны противоречий, обсуждение премий, бригада «Дружба народов», обследование у гинеколога, отряды самообороны, товарищеский чай, соревнование, дискуссия на тему: «Отдых как нервное возбуждение или как полный покой», призыв: «Сегодня все — на донорский пункт», «Алло, мы ищем волейболистов!»; в понедельник утром редакция — битком набитый ковчег, в пятницу в семнадцать — космодром перед запуском ракеты, Элли во вторник родила ребенка, складчина, в среду Йобсту шестьдесят пять, складчина, в четверг похороны коллеги Цаймерта, складчина, да, все его очень любили; пять дней все как обычно, а через два на третий сенсация средней руки: Эрих вернулся, свеженький как огурчик, у Циппольд свистнули кошелек в Доме ребенка, лаборантка завела халат-мини, Балдауфы втихоря купили «трабант», дочку Нойберта показывали по телевидению, Йонушкайт заявил: если еще раз подложат ему свинью, он обратится к адвокату, пять дней работают и судачат, пять дней служат прогрессу, но ни единая душа этого не замечает, пять дней, и один смахивает на другой, но все разные, пять делений на шкале вечности; да, такая редакция все равно что обычное производство.

Но хотя такая редакция все равно что производство, это производство особого рода, а редакция «Нойе берлинер рундшау» так уж совсем-совсем особое. Так говорит Давид Грот.

---

Продолжение. Начало в № 3.

Для продукции этой редакции, говорит Давид Грот, потенциально имеется столько потребителей, сколько на земле людей. Стало быть, грубо говоря, три с половиной миллиарда потребителей.

Ха-ха, говорят другие, и у них на то есть разные основания.

Но Давид с этим не согласен. В году двухтысячном, говорит он, потребителей будет уже шесть миллиардов, потенциально.

Он не видит ничего смешного в том, что редакторша одного юмористического журнала, продемонстрировав на летучке загубленную цветную полосу, воскликнула: что скажут наши читатели в Австралии!

Права она, утверждает Давид, ничуть не смущаясь, что среди подписчиков того юмористического журнала до сих пор значилось лишь два австралийца. В Австралии — восемнадцать миллионов жителей. Есть где развернуться.

Конечная цель означает реализованную возможность. Мечтать — значит находиться в движении. Отважные планы, отменная работа — две горошины из одного стручка. Особенность редакции «Нойе берлинер рундшау» быть всего-навсего производством не лишает ее той особенности, что журнал задуман для владычества над миром. Задуман так Давидом Гротом. Если я не готов завоевать Австралию, говорит он, у меня не хватит мужества завоевать даже Глаухау. Никому не придет в голову смеяться над тренером по плаванию, который, охотясь нынче за первоклашками, дерзко и вполне хладнокровно рассчитывает при этом на олимпийские старты тысяча девятьсот семьдесят шестого. Тренер понимает, говорит Давид, что единственное связующее звено между нынешним днем и тем, будущим, зовется труд; это кратчайшая прямая между двумя названными пунктами, но он знает: для него эта прямая станет бесконечно длинной.

А школа, как таковая, с жаром доказывает Давид, не существовала бы вообще без расчета на вечность. Она ведь тоже обычное производство, здесь судачат и работают пока еще шесть дней в неделю, болтают в учительской о подвесных моторах и витаминах. Фрау Мантей, захлебываясь, рассказывает о карьере своего шурина на Западе, господин Штир считает, что заработная плата причитается ему за четырех оболтусов в классе, прогресс предъявляет непомерные требования, на службе крутишься как белка в колесе, пенсия маячит где-то в дальней дали, увы и ах! — но в той учительской есть и Ванцка-мечтатель [1], он высматривает нового Гаусса и находит именно потому, что он — истинный мечтатель.

Почитайте-ка книгу об этом учителе, говорит Давид, и поймете: у школы расчет на вечность. Она хоть и ворчит на каждый прожитый день, но в то же время обогнала нынешний на десять тысяч дней. Ее требования беспредельны, давайте же не будем и мы ставить себе пределы. Так говорит Давид Грот, и было бы смешно, если бы он только говорил. Но у него хватает смелости и кругозора, чтобы не упустить из виду Глаухау, раз уж он намеревается завоевать Австралию. И если смелость требует оснований, то оснований у него предостаточно.

Он заключил чудовищно самонадеянное пари с первым своим патроном и выиграл это пари, он завоевал Трою, Австралия, правда, лежит чуть-чуть подальше. Но с ним в союз всегда вступали и другие мечтатели, первая среди них — Стальная Иоганна, неистовая созидательница нового человека, и Федор Габельбах, любитель недобрых предсказаний, неутомимый работяга, который вечно толковал о хаосе, и неизменно хлопотал о порядке, и не раз протягивал Давиду руку помощи на его пути к первому месту в выходных данных НБР.

---

[1] Герой романа писателя ГДР А. Вельма «Ванцка уходит на пенсию».

Именно Габельбаха послала Иоганна с Давидом, когда надо было получить ответы на первый опрос «Нойе берлинер рундшау»: «Итак, 1946 год. Чего вы от него ждете?»

«То было мрачной порой ноября», в редакции царила безумная паника, планировался рождественский номер, и тут внезапно раздался отчаянный вопль, в будущем не раз сотрясавший эти стены: «Нам чего-то не хватает!» Ну что же, тогда опрос — было принято решение, к которому не раз и не два прибегали впоследствии, ибо это решение и является спасением журналистов от очередного лиха, выраженного воплем: «Нам чего-то не хватает!»

Габельбах и без того заявил, что содержание номера выглядит беспорядочной мешаниной и даже намека на какую-либо основополагающую идею в нем не видно.

Но Иоганна ответила ему именно так, как можно было ожидать от нее в подобном случае:

— Наша основополагающая идея — человек!

Однако в номере чего-то не хватает, это признала и она. Только Клоц, ведущий литературный отдел наряду с отделом мод и рубрикой «Хозяйкам на заметку», был вполне доволен планом рождественского номера.

— Как так, как так, откуда вы взяли, что нам чего-то не хватает? Ведь номер же — настоящий боевик! И весь держится на одной только статье «Наконец-то займемся кастрюльками» с цветными фото. А мы еще кое-что добавим! Фрау Шарлотта ответит на вопрос: «Как перешить отцовский мундир?» Затем последует рецепт: «Стойкое повидло из зеленых помидоров». Потом деловой совет: «Черенок+крышечка от бутылки=нож для чистки рыбы» и конечно же фото. Далее — содержательная заметка о новом лечебном средстве, называемом пенициллин. Вдохновенная шапка: «Запомни это название!» К тому же, дамы и господа, переизбыток литературных материалов: роман «Встреча в тумане» уже идет, его нам хватит до следующего рождения младенца Христа, дадим также стихотворение Верфеля и, пожалуй, добавим Бехера, а для любителей искусства особо лакомый кусочек — рецензию на спектакль театра «Ам Шиффбауэрдамм»: Рудольф Платте в «Очаровательной девушке». Так чего же нам не хватает, уважаемые дамы и господа, у нас просто переизбыток материала.

— Переизбыток — это эвфемизм для полной безалаберщины,— объявил Федор Габельбах,— и, ежели дозволите, я отважусь предсказать вам следующие читательские письма: «А где вы достали зеленые помидоры?.. Убедительно прошу сообщить, как бы мне раздобыть гвоздик, дабы пригвоздить вашу бутылочную крышечку к вашему черенку, не говоря уже о том, где раздобыть рыбу!.. Кастрюля — недурно, а что слышно о мясе?.. Нам бы ваши заботы! Как перешить отцовский мундир? Ха-ха-ха!!! Да его, видимо, будет носить сам отец, если не захочет разгуливать нагишом! Но прежде всего, уважаемый господин редактор, ответьте мне на другой вопрос: где он, мой отец?»

Однако Клоц отмел возражения Габельбаха; читательские письма не его ведомство, ими занимается Лило, а Лило всегда найдет ответ. Лило, простая и бесстрашная душа, была твердо убеждена в существовании horror vacui [1]; так же как природа не терпит пустоты, так не терпит Лило и вопросов, на которые нельзя найти ответа, правда, нужно уметь искать. Читательские письма были ее горем и ее радостью, она давно поняла, что не каждый вопрос выражал чистую

[1] Страх перед пустотой *(лат.)*.

жажду знания, но и радость тоже выпадала ей на долю в отделе писем. Чтобы суметь правильно ответить, Лило постоянно общалась со специалистами в различных областях знаний, и каждый из них был обаятелен на свой лад. А Лило так легко поддавалась обаянию, что по ее лицу, манере говорить, манере держаться можно было догадаться, с кем она в данное время имеет дело. Занималась Лило письмом, задающим вопрос о местонахождении школы Палукки [1],— все знали наверняка, что она в бешеном темпе носится по городу и глаза ее мерцают, точно две капли лебединого озера, а чтобы метко ответить на вздорную читательскую реплику по поводу Герхарта Гауптмана, Лило вступала в столь бурное духовное общение с всевозможными германистами, что еще очень долго в ее лице явственно проглядывали гётевские черты.

Иоганна Мюнцер чрезвычайно высоко ставила Лило и ее деятельность, потому что видела в ее болезненной страсти к знаниям существенную предпосылку формирования нового человека и еще потому, что читательские письма, согласно соответствующему замечанию Ленина, создавали благоприятные условия для изучения общенародного мнения.

Поэтому Иоганна тотчас выступила против каркающего Габельбаха и заявила:

— Кто боится вопросов народа, тот пусть страшится вопросов господа!

Она охотно нападала на Габельбаха с этих позиций, но он даже ей не позволял втянуть себя в богословский спор.

— Страшиться,— заявил он,— нам следует только того мгновения, когда и наши читатели заметят то, что мы сами уже подозреваем: в номере недостает изюминки. Мы, правда, могли бы выйти из положения тем же манером, как некогда корреспондент Франц Герман Ортгиз, который сообщил из Берлина своим фризским читателям семнадцатого седьмого тысяча семьсот семнадцатого года — дата мною не выдумана,— что «причину скудных новостей мы зрим в непримечательности минувших событий», однако не знаю, во-первых, удовлетворит ли нынешнюю публику подобное оповещение, во-вторых, как соотнести его с нашей политической ответственностью. Но поскольку, если я хоть как-то разбираюсь в общей непроглядной неразберихе, царящей у нас в редакции, этот вопрос касается прежде всего господина Майера, пусть он и выскажется.

Это, пожалуй, было слишком, что прекрасно понимал и сам Федор Габельбах, но круг задач Генриха Майера, прозванного Возница Майер, был столь нечетко очерчен, что Возница Майер сделался постоянным объектом колкостей Габельбаха.

Имя Возницы Майера стояло в выходных данных «Нойе берлинер рундшау», там значилось: «Генрих Майер, ответств. редактор». Кроме места в выходных данных и места за редакционным столом у Майера в НБР места не имелось. Майер был своего рода историческим недоразумением. Он был так называемый зицредактор, подставное лицо, человек с узелком наготове, которого в давно прошедшие времена препровождали в тюрьму, когда юстиция вопила о возмездии газете за нарушение закона. Но Возницу Майера назначили в НБР не столько для такой надобности, сколько из опасения, что читатели не примут всерьез журнала, которым руководит Иоганна Мюнцер, стало быть, женщина. Время для этого еще не созрело, объявили редакции, и Иоганне пришлось подчиниться; не помогли ей и примеры, которыми она пыталась доказать, сколь зрелыми проявили себя женщины

[1] Грет Палукка (род. в 1905 г.) — известная исполнительница характерных танцев.

именно в это время и сколь пригодными для любой должности; в выходные данные требовался мужчина, ответственность перед внешним миром должен нести надежный, закаленный, волевой мужчина.

Возница Майер был человек надежный, волевой и закаленный, но истинной причины его назначения ему лучше было не называть. Он ничего не имел против, когда ругали начальство и ставленников этого начальства, он и сам их ругал всю свою жизнь, но если б ему сказали, что он получил должность потому, что у населения предполагается отсталое сознание, он встал бы на дыбы.

Ведь это означает отступление, а не в его характере было отступать. Он был в молодости возчиком, возил пиво знаменитого завода «Шультхайс», управлялся с шестеркой лошадей, а позже водил огромный грузовик пивоваренного завода «Киндль».

— День-деньской, как заведенный, колесишь, бывало, по городу, не то останешься на бобах!

Был он когда-то и борцом-тяжеловесом в рабочем спортивном ферейне, дважды выигрывал первенство Берлина.

— Там уж держись до последнего, не то останешься на бобах!

Партии он служил как шофер и как телохранитель.

— Труднее всего приходилось с Карлом. Сам невысокого роста, я ему ящик подставлял, когда он речь говорил. Но если уж войдет в раж, так надо его за брючину дернуть, чтобы поторопился с выводами, не то вот-вот нагрянут «синие». Там уж, бывало, только успевай, гляди в оба, не то останешься на бобах!

Возница Майер неизменно сидел за редакционным столом, благожелательно прислушивался к спорам прогрессивных интеллигентов, сам в них, однако, участия не принимал и настороженно ждал, не раздадутся ли тяжелые шаги «синих»; то обстоятельство, что с новым полицей-президентом они сидели в одном лагере и не только остерегались «черных», но, объединив свои силы, давали им достойный отпор, ничуть не притупило его бдительности.

Подтрунивания Габельбаха его не задевали. Фоточудак был интеллигентом, а терпение Возницы Майера испытывали интеллигенты почище этого.

— Владимир, вот буйный был парень! Стихи прямо на улице сочинял и шпарил их по-русски, на всех буржуев страху нагонял, дело-то было в период относительной стабилизации капитализма. Нет, вам с Маяковским не тягаться, не слишком-то вы нынче языкастые.

Но Давида шпильки Габельбаха задевали — и не оттого вовсе, что сам он бывал жертвой фотографа, нет, он брал сторону Возницы Майера, ибо тот был таким человеком, каким Давиду хотелось быть: бескомпромиссным, верным, с давних времен имеющим ясную цель.

А потому Давид, хоть и содрогаясь внутренне от своих слов, все-таки сказал:

— Господин Габельбах тоже подтвердил, что в номере чего-то не хватает, и связь этого факта с политической ответственностью коллеги Майера показалась ему весьма забавной, но позвольте все-таки вас спросить, господин Габельбах, будь вы лицом, несущим политическую ответственность, что предприняли бы вы, дабы выявить, чего же нам не хватает, вот что мне хотелось бы знать.

— Вам что-то хотелось бы знать? Но это же превосходно, если вам что-то хочется знать, юноша,— ответил фотоначальник,— значит, вы, позволю себе надеяться, понимаете, по крайней мере, чего вам недостает. Пользуясь случаем, обращаюсь к вам, фрау Мюнцер, будьте столь любезны, разъясните, пожалуйста, на каком посту мне следует видеть этого птенца, когда я силюсь хотя бы мысленно внести порядок в нашу редакционную жизнь?

— Он мой референт,— объявила Иоганна Мюнцер,— и сейчас вы уясните себе, как это следует понимать. Если я чего-нибудь не знаю, а знаю только то, что знаете все вы — Лило, коллега Клоц, вы, коллега Габельбах, и наш ответственный редактор товарищ Майер, тогда я обращаюсь к моему референту: Давид, нам чего-то не хватает, что ты предложишь? Мой референт раскинет умом, он для этого и существует, и даст свое предложение. Сейчас, Давид, мы это наглядно продемонстрируем, чтобы коллега Габельбах получил представление о тебе и твоей деятельности.

Ну и свинью же ты мне подложила, госпожа Пентесилея, хорошенькую же свинью ты мне подложила, подумал Давид, от меня ведь мокрое место останется. Подумай, я же новичок у вас! Габельбах меня терпеть не может, уважаемая начальница, а товарищ Майер не в силах мне помочь, Клоца и Лило этот вопрос не касается, они свое уже выложили, я один-одинешенек среди вас, фрау Мюнцер, что же вы спрашиваете именно меня? Сама обещала, что я буду у нее учиться, и хоть слова ее звучали угрозой, но было в них и обещание. А теперь она загоняет меня в западню. Как же я выберусь из нее, эй ты, чудище в синих чулках? Да это же, это же эксплуатация, вот что это, она поступает в точности как мастер Тредер и генерал: а ну давай, Даффи, а ну давай действуй, и чтоб было сделано, а как ты будешь действовать, меня не касается, но чтоб сделано было! Все только Даффи, только Давид! Я же хотел быть у вас курьером, а вовсе не референтом! Я даже точно не знаю, что такое референт.

— Ну что ж,— промямлил Давид, но Пентесилея окинула его сияющим взглядом, словно он сказал что-то вразумительное.— Ну что ж,— продолжал Давид,— если вы считаете, что нам чего-то не хватает, попытаемся дознаться, чего же именно. Можно, конечно, спрашивать всех подряд: чего нам не хватает? Но вряд ли в этом есть смысл, ведь ни один человек не сказал: того-то и того-то, все, кроме господина Клоца, сказали: чего-то не хватает. Если можно так сказать, то нам не хватает знания того, чего нам не хватает.

— Так не только можно сказать,— воскликнула Иоганна Мюнцер,— но именно так и следует сказать. Ты сформулировал основную черту нашего времени. У людей сейчас частенько муторно на душе: им не хватает знания того, чего им не хватает. Продолжай в том же духе, Давид!

О неистовая воительница-амазонка, мелькнуло в голове Давида, продолжать в том же духе — это прекрасно, это в точности манера мастера Тредера: ежели этому пижону Борзигу всенепременно понадобилось ружье с серебряной насечкой, как у Виннету, а у нас в кладовой завалялась древняя громыхалка Дрейзе да моток серебряной проволоки в придачу, как, ты считаешь, поступить нам, Даффи? Мастер Тредер был такой же эксплуататор, как и вы, фрау Мюнцер, разве что без синих чулок; а Габельбах уже снова ухмыляется.

— Поэтому,— продолжал Давид,— поэтому нет смысла спрашивать нас всех подряд: господину Клоцу всего хватает, фрейлейн Лило пришлось бы сбегать к специалистам, чтобы узнать, чего ей не хватает, товарищ Майер не обязан это знать, господин Габельбах все равно считает, что в редакции несусветная путаница, а редактриса есть редактриса. Выходит, остаюсь я, но я тут новичок, и, если бы меня спросили, чего не хватает, я бы сказал: всего, но это вздор, все равно все не влезет в журнал. Кроме того, журнал делается не для меня. А может, спросить тех, для кого журнал делается?

— Превосходно,— обрадовался редактор Клоц, он-то знал, что его деятельность совпадает с пожеланиями читателей, и был уверен,

что опрос подтвердит его мнение: всего у них хватает, разве что надобно добавить материалов по его разделу.

— Превосходно, считаете вы? — вмешался Габельбах.— Прелюбопытно, сказал бы я! Журнал, который вы станете изготовлять, сообразуясь с пожеланиями читателей, превратится в луна-парк без складу и ладу, в парк «Тиволи», набитый побрякушками, в диснеевский мир для чокнутых, «Пратер» для венцев, в дешевку из газетной бумаги, американцы уже давно это придумали, вот и любуйтесь на американских газетчиков!

— Нет,— возразила Иоганна Мюнцер,— мы не станем любоваться на американских газетчиков, во всяком случае сейчас, ведь мой референт еще не развил свою мысль до конца. Развивай свою мысль до конца, Давид!

Когда ты уймешься, палачиха? — подумал Давид. А как все чудесно складывалось. Габельбах рассказал бы об Америке, Возница Майер заинтересовался бы положением негров, фрейлейн Лило, цедя слова, словно в носу у нее кольцо, сделала бы сообщение о впечатляющей беседе с исследователем Африки Шомбургком, все оказались бы при деле и позабыли обо мне, так нет же: развивай свою мысль до конца, Давид! Ну-ка раскинь мозгами, Даффи, как нам поступить с этим арбалетом! Да что же это такое, почему же вы так надо мной измываетесь? Вот Габельбах уже потирает руки!

— Но, может быть,— продолжал Давид,— может быть, правда, еще не пришло время спрашивать людей, чего не хватает в журнале, давайте спросим, чего им вообще не хватает, да, в общем и целом, а может, не следует спрашивать человека, чего ему не хватает, пожалуй, начнет жаловаться на свою судьбу, не лучше ли спросить, чего люди сами себе желают, раз Новый год на носу, такой опрос никого не удивит. Если же мы соберем пожелания людей, то наверняка заполучим материал для журнала, пожелания — они связаны с будущим, а по-моему, без взгляда в будущее нам больше не обойтись.

— Ясное дело,— согласился Возница Майер,— глядеть надо только вперед, не то останемся на бобах!

И хотя Клоц заявил, что опрос читателей — способ допотопный, Лило утверждала, что письма в ее адрес дают полное представление о пожеланиях читателей, а Габельбах предсказывал, что вместо разумных ответов «Нойе берлинер рундшау» будет завален грудой вздора, Иоганна Мюнцер твердо решила:

— Давид нашел верное слово, ухватившись за него, у нас достанет сил вылезти из трясины, в которой увязли сейчас здесь и люди, и страна, это слово — будущее. Будущее же начинается с вопросов, общих и конкретных. Конкретно твое будущее начинается в «Нойе берлинер рундшау», а потому слушай внимательно, Давид, я говорю с тобой и о тебе, вопросы будешь задавать ты. Да, ты проведешь опрос. Совещание окончено.

— Окончено или не окончено,— буркнул Федор Габельбах,— но предлагаю: я пойду с этим малышом и сделаю два-три снимка.

Он предупредил Давида, чтобы тот ровно через два часа был во дворе редакции; до тех пор следовало уладить еще ряд организационных мероприятий. Давиду большая часть времени понадобилась, чтобы выпросить у бухгалтера, который заведовал и редакционным хозяйством, два новых карандаша и блокнот, затем он съел порцию супа — дробленый ячмень и размятая тыква — и вышел во двор. Габельбах явился точно, он весь был обвешан фотоаппаратами, а правой и левой рукой вел по велосипеду, на грудь и спину он повязал белые тряпицы, на которых по-немецки и по-русски было выведено: «пресса».

Габельбах и Давида снабдил теми же эмблемами, предложил воссесть на один из велосипедов и первым пустился в путь. Заговорил он только на Лейпцигерштрассе, однако, когда Давид поравнялся с ним, энергично замахал, указывая, что место его сзади.

— Это против правил. Репортеры должны строго придерживаться правил, если это не препятствует их работе. Вы уже набросали план?

— Какой еще план? Нам же предстоит спрашивать, чего желают себе люди в наступающем году; к чему же какой-то там план?

— Как вам угодно,— пробормотал Габельбах, не потрудившись не только обернуться, но даже чуть-чуть повысить голос.

— Один вопрос мне все-таки хотелось бы задать,— крикнул Давид.— К чему нам эти тряпицы? Мне кажется, у нас довольно комичный вид.

— Но у меня будет довольно плачевный вид, если мы вернемся без велосипедов,— проговорил Габельбах не оборачиваясь,— велосипеды я одолжил, сударь... Так плана у вас, стало быть, не имеется?

— Нет, я думал, мы где-нибудь начнем и зададим вопрос первому встречному.

— Как вам угодно,— повторил Габельбах,— но задавать вопросы будете вы, я всего-навсего фоторепортер. А вот показался и первый встречный.

Он махнул правой рукой в сторону намеченной им остановки, притормозил, повозился, устанавливая свой велосипед у кромки тротуара, открыл футляр и направился к одинокому пожилому человеку, сидящему на проржавевшей коляске мотоцикла посреди пустынной Дёнхофплац.

Давиду не оставалось ничего другого, как именно здесь и с этого человека начать свой опрос.

— Добрый день,— обратился он к нему,— мы...

— Вижу,— прервал его старик и ткнул в тряпицу,— а что же вам хочется знать?

— Да вот, стало быть, мы проводим опрос...

— Сам понимаю,— снова прервал его старик и ткнул в блокнот,— что же вам хочется знать?

— Чего вы ждете от наступающего года, точнее говоря, чего желали бы в наступающем году.

— Ждать не жду, а желать бы желал,— ответил старик.

— А чего бы вы желали?

Устремив взгляд поверх груды развалин прямиком на Красную Ратушу, старик объявил:

— Записывайте: я желаю одного — пусть вновь введут гимнастику по системе Мензендикк; Мензендикк, два «к» в конце, по имени создательницы Бесс Мензендикк, Нью-Йорк. Единственная гимнастическая система, упражнения которой учитывают анатомо-физиологические законы женского тела. Единственный вид гимнастики, сознательно исключающий мужские элементы. Единственный вид мышечной тренировки, служащий, в разумном сочетании с повседневной жизнью, порукой здоровья и красоты женского тела.

Он поднялся, проковылял на одной ноге вокруг коляски и, скрестив на груди руки и упершись взглядом в Красную Ратушу, продолжал объяснять:

— Вот для образца упражнение Гамбургской гимнастической школы по системе Мензендикк: ритмически равномерный мах левой согнутой ногой, стопа поднимается и опускается, движение согласуется с коленным суставом; туловище остается неподвижным.

Туловище у него отнюдь не оставалось неподвижным, зато лицо застыло, точно неподвижная маска, лишь едва заметное презрение мелькнуло в его глазах, когда он вновь уселся на коляску и, легонько посапывая, продолжал:

— Все остальные системы противоестественны, пусть их хоть весь мир восхваляет; школа Галлерау-Лаксенбург, школа Элли Бьёркстен, Доры Менцлер, Гедвиг Хагеман, школа ритмического танца Хильды Зенфф в Дюссельдорфе — все это костоломные уклонения, пусть их хоть весь мир восхваляет; наша цель — возврат к Мензендикк.

Замолчав, он устремил свой взор на Красную Ратушу, словно именно там свили себе гнездо злокозненные апологеты псевдогимнастических систем, а Давид робко поинтересовался:

— Это все ваши пожелания на Новый год?

— Все,— отрезал старик, и Давид, вконец смущенный, вернулся к велосипеду.

— Нуте-с,— поинтересовался Габельбах, который, как заметил Давид, пытался совладать с велосипедом по системе Мензендикк, оставляя корпус неподвижным, а взгляд тупо устремив в одну точку,— что же говорит ваш народ о будущем? Не возражаете, если я подам вам совет?

— О нет! — воскликнул Давид.— Я ничуть, ничуть не возражаю, господин Габельбах, я даже прошу вас, подайте мне совет. Ведь я же новичок.

— Что же, тогда прежде всего наведем порядок в нашем задании,— начал фоторепортер, когда они покатили по Молькенмаркт.— Вы собираетесь устроить опрос, значит, вам нужен план. Будете спрашивать первого попавшегося, всенепременно нарветесь на этакого мензендикканца. Вообще говоря, сами могли бы догадаться: кто по такой погоде один торчит на пустынной площади и таращится на опустевшее здание, почти наверняка окажется сектантом. Вы же затеяли опрос населения, вам сектанты лишь помеха. Второй упрек: если уж вы напоролись на чудака, так давите, выжимайте из него все, что возможно. Не понадобится сегодня, сгодится завтра. Может, вас завтра пошлют искать чудаков, как вам пригодился бы ваш мензендикканец! Итак, для начала собирайте, в порядок привести успеете и позже. Но вернемся к опросу: весь мир вам не опросить, да и зачем, если вам попадутся тертые калачи, стреляные воробьи, глашатаи общего мнения. Итак, наш план: обращаться к людям, которые, как можно надеяться, многое слышат и многое видят и свое мнение составляют из виденного и слышанного, это и будет, скорее всего, мнением большинства. И вдобавок, конечно, умело тасовать: стариков, молодых, мужчин, женщин, бедняков, богачей и так далее. Вам моя мысль понятна?

— Мне ваша мысль понятна, господин Габельбах,— отозвался Давид.

— Кого же вы станете опрашивать следующим?

Давид сосредоточенно огляделся вокруг и, увидев, что на Юденштрассе о чем-то оживленно толкуют две кондукторши, воскликнул:

— Может быть, кондукторшу?

— Не может быть, а непременно, очень хорошо,— кивнул Габельбах и сошел с велосипеда.

Одна из двух женщин, близоруко щурясь, прочла надпись на Давидовой тряпице и удалилась.

— Словечка вам не скажу,— объявила она при этом,— больно мне нужно в вашу «Правду».

Вторая осталась, но спросила Габельбаха:

— А фото я получу?

Тот указал на Давида.

— Попробуйте поладить с моим коллегой; он здесь главный.

— Этакий желторотый? — удивилась женщина, но глянула на Давида дружелюбно.— Я надеюсь, что не вечно останусь кондукторшей. Ведь я же закройщица, по женской верхней одежде; надеюсь, одежду опять будут шить, а тогда неплохо, если снимок останется на память.

Ага, по выговору — Силезия, подумал Давид, тут, пожалуй, есть связь с будущим, и он спросил:

— Это ваше пожелание на Новый год? Мы хотим разузнать, какие у людей пожелания, и напечатать в нашем журнале. Чего же себе люди желают?

— Чего себе желают? Да тут и расспрашивать нечего! Могу по пальцам все желания пересчитать: чтобы муж вернулся целый и невредимый, да пусть уж не целый, пусть какой есть, только чтоб вернулся. Или пусть хоть письмо пришлет, чтоб знать, что к чему. Это надо же такое наказание придумать, чтоб жена не знала, жив ли муж, где он и что с ним, вот это наказание так наказание. Иной раз даже думаешь — неужто ты его заслужила? Ах да, вам нужны пожелания. Чтоб штучку-другую брикетов заполучить и хоть полкило фасоли. У меня двое детей, у них сейчас самый рост. А они не растут. Если дела пойдут так и дальше, то через двадцать лет вокруг нас одни карлики мельтешить станут. Бог ты мой, через двадцать лет, да кто его знает! Послушайте-ка, вот что важно: людям надо быть лучше! Иной раз подумаешь: как же так? Откуда столько пакости? Я работаю обычно на длинном маршруте, нынче я здесь только помогаю, а обычно работаю на длинном маршруте. От Иоганнисталя до Лихтерфельде. Туда и назад съездишь, восемьдесят километров отмахала, все кругом искорежено, и город и люди. И все до единого в одном видят выход — браниться. Знаете, если попадется на весь длиннющий маршрут хоть один сердечный человек, так и то на душе праздник. Кстати, скоро в самом деле праздники. Если бы меня спросили, я бы сказала — не нужно на этот раз рождества. Без сердечности что за рождество! Когда была война, я все мечтала: только бы она кончилась! Но, видно, она слишком поздно кончилась; мы по-прежнему царапаемся да кусаемся. Конечно, если дети не растут, так беда, но главное, они слышат, как грызутся взрослые, и считают, что такими и должны быть люди, какие же из них вырастут люди, из наших детей? Вам, видно, все это не пригодится для журнала, тогда подпишите под моей фотографией: я хочу, чтоб муж вернулся и чтоб люди в трамваях хоть снимали рюкзаки.

— Обязательно,— заверил ее Давид,— так мы и напишем, а теперь, пожалуйста, ваш адрес, куда прислать фотографию. И еще раз огромное вам спасибо!

Большего им узнать так и не удалось, и лучше никто им не ответил. Ведь стоял мрачный месяц ноябрь, первый послевоенный, у людей нашлось время ощутить свою боль, война не оставляла им на это времени. А может, им самим не хотелось иметь на это время, подумал Давид.

Многие из опрошенных словоохотливо брюзжали, но редко кто задумывался. Люди жаловались на настоящее, но когда оно началось, они, казалось, понятия не имели. С возможностью высказать свои пожелания они обходились несуразно, как глуповатые сказочные персонажи. Что и говорить, когда желают, чтобы вернулся муж или сын, это понять можно, ну а дальше, а дальше — разве что перебить-

ся, по части же политики их хватало только на одно: чтоб никогда больше не быть войне.

— Что-то я не слышу того самого слова «будущее», ухватившись за которое, говоря словами нашей глубокоуважаемой редактрисы, мы вытянем страну из трясины,— сказал Габельбах,— у них у всех будущее не идет дальше завтрашнего дня, но спроси вы меня, я тоже ничего бы не придумал. Честно говоря, тот мензендикканец оказался единственным идеалистом на весь город, но для нашего опроса он не годится. Разрешите еще кое-что посоветовать?

— Ну, конечно же, господин Габельбах, я так рад, что вы мне советуете!

— Удивительно. Дело вот в чем; вам необходимо всю эту болтовню вразумительно изложить и — на случай, если вы еще не уловили, что важно для фрау Мюнцер,— наметить образ нового человека. А иначе вам придется взять в руки посох. Я бы построил материал на опросе кондукторши; вы помните, как она говорила о сердечности?

— Да,— сказал Давид,— но меня жуть берет, как подумаю, что надо писать; я в жизни не писал ничего, кроме недельных отчетов по мастерской и писем.

— А как вы думаете, почему я стал фотографом? — спросил Габельбах и приготовил аппарат.— Вот идет полицейский, его еще прихватим, и достаточно.

— Добрый день, господин вахмистр,— обратился Давид к полицейскому,— у меня к вам вопрос!

— Профессиональный? — спросил тот.

— Да.

— Кто вы?

— Давид Грот.

— Нет, из какой газеты?

— «Нойе берлинер рундшау».

— Вопрос?

— Простите? Ах, да, вопрос. Вопрос такой: ваши личные пожелания на новый, наступающий год?

Полицейский потянулся было за блокнотом, но спохватился и сказал:

— У нас будет год тысяча девятьсот сорок шестой? Так вот, на тысяча девятьсот сорок шестой год у меня есть следующие личные пожелания: во-первых, я не хотел бы оставаться полицейским, я, к вашему сведению, каменщик, полицейский я — чтобы не сделали бургомистром, а ведь собирались у нас в Эстервеге, во-вторых, я хотел бы, чтоб население Берлина опять исправно соблюдало правила уличного движения, так дальше дело не пойдет. Вот они, мои пожелания на тысяча девятьсот сорок шестой год.

Давид пригляделся к движению на Александерплац: один «оппель» с древесно-газовым генератором, две ручные тележки и десяток велосипедистов, вот и все, а до их разговора тоже было не гуще.

— Ну так что же? — вспылил полицейский.— Вы думаете, так оно всегда будет? Надо же быть чуточку дальновиднее. Ведь у нас мир! Опять все возьмутся за работу, а значит, на улицах появятся машины и мотоциклы, и каждый обзаведется велосипедом. И детей на улицах опять появится больше. А у них опять будут мячи. И люди опять заведут собак. А уж когда люди будут сыты, они выйдут погулять. И еще эти чертовы трамвайные линии, шесть вдоль и поперек всей площади, кругом магазины, люди с покупками выходят, нагрузятся, ничего за свертками не видят. И пьяницы у нас опять будут. Вот что такое мирное время, коллега, и я всей душой за мир, но я понимаю, он породит новые проблемы, и, если мы нынче же не

начнем к ним готовиться, завтра они нас сожрут. В Эстервеге знавал я одного человека, одного из лучших людей в городе. Каждое утро он повторял: а ну поглядим, кто кого? Я этот день осилю или он меня осилит? Это состязание он выиграл; уж на что случались пакостные дни, а его не скрутило. А теперь? Теперь он дальше настоящей минуты не мыслит. Не знаю, есть ли у нас в голове уголок спецназначения, где накапливаются ожидания, планы, надежды, но что-то такое, верно, уж есть, а в голове человека, о котором я рассказываю, этот уголок словно засыпало. У него отказал, видно, времяуловитель, этакий щуп будущего, как у других слух. Страшное дело. А какой отсюда урок? Нельзя считаться только с настоящей минутой, думаю я. С ней ты, пожалуй, управишься, но со следующей — сил не хватит. Вот почему я упорно твержу: соблюдайте правила уличного движения, у нас во что бы то ни стало опять будет уличное движение, и все мы угодим на кладбище, если не перестанем разиня рот разгуливать по городу. В следующий раз, когда мы встретимся, уважаемый коллега, я хотел бы видеть ручной тормоз на вашем велосипеде в полной исправности. Честь имею!

Они не раз еще имели честь видеться, Давид и товарищ Райциг. Он не стал каменщиком и бургомистром тоже не стал; он продолжал носить полицейский мундир и однажды, в середине шестидесятых годов, держал речь на районном партактиве, в ней он прослеживал некоторые аспекты регулировки уличного движения в связи с реконструкцией Александерплац и внезапно, позабыв начисто принятый и едва ли не обязательный на таких собраниях стиль, заговорил о своих сокровенных желаниях, и главным его желанием было, чтобы берлинцы, наконец-то, исправнее соблюдали правила уличного движения, иначе, сказал товарищ Райциг, все мы послезавтра угодим на кладбище, ибо в ближайшее обозримое время каждый берлинец обзаведется машиной, а подземные переходы, и городская автострада, и подвесные тротуары — все это очень хорошо, все это приметы социализма, а он за социализм всей душой, но он понимает, что такое движение рождает новые проблемы, и если мы нынче же не начнем к ним готовиться, завтра они нас сожрут.

Давид, однако, почувствовал некоторое разочарование, потому что товарищ Райциг не упомянул также того органа в нашей голове, в существование которого он, Давид, твердо поверил с той самой их давней встречи на Александерплац; Давид так искренне в него верил, что часто, не в силах сдержаться, обращался к участникам редакционной планерки с несколько забавным и всех всякий раз забавлявшим призывом:

— Сделайте одолжение, включите ваши щупы будущего.

Но это выражение не пришлось по нраву Пентесилее; из опроса она его вычеркнула на том основании, что человек не облегчит себе жизни, если станет на каждую трудность придумывать себе новый орган, обходиться следует теми, что есть, но их, разумеется, должно развивать и формировать, доводя до высокого совершенства; а уголки спецназначения, нет, и щупы спецназначения, нет, от них недолог путь до носов и глаз спецназначения у Пикассо — все эти спецкрайности приведут мало-помалу к противоположным крайностям, они, если уж мы затронули область искусства, рано или поздно приведут к Архипенко и его «бестелесности» скульптуры, к скульптурной живописи и к портретам из одних геометрических фигур, а Бертрам Мюнцер, ее муж, дорого заплатил за то, что клюнул на удочку Архипенковых соблазнов; нет, щуп будущего и уголок спецназначения — эти слова в «Нойе берлинер рундшау» не пройдут, а в остальном очерк написан совсем не плохо, не так скверно, как пишут здесь сей-

час. Тем самым она чуточку припугнула, но в то же время подкупила Давида. С Федором же Габельбахом ей так легко справиться не удалось; он пропустил мимо ушей похвалу, которой она наградила его фотографии,— особенно расположила ее к себе кондукторша, так ратовавшая за сердечность. Габельбах понял одно — Иоганна не хочет давать фотографию, на которой Давид беседует с мензендикканцем, а Давид в глубине души надеялся, хоть и был признателен Габельбаху за все его советы, что тому не удастся одолеть в споре Пентесилею. Ибо снимок точно отразил его внутреннее состояние во время демонстрации упражнений Гамбургской гимнастической школы по системе Мензендикк: он застыл, изумленный до одури.

Разумеется, победила Иоганна Мюнцер. Фото не попало в журнал, зато оно попало на стенку в кабинете Габельбаха, и Давиду представлялась возможность созерцать его когда и сколько угодно.

С течением времени стены габельбаховского кабинета покрылись сотнями неопубликованных сокровищ, изготовленных большей частью самим коллекционером, но также его учениками и сотрудниками. Среди них выделялась одна фотография, творение Франциски, самая красочная и кровоточащая из всех ее беспримерных фотографий, видимо, уж очень кроваво-красочная, а потому и не опубликованная в НБР.

Фотодокументы, собранные Габельбахом, представляли собой своеобразное приложение к истории их журнала; они отражали подспудную историю НБР, иначе говоря, историю, стоящую за кулисами истории; они свидетельствовали о неловких попытках, имевших место перед блистательным выходом, о перечеркнутых импровизациях и о забвении границ допустимого, об открытиях, которые приходилось оставлять себе на память, об испытаниях, которые никому не хотелось бы восстанавливать в памяти. Коллекцию можно было просто считать циничной хроникой, а ее владельца — проповедником циничной, иначе говоря, собачьей философии, и преемник Возницы Майера, один из тех, кто на законных основаниях занял место во главе выходных данных «Нойе берлинер рундшау», главный редактор Герберт Блек, именно так и сделал: назвал фотографии циничной хроникой, а редактора Габельбаха — проповедником циничной, а то и просто собачьей философии. Надо сказать, что в значительной степени из-за подобного подхода к делу, журнал, пока Герберт Блек стоял во главе выходных данных, шумной славы не стяжал.

Герберт Блек, без всякого сомнения человек ученый, прекрасно разбирался в ранних философских школах и в поздних тоже, разбирался в идеях, иначе говоря, отражении жизни в головах мудрецов, сам мнил себя мудрецом и любил в собственных речах заострять чужие промахи. Только несовершенство людей как некой данности — термином «человек как некая данность» Герберт Блек очень дорожил,— да, только их несовершенство мешало ему единым махом изменить мир, единым махом за одну неделю с помощью иллюстрированного журнала НБР.

Годами журнал обходился без кого-то, кто звался бы главным редактором; Иоганна стояла у руля управления, а Возница Майер — в выходных данных, но внезапно дело, которое прекрасно шло, дальше не пошло; общество уже достигло высшей ступени развития, а таковая требовала четких разграничений в сферах руководства, и тут кто-то обнаружил, что в руководстве НБР царят неупорядоченные отношения.

Иоганне и ее референту, как все еще именовался Давид, стоило неимоверных усилий разъяснить причины подобного положения вещей комиссии, присланной из высоких инстанций; членам комиссии

казалось неправдоподобным, что были такие времена, когда считалось неположенным ставить женское имя во главе выходных данных.

К счастью, один из членов комиссии догадался именно в этой неправдоподобности усмотреть признак прогресса, признак того, что страна сделала огромный шаг вперед и что ныне мы находимся на более высокой ступени развития; а раз так, значит, можно поразмыслить над преобразованиями.

Простейшее решение принять не удалось; теперь уж Иоганна не желала носить то звание, которое фактически неизменно принадлежало ей, иначе говоря — ответственного редактора, она желала оставаться редактрисой. И тогда комиссия, тщательно изучив весь кадровый состав, решила, что редакцию нужно укрепить свежим человеком. Нет, в составе самой редакции не нашлось ни одного сколько-нибудь подходящего; сотрудники НБР были либо слишком стары, либо слишком молоды, а главное, они были прежде всего практики, а практицизм в те времена стоял на одном из первых мест в списке опасностей, угрожавших нашему общественному развитию.

В редакцию необходимо ввести теоретика, человека, обладающего общественным сознанием в сочетании с историческим кругозором, человека не только обученного, но и ученого.

Такой вскорости нашелся. Звали его Герберт Блек, теоретик с университетским дипломом в кармане. В краткой, но остро закрученной речи по случаю вступления в должность он разъяснил всем практикам, что рассматривает их как некую данность, понимать следовало — как необходимое зло, как явление переходного периода на промежуточной стадии, требующей преодоления.

Кроме этой ошибки Герберт Блек в первый же день совершил, по меньшей мере, еще три: он оборвал своего номинального предшественника Генриха Майера, именуемого Возница Майер, когда тот собрался было рассказать, как сиживал в пивной на Розенталерплац с Андерсеном-Нексе, после чего незамедлительно вылетел из категории прогрессивной интеллигенции, попав в категорию интеллектуалов, которую Возница Майер расценивал на совсем иной лад, и, будь Блек одним из редакционных практиков, он содрогнулся бы от ужаса.

Но в том-то и дело, что Герберт Блек разбирался в идеях лучше, чем в людях, и потому решительным шагом двинулся в первый обход редакции. Тут он совершил вторую ошибку. Он сразу же попал в комнату Давида, расположенную рядом с конференц-залом, где увидел томик рассказов Кафки, а пробежав глазами раскрытую страницу и прочитав вслух название рассказа — «Превращение», ему, как человеку высокообразованному, хорошо известного, резким тоном объявил:

— Превращение человека в насекомое — решение для нас неприемлемое.

Вот тут-то он и в глазах Давида потерял всякий авторитет; тот, правда, не восторгался Францем Кафкой, но весьма чтил его и мысли бы не допустил, что несчастный пражанин пытался историей о Грегоре Замзе кому бы то ни было предложить какое-то решение.

На первых порах, однако, Давид не имел охоты спорить с новым главным редактором о методах приемлемых и неприемлемых или о каких-либо других предметах; человек этот, видимо, был слишком доволен собой и своей ролью «новой метлы»; в споры вступать было еще преждевременно. Ему, Давиду, еще преждевременно, но ничуть, посчитал он, не преждевременно будет, если мнениями обменяются «новая метла» и «старый стреляный воробей», завотделом иллюстраций Федор Габельбах, а потому он и постарался свести их на узкой тропке. С тем же успехом он мог бы подставить Блеку ножку на пороге

лаборатории; больнее новый редактор не расшибся бы. У Габельбаха, видимо, были мотивы невзлюбить новичка, но повел он себя так, словно у него имелась тысяча мрачнейших причин. Молча, одними лишь лихорадочными жестами он дал понять, что безумно занят в настоящую минуту, обследовал лупой увеличенную фотографию, карандашом и линейкой расчертил ее и стал аккуратно разрезать на ровные полоски, а затем побросал их в корзинку.

Блек, сперва с интересом наблюдавший за этим занятием, в конце концов заметил, что его авторитет в опасности, и потому, круто повернувшись, обратил острый взгляд на незадачливые памятники старины, развешанные на стенах лаборатории.

При первом взгляде на них казалось, что это обычные газетные фотографии, каких и следовало ожидать в этом отделе, но попадали они на стенку, а не в журнал, потому что содержали побочный смысл, не служивший на пользу дела.

Висел там, например, фотодокумент, на котором вообще никто ничего особого бы не нашел, но именно отсутствие чего-то сделало фотографию ценным экспонатом коллекции. Снимок запечатлел всего только серьезных людей, рассматривающих картины, подпись под ним объясняла, что́ именно на этом фото надлежало показать, но что́ там показано не было и почему: «Коллегу (имя по настоянию Иоганны заклеили) на снимке не видно, задержался на минуту у другой картины».

Новый редактор обозрел коллекцию и мало-помалу, кажется, начал смутно догадываться: здесь что-то неладно!

Он невольно содрогнулся от беспримерно кровавой фотографии Франциски, памятка о встрече Давида с мензендикканцем заставила его призадуматься, соль фотографии с коллегой-невидимкой он, похоже, не понял, но вскоре все-таки отыскал фото, к которому сумел придраться: на снимке среди густой толпы, стоящей на коленях, он разглядел Давида, тот тоже стоял на коленях, согнувшись под тяжестью двух перекрещенных бревен, а проще говоря, под тяжестью, если он не заблуждался, креста, да и другие прочие, если все это не было обманом зрения, тоже ползли, нагруженные символическими бревнами христианства.

Герберт Блек, ткнув в фотографию, спросил с опасливым недоумением:

— Субботник на стройке?

Давид расхохотался, подумал: ну, если он сострил, тогда еще не все пропало, а если спросил всерьез, то мы скоро от него избавимся, и ответил:

— Нет, хотя в известном смысле все-таки да, все в данном случае зависит, и даже очень зависит, от точки зрения, с нашей точки зрения тут некое средневековое действо; это, знаешь ли, процессия богомольцев.

— И мне так показалось,— сказал Блек,— но ты-то как попал к богомольцам, товарищ Грот; я полагаю, ты член партии, как же ты попал к паломникам?

Габельбах прервал свою трудовую пантомиму и прислушался, ухмыляясь без всякого благочестия. Тем самым он загнал Давида в угол. Хоть воинствующий новичок был Давиду не по душе, но он его товарищ по партии и получил задание от партии; хочешь не хочешь, надо его выручать. Габельбах же частенько мог довести до исступления, в особенности когда начинал размахивать знаменем, возвещавшим: я беспартийный! В то же время Давид не забыл, сколь многим обязан этому вечно всем и вся недовольному фотографу и что без него, по всей вероятности, недалеко пошел бы в «Нойе бер-

линер рундшау», что ни говорите, а редакция кое в чем оказалась именно той самой Троей, которую поминал его первый патрон, господин Ратт.

Ведь он из чистого озорства столкнул лбами этих двоих, теперь надо выпутываться, и Давид с деланной беззаботностью объяснил:

— Как попадают к паломникам? Знаешь, товарищ Блек, иной раз оглянуться не успеешь, и ты уже в толпе, тем более когда растеряешься. К процессии надобно повнимательнее приглядеться, ведь тебе ее описывать, надо послушать, что говорят люди, те самые богомольцы, это же нужно для очерка; тут волей-неволей смешаешься с толпой, а потом улицы начинают сужаться, ряды паломников тоже, и ты неожиданно оказываешься в самой гуще.

— Ладно, это я понимаю,— согласился редактор, — конечно, идеи — отступим в данном случае от их содержания,— идеи выражаются явлениями, все верно, но нам известно: важно не допустить, чтобы явления тебя придавили. А эта фотография, на которой мы имеем, так сказать, запечатленное явление, доказывает, на мой взгляд, что ты в данном конкретном случае дал явлению придавить себя, меня это тревожит, тем более что крест можно определить как явление, характеризующее чуждую нам идею.

— Что верно, то верно,— вздохнул Давид,— штуковина эта меня и впрямь едва не придавила, увесистое оказалось бревнышко. Но, понимаешь, выбора не было. Я же говорил, улицы сужались, а на подходе к церкви превратились в узенькие переулки, я и очутился в самой гуще паломников, вот уж верно — и смех и грех. Знал бы я, что за углом меня поджидает явление, характерное для христианской идеи, я бы попытался выбраться, но, как ты совершенно верно заметил, обстоятельства меня придавили, пожелай я выбраться, ничего бы не вышло, и за следующим углом мне пришлось опуститься на колени.

— Видишь,— воскликнул Блек,— вот оно главное: тебе пришлось опуститься на колени! Но почему же пришлось? Я считаю это обстоятельство вдвойне, так сказать, унизительным. Прежде всего с точки зрения идеи, а затем твоего фактического положения.

— Я в тот момент рассматривал его с точки зрения своего положения,— ответил Давид, задаваясь мысленно вопросом, так ли обязательно поднимать на смех этого великого умника,— ведь унижение унижением, но мне ничего другого не оставалось: с кем поведешься, от того и наберешься, как тебе известно. Останься я стоять, мне бы наверняка вдвойне не поздоровилось, от меня не осталось бы ни рожек, ни ножек. Сам понимаешь: Верхняя Бавария, Альтёттинг, узкие проулки, забитые богомольцами, э, нет, лучше не пытаться. По идее все верно, но улочка полным-полна была этакими дюжими явлениями, тут уж ничего другого не остается: влез в толпу, ползи с толпой!

— И все это вдобавок на Западе? — переспросил Блек, не на шутку перепугавшись, и вдвойне насторожился.— И ты позволил, чтобы на тебя взвалили крест, да еще все это сфотографировали? А в редакции-то тебя обсудили? Решение приняли?

— Обсудили,— кивнул Давид,— на это мы мастаки. Успехи, провалы, явления, идеи — мы обсуждаем все, чтобы не притуплялись щупы будущего. О да, мое унижение мы обсудили и присудили: вместо журнала — стенка. На этой стене, понимаешь ли, висят только такие фотографии, которые мы, обсудив, присудили — на стену. Эти снимки попадают, пожалуй, под следующее определение: запечатленные явления, которые могут натолкнуть зрителя на ложную идею.

— Значит, придется эту стену срочно обсудить и кое-что соответственно присудить,— объявил новый шеф,— странная концепция

демонстрируется, по-моему, на этой стене, но ты собирался объяснить, как взвалил на себя крест, в буквальном и фигуральном смысле. Ты изложил нам, как оказался на коленях, но когда же и где оказался на тебе крест, это явление христианской идеи?

Габельбах рванулся было, когда речь зашла о концепции его стены, но теперь помалкивал, и Давид понимал: он наслаждается забавной ситуацией.

— Крест,— продолжал Давид,— явился на следующем же углу. Понятие «крест как явление» можно рассматривать в двух смыслах — как понятие из мира идей и как понятие из сферы оптики, но должен отметить, что оба смысла здесь не годятся. Идеям в моей голове в тот момент места не оставалось, слишком уж болели коленки, у меня, знаешь ли, костлявые коленки, не приспособленные для паломничества, а с оптикой дело было совсем плохо: во-первых, передо мной маячила зеленая куртка, а, во-вторых, коленки причиняли мне такую боль, что в глазах темнело! Вот тут-то мне и водрузили крест на спину. Кресты, видимо, подавали из окон, иначе я в толк не возьму, откуда они взялись. Тому, что в зеленой куртке, тоже достался, его крест то и дело стукался о мой, пока мы ползли вокруг той церкви в Альтёттинге, что в Верхней Баварии. Скажу тебе честно: религия — не такое уж простое дело.

Рассказ Давида заметно обескуражил редактора Блека, и он спросил, но в тоне его уже не чувствовалось остроты, а скорее растерянность перед лицом «человека как некой данности» в образе Давида Грота:

— И все это вы тоже обсудили?

— О да, еще бы!

— И эту фотографию на стене, ее вы тоже обсудили?

— Да, обсудили и присудили — на стенку.

— Что ж, ладно, что было, то было,— объявил новый редактор.— Надеюсь, вы сделали из обсуждения верные выводы, однако дознались ли вы, как вообще появился этот снимок? Он, видимо, сделан в непосредственной от тебя близости, и я спрашиваю: с какой целью, какая идея служила его предпосылкой? До этого вы дознались?

— Тут не о чем было дознаваться. Фотография сделана коллегой Габельбахом. Выдающееся достижение, понимаешь ли; коллеге Габельбаху не пришлось, правда, тащить крест, но ползком щелкнуть такое фото — это же настоящий успех, считаю я.

— Теперь я начинаю понимать,— заявил Блек, и тон его приобрел явную остроту.— Вы тоже были там! Разрешите спросить, как вам удалось сделать такой снимок?

Вот, наконец, до слова дорвался и Габельбах.

— Мне удалось сделать такой снимок, господин коллега, потому что я этому учился,— ядовито начал он.— Вы, быть может, еще не поняли, ибо в этой редакции все несколько запутано, но я фотограф, если вам понятно, что́ я имею в виду. Если же вы считаете, что не поняли этого, пожалуйста, задавайте вопросы. Таков наш обычай.

Блек едва ли не с радостью принял предложение.

— Раз уж вы заговорили об обычае: как же коллекция, подобная этой, укладывается в рамки обычаев прогрессивного органа печати? Если по-латыни обычай назван тираном: usus est tyrannus, то, по-моему, для вас эту пословицу можно перевести иначе: дурной обычай, а в вашем случае обычай коллекционировать вредоносные фотографии, ведет к пагубным последствиям, а в случае с вашей стеной — к пагубной концепции!

— Если вы говорите о концепции,— Габельбах тоже обрадовался,— стало быть, вам, вооружившись сим полезным понятием, уда-

лось пробиться сквозь царящую здесь неразбериху: так не будете ли вы столь любезны и не изложите ли мне концепцию моей коллекции, мне было бы весьма любопытно получить разъяснение.

— И вы его получите,— загремел главный,— вы получите его со всей откровенностью: я считаю вашу коллекцию явлением, в основе которого лежит циничная идея. Если уж нормы поведения требуют относиться к совершенным в период становления ошибкам как неизбежным следствиям того или иного казуса и понимать, что предстоящая работа могла быть начата и проделана только человеком как некой данностью, находящимся на определенной стадии развития, а ошибки, стало быть, следует воспринимать как явления переходной стадии и квалифицировать подобным образом, то вы пытаетесь установить взаимосвязь между вышеупомянутыми ошибками и выставить эту связь на обозрение, чтобы тем самым навести на выводы, стоящие в неминуемом противоречии с основной линией нашего развития. Подобную концепцию я называю циничной, от греческого kyon — собака, а лежащую в ее основе философию — собачьей философией, от того же греческого слова или от другого — kynosura, то есть собачий хвост. На этой стене выставлены на обозрение, так сказать, материальные свидетельства собачьей философии, иначе говоря, собачьи хвосты. Так где же тут, позвольте спросить, зарыта собака?

Давид тотчас понял, что Габельбах готов сделать ряд не слишком деликатных предположений касательно этой самой собаки, и, не без основания испугавшись, как бы все это не кончилось катастрофой, быстро вмешался:

— Товарищ Блек, коллега Габельбах, разрешите? Мне кажется, что спор свернул на слишком специальную стезю. Собачий хвост по-гречески, нет, это выше моего разумения. Ваш спор, полагаю я, приобрел несколько заостренный характер. Думается, в процессе обмена мнениями вы упустили из виду нашу общую цель. Что является нашей первоочередной задачей? Вашей, коллега Габельбах, твоей, товарищ Блек, и моей? Да, что же является нашей общей задачей? Коротко говоря: выпуск журнала НБР. А что явилось предметом вашего спора? Какие-то издержки производства «Нойе берлинер рундшау», я бы даже сказал — отбросы, иной раз юмористического, а иной раз и не столь уж юмористического толка. Нам поручено руководство огромной токарной мастерской, а мы тут занялись опилками. Знаешь ли, товарищ Блек, мы здесь сейчас ухватили за шиворот одну семнадцатую долю побочного явления, но потеряли из виду идею в целом. Знаете ли, коллега Габельбах, мне известен некий юнец, которого вы своими советами не раз вызволяли из малых и великих трудностей, что пошло на пользу НБР. Не вижу причин отступать от этого принципа. Нашему журналу такое отступление, во всяком случае, на пользу не пойдет.

— Само собой разумеется, я готов вести наш спор на принципиальной основе,— согласился Герберт Блек,— это действительно необходимо, чтобы идея не выродилась в собачий хвост. А посему не будем задаваться вопросом, зачем эти пилигримы висят здесь на стене, поставим вопрос иначе: зачем вообще был сделан такой снимок? При подобной постановке вопроса можно получить принципиальное разъяснение, а оно кажется мне необходимым.

— Мне оно тоже кажется необходимым,— ответил Габельбах,— но возможно ли оно, не мне судить. Однако попытаюсь: сей молодой человек, референт на все случаи жизни, уже год-другой работает в журнале; и я уже год-другой работаю в этом журнале. Мудрецов наша редакция не породила, но без мастеров своего дела в нашей про-

фессии далеко не уедешь, а уж вникнуть в ту или иную ее особенность должен каждый, и как можно скорее. Но, чтобы не запутаться в непроглядных джунглях, остановимся на случае, повторное разъяснение которого кажется вам столь необходимым. При этом нам придется затронуть вопрос, для каждого журнала животрепещущий, вопрос о репортаже. Репортаж, как вы, конечно, знаете, в чем я ни на минуту не сомневаюсь, репортаж в нашем деле понимается как сообщение, но происходит это слово от французского reporter — что-то откуда-то приносить. Репортер, прежде чем что-либо сообщить, должен кое-что принести с собой: впечатления, опыт, взгляды, понятия, восприятия чувственного плана, определения идейного плана. Репортер прежде всего собирает материал, а потом уж приводит его в порядок.

Для начала этих элементарных сведений достаточно. Перейдем к конкретной ситуации: два сотрудника «Нойе берлинер рундшау» собираются в путь, в командировку — вы понимаете, что сие означает,— получив необходимые документы, необходимые деньги и задание. Задание гласит: написать очерк о другом немецком государстве, показать, что́ в тех краях иное, чем у нас, иное потому ли, что новоиспеченное, потому ли, что ветхозаветное; показать наши различия! Оба сотрудника приступают к работе — слово «работа» я хотел бы снабдить маркировочным буйком,— они начинают с севера, толкуют — я пытаюсь представить вам наглядно их работу — с крестьянами о ценах на торф и тем самым узнают кое-что о практике европейского товарно-денежного хозяйства; перед молодежной туристской базой за дамбой у Северного моря они натыкаются на колокол «Имперского земельного сословия» [1], чудовищный инструмент с чудовищными свастиками и чудовищными изречениями, о чем они непременно упомянут в своем очерке, в результате чего упрямые крестьянские парни, читавшие в школе «Вервольф» Германа Лёнса, возьмут да и закопают этот колокол до будущих дней национальной славы; далее оба сотрудника «Нойе берлинер рундшау» попадают в город Гамбург, присутствуют там на сборище «Германской имперской партии», где получают ответ на риторический вопрос: «Чего желает истинный германец»; им удается осмотреть казарму летчиков в том же городе, благо их приняли за сподручных вермахта по части журналистики, что весьма способствует откровенности беседы и ознакомлению с закулисной стороной такой проблемы, как психологическая подготовка солдат к встрече с врагом; они, эти репортеры, надеюсь, вам пока что все ясно, с трудом раздобывают два сидячих места на евангелический «спектакль» Билли Грехэма, это уже в Руре, и оказываются свидетелями ошеломительного ораторского искусства и огорчительно-ошеломительной внушаемости людей, живущих не где-нибудь, а в центре самой современной индустрии; далее оба сотрудника выслушивают в Кёльне на Рейне мнение приветливого библиотекаря заводов Форда, почему господин Форд так много денег отпускает на приветливых библиотекарей и привлекательно-завлекательную литературу: они, так сказал библиотекарь, заставляют забывать о непривлекательной классовой борьбе; но вот оба сотрудника «Нойе берлинер рундшау» уже в Висбадене, где ухитрились — честность требует выразиться именно так — попасть на Конгресс культуры СДПГ и во все уши слушают даже Карло Шмида [2]; во Франкфурте они проникли на сборище ветеранов Африканского корпуса, а в Мюнхене — художников-

[1] Официальная организация крестьянства в фашистской Германии.
[2] Один из лидеров правого крыла социал-демократической партии Германии.

неофутуристов; попав в Гармиш, они по канатной дороге съездили на Партнах, где один из них поддался оптическому обману, за что впоследствии и поплатился, а под конец путешествия оба репортера оказались в верхнебаварском городке Альтёттинге; здесь они отправились взглянуть на могилу Тилли, где один репортер прочел другому затейливую лекцию о битве при Брейтенфельде, в которой старик Тилли пал жертвой новой военной тактики шведского короля Густава-Адольфа, что второй репортер с тех пор раз и навсегда запомнил; но тактика ли, стратегия ли, а оба репортера, о коих идет речь, вы, конечно, помните, о ком идет речь, но все же осторожности ради точное их звание следует еще раз ввести в наш рассказ — оба сотрудника «Нойе берлинер рундшау»,— опомнились: они же здесь не ради военной истории, скорее уж ради современной, в нее-то им и следует внести свой вклад, они прибыли сюда, чтобы работать — я уже, кажется, снабдил это слово маркировочным буйком,— они должны отразить в своем очерке то иное, что увидят между реками Эйдер и Инн, должны сделать репортаж, иначе говоря, вернуться из командировки с материалом о старом и новом в тех краях, а потому обязаны собирать материал даже и в Альтёттинге, Альтёттинг наверняка может преподнести им что-нибудь поинтереснее, чем могила Тилли. В этот день, под конец их долгого рабочего путешествия, Альтёттинг преподнес им религиозную процессию, и тут уж второй сотрудник взял реванш за лекцию о тактике шведского короля и проследил со своей стороны — ибо случайно знаком с традициями католической церкви, а тут в виде исключения ему даже следовало обнаружить эти знания для пользы дела,— так вот, он, со своей стороны, проследил историю религиозных процессий и разъяснил второму репортеру: оба они, сотрудники «Нойе берлинер рундшау», поступят в духе своего задания, самым внимательным образом приглядываясь и прислушиваясь к благочестивому шествию. Конец истории, смею надеяться, вы еще не забыли, добавлю лишь одно: нам ничего не оставалось бы, как взять в руки посохи, не выполни мы в этом случае свой долг.

Остается добавить последнее: репортер и агитатор кое в чем отличаются друг от друга. Если позволите, я намечу их примерные различия: агитатор — я говорю сейчас только об агитаторе, представление о его антиподе вы, тешу себя надеждой, составите себе сами — не вправе был бы молча выслушивать ни высказывания торфозаготовителей, ни речи фордовского библиотекаря; его работа — разъяснять им характер европейского товарно-денежного хозяйства и нравственную задачу литературы; ему надо бы кричать «Караул!» при одном виде испещренного свастиками колокола и живучих остатков Африканского корпуса; он обязан был истошными криками вывести из транса тех несчастных, что стали жертвами Билли Грехэма, и пробудить от сна всю братию Карло Шмида; в казарме летчиков он должен был провозгласить лозунг: «Долой атомную смерть!», а старых германцев ему следовало с пристрастием допросить, что́ они творили не столь давно с молодыми семитами. Не поступи он так или подобным образом, ему ничего не осталось бы, как взять в руки посох.

Репортер же — вы разрешите чуть посодействовать вам небольшой маркировочной репликой,— репортер, которому пришла бы идея так поступить, загубил бы свою работу. Вообще-то говоря, он загубил бы ее и в том случае, если бы постоянно не стремился выйти из своей роли и бороться с неразумием, путаницей в мозгах и злодеяниями; если бы в этом случае он не пытался высказаться с партийной точки зрения, он проявил бы низкую степень сознательности, и тут

уж для него надо было бы подготовить посох, ибо наша профессия требует высокой степени сознательности.

Но это была всего лишь маркировочная реплика. Я, если разрешите пролить каплю света на эту проблему, возвращаюсь к обязанностям и образу действия репортера, которые можно выразить на удивление простой формулой: действуй так, чтобы выполнять свою работу осмотрительно, настойчиво, не давая сбить себя с пути истины. А это значит — надеюсь, вы разрешите мне подробное разъяснение,— это значит: если репортер попал в толпу роммелевских «лис пустыни» или благочестивых паломников, слушай во все уши, гляди во все глаза, а рот раскрывай лишь для хитроумных вопросов; это значит далее: собирай, набирай, копи, постигай, сохраняй и накапливай — слова, интонации, звуки, ужимки, жесты, манеру держаться, выражение лиц и глаз, движение губ, походку, узоры галстуков, марки автомашин, перстни с печатками, синтаксис, словарный запас, привычные сорта сигарет, рукопожатия, прически, модели шляп, это значит — ищи ответы на вопросы: кто, куда, где, как и, если удастся, почему?

А журналисту, который это забудет, заранее готовьте посох!

Но если он этого не забудет, милостивый государь, значит, выполнит то, что составляет суть его работы, и, выполнив эту часть своей работы, он займется следующей частью, то есть просмотром материала, с которым вернулся — вы, возможно, уже уловили, reporter значит приносить что-то откуда-то,— и тут обнаружится, что собран материал годный и никуда не годный, все зависит от тех или иных причин, оставим их в стороне, иначе река нашего повествования растечется по необозримой дельте, и боюсь, что вы, невзирая на маркировочные буйки, которые я время от времени расставлял, в ней затеряетесь,— тут репортер не раз окажется перед трудным выбором и может даже дойти до белого каления, когда станет ясно: то, что он принимал за сокровища, другие считают мурой; где он видит драгоценные камни, все остальные видят дешевую подделку; и вот тогда-то нужно, собравшись с духом, отказаться от этого материала.

Рассмотрим следующий случай: один сотрудник «Нойе берлинер рундшау» сфотографировал другого сотрудника «Нойе берлинер рундшау» в ситуации, которая — уж это легко предусмотреть,— пожалуй, во веки веков не повторится: сотрудник, человек молодой, при случае даже воинствующий атеист, член партии агитационно-пропагандистского толка, ползет на коленях, как доказывает нам фотография, нагруженный ребристым символом христианской веры, вокруг церкви в Альтёттинге, и он — о чем также свидетельствует эта фотография — чувствует себя явно не в своей тарелке.

Фотография не опубликована — не стану сбивать вас с толку причинами,— фотография не опубликована.

Что же, считать, что она обратилась в ничто, в монстра, которого следует уничтожить?

Нет, я этого не считаю, сударь! Для меня она осталась частицей моей работы, комической частицей моей жизни, свидетельством моей уверенности, что нет ничего невозможного, это часть меня самого и часть моего собрата по труду, вот этого самого молодого человека, работать с которым я имею удовольствие уже не один год. Мы же с вами, вы, сударь мой, и я, мы с вами ни малейшего удовольствия, полагаю я, иметь от совместной работы не будем, если, конечно, вы не выберете единственно верный путь и не сделаете того, чем по-настоящему внушите мне уважение: сядете и поучитесь, дабы знать что-нибудь путное помимо греческих собачьих хвостов, и в конце концов станете толково выполнять свою работу. Это пойдет на поль-

зу вам, это пойдет на пользу НБР, на пользу всем нам, к тому же вам не вредно поиметь в виду: вы стартовали у нас, сударь, поистине хуже самого захудалого собачьего хвоста.

В стенах НБР это была самая продолжительная речь Федора Габельбаха, самый продолжительный визит Герберта Блека в фотолабораторию, а у Давида на самое продолжительное время язык прилип к гортани.

Но как Герберт Блек стартовал, так он за год прошел и всю дистанцию.

Он все снова и снова запутывался в путанице сомнительных идей и подозрительных явлений; он не мог поладить в редакции ни с одним «человеком как некой данностью», и сама Иоганна, хоть неистово, но терпеливо формирующая нового человека, не в состоянии была переформировать этого Блека; у него начисто отсутствовали щупы будущего, а в мозгу не сыскалось самого крошечного уголка, где прижилось бы чувство юмора; он так долго долбил о прогрессе, пока слушатели не увядали от скуки, и не оставил по себе, когда наконец покинул редакцию, ничего иного, кроме обычая, смущающего каждого непосвященного, обычая — по-латыни называемого usus,— следуя которому на собраниях и планерках в самую наинеподходящую минуту раздавался возглас: «Превращение человека в насекомое — решение для нас неприемлемое!

Вот и все, не так уж это много для главного редактора.

Ибо главный редактор Герберт Блек не обладал одной весьма важной добродетелью, наиболее почитаемой в той стране, точным слепком с которой был журнал «Нойе берлинер рундшау»: при всей своей учености он не понимал, что ученью нет и не бывает конца.

Так он исчез из памяти сотрудников НБР, а редакция продолжала работать, и теперь, без него, лучше прежнего.

Но пришел новый главный; он назначил Возницу Майера диспетчером и нисколько не боялся Габельбаха; он прямо спросил у Давида, кто такой этот треклятый Архипенко; он, прежде чем прийти в редакцию, просмотрел годовые подшивки «Нойе берлинер рундшау» и, говоря о совершенствовании, рекомендовал своим сотрудникам изучать один давний рождественский номер и те пожелания, что высказали в давнем сорок пятом году кондукторша трамвая и полицейский; он очень скоро распознал всю опасность возгласа: «Нам чего-то не хватает!»; он тоже был человек ученый и наверняка опытный в обращении с идеями и явлениями, но поначалу сидел у себя тихохонько и работал до тех пор, пока не понял: такая редакция — производство совсем особого рода.

Однако и этот главный не удержался, с ним случилось следующее: сознавая, что он новичок, он ходил по редакции с оглядкой и подмечал все ее особенности, он дознался, почему Иоганна Мюнцер звалась в редакции Пентесилеей, а в ротационном цеху Петрушенцией, уяснил себе принцип, которым руководствовался Габельбах, собирая свои фото, а также его пунктик говорить о сумбуре и хаосе, когда речь заходила об организационных принципах НБР, докопался до истории брака завкадрами Каролы Крель, постиг словоохотливость господина Ратта касательно гомеровских времен, благодаря фрейлейн Лило был в курсе всех редакционных писем и знал о своеобразном обаянии знатоков в различных областях, а благодаря Вознице Майеру был в курсе различий между интеллектуалами и прогрессивной интеллигенцией.

Вместе с деталями он постиг и общие редакционные дела: складчину на подарки, штурмовщину, мелкие стычки бригад, великие битвы за лишнюю уборщицу, неравномерный ритм между одним плано-

вым заданием и другим плановым заданием, специфику взлетов и падений производительности труда, ритуал распределения премий, мелодичность интонаций в Международный женский день, великую силу главного бухгалтера и всесилие Объединения народных предприятий, называемого кратко и безобидно ОНП.

Именно всесилие и неисповедимость решений ОНП этот главный почувствовал на собственной шкуре, ибо как раз когда он начал разбираться в сути новой работы, именно в эту минуту, через год, его отозвали с поста главного редактора НБР; другой, более высокий уже поджидал его.

В такой редакции все как на обычном производстве.

## 8

Ко времени, когда начал править преемник преемника, значит, уже третий преемник Возницы Майера, ко времени, стало быть, третьего действительного и наделенного исполнительной властью главного редактора «Нойе берлинер рундшау» Давид наткнулся в экономическом отделе АДН на сообщение, весьма его заинтересовавшее.

По существующим правилам Давиду следовало переправить это сообщение Йохену Гюльденштерну, ибо экономика подлежала его компетенции, а со времени прихода к власти третьего преемника в редакции строго придерживались компетенции. Но он, взяв это сообщение, отправился к Иоганне Мюнцер. Что тоже противоречило заведенному порядку. По заведенному порядку тот, у кого возникала идея, обязан был изложить ее на планерке или же, в случаях безотлагательных, тотчас и в первую голову — главному редактору. В этом была своя логика; такой порядок укреплял организационный принцип, повышал оперативность, упрочивал положение главного и умерял авторитет Пентесилеи.

Давид не без основания полагал, что данный пункт играл в приказах третьего преемника, скажем прямо, не последнюю роль. Давид понимал главного и скрепя сердце даже соглашался с ним. Ведь когда Иоганна произносила «здесь сейчас», а она все еще охотно повторяла свое любимое речение, оно все еще напоминало о царящем кругом опустошении или уж хотя бы о минных полях, а скептическое отношение к своим сотрудникам все еще уравновешивалось у нее тайным умыслом сформировать нового человека. АИЦ так и осталась ее кумиром, а склонность к Архипенко — величайшим пугалом, и она пыталась по-прежнему ориентироваться сама и ориентировать других на пример «великих лет», даже в тех случаях, когда эти «великие годы» уже по историческим причинам не могли служить примером.

Однако сама она, несмотря ни на что, оставалась для Давида примером, на который он постоянно равнялся. И пусть она порой своей подозрительностью против всего, что не предусмотрено было в «великих книгах», повергала его в отчаяние, но зато вынуждала доказывать ей то или иное положение, вынуждала его думать, раздумывать и даже задумываться над будущим. И пусть она частенько нападала на него как истая Пентесилея, зато ограждала его от всяких и разных опасностей: от заносчивости, которая, казалось, шла об руку со сноровкой, какую обрел Давид в обращении со словами; от уныния, которое порой едва не одолевало его, когда у него на глазах бесследно рассеивалась взлелеянная мечта или, что того хуже, уже проделанная работа; она пыталась остеречь его, не всегда успешно, но так, что он всегда чуть-чуть сомневался в собственной правоте; она пыталась остеречь его от тщеславия, упоения успехом, жалостли-

вости к собственной особе, переоценки собственных сил, недооценки собственных сил, от безудержной увлеченности и от вспышек командирского рвения.

Она хитростью ограждала его от упоения как поднебесными высями, так и морскими глубинами, удерживая много лет на золотой середине, не отпуская его с чрезвычайно расплывчато очерченной должности референта, на которой он порой, правда, оказывался мощной дланью редактрисы, но всегда оставался только дланью Иоганны Мюнцер.

Третий исполняющий должность главного редактора, обладатель первого места в выходных данных, и тут кое-что переиначил; кое-что, правда, но так, что в редакции стало чуть больше порядка и чуть меньше стало чувствоваться влияние редактрисы на текущие дела. В штатном расписании Давид назывался отныне не референтом редактрисы, а референтом редакции, и правомочие распоряжаться его особой присвоил себе самолично третий преемник.

Давид очень скоро ощутил, во что такие преобразования вылились: если прежде он был своего рода редактором для особых поручений, преимущественно для поручений Пентесилеи, и сколько душе угодно повсюду разъезжал и обо всем писал, то ныне его все больше и больше загружали организационными заданиями.

В этом тоже была своя логика, ибо среди старожилов НБР он был самым испытанным, превосходно разбирался в сложной системе редакционной жизни, в механизме журнального дела и был желанным работником для третьего преемника, пришедшего к ним из ежедневной газеты. Но Давид, хоть скрепя сердце и принимал общие нововведения, от всего сердца противился перемене, коснувшейся его лично. Он понимал: да, аппарат редакции требует опытного руководства — штат сотрудников увеличивался, структура аппарата усложнялась с каждым годом, и прежними незатейливыми приемами с ним уже не совладать,— но ведь он, Давид, журналист, а не управленческий работник; он хотел видеть, и слышать, и писать, а не просматривать бумаги, выслушивать жалобы бухгалтера и писать запросы на фондовые материалы.

Вот отчего ему так по душе пришлось сообщение отдела экономики АДН, вот отчего он не передал его Йохену Гюльденштерну, вот отчего он отправился с идеей, вытекающей из этого сообщения, не к Преемнику III и не ждал еженедельной планерки, а взял телетайпную ленту и пошел к Иоганне Мюнцер.

— У меня кое-что есть,— объявил он,— разрешите прочитать?

— Э, дельце, верно, щекотливое,— ответила она,— раз ты пришел ко мне, значит, мы затеваем интригу, понятно, интригу положительную, как ты это называешь, но, гляди, именно положительную, иначе, надеюсь, ты не осмелился бы прийти ко мне; ну, значит, читай.

И Давид прочел:

— «По приглашению British Gunsmith Association народные предприятия по производству охотничьих ружей ГДР примут участие в выставке охотничьего и спортивного оружия в Лондоне».

Иоганна поразмыслила, кивнула и сказала:

— Иной раз согрешишь невольно и мысленно воскликнешь: проклятая классовая борьба! Вот нам волей-неволей приходится хвалиться смертоносным оружием, нам, сейчас здесь, чтобы заграница обратила внимание на нашу республику; да, как тут не согрешить!

— Не смертоносным, а охотничьим и спортивным оружием,— мягко напомнил Давид.

— Да как у тебя язык не отсох от такого сочетания: спортивное оружие! Я за спорт; я присутствовала на многих республиканских

спартакиадах... э, да что там, а ты, значит, хочешь отправиться в Британию, к пушечным королям?

— «Gunsmith Association» никакого касательства к пушкам не имеет; они оружейники, они изготовляют...

— Знаю, знаю, спортивное оружие, но это же словесный цинизм, надеюсь, ты помнишь, что такое цинизм!

— Угу,— подтвердил Давид,— собачья философия.

Оба рассмеялись, но тут Иоганна поинтересовалась:

— А он еще ничего не знает?

— Нет.

— А наш «эконом» тоже не знает?

— Йохен Гюльденштерн? Нет, тот тоже не знает.

— А репортерская группа?

— И они не знают. Сообщение только что получено с телетайпа.

— Ну что ж, предложи завтра на планерке, но не слишком нажимай, слышишь, подай в «разном», будь готов ко всему, на это требуется валюта, и вообще данный случай вправе обсуждать все: бухгалтер, репортеры, «эконом» Розенкранц, то бишь Гюльденштерн, кадровичка, Габельбах по поводу фото из Альбиона, министр иностранных дел и, разумеется, сам товарищ главный редактор; будь готов ко всему!

Она оказалась права: все, когда речь зашла о «Gunsmith Association», пожелали высказаться, хотя до того, при обсуждении недельного плана, высказывались далеко не все.

Преемник III стоял за разделение ведомственных интересов; эффективность-де возрастает, если по обсуждаемому вопросу выступают только люди компетентные, а таковых в редакции ныне развелось великое множество. Так и на этом совещании все мирно и тихо выступали по очереди, пока Давид не зачитал свое «разное», а Иоганна Мюнцер не выудила из этого «разного» пункт, который ее, видимо, заинтересовал:

— Не так быстро, Давид, за тобой не поспеешь. Может, другие и поспевают, но я уже стара. Ты, кажется, прочел там что-то о промышленной выставке?

— О промышленной выставке? Нет, об этом ни слова не было сказано. Да она бы и не попала в «разное», такой материал я передал бы Йохену Гюльденштерну.

— Но ты же сказал что-то о выставке?

— Выставке? Что-то не помню, а, да, извини, да, ты права, товарищ Мюнцер, предполагается выставка охотничьего оружия, вот что: да, извини, пожалуйста, ты права.

— Передай-ка сюда,— потребовал Йохен Гюльденштерн,— это по части легкой промышленности, мы, пожалуй, используем материал.

Но тут взял слово Герд Корн из внешнеполитического отдела:

— Я тоже не прочь взглянуть на сообщение; разве выставка будет не в Лондоне?

— Сейчас дам тебе,— поспешил ответить Давид.— Сейчас найду, но только это как будто охотничье оружие. Разве оно — внешняя политика? Оружие — пожалуй, но охотничье — тоже?

— Однозначно: легкая промышленность,— воскликнул Йохен Гюльденштерн,— перебрось-ка сюда, экономистам нужно в первую очередь глянуть.

— Глянуть — это уж скорее моя забота,— вставил Габельбах,— пусть пока и не совсем ясно, идет ли речь о внешней политике или экономике, их проблемы так или иначе, но переплетаются, а поглядеть на такую выставку дело подходящее, и Лондон для этого —

место вполне подходящее, но поглядеть можно только на объект, который сфотографирован. Моя мысль выражена ясно?

Хельга Генк из репортерской группы кивнула:

— Очень ясно, коллега Габельбах, я поддерживаю ваше мнение: это превосходный объект для фоторепортажа — очерк и иллюстрации; тут и название напрашивается: «Зуль в Сохо»!

— Не знаю,— взял слово третий главный,— на мой взгляд, несколько рискованная ассоциативная связь: город Зуль, Тюрингия, зеленое сердце Германии, и подозрительный район лондонских кабачков. Ведь Сохо — гнездо преступного мира, хороша же тут ассоциативная связь: оружие ГДР в оплоте британского гангстеризма. Над этим вопросом еще надо серьезно поработать.

— Вы, стало быть, уже работаете? — спросил главный бухгалтер.— Так позвольте и мне принять участие в этой работе. У меня создалось поначалу впечатление, что вы обсуждаете «разное», но теперь я вдруг слышу, что пункт этот, кажется, собираются включить в план. А это уж вопрос валюты, и тут для моего министерства требуются весьма веские доводы.

— Развитие экономики ГДР,— воскликнул Гюльденштерн,— подъем экономики, престиж, гордость по поводу экономических успехов, стимул к дальнейшим успехам!

Герд Корн поддержал коллегу, добавив и другие доводы, которые, правда, скорее подчеркивали, что вопрос входит в компетенцию его отдела:

— Усиление престижа ГДР во всем мире, в том числе и в капиталистической его части, внешние экономические связи, внешняя торговля, внешняя политика, признание; хватит как будто для министра финансов.

— Министру финансов надо положить на стол что-то конкретное,— взял опять слово Габельбах,— наглядный материал, наглядно подтверждающий, на что ушли деньги; недурно было бы приложить к заявке несколько фото с промышленных выставок в Бангкоке и Вене; министру легче будет разобраться в этом вопросе.

Хельга Генк вновь утвердительно кивнула и напомнила о заслугах репортерской группы в тех или иных случаях, пожалев лишь, что ей не удалось отстоять великолепный заголовок «Панков в Бангкоке» — третьему преемнику подобная ассоциативная связь показалась чересчур рискованной.

Главный бухгалтер так внимательно всех выслушал, точно ему впервой было слушать подобные доводы, и наконец сказал:

— Меня вы всегда убеждаете, но деньги-то ведь не мне принадлежат. Да их и нет вовсе! Фунты стерлингов! Они же нынче что молоко в грозу. Подумать только: на Английский банк всегда можно было положиться, как на обсерваторию в Гринвиче. Но если они у себя и дальше так поведут дела, пускай уж и нулевой меридиан переносят... Фунтов у нас нет! Во всяком случае, для двоих. На одного я еще могу сделать заявку.

Но прежде чем взял слово следующий компетентный оратор, выступила Иоганна Мюнцер:

— Тогда и смысла нет затевать дело, тогда, Давид, отложи свое сообщение опять в «разное». Вопросы финансов выше нашего разумения. Жаль, конечно, но отказ от этого дела освобождает нас и от споров. Хорошо еще, что нет нашего «спортсмена»; он тоже мог бы сказать свое слово, если это выставка спортивного оружия,— разве это не выставка также и спортивного оружия, Давид?

— Да, охотничьего и спортивного.

— Ну так хорошо, что его нет; спорт — довод веский для мини-

стра финансов. Нет, Давид, отложи все в «разное», из этого дела ничего не вытанцуется.

— Минуточку,— прервал ее Главный редактор III,— вопрос тем не менее вырастает в моих глазах в весьма существенный комплекс вопросов, и получается весьма мудреная ассоциативная связь: спорт, легкая индустрия, внешняя торговля, внешняя политика, образцовая работа зульских мастеров, наглядный показ нашей роли, признание, представительство ГДР на международной выставке промышленных достижений. Ничего не скажешь, наш журнал мог бы сослужить хорошую службу. Именно такие вопросы стояли в центре внимания на последнем совещании, товарищ Мюнцер.

— Меня там не было,— отрезала Иоганна,— но так оно и быть должно. Впрочем, если на двоих фунтов нет, а есть на одного — это все равно что на ветер их выкинуть. К тому же вот что мне сию минуту пришло в голову — ведь мы имеем дело со специализированной выставкой; как именуются устроители, Давид?

— Они именуются «British Gunsmith Association».

— Да, звучит очень и очень профессионально. С ними, видимо, следует разговаривать профессиональным языком, в противном случае наш престиж потерпел бы урон; знатоки обычно люди весьма педантичные, верно, Лило, как ты считаешь?

— О да! — воскликнула фрейлейн Лило.— Обаятельные, правда, но очень, очень педантичные!

— Видите! — продолжала Иоганна.— Значит, нечего и обсуждать, а может, ты что-нибудь смыслишь в оружии, Хельга? И наш уважаемый «эконом» тоже нет или да? А внешнеполитический отдел? Может, коллега Габельбах? Нет, нет, и нечего смущаться, я тоже ни черта не смыслю в этих делах. Знаете ли, в мое время так уж повелось, мы еще с Бертой Зуттнер провозглашали: «Долой оужие!» — и у меня до сих пор на памяти, как трудно пришлось моему милому Бертраму, не успел он высвободиться из пут Архипенко, как был брошен лозунг: искусство это оружие! Нелегко ему было справиться, но в ином понимании мы с оружием никаких дел не имели...

— Да, да, очень, очень интересно,— прервал ее третий главный,— но слишком все это мудреные речи. Одно мне ясно: чтобы справиться с подобной задачей, нам нужен специалист, а такового мы не имеем, следовательно, смысла нет и заваривать кашу, полагаю, можно продолжать планерку.

— Конечно,— согласилась Иоганна, и по решительности, с какой она, сняв свою сумку со стола, крепко ее сжала, Давид понял: она изготовилась для решающего удара.— Нам ничего не остается, ибо у нас нет знатока... а ты как считаешь, Карола, тебе же хорошо известны все анкеты, теперь, пожалуй, ты одна в них еще ориентируешься; нет ли у тебя в твоих папках этакого сокровища?

Карола Крель подняла глаза от своих бумажных голубей, оглядела всех невинными глазами и полуготовым голубком указала на Давида.

— А ты разве что-то в таком роде не изучал? Да, положение дел таково: в твоей анкете это записано.

Можешь говорить, подумал Давид: положение дел... я же напомню тебе, что узнала ты это не столько из положения дел, сколько из положения, какое занимают он и она в постели, и хоть он на седьмом небе, а все-таки ему не очень-то по себе, для нее такое положение будто бы само собой разумеется, но ему не столь часто случалось бывать в подобном положении, к тому же он много младше ее, той, что с широкими плечами, и он пытается спасти свое новое положение болтовней, конечно же, как все мужчины, о вещах, в которых знает

толк: о питейных обычаях некоего авиационного генерала, об учителе по фамилии Кастен, о мастере Тредере, который звал его Даффи, о городе Ратцебурге и об озере Кюхензее, о Вильгельме Гроте и голубе с золотым значком за ранение, о стихах, в которых встречается словечко «персты», о карманных часах «International Watch Company», о тактике Густава-Адольфа и, конечно же, о мушкете Густава-Адольфа, о винтовке «манлихер» и карабине «каркано», о барашковом прицеле и ударном замке и цилиндро-оживальной части снаряда: «Знаешь ли, я ведь, собственно говоря, оружейник...»

Можешь говорить что хочешь, думал Давид, а сам в который уже раз задавался вопросом, кому из сидящих здесь, кроме него и нее, об этом известно, но твердо он был уверен в одном — от внимания Пентесилеи обстоятельство это в свое время, в виде исключения, ускользнуло, и вслух он сказал:

— Все верно; так записано в моей анкете: я учился на оружейника.

— Верно,— воскликнула Иоганна Мюнцер,— где была моя голова! Товарищи, удивительная история: то, что было давным-давно, мне памятно до мельчайших подробностей. Ах, подумать только, споры об искусстве в АИЦ, да я же каждое имя помню: Кольбе, Альбикер, Барлах, Маноло, Архи...

— Ну, опять ваши мудреные речи,— прервал ее третий преемник,— вернемся-ка еще раз к английской выставке, у нас появилась новая точка зрения. Нам нужен специалист, и, как выяснилось, товарищ Грот именно такой специалист. Вырисовывается совершенно новая ассоциативная связь. Мне только неясно одно, товарищ Грот, почему ты сам не указал нам на это.

— Видишь ли, я полагал, что нужен человек, который поедет туда, а я всего-навсего референт редакции, я отвечаю за организацию, за оперативность...

— Именно за оперативность,— подтвердил Главный III,— а именно она и требует, чтобы кадры использовались целесообразно; прежде чем ты выродишься в бюрократа, товарищ Грот, дадим-ка тебе хлебнуть журналистской практики. Случай очень удобный, и речи быть не может, чтобы мы упустили такую возможность, как британская выставка. Я предлагаю пункт о выставке оружия тотчас выделить в рабочем плане. Благодарю вас, но прошу одновременно приступить к тщательной подготовке, дело обещает быть достаточно сложным и мудреным.

И оно действительно стало сложным и мудреным. Давид не в силах был отделаться от представления, что половина государственного аппарата страны отныне занята его особой и его поездкой; ежедневно на орбиту руководства запускали новые предложения, докладные записки и письма, они облетали проект лондонской поездки по траекториям, законы которых, как казалось Давиду, скорее открылись бы астрологу, чем астроному.

К тому же все компетентные лица в редакции не забывали о предстоящем событии; они не едут, но Давид обязан блюсти их интересы; ему втолковывали внешнеполитические, внешнеторговые, политико-экономические точки зрения; Ганс Бамлер из спортивного отдела снабдил его таблицей результатов международных стрелковых соревнований; редактор Клоц — литературой он давно уже не занимался, но по-прежнему занимался «советами хозяйкам» — просил Давида проникнуть в тайны английской кухни; Лило обязала его осмотреть Тауэр, среди ее корреспондентов нашелся особенно упрямый специалист по Англии; Хельга Генк из репортерской группы тоже на-

деялась на сувенирчик, по крайней мере на очерк, и уже заготовила название: «Ода миру на британской лире»; а Габельбах желал получить что-то около тысячи фото.

Давид освежил свои фотонавыки, собрал в памяти все крохи английского, попросил главного бухгалтера разъяснить ему коварство британской валюты и системы мер, пополнил запас необходимых сведений о стране и ее людях, его снабдили бумагами и в избытке — бумагой, и наконец он распрощался с семьей, с друзьями и с «Нойе берлинер рундшау».

В семье все прошло кратко и по-деловому, семье эта процедура была уже не внове, но друзья обернулись знатоками шотландских острот и Шекспира, тут уж лучше было не задерживаться, Габельбах несколько раз довольно язвительно назвал Давида «господином коллегой» и объявил, что Англия его не слишком интересует, вот в Америку — это да, туда он бы охотно съездил еще раз, и, если вопрос встанет о поездке в США, тут уж у него куда больше шансов, чем у Давида или еще кое у кого в редакции, ибо он беспартийный, а поскольку в американских сводах законов записано, что человек со взглядами и интересами Давида не смеет и ногой ступить на землю Соединенных Штатов, то пусть радуется, что его хоть на британский остров пускают. После чего не преминул предостеречь Давида, напомнив об опаснейшей сумятице, постоянно царящей на выставках, процитировал корреспондента Франца Германа Ортгиза, сообщившего о случае, когда два потсдамских лейтенанта выказали небрежность в обращении с огнестрельным оружием, в результате чего «один, сместив по неосмотрительности направление ружейного дула, прострелил другому голову», и заклинал Давида, случись что-либо подобное в Лондоне, быть своевременно с аппаратом на месте происшествия. Иоганна Мюнцер с пристрастием проверила, знает ли Давид «Положение рабочего класса в Англии», воздержалась от попытки живописать ему тип британца, но не удержалась, чтобы не напомнить о памятнике Марксу, на который, конечно же, Давид съездит поглядеть, хотя как скульптура он и не очень-то интересен — ведь все зависело тогда от цены. По этому случаю Давид узнал также, какого мнения был Бертрам Мюнцер о Генри Муре[1].

Но вот наконец аэропорт Шёнефельд. Представителя зульского народного предприятия «Высокая цель», изготавливающего охотничье оружие, не составило труда отыскать. С огромным чемоданищем он стоял у билетного окошечка на Прагу, а за плечом у него висело ружье в жестком футляре.

— Грот,— представился Давид,— здравствуйте, кажется, мы договорились здесь встретиться.

— А я Бёве Карл,— объявил маленький человечек,— давайте знакомиться.

Бёве Карл не разводил церемоний; пока они летели до Праги, он рассказал Давиду почти всю историю своей жизни. Как один из заводских экспертов, он уже кое-где побывал, но Лондон и ему был внове.

— Подумаешь, Великая Британия,— рассуждал он,— любая страна чаще всего такая, какой ее себе представляешь, но, понятное дело, надобно ее правильно себе представлять. Жена всякий раз злится, когда на вопрос: ну, как там? — я отвечаю: ну точно, как я себе представлял. А уж шуму-то, шуму перед каждой поездкой! Точно я в Америку отправляюсь! Вот я всякий раз и твержу: в Америку, Герда? Дудки! Хотите верьте, хотите нет: она как услышит, так успокоится.

[1] Генри Мур — прогрессивный английский скульптор, автор фигуры «Женщина» перед зданием ЮНЕСКО.

Ружье он вез с собой ручным багажом. Это была трехстволка, выполненная по специальному заказу для пэра-левши; прежде чем вручить ружье заказчику, его продемонстрируют на выставке.

— Остальные поделки мы уже отослали, но этакую редкость я из рук не выпущу, сказал я, лучше уж вовсе не поеду. Ну и писанину развели, а все из-за условий доставки. Я получил сертификат, а в нем только всего и записано, что ружье, в том виде, в каком я везу его, не стреляет, но записано на шести языках, даже на португальском. Я им говорю: вы что, думаете, в Англии португальские таможенники? Ну, говорю я, тогда припишите заодно и по-индейски, на случай, ежели мы по пути в Америку залетим! Вот смеху было!

Из Праги на чешском самолете они вылетели в Цюрих. Теперь настала очередь Давида рассказывать о себе, и, когда выяснилось, что он учился у Тредера в Берлине, Карл Бёве протянул ему руку.

— Тогда переходим на «ты»! Значит, ты учился у старого мошенника? Ох и смеху же у нас было однажды! В конце войны — мы давно выпускали уже только карабины образца 98 года — он продал нашему коммерческому директору ударное ружье, двустволку, якобы подлинник из частной коллекции короля Вюртембергского, генералом, что ли, не знаю точно, был у Наполеона...

— Против Наполеона,— поправил Давид,— после 1813 года командовал седьмым армейским корпусом, не великий был искусник в военном деле.

— Чего не знаю, того не знаю,— продолжал Бёве Карл,— но Тредер, твой учитель, вот уж скажу тебе, был бо-ольшой искусник! Смех, да и только: подлинник! Почти что все подлинные детали оказались подлинно тредеровского изготовления. Кто знает, может, ты сам над ними трудился.

— Кто знает,— подтвердил Давид, но прежде чем он успел раскопать свои воспоминания о продаже подлинной ударной двустволки из частной коллекции Вильгельма I Вюртембергского, они уже прибыли в Цюрих, где им пришлось пройти в кассовый зал: при продаже что-то напутали с билетами.

Да, вот это аэропорт, сразу понимаешь, как велик мир: одни вылетают в Сингапур, другие прилетают из Монровии, точно по расписанию приземляются машины из Рейкьявика, пассажиры в Каракас, пассажиры из Аддис-Абебы, грузы в Стамбул, грузы из Гонконга, fly Air India, fly BOAC, see the world with BEA, up and up and away with TWA, Монреаль и Огненная Земля, все очень хорошо, но Лондон тоже не глухомань, так где же окошечко на Лондон?

Народу в аэропорту полно, Давид даже усомнился:

— Стоит им ошибиться, и ты приземлишься на Фудзияме, а хотел в Бремен.

— Вот бы смеху было,— развеселился Бёве Карл,— в Бремене я бывал. Не бойся, здесь работают как часы, да еще швейцарские. Жена, та вечно что-нибудь выдумает, а я говорю: не переживай, мать, если меня и завезут куда, так обязаны поить-кормить, а это денежек стоит, потому они глядят в оба.

Они получили билеты и отправились к таможне. На чемодан и сумку Давида даже внимания не обратили, на чемодан Бёве тоже, но заплечный футляр ему пришлось открыть.

— Э, да здесь ружье! — воскликнул таможенник.

Бёве кивнул:

— Охотничье, два ствола для дроби, один для пуль, заказной экземпляр, изготовлено по спецзаказу.

— Да, штучка что надо,— сказал таможенник.

Бёве кивнул.

— И стреляет что надо, ценнейший экземпляр, изготовленный в ГДР.

— В... как, простите?

— Знаю, вы нейтральные, вам ничего не известно. ГДР, есть такая страна, лежит вокруг Берлина.

— Но ружье,— продолжал таможенник,— на этот счет имеются правила.

Бёве опять кивнул и помахал сертификатом.

— Мы их соблюдаем, пунктуальная страна наша ГДР и очень, очень способная к языкам. Здесь на шести языках указано: жизненно важная деталь, обращающая сей образец в настоящее ружье, удалена и отправлена к месту назначения совсем иным транспортом. Выбирайте любой язык, там даже по-португальски есть.

— Я знаю португальский,— ответил таможенник,— но и так все в полном порядке.

Они получили штампы и, поспешая, как уж водится, рысцой за важно шествующей девицей, вовремя сели в машину на Лондон.

Приземлились они в Лиссабоне.

— Ну и смех,— пробормотал Бёве Карл,—вот мы и в Португалии.

— Угу,— подтвердил Давид,— с точностью швейцарских часов.

Они не могли понять, когда и где допущена была ошибка, но обходились с ними так, словно это они ее совершили, а вооруженный Бёве ни в коей мере не смягчал ситуации.

Поначалу чиновники лишь с любопытством взирали на футляр, но, заглянув в паспорта, забили тревогу.

— Что вам у нас нужно? — вопросил старший, на воротнике которого поблескивало больше золота.

— Нам у вас ничего не нужно,— ответил Давид,— нам и вообще-то сюда не нужно.

— Вы имеете что-нибудь против Португалии? — продолжал вопрошать чиновник.

Тон его не пришелся по душе Давиду, и потому он сказал:

— Об этом можно потолковать, но в данную минуту я предпочитаю знать: где здесь дорога на Лондон?

Последовали длительные прения по-португальски между двумя чиновниками, последовало исчезновение более молодого, последовало его возвращение вместе с господином в светлом костюме. Доклад по-португальски старшего чиновника этому господину, вопрос по-португальски этого господина старшему чиновнику. Старший сунул под нос господину в светлом костюме обе пары паспортов, одной рукой паспорта Давида, другой — паспорта Бёве, два паспорта, выправленные министерством иностранных дел Германской Демократической Республики и два Allied Travel Office в Западном Берлине. Господин в светлом, склонившись над документами, изрек нечто весьма краткое, но весьма португальское. Вслед за чем паспорта, выправленные МИД ГДР, перешли в руки их владельцев.

— Возьмите,— заявил старший чиновник,— таковой страны не существует.

— Смех,— ответил Бёве Карл,— а как же мы, мы-то существуем?

Чиновник взглянул на него не слишком любезно.

— Только как личности, а именно, как нежелательные иностранцы неизвестной национальности.

Подобный ответ настроил Бёве Карла тоже не на слишком любезный лад.

— А ну, осторожнее в выражениях, милейший коллега, ежели наше государство у вас в голове не умещается, вам же хуже, но почему неизвестной национальности! Мы же немцы!

Тогда его визави открыл союзный паспорт Бёве и указал на штамп: «Presumed German» [1].

— Здесь указано — предположительно. Вполне возможно и весьма вероятно, что вы немцы, но мы не обязаны это предполагать. Для нас вы — нежелательные иностранцы неизвестной национальности.

Бёве Карл замахал своим паспортом.

— Это же скандал! Я немец, как вы португалец, здесь это и прописано.

Тут разозлился и чиновник.

— Спрячьте его, мы его и видеть не желаем, его нет, не имеется, не существует!

— Я полагаю,— включился Давид,— сюда следует пригласить представителя нашей авиакомпании. Она получила с нас деньги, она нас сюда доставила, для нее мы существуем; не вызовете ли вы агента компании?

Конференция по-португальски. Распоряжение господина в светлом. Отбытие младшего чиновника. Возвращение с четвертым господином, но уже в темном костюме.

Он смущен до глубины души, объявил господин в черном, подобный случай еще в жизни с ним не приключался. И после долгих переговоров на местном языке дал справку, да, увы, положение вещей именно таково: нежелательные иностранцы неизвестной национальности. Соответствующее предписание: вылет означенных лиц с первой же машиной компании, доставившей нежелательных лиц в страну, до тех пор пребывание таковых в транзитном зале, приличное питание там же за счет компании, но, как уже сказано, смущен он до глубины души.

Господин в темном хотел уже проводить Давида и Бёве Карла в транзитный зал, но тут старший чиновник поинтересовался:

— Содержит сей футляр оружие?

Бёве Карл крепче ухватился за ремень.

— Для вас нет,— объявил он,— то, что содержит сей футляр, вывезено из ГДР, а потому не существует. Можно сказать, это presumed weapon [2]; да, предполагается, вполне возможно, весьма вероятно, что это оружие. Смех, да и только!

Португальская конференция грандиозного масштаба; решение: если это оружие, оно должно быть предъявлено, на сей счет имеются правила.

Бёве Карл продемонстрировал свой сертификат, но никому в руки его не дал.

— Здесь указано: жизненно важная деталь, обращающая сей образец в настоящее ружье, удалена и отправлена к месту назначения совсем иным транспортом; стало быть, в футляре, во-первых, всего-навсего presumed ружье, во-вторых, это вообще не ружье, а образец, и, в-третьих, вам эта бумага не поможет, хоть там и написано по-португальски, она же presumed paper. на ней ведь штамп министерства внешней торговли ГДР, так называемого presumed Foreign Trade Ministry, вы уже сами знаете: как предполагается, что вполне даже возможно и весьма вероятно!

Господин в светлом, господин в темном, господа в форме созвали еще одну конференцию; агент авиакомпании взял на себя обязанность доложить ее постановление:

— Мы договорились разрешить создавшуюся проблему следующим образом: вас здесь не было, поскольку это касается местных вла-

---

[1] Предположительно немец *(англ.)*.

[2] Предположительно оружие *(англ.)*.

стей. Но вы, разумеется, находитесь здесь, поскольку это касается меня, и под опекой моей компании. На первой же нашей машине вы отбудете в Лондон. До тех пор местные власти просят вас держаться таким образом, будто вас здесь нет.

— Довольно сложная задача,— сказал Давид,— а не сказали вам, из-за чего весь этот цирк?

— Ну, видите ли, точка зрения местных властей зависит, по всей вероятности, от конституции вашей странной... о, простите, вашей страны. Местные власти в этих вопросах весьма щепетильны.

— Так они знакомы с нашей конституцией?

— О, я имею в виду не бумагу, не документ, не писаную Конституцию; я имею в виду, то есть представители местных властей имеют в виду вообще своеобразие вашей, э, страны, ее строй, методы ее управления, форму ее правления, законодательную и исполнительную власть, права ее граждан; вы меня извините, но мне кажется, что представители местных властей руководствуются политическими мотивами, поверьте, меня все это смущает до глубины души!

Бёве Карл объявил, что его от всей этой канители с души воротит; представители властей удалились, не проронив более ни слова, агент позаботился о свободном столике в транзитном зале, пожелал приятного аппетита и напомнил, что, само собой разумеется, они гости авиакомпании; они закусили и выпили по глотку доброго вина. Бёве вскинул ружье и пошел размять ноги, по пятам за ним двинулся неприметный молодой человек, а Давид дремал и думал о своем.

Он не мог еще установить, какое место займет этот примечательный казус в ряду событий, связанных с их путешествием, начального пункта которого Давид уже не видел, а конечного еще не видел, он угодил в Португалию, сам не зная как, он знал только одно: хоть он и прибыл сюда, но в то же время быть он здесь не был, а потому его так и разбирала охота вскочить и для разрядки громко выкрикнуть знаменитую фразу, выкрикнуть он ее не выкрикнул, но пробормотал про себя:

— Превращение человека в насекомое — решение для нас неприемлемое!

Бёве Карл с предположительным ружьем за плечами, с неприметным молодым человеком за спиной прошагал мимо и сказал:

— Самое смешное: когда я расскажу все жене, у нее опять будут свои резоны!

Самое смешное, подумал Давид, что в этой ситуации вообще нет никаких резонов, это же истинно presumed situation, никак не предусмотренная, сюда не прибывают, если прибывают оттуда, откуда я прибыл, из этой э... странной Странании, из «так называемой» страны, конституция, вернее говоря, своеобразие которой местным властям не по вкусу, а в этих вопросах они весьма щепетильны.

Подумать только, как нарочно, они! Нет, не как нарочно они, а именно они!

Смех, скажет Бёве, а дома скажут: ну и насмеялся же ты досыта. Габельбах справится, запечатлел ли я этот цирк на пленке, и не преминет процитировать корреспондента Франца Германа Ортгиза, которому несомненно довелось хоть раз оказаться в подобной ситуации.

Давид взял аппарат и щелкнул тюрингца с его ружьем; действие, обратившее неприметного молодого человека за соседним столиком из сонного в настороженного. В этих делах они щепетильны, подумал Давид, они не желают фотодоказательств, что у них был некто, кого здесь вовсе не было.

Этих-то забот Франц Герман Ортгиз наверняка не имел, от него требовали корреспонденции письменной, а не образной, но от Давида

Грота требовалась ведь и письменная, не лучше ли сразу же и приступить.

Он вытащил ручку, а заметив, какую позу принял неприметный молодой сосед, дружелюбно кивнул ему и предупредил, чему не мало способствовал выпитый коньяк:

— Будете сидеть в такой позе, заболят шейные позвонки; сами виноваты, если спондилит заработаете. Позвольте представиться — Франц Герман Ортгиз, сочиняю корреспонденцию из Португалии, страны весьма щепетильной во всех вопросах, касающихся общего конституционного порядка в ГДР. Знаете ли, я поставляю обозрения, новости, все и всяческие известия о стране и людях, я закрепляю в словах все сенсационное и эпохальное и вот сейчас намерен кратко закрепить на бумаге свои соображения по поводу общего конституционного порядка страны Португалии; о, это всего лишь шутка, вы понимаете! Франц Герман Ортгиз, как я уже представился.

Молодой сосед слушал его с туповатым изумлением и в конце концов решил заняться изучением португальского ночного неба, а Давид записал:

«Как стало мне ведомо, страна сия управляется тремя силами, а именно — генералами, финансистами и князьями церкви.

Дошло, однако, до меня, что эти силы тому сорок лет назначили верховного правителя, имя коему Антониу ди Оливейра Салазар и власть коего подобна королевской.

В здешних местах, где я ныне пребываю, газеты оповещают, что в стране Португалии все идет воистину изрядно и общая ее конституция, то бишь система, дает ей право с завидной щепетильностью отказывать в уважении другим державам.

Дошел до меня также слух, что по части смертности новорожденных Португалия обогнала всю Европу.

Однако же повсеместно раздаются голоса, что из тех ста детей, коим удается выйти живыми из родильного дома, восемьдесят попадают в школу на четыре года; таковой срок считают вполне достаточным, дабы снизить число тех, что не умеют ни читать, ни писать и зовутся неграмотными, так что соотношение, каковое существует ныне, то есть сорок к ста, сохранится не навечно.

Из достоверных источников дошло до меня далее, что месячный доход подданных сего благонадежного Салазара при большом усердии составляет примерно сто марок и доход сей есть средний для подданных здешней державы.

Как стало мне известно, оная названная выше территория есть лишь двадцать четвертая часть империи, каковая простирается преимущественно по всей Африке.

А посему ходят легенды, что поелику черные людишки подобное государственное устройство не жалуют, как им должно, то португальское государство вынуждено из каждых ста марок сорок тратить на вооружение и довольствие господ военных, так что даже такого знатока арифметики, как Ризе[1], не потребуется, дабы разъяснить, почему простолюдина это бьет по карману.

Однако же в здешних местах упорно говорят, и твердят, и выдают за истину, и принуждают повторять, повсеместно и повсечасно оповещают, извещают и подтверждают официальными писаниями и писаниями присяжных писак, что в стране сей, Португалии, действует самая высокая правовая квалификация в международном частном пра-

---

[1] Адам Ризе (1492—1559) — учитель арифметики, автор ряда учебников, долгие годы использовавшихся как школьные пособия, отсюда поговорка — «по Адаму Ризе», подтверждение верности счета.

ве, а посему в этих землях особенно щепетильны с путешествующими из других земель, где общее положение в стране столь разительно отличается от здешнего.

По окончании сей корреспонденции воспоследует следующая...»

Далее изливать свою ярость на бумагу Давиду не пришлось, появился агент и сообщил, что ближайшая машина их компании готова к вылету и они опять могут отправиться в путь, на Лондон. Увы, тут возникло новое обстоятельство, и обязанность сообщить им о том смущает его до самой глубины души. Речь идет об условии, поставленном здешними властями, от которого они ни при каких обстоятельствах не желают отступать, а потому хоть Давид и Карл с этой следующей машиной вновь окажутся на пути в Лондон, но это, увы, будет далеко не кратчайший путь, нельзя даже сказать, что путь этот ведет непосредственно в Лондон, он приведет их туда лишь косвенным образом, строго говоря, маршрут их следует назвать окольным путем, однако ничего не поделаешь, готовая к отлету машина и есть та первая, о которой достигнута договоренность с местными властями, но куда бы она ни летела, Давид и Карл будут находиться и в дальнейшем на попечении авиакомпании.

— А самолет летит не к Фудзияме? — поинтересовался Давид.

Бёве Карла вопрос безмерно развеселил, агент воспринял его как отличную шутку и изящную гиперболу, ведь это означало бы не более и не менее как полет вокруг всего земного шара, мысль, способная устрашить кого угодно, она смущает его до глубины души и сердца. Нет, таким уж сверхдлинным их окольный путь все-таки не окажется, хотя названия «кратчайший» он тоже не заслуживает, но существенно-то в конце концов одно: они вновь находятся на пути в Лондон.

Так они покинули места, где в известном смысле никогда и не бывали, и без сил рухнули в кресла, взмыв к небесам в четырехмоторном чудище, но не пребывание в щепетильной Португалии свалило их с ног и даже не пережитое, а скорее то, что предстояло пережить, и в дрожь их бросало не от ретроспективы, а скорее от перспективы. Дело в том, что эта ближайшая машина держала курс на Сан-Хуан, расположенный на острове Пуэрто-Рико, в свою очередь расположенном в Карибском море наискось и по ту сторону Атлантического океана, на самом маленьком острове Больших Антильских островов, его открыл Колумб, а президент Мак-Кинли включил в состав владений Соединенных Штатов.

— Вот уж где будет не до смеху,— простонал Карл Бёве,— и как я растолкую такой перелет своей старухе?

— Меня он окончательно добил,— вздохнул Давид,— теперь мы все-таки попадем к индейцам, и к американцам мы тоже попадем, но если уж португальцы подняли такой шум, то какой же шум поднимут пуэрториканцы?

Но пуэрториканцы никакого шума не поднимали. Правда, Карлу Бёве пришлось опять помахать сертификатом, очень оказалось кстати, что данные относительно жизненно важной детали в нем изложены были и на испанском языке, конституцию ГДР они обсуждать не пожелали, видимо, не в последнюю очередь потому, что весть о существовании такой страны этих широт еще не достигла.

Правда, столь диковинный маршрут, как Берлин — Прага — Цюрих — Лиссабон — Пуэрто-Рико показался им весьма забавным, но приезжих они проводили в зал для транзитных пассажиров, где местный агент авиакомпании угостил всех ромом, а Бёве Карл имел возможность расхвалить перед широкой публикой преимущества тюрингских трехстволок.

— Раз уж нас сюда занесло, так смех смехом, но можно и о делах подумать,— заявил он и, раздавая визитные карточки, расписывал по-английски, хоть и с сильно выраженным зульским акцентом, искусство оружейников ГДР.

Простились с ними тепло, но в нью-йоркском аэропорту Айдлуайлд встретили их более чем холодно.

О прибытии заблудших здешние власти были извещены, и, быстро заглянув в сертификат, они так же быстро спровадили их в транзитный зал, паспортов видеть не пожелали, бога ради, нет, нет, а владельцев — и того меньше.

Но транзитный зал был велик, пассажиры то и дело менялись, а Бёве Карл с ружьем на плече и здесь продолжал шагать вдоль и поперек зала. Среди ожидающих всякий раз находился охотник, так что Карлу Бёве четыре часа кряду, всякий раз заново, приходилось разъяснять тонкости изготовления заказного экземпляра, предназначенного для левши, английского пэра, и кто поставил бы ему в вину, что он давал ответ на каждый вопрос, куда он летит и откуда, и что всякий раз заходила речь о стране, каковая официально для здешних мест не существовала, но somehow [1] существовать должна же была, в чем можно было воочию убедиться, ибо все воочию видели beautiful shotgun и marvellous handicraft [2], а кто плоховато видел собственными очами, тому Бёве Карл содействовал патриотическими речами.

Давид нащелкал множество кадров, явно не идущих к делу и потому годных разве что для габельбаховской стены, а в воздухе, возвращаясь через Атлантику, на сей раз непосредственно в направлении Лондона, писал репортаж для «Нойе берлинер рундшау» и, припомнив слабость Хельги Генк к броским заголовкам, рискнул на заглавие: «Наш человек с ружьем».

В нем заключалась такая ассоциативная связь, от которой третий главный только поежился, но на этот раз Хельга Генк боролась до последнего, одолев в конце концов принцип ограниченной личной ответственности отделов, да, пусть ей не удалось пробить заголовок «Панков в Бангкоке», этот заголовок она пробила, тем более что коллеги всеми силами ее поддержали.

Личная ответственность отделов — под этим знаменем объединились князья против короля, и святое дело подстегнуло их изобретательность. Самое важное слово в спорном заголовке — слово «наш», объявил «эконом» Гюльденштерн:

— Наша страна, наше государство, наш завод, наше строительство, наше производство, наше достояние; «наш» — это синоним социализма; слово «наш» обязательно должно войти в заголовок. А в остальном я за принцип личной ответственности!

Редактор Клоц едва не свел на нет столь прекрасно взятый разгон, ибо наряду с работой над советами домашним хозяйкам все еще слишком много читал и не мог не подчеркнуть созвучие этого заголовка с Грэхемом Грином и его человеком в Гаване, но, впрочем, он тоже был за принцип личной ответственности.

«Международник» компенсировал ляпсус Клоца: созвучие с Гаваной следует лишь приветствовать, и не только потому, что Пуэрто-Рико лежит в непосредственной близости к Кубе, стало быть, не столько из-за географической близости, сколько по внешнеполитическим мотивам, так как именно понятие «наш», как растолковал им коллега Гюльденштерн, отныне является связующим звеном между ГДР и зна-

---

[1] Тем не менее *(англ.)*.

[2] Прекрасное ружье и превосходную ручную работу *(англ.)*.

чительной частью Антильских островов, а в остальном следует поддержать принцип личной ответственности.

За этот принцип был и Ганс Бамлер, он был и за ружье в заголовке, ведь ружье — спортивное оружие, а спорт и без того постоянно урезают.

Иоганна Мюнцер равным образом вновь подтвердила свое благосклонное отношение к принципу личной ответственности и высказалась за порядок, который, правда, некогда, во времена своего неограниченного владычества, именовала стадией, предшествующей анархизму; а за Давидов заголовок она высказалась потому, что он напоминал ей о советском фильме «Человек с ружьем».

Третий преемник нервно остановил Пентесилею, прежде чем она успела перейти от вопросов киноискусства к общим вопросам искусства, а тем более к вопросам изобразительного искусства, и объявил о своем согласии с заголовком, для его разумения, правда, чуть-чуть мудреным. Однако отнюдь не согласен был он с обыкновением завотделами говорить только о личной ответственности, а не об ограниченной, как подобало бы, личной ответственности.

Князья дружелюбно закивали — король проиграл сражение, пусть на здоровье держит тронную речь.

Преемник III обладал чутьем на настроения и потому попытался найти союзников.

— Нам хотелось бы, коллега Габельбах, услышать, как расцениваете вы снимки, которые прилагает коллега Грот к своему репортажу?

— Как я расцениваю? — начал Габельбах.— Подобная формулировка открывает передо мной возможность высказаться подробнее; если б вы спросили, как я оцениваю эти фото, я мог бы высказаться короче и объявить: середка на половинку. Мы находим здесь снимки, документально подтверждающие, что усилия, вложенные нами в обучение молодых людей, дали в известной степени положительные результаты. Но имеются тут и такие снимки, которые не заслуживают названия фотографий, ибо на них лишь клубится туман первозданного хаоса. Как часто я заострял внимание на глубине резкости, этом важнейшем условии всех условий, но нет, вот, например, на злополучном снимке, торжественно врученном мне и изображающем якобы внутренний вид португальского транзитного зала, резкость можно обнаружить разве что на лике господина из Зуля, вашего несравненного человека с ружьем, но задний план — да это чистая олья подрида, сумбурная мешанина. Если верить утверждению нашего молодого журналиста, здесь сфотографирован португальский транзитный зал; с таким же успехом это может быть турецкий базар или бразильский карнавал, празднество по случаю убоя свиней в Ванне-Эйккеле, убийство эрцгерцога Фердинанда или открытие Олимпийских игр, профессор Пиккар на дне Филиппинских подводных пещер или идеограмма редакционного совещания в «Нойе берлинер рундшау». А главная беда: я не вижу системы! На одном фото какое-то сонмище облаков, а на другом резкость, которую я, пожалуй, назвал бы безупречной. Состояние умственных способностей субъекта, отснявшего подобные разнородные фото, весьма напоминают состояние рассудка, которое наблюдал известный корреспондент Ортгиз еще у короля польского, а именно «что он, то есть рассудок его, per intervallo, время от времени, видимо, помрачается». Впрочем, я беру все эти фотографии на свою ответственность, если вам угодно: на личную ответственность, на ответственность моего отдела.

Третий редакционный король невозмутимо принял намек на неугодный ему принцип, поскольку Габельбах выдал Давиду изрядную

долю тумаков, что самому ему придало духу так же раскритиковать референта.

— Поскольку вы упомянули господина Ортгиза, дорогой коллега Габельбах,— начал он,— то и мне припоминается комплекс вопросов в твоем очерке, товарищ Грот, который нам следовало бы еще раз прокомментировать. Вот ты показываешь нам варварские условия жизни в натовском государстве Португалия, а я задаюсь вопросом: нужно ли было писать об этом нарочито архаичным языком? Я считаю, что социальный протест теряет остроту из-за подобного штукарства. Кроме того, мне недостает в этом тексте четко выраженного противоположного мнения. Я представляю себе, что здесь вполне уместно было бы использовать испытанный оборот «между тем как...»: «Между тем как смертность новорожденных в натовской Португалии считается одной из самых высоких в Европе, в ГДР, социалистическом государстве, благодаря социальной помощи, оказываемой семье, и особенно матери и ребенку, удалось...», понимаешь, испытанный оборот «между тем как...».

— Да, понимаю, конечно,— ответил Давид,— но это, видишь ли, репортаж, так уж я позволяю себе per intervallo разнообразие стилей. Если бы весь репортаж был написан в таком духе, ни один человек этого бы не выдержал, но и «между тем как» долго никому не выдержать. Я полагаю, если факты, о которых ты собираешься писать, соотносятся как черное и белое, то в стиле вполне можно отказаться от примитивной черно-белой мазни. Вдобавок, приглядись-ка внимательней, в этом стиле кроется еще одна ассоциативная связь: отжившие свой век социальные отношения описаны отжившим свой век языком. Это так называемый «эффект подменяемости».

— Ты хочешь сказать: «эффект изменяемости»?

— Не «изменяемости», а «подменяемости», «подмен-эффект». Метод ошарашивания. Наглядно это можно представить примерно так: разговаривают две марионетки, и одна говорит другой: «Ну и большущая же у тебя голова!» Публика начинает внимательно приглядываться к этой голове и видит, что на деле-то у марионетки не такая уж большая голова, скорее даже маленькая, но тут-то и действует «эффект подменяемости». Публика ошарашена и задается вопросом: а почему речь шла о большой голове, когда она маленькая? Еще раз внимательно разглядывает упомянутую голову и вновь задается вопросом: а почему это одна марионетка, высказываясь о голове другой марионетки, кое-что подменила? — понимаешь: подменила! — и впредь уже сама вслед за первой марионеткой начинает кое-что мысленно подменять. Вот примерное действие «подмен-эффекта».

— Ну, для меня оно слишком мудреное,— вздохнул третий преемник, однако пометил что-то в своем блокноте.

— А мне так все едино,— объявил главный бухгалтер,— по мне, пусть коллега Грот свои португальские похождения хоть иероглифами запишет, меня интересует финансовый план. Мне что же, всю эту бешеную сумму в английских фунтах занести в счетную книгу с пометкой: истрачено на сочинение Давида Грота о приключениях малыша Давида, которого занесло в Вест-Индию? И это все за такие колоссальные деньги? Разве в тот раз, когда вы отчеркнули этот пункт в плане, речь шла не о выставке оружия в Лондоне?

Но подобные реплики министра финансов оказывали то же действие, что и безапелляционные решения третьего короля: они лишь объединили отдельских князей.

Да нет же, в один голос заверили они бухгалтера, право же, нет, выставка оружия «Gunsmith Association» и участие в ней промышленности ГДР — событие, столь важное для поднятия престижа нашей

страны,— будет представлена в следующих номерах под сенсационными заголовками, и еще не было случая, когда валюта тратилась бы с большей пользой. Едва ли не все отделы редакции выиграли от путешествия в Лондон; пожалуйста, пусть финансисты проверят: одни только превосходные фото, большей частью отличной резкости, сэкономят немалые деньги на закупку фотографий в центральной фотохронике, а как снизятся расходы благодаря наличию в редакции знатока по истории оружия и путешествиям вокруг света — теперь читательских писем ради, относящихся к мушкетам или к Пуэрто-Рико. Лило не должна будет отправляться в дорогостоящие вояжи к великим знатокам, ей тут же, под родной крышей, все разжуют и даже, ха-ха, в рот положат, если она того захочет. Уж не говоря о двух самобытных рецептах английской кухни для редактора Клоца и двух новых шотландских остротах для страницы юмора — по такой дешевке они еще в жизни не доставались редакции! А международный престиж все за те же деньги и за ту же сумму еще экономические соображения, а поскольку отдел спорта получит разворот о стендовой стрельбе во время выставки, так можно, пожалуй, даже считать, что им удалось обойтись редакционными средствами. Нет, коллега главный бухгалтер может с легкой душой провести по счету это смехотворное количество фунтов и отстаивать его в министерстве, на сей раз, в самом деле, за эти деньги для журнала горы наворочены.

— Не забудем также человеческую сторону дела,— вставила Иоганна Мюнцер,— здесь сейчас это весьма важный аргумент. У нас, прежде всего, появились статьи, трактующие тип человека вообще, начиная от португальского таможенника и кончая феодалом-левшой из Лондона, далее мы получили обстоятельный портрет чудесного человека из Зуля, обладающего уже чертами нового, чего не оплатить никакими капиталистическими пенни. Но что для нас превыше всего, дорогие товарищи и коллеги: мы извлекли отсюда неоценимый урок!

— Ну, товарищ Мюнцер,— прервал ее Главный III,— нам, правда, не следовало бы столь долго задерживаться на комплексе идей о человеке нового типа, но если в них заключен урок, то выделим для него время, ибо я неустанно повторяю себе: учиться нам всем и всегда полезно. Что же это за урок на сей раз?

— Минуту,— объявила Пентесилея,— сейчас скажу. Но прежде еще кое-что: меня порадовали твои слова; меня порадовало, что ты сказал: учиться нам всем и всегда полезно. Именно когда их говоришь ты, меня они особенно радуют. Меткие слова! Но вернемся к уроку. Мы с вами поняли, каким важным может быть пункт «разное». От нас едва не ускользнуло крошечное сообщение экономической службы АДН, если бы — но вот тут-то собака и зарыта, вот тут-то сказывается школа,— если бы Давид не приметил его своим острым глазом. Давид, должна тебе сказать: у тебя верный глаз на потенциальные возможности. Если бы это не было противно моей природе и если бы это вообще не было противно самой природе, я сказала бы: у тебя есть щуп будущего.

— Прекрасно,— согласился третий преемник,— мы тебе весьма благодарны, товарищ Мюнцер, и я тут же попытаюсь увязать твое выступление со следующим вопросом. Я так или иначе еще раз хотел взять слово по пункту «разное», а теперь это легко увязать. По совместному решению соответствующего отдела высших инстанций и Объединения народных предприятий отныне в выходных данных «Нойе берлинер рундшау» произойдут некоторые изменения, что, понятно, повлечет изменения и в структуре нашего предприятия. Для того чтобы поднять эффективность нашего журнала, более четко координировать нашу работу с работой других органов, обеспечить еще

лучше взаимодействие разных отделов, повысить оперативность и усовершенствовать руководство, ответственная должность главного редактора подкрепляется назначением заместителя, имя которого в качестве такового будет отныне стоять в выходных данных «Нойе берлинер рундшау». Всесторонне обсудив этот вопрос, мы приняли решение назначить заместителем главного редактора журнала НБР, испытанного органа социалистической прессы, нашего многолетнего сотрудника, коллегу Давида Грота. Я выражаю ему свои сердечные поздравления и надеюсь, что в дальнейшем мы будем работать вместе так же дружно.

Все зааплодировали и не поскупились на вольные словоизлияния, каждый сообразно своему темпераменту. Иоганна чмокнула Давида в щеку, перепугав его этим до смерти, а потом он увидел, что Карола Крель смастерила огромную бумажную розу.

Габельбах являл собой редчайшее зрелище умиленного Габельбаха, но, осознав свое состояние, тотчас взял себя в руки и процитировал сообщение корреспондента Франца Германа Ортгиза о вопле скорби, который издал король Швеции при виде вражеских укреплений под Пенемюнде: «Неужели господь отвратил лице свое от меня?» Затем он сдержанно пожал Давиду руку.

А Давид только и сказал:

— Это надрывает мне сердце!

## 9

Весьма и весьма поучительно, что тот или иной случай, ту или иную историю или просто какую-либо фотографию можно назвать неслыханной и один будет при этом подразумевать одно, другой — совсем другое.

Однажды случилась неслыханная история, какой не случалось за все истекшие дни до того самого дня, когда и произошло это неслыханное событие. А если такая история когда-то и случилась, так о ней нам ничего ровным счетом не известно.

Впоследствии, однако — одновременно ли или позднее, трудно сказать,— слово «неслыханная» обрело иной смысл, таящий в себе негодование; неслыханная история была-де начисто лишена моральных устоев и даже противна добрым нравам.

Подобный двойной груз одних и тех же пяти слогов заставляет задуматься и дает повод к подозрениям, которые могут быть порождены завистью или неприязнью: не является ли в конце концов этот двойной смысл вопросом восприятия? Не могло ли случиться и так: для негодования достаточно было чего-то непривычного? Непривычного, нового, идущего вразрез с собственным опытом, собственными привычками, обычаями и традициями? Представляет ли собой то или иное событие, или происшествие, или хотя бы фотография нечто неслыханное в моральном смысле только потому, да, именно потому, что они в другом временном смысле представляли собой нечто неслыханное?

Представляли? Или представляют?

Фотографии Франциски были неслыханными, а происшествие, о котором она рассказывала по поводу одной из них, тоже было неслыханным, и неслыханным было событие, о котором Франциска узнала при неслыханных обстоятельствах.

Она, надо сказать, собиралась рожать — обстоятельство, правда, весьма естественное, но естественно также, что в подобные минуты тебя ограждают от душераздирающих историй. Хотя это неслыхан-

ное дело, но сестра Туро рассказала Франциске свою, душераздирающую в самом ужасном смысле слова, историю именно во время родов.

История была любовная, связанная с волосами сестры Туро, а фотографии Франциски были связаны с рождением ее сына, все же вместе взятое казалось невероятным.

Фран достаточно хорошо знала жизнь, чтобы не быть мечтательницей, и священный трепет был ей чужд, но все-таки, садясь с чемоданчиком в такси, она испытывала какое-то странное чувство, и, пытаясь поддержать свой дух, она, назвав адрес, добавила:

— А я еду рожать.

Таксист удостоил ее взглядом через зеркальце и ответил:

— Воля ваша, мадам.

Тем не менее он внес ее чемоданчик на третью ступеньку лестницы, и надо сказать, что своим подчеркнутым нежеланием впутываться в дела своих клиентов более располагал к себе, чем швейцары и сестры приемного отделения, величавшие всех вновь поступающих «мамаша».

Врач держал про запас иные защитные меры против ошеломляюще интимной стороны своей профессии. Стерильно вежливый и старомодно чопорный, он поистине напоминал любекского сенатора. Он назвал Фран «милостивая государыня», объявил ее состояние превосходным и дальнейшую заботу о ней препоручил сестре Туро.

Что-то было в этой сестре такое, что помогало Фран не терять почвы под ногами, отвлекало от безумного напряжения, которое она, правда, считала допустимым и подобающим в ее состоянии, но которое тем не менее ей хотелось переключить на что-нибудь постороннее; обычно она так и поступала.

Сестринское одеяние, видимо, было задумано, чтобы обезличить человека, униформой скрыть формы и той же униформой подчеркнуть функцию, однако замысел этот терпел полную неудачу в случае с сестрой Туро.

Фран уговаривала себя, что благодаря необычности своего состояния обрела особый дар ви́дения, некое сверхви́дение, и, по всей вероятности, ее оценка — всего лишь результат общей повышенной чувствительности, ничего не помогало: образ сестры Туро оставался в ее глазах собирательным образом женственности.

Только лицо сестры не отвечало ее образу или все же отвечало? Оно поистине обескураживало: прекрасное едва ли не в каждой частности, в целом оно воспринималось словно картина за исцарапанным стеклом.

Быть может, всему виной была белая шапочка, бесформенная штуковина, монашеский чепец, края которого доходили чуть ли не до бровей и скрывали волосы. А может, гладкая кожа, сверкающе-гладкая, сверхтуго натянутая, словно все лицо сестры Туро от подбородка вверх до скрытого лба заново покрыли кожей. Выходит, что для красоты не хватало морщин?

— Вы очень подходящее время выбрали,— сказала сестра Туро,— вторая постель в вашей комнате свободна. Или вам приятнее общество?

— Очень скоро оно у меня будет, а когда крик подыму, лучше уж быть одной,— ответила Фран и принялась распаковывать чемодан.

Сестра увидела фотоаппарат.

— Это чудо-юдо вам лучше бы оставить дома; у вас отпуск.

— Ну что ж, будут отпускные фотографии,— откликнулась Фран,— стану для разнообразия щелкать. Обычно я фотографирую. Постель — моя песчаная крепость, вы — моя милая соседка, которой вечно обещают прислать снимочек. А доктор — чопорный господин

с достоинством прогуливающийся по пляжу, обращая внимание только на волны и на чаек. Я положила аппарат по привычке, может, он меня отвлечет.

— От вашего дела ничто отвлечь не в силах,— заверила сестра Туро,— но попытайтесь. Попытка не пытка, мы каждому разрешаем справляться на свой лад.

Да, правильно, все дело в коже, слишком туго натянута. Когда сестра говорила, двигались губы, но больше на ее лице не двигался ни единый мускул, и, если бы не очень темные глаза и едва приметные морщинки хоть в их уголках, впечатление было бы ужасающее.

— Думаю, мне лучше лечь,— сказала Фран,— что-то со мной дурацкое творится.

Сестра Туро направилась к двери.

— Пойду погляжу, как там другие, и вернусь.

Фран начала раздеваться и, сама с собой пререкаясь, пыталась заглушить еще далекую, но уже приближающуюся боль, которую она нарекла совсем бессмысленно: страстно ожидаемая боль. А что это она ляпнула: что-то со мной дурацкое творится! Не лучше, чем: я еду рожать. Вот уж верно — дурацкая манера. Нелепая развязность, которую мы сами же терпеть не можем. Только всех и вся раздражаем, и все ополчаются против нас. Поэтому таксист отвечает: воля ваша, мадам. Он всю жизнь возит туда-сюда скандалящих супругов или раздраженных театралов, и каждую ночь какой-нибудь пьяница допытывается: ты меня уважаешь? А рожать он свез уже тысячу женщин, вот он и отвечает: воля ваша, мадам! Иначе еще сочтет себя возчиком судьбы и свихнется на этой почве.

Доктор укрылся под маской северных аристократов, чтобы мы не слишком надоедали ему своими причитаниями или бойкостью, причины которой легко разгадать, а у сестры сразу два трюка в запасе: скажешь ей, что тебе ох как худо, да еще добавишь: что-то со мной дурацкое творится, пытаясь дать понять, что дурацкого тут ничего нет, что дело принимает серьезный оборот и случай твой из ряда вон выходящий, а она направляется к двери, заявляя: теперь, мол, сходит поглядит на других, чтобы ты не забывала — имеются другие, и поворачивает к тебе лицо, словно обтянутое пергаментом.

Нет, не стану больше никогда болтать, будто родить ребеночка — гопля, и готово! Не стану молоть вздор, как эта взбалмошная девчонка у Тухольского, кончаю с высокомерным зазнайством и сознаюсь: мне больно!

— Ну, что я говорила: вы очень подходящее выбрали время,— сказала сестра Туро,— остальные словно позабыли, зачем они сюда явились. У меня есть минутка, чтобы побыть с вами, я всегда стараюсь выкроить время для тех, у кого первый. Опять схватило?

— Ох, да,— вздохнула Франциска.

— Тогда одевайтесь-ка снова. Еще належитесь в постели. Лучше покажите, как обращаться с этим аппаратом, а я щелкну вашего мужа, когда он придет взглянуть на свое дитя.

— Не знаю, успеет ли он вернуться. Он уехал в командировку.

— Его счастье,— сказала сестра Туро,— а может, и ваше, уж не знаю.

Какой-то странный намек, но сестра тут же объяснила:

— Среди посетителей редко доводится видеть людей сдержанных. Постоишь год-два за стеклянной дверью с новорожденными на руках, увидишь, как с другой стороны мужчины изо всех сил пытаются взять себя в руки, чтобы никто не заметил их радости и растерянности, и перестаешь относиться к ним серьезно.

— К ним и без того серьезно относиться не следует,— согласи-

лась Фран,— мой муж человек умный, но когда возвращается из парикмахерской или, подняв капот, разглядывает мотор, будто он сам господин Отто, изобретатель моторов, невольно задаешься вопросом... Странно, когда вспоминаешь медицинских сестер, никогда не думаешь, что они замужем. А вы замужем?

— Нет,— ответила сестра Туро,— ну-ка пошли, нечего рассиживаться. Движение полезно всем заинтересованным лицам.

Фран вышла в коридор и остановилась, глядя во двор больницы, где человек чинил ручную тележку. Пожалуй, я слишком рано явилась, подумала она, разгуливать и ждать можно с тем же успехом дома. Но с сестрой куда спокойнее, чем с фрау Мауер, та заведет свою песню — ах, прежде куда как легче детей рожали! Я вдоволь наслушалась ее: всегда повторяла и буду повторять, фрау Грот, побольше горячей воды и опытную акушерку, куда как хорошо, фрау Грот, а доктор ваш, какой он ни есть, мне и даром не нужен.

Но вот этому главному врачу, который вошел сию минуту в парадный подъезд, даже фрау Мауер доверилась бы: ах, фрау Грот, вот это доктор так доктор! Куда как хорош!

— Нуте-с, милостивая государыня,— сказал врач,— у нас, видимо, вашему аппарату ничего не приглянулось?

— Никогда нельзя знать заранее,— ответила Фран,— но я совсем забыла спросить разрешения. Можно здесь фотографировать?

— Разумеется, если это вас развлечет. Только я что-то ничего примечательного не вижу. Как вы себя чувствуете? Отлично, не так ли? Прекрасно, мы скоро увидимся.

Может, надо было спросить, не разрешит ли он себя сфотографировать, интересно, изменил бы он выражение лица? Но тут она ощутила, что вот-вот вновь нагрянет боль, и вернулась в свою комнату.

— Вовсе не обязательно сжав зубы сидеть, чтобы криком не кричать. Крик хоть и не помогает, да ведь когда тошно, ничего не соображаешь. Только не надо бояться,— сказала сестра Туро.

— Страх уже прошел,— ответила Фран.— А профессор поймал меня с аппаратом, но сказал, что разрешает мне фотографировать, если что-нибудь найду подходящее. Прошу вас, минуточку, я вас...

— Нет,— ответила сестра и пошла к двери.

Но внезапно остановилась, долго стояла в раздумье и в конце концов пошла к окну.

— Вздор все, снимайте. Какая уж я там выйду, если стоять спиной к окну.

Фран облегченно рассмеялась.

— Верно, но могу вас заверить: какая вы при этой капле света выйдете, другие женщины не выйдут, пусть хоть портного с собой притащат, да я еще посодействую светом и тенью.

— Боже милостивый, не напоминайте мне,— откликнулась сестра Туро,— было прежде, знаю. Наверно, так нельзя говорить, но раз уж все в прошлом, скажу: когда-то я была очень красивой.

— Не хочу с вами спорить,— возразила Фран,— только не понимаю, почему вы употребили прошедшее время.

— Потому что все это в прошлом. Будь я уверена, что вы не слишком впечатлительная дама, я бы вам рассказала свою историю. И будь я к тому же уверена, что вы не решите: она, мол, только и ждет, кому бы рассказать. Впрочем, я сама не знаю, может быть, в самом деле жду. Верно одно — я давно ее не рассказывала, хоть и неправда, что мне не хотелось ее рассказать. Случится беда, и останешься в ужасающем одиночестве, но поговоришь, и придет облегчение.

Не стесняйтесь, скажите прямо, хотите ли послушать мою историю; я только пойду погляжу на остальных дам, и у нас будет время.

Франциска никогда не была такой уж охотницей до чужих несчастий и не раз ссорилась с Давидом, одержимым страстью слушать и выспрашивать обо всем — о несчастье или счастье, о банальном или необычайном событии, он хотел вобрать в себя все, что приключалось с другими, а стоило ему столкнуться с человеком замкнутым, он оскорблялся, его охватывала подозрительность: видимо, этому человеку есть что скрывать?

Фран же опасалась, как бы не связать себя обязательствами, которых вовсе не жаждала. Нельзя же просто выслушать, сглотнуть историю и промолчать; от тебя ждут мнения и суждения, а она рада бывала, если ей удавалось найти верное суждение о собственной жизни.

И все же сейчас она с готовностью будет слушать; правда, тон сестры не предвещал ничего доброго, и хоть в эту минуту ей показалось, что она подняла ложную тревогу, но уж по своему небольшому опыту знала, что все может вмиг перевернуться, и ожидание не давало ей покоя.

— Мы уже не раз спорили с шефом,— сказала, входя, сестра Туро,— я доказываю, что в определенные дни что-то носится в воздухе и мужчины так и липнут к женщинам, а через девять месяцев стоят растерянные за стеклянной дверью; иначе ведь как объяснить, почему у нас то затишье, как нынче, а то словно на рождественской ярмарке. Шеф не признает моей теории... Вы, наверно, подумали обо мне — чудная какая-то, но ведь я уже целую вечность не фотографировалась. Да вот решила: если уж у нее достает духа управляться в такую минуту с фотоаппаратом, ей можно рассказать почему.

И она стала рассказывать, а Франциске порой казалось, что лучше, пожалуй, не слушать больше, но она тут же говорила себе: нет, не годится так; она, видимо, внушила сестре мужество, сама не понимая, каким образом, но понимала, что на долгие времена лишит ее мужества, если откажется слушать то, что наконец прорвалось наружу.

Размещались действующие лица не совсем обычно. Сестра сидела возле окна на стуле для посетителей и рассказывала, а Франциска медленно прохаживалась от стены к стене и слушала. Но стоило Туро умолкнуть, как Фран останавливалась и, обходясь без ободряющих слов, все же подавала знак, что внимательно ее слушает.

История Туро была на первых порах всего-навсего чуть старомодной любовной историей, и поначалу Фран делала усилия, чтобы следовать за ее рассказом, ибо рассказывала сестра Туро о событиях в очень отдаленном краю и об устоях, казавшихся ушедшими в далекое прошлое.

Бог мой, типичный женский роман из тех, что разыгрываются в Люнебургской пустоши, подумала Фран, когда Туро заговорила о бродячей артели косцов и черноглазом парне, который всю жатву в свое удовольствие прожил когда-то у ее матери, а потом старая песня: ребенок, отца нет, дурацкие пересуды по деревне, мерзкие детские стишки, бабьи сплетни о цыганском отродье и блудливых шлюхах, детство в лачуге и вечные причитания матери, а потом школа, и здесь кошмар, древний как мир, пастор, беспомощный в своей ярости и отвратительный в своем сострадании, упрямство матери, не желавшей уезжать, нет, теперь уж ни за что, опасная любезность мужчин после шестой рюмки или в темном углу сарая, их злоба, потому что номер не прошел, мать, убивающая себя на работе, чтобы хоть тут уберечься от упреков; и главное: чтобы ее ребенка никто ни в чем упрекнуть

не мог. Стало быть: где ты была, куда ты идешь, туда ты не пойдешь, ты останешься дома, тебя я уберегу, иди спать, почему ты еще не спишь, а чего надо Крюгерову Вилли от тебя, это еще что за ленточка, хочешь их до белого каления довести, в город и думать не смей, мы останемся здесь, не вечно же так будет, все меняется, и здесь еще все изменится.

Но роман сестры Туро разыгрался не в Люнебургской пустоши, все произошло в округе Уккермарк, и хоть Фран там бывать не доводилось, теперь она там оказалась — сестре удалось высказать все, что гнетом лежало у нее на душе. Она описала осень на берегу небольшого залива, что перечеркивала все воспоминания о лете, об отпускниках, о пляже. Дождь там льет с сентября, туман повисает в октябре, мокреть — полгода, мокрые луга, мокрые дороги, сырые стены, сырая шерсть, снег долго не держится, но свинцовая серая вода в заливе держится целую вечность, и вечно скрипят ветровые колеса водяных насосов у топи залива; дует ветер — луга досыта напьются водой, но ветер дует недолго, насосы стонут, люди среди этой мокрети на краю земли в стельку напиваются, завоевав в этом виде первенство страны, верят в ведьм, а все, что зовется новым, с трудом пробивает себе дорогу на этой влажной почве.

Правда, бургомистр гремит на всю округу: у них в кооперативе есть тракторы и комбайн, а помещиков нет в помине, у них в селе есть школа с двумя иностранными языками, есть равное право женщин на труд и оплату, есть социальное обеспечение матерей, включая незамужних, ведется культурно-просветительная работа, теперь тут не допустят болтовни о ведьмах и пересудов о цыганах. Теперь наступили новые времена, это не пустые слова, это сама действительность, и горе тому, кого он поймает на пересудах об этих Туро.

Но он никого не ловит, Туро надобно самой выкручиваться, что ж, она выкручивается. Работает, читает и твердо знает — в один прекрасный день она уедет отсюда.

Но наступил день, и она решила, что никогда не уедет отсюда, ибо той надежде, что она таила в глубине души, суждено было осуществиться здесь. Ее надежда — это человек, который пришел к ним и остался, неверно было бы думать, что Туро ничего другого не ждала, как только мужчину, нет, она ждала того, что принес с собой этот человек: покоя, определенности, защиты, радости, которую нет нужды прятать, ясной цели, уверенной нежности, таящейся в силе, начала новой жизни.

Еще до новой жизни надо запастись терпением, еще человек этот живет вместе с другими в вагончике, еще работа его в самом начале, она еще для него важнее и задерживает его допоздна, но, и это главное, он останется, он будет новым мастером на всем насосном участке, он построит дом — для себя и для Туро. Но до той поры им нет другого места, кроме цоколя огромного ветряного насоса; там, правда, крутится вал, он крутится с поразительной скоростью даже при слабом ветре, там, правда, цепляясь друг за друга, пронзительно визжат и лязгают зубья передачи и угрожающий гул разносится в туманной тишине, но цоколь отделен от остального мира решеткой, дверь туда запирается, по лестнице можно спуститься вниз, хоть и в непосредственную близость к валам и шестерням, но там есть сухая половица, и два толстых одеяла, и даже подушка, а главное — место, куда больше никому нет доступа, место для Туро и ее мужа.

Странно, думала Фран, слушая сестру Туро: когда она рассказывала о своих горестях, я все боялась — вот-вот стрясется еще большее горе, теперь, когда она говорит о своей радости, я еще больше боюсь. Видимо, оттого, что о радости она говорит как о чем-то мертвенном,

а я ее слушаю, хотя должна бы знать: история эта не для меня, кончится она плохо, и сама я попала в историю, о которой известно, что у нее и теперь порой бывает горестный конец.

Где же это видано — так поступать, как эта сестра, это же против всех норм, а я вправе претендовать на нормальный медицинский уход, я же чувствую: опять тянет, ребенку не терпится на свет божий, но ведь, услышав такие ужасы, что́ подумает он о нас и об этом самом «божьем свете»?

Тут Фран заметила, что, остановившись, ухватилась за кровать, и скорее догадалась, чем ощутила, что боль еще где-то далеко, что она отступила, а если и не отступила, так хоть задержалась, и вновь весь мир изменился, она почувствовала облегчение, вновь была полна сил, да кто это сказал, что у нее не хватит духу выслушать страшную сказку Уккермарка, хотела бы она посмотреть на такого человека; но сейчас она хотела слушать дальше эту болотную балладу, хорошо ли все там кончится или плохо, но долго так продолжаться не может, ни вся эта история, ни ее собственное ожидание, чем дальше развертывается история, тем дальше отступает ожидание, а поэтому лучше уж слушать.

Рассказ Туро подошел к печальному концу именно тогда, когда в нем зазвучала радость.

Девчонка узнала счастье, узнала, каким счастьем может обернуться для нее другой человек, а она — для другого человека; она плевать хотела на всю деревню и слушать не желала, когда мать сравнивала того бродягу с этим, тот же — бесплотная тень, а этот — плоть и кровь, тот — начало несчастья, этот — начало счастья, да того и не было вовсе, а этот есть и на веки вечные остается с ней, и она каждый вечер ходит к веселому насосу, где высоко в поднебесье, прорезая ветер, крутится лопастное колесо, незаменимая карусель, отдающая свою силу удлиненному валу, а тот крутится проворно и неутомимо и передает свою силу механизму передач, который, получая эту силу, придает ей иное направление и совсем иной ритм, кружение обращается в ровный ход: вверх-вниз, бешеное вращение обращается в мирное вычерпывание, насос не визжит, он насвистывает и поет, это уж никак не стонущий туманный призрак, это прибежище, исходная точка, откуда открывается путь в будущее. Но внезапно, в один совсем не прекрасный день, в самый разгар счастья, он все-таки показал свою истинную натуру, обернулся всепожирающим чудовищем, чуть ли не убийцей и даже хуже — убийцей всех мечтаний, убийцей будущего, визжащим лиходеем, стальные зубья которого вцепились в волосы девушки, центрифугой, рвущей в клочья все надежды, недаром рабочий, бредущий домой с плотины, подумал: бедняга насос, криком кричит, ну, точно человек! И еще: надо этим городским водопроводчикам сказать, ведь когда машина так кричит, человеку слушать невтерпеж. Но рабочему этому, чтобы подумать, надо остановиться, потому он до тех пор не трогается с места, пока насос снова не обретает свой прежний голос, который опять звучит безмятежно, словно напоминая о родном доме, а того, другого голоса, человеческого, в шуме колес и ветра больше не слышно, и тут рабочий внезапно видит, что по темному лугу движется какая-то тень, но лишь много часов спустя, когда он наконец едет из городской больницы домой, он понимает: это же вовсе не насос так надрывно кричал, нет.

— Знаете,— говорит сестра Туро,— бывает такая несообразность: ты что-то делаешь или о чем-то думаешь, чего, казалось, и быть не может. Все словно бы и верно, но если взвесить свои поступки или измерить их понятием, которое называют разумом, увидишь, что они идут вразрез со здравым смыслом. Вы, конечно же, считаете, что все, о чем

я говорю, тоже идет вразрез со смыслом, так нет же, я только не умею верно выразить, а представить себе все хорошо представляю. Мне трудно объяснить вам, но попытаюсь: без того рабочего с плотины не быть бы мне в живых, это ясно. И даже очень свободно, из-за потери крови при такой травме, которая называется — оскальпирование. Я бы провалялась ночь на дороге и — конец. Да не в этом дело, у меня ведь и в больнице не раз подворачивался удобный случай — просто взять и махнуть на все рукой. Я говорю: просто, именно это я хочу сказать. Уверена, есть у нас потайной запас сил, чтобы крепко держать себя в руках, иначе — чуть отпустишь, и готов. А у меня была тысяча поводов отпустить. Что меня ожидало в жизни? И для кого было жить? Для матери? Я ей и раньше была в тягость, и вот опять стала бы ей в тягость; она без меня лучше проживет.

А люди в деревне? Да они бы в жизни не приняли меня. Бывают суждения, которых не изменить. Они же оказались правы: какая-то чертовщина замешалась в мою жизнь, и вот возмездие.

Или тот человек? Он сбежал; но я его не виню. Он приходил один раз в больницу с цветами и едва опять в обморок не грохнулся. Когда полиция расследовала дело, он показал, что упал в обморок там, внизу у насоса, а как пришел в себя, я уже ушла. Я верю ему. Он прислал мне жалкое письмецо; кто же его упрекнет, я ведь была уже не той, что прежде. Да, а теперь о несообразности. К жизни меня привязывал именно тот рабочий с плотины, я о нем думала, когда надо было решить — перестать дышать или нет; трудности это не составило бы. Знаю, сердце бьется, хочет того человек или нет; но знаю и другое: захоти я, оно бы остановилось. Но я не хотела, и в этом вся несообразность, я не хотела из-за этого кривобокого горемыки, этого Фойгта.

Вовсе не то, что вы думаете,— старый же он был, и кривобокий, и детей пятеро, этакий дрянной пьянчуга, ни благороднее, ни лучше он не стал, когда оказался спасителем. Затеял шумный скандал со страховой кассой, такую заломил цену за испорченную одежду, что ему возмещать не хотели. Говорят, такой счет выставил, точно на нем была парчовая мантия и куртка из горностая. А то, что ему выплатили, тут же пропил. Зато у него был коронный номер: как он тащил на себе по полям и лугам эту Туро! Очень хорошо себе представляю.

Конечно, в ту пору, когда приходилось решать — жить или не жить, я так четко во всем не разбиралась, однако понимала, для него есть смысл в том, что я еще жива, и потому думала: вот и у этого кривоноки появилось в жизни что-то из ряда вон выходящее; а ведь мог покинуть наш мир так же незаметно, как по этому миру проплелся, но вот в его жизни что-то появилось, и, если я сдам, люди, уж такие они в наших краях, станут говорить: ну, Фойгт, окосевший простофиля, на кой пес ты изгадил свои драгоценные одежды, она-то все одно отдала богу душу?

А может, я из-за людей держалась за жизнь, может, еще больше из-за них, чем из-за кривобокого Фойгта; пожалуй, не хотелось им еще и это удовольствие доставить. Я же вам сказала, что-то во всем этом есть несообразное, но объяснить это нужно, вот я и нашла объяснение в том жалком горемыке.

И для вас у меня тоже есть объяснение. Последние мои фотографии можно увидеть в одном научном журнале. Я раз только глянула на них и с тех пор — больше никогда. Тот врач такое учинил с моей головой, что я иначе как медицинским чудом не назову, но в эти чудеса, сказал он мне, верят, только если их сфотографировать и точно описать, да, для других врачей очень важно, чтобы он их опубликовал, тогда они раньше времени не забьют отбой, если к ним на стол попадет такое же несчастное существо, как я.

Подумав минуту, сестра Туро сказала:

— Желаю только, чтобы эти снимки им не понадобились.

Уходя, сестра Туро подбодрила Фран, теперь, сказала она, ей с легким сердцем можно отдохнуть, она отшагала огромное расстояние, едва ли не от больницы до Уккермарка, теперь ждать остается недолго.

Ждать осталось недолго, а если и долго, то время промелькнуло быстро, потому что в промежутках между одной схватывающей болью и новой болью Фран яростно цеплялась за повесть Туро, повесть об иной боли и с иным концом, за сокрушительную повесть об одном крушении, но, к счастью, не только о крушении.

Если уж человек из нее выпутался, и не поверил в черта, и сам не сделался обозленным чертом, не источает ненависти и не впадает в отчаяние, а выполняет работу, требующую спокойствия и любви, да, любви, абсурдное слово при такой повести, и все-таки любви, значит, он и есть тот, кого мы вечно ищем и кого нам следует вечно искать,— настоящий человек, да ведь это счастливый случай, что так превосходно все сошлось, или вовсе не случай, что этот человек выполняет свою работу именно здесь, здесь он очень, очень нужен, ведь здесь тебя порой разрывает от боли, и страх здесь тоже нередко испытываешь, и частенько воображаешь себя этаким необыкновенным явлением, а потому совсем неплохо, что именно здесь работает в самом деле необыкновенная сестра Туро.

Впоследствии, когда пошли разговоры о неслыханных фотографиях Франциски и даже шум поднялся вокруг них, когда Франциску спрашивали, откуда у нее взялась такая удивительная твердость духа, и слово «удивительная» звучало как «жутковатая» или даже «возмутительная», чтобы, едва родив, фотографировать едва-едва родившегося сына, только что отделенного от пуповины кроху, новорожденного, новее которого и не придумаешь, да еще с таким самообладанием, а о самообладании свидетельствовала резкость наводки,— то Фран порой отвечала, что твердости духа для этого не требовалось, только известная доля уверенности, нет, твердый дух тут не проявился, скорее уж гордый дух, такое случается иногда в те минуты, когда человек понял, как ему хорошо живется, да, в гордом духе она готова признаться, ведь от радости она чуть с ума не сошла, причин у нее было предостаточно, и одна из них — печальная повесть сестры Туро.

Но повесть эту Фран сохранила в тайне, только Давиду рассказала, и, как еще раз обнаружилось, даже история может служить испытанием; Давид выдержал его, он молча слушал и только в конце сказал:

— Черт побери, как же мы сами себе жизнь корежим!

Фран поняла — это вопль горести.

Но тем больше радости выказал он, увидев фотографии своего сына, смятение, которое они вызывали, развязало ему язык; вечерами он усаживался на ковер у колыбельки и докладывал спящему Давиду-младшему:

— Ох, парень, как же ты нам удался! Надеюсь, ты понимаешь, кого я подразумеваю, говоря «нам». Прежде всего, и это невозможно отрицать, твою мать, которая в официальных случаях, хоть и неохотно, но отзывается на имя «Франциска», нашу всеми признанную, приятную, привлекательно-притягательную, ободряюще представительную близкую родственницу, твою и мою, но другим она иной раз являет собой утомительно требовательную особу, чем и устрашает средний класс, каковой в данном случае, в связи с обсуждаемой нами, тобой, мой сын, и мною, твоим отцом, проблемой, является не социальной, а интеллектуальной категорией. Мы с тобой, ты Да-

вид и я Давид, мы оба подразумеваем, говоря о среднем классе, класс посредственностей, неповоротливый от-сих-до-сих ферейн, каноничноханжескую общину под лозунгом: «Церковь-должна-остаться-и-все-тут», ужасающе огромный лагерь под вывеской «Все-имеет-свои-границы». Вот их-то, мой прекрасный сын, их-то твоя мать и вогнала в страх твоими фотографиями, неприличными, как они считают, потому что — нет, тебе ни за что не угадать,— потому что они неприличные. Люди эти неустанно твердят, оперируют своей логикой, приводят доводы — приличия есть приличия... Спорить с ними хватает духу лишь тем, кто не страдает головокружением,— столь глубоки разверзающиеся пропасти, которые откроются, если прислушаться к их доводам.

Но, милый мой сын, не стоит об этом сейчас говорить, только нервы себе взвинтим, я же нас знаю; поговорим лучше о смятении умов, вызванном твоим появлением в стенах «Нойе берлинер рундшау», ну, сам скажи, ты бы счел это возможным?

Я — ни за что, мальчик мой, скажу откровенно, я — ни за что, а я знаю свет на целых тридцать лет дольше, чем ты, и на целых десять лет дольше тебя знаю редакцию «Нойе берлинер рундшау»; у меня от этой истории мороз по коже подирает — вот такие дела, мой мальчик, да, дела, дела!

Самое, однако, удивительное, во всяком случае для Давида самое удивительное, что как раз Фран, виновница фотографий и тем самым переполоха, сохраняла полное самообладание в бурных дебатах «за и против» и выказала понимание почти всех мнений, хотя и не вполне согласилась с репортером Хельгой Генк, ибо мнение Хельги распространялось не столько на фотографии, сколько на фотографа.

— Mondo cane,— объявила Хельга Генк, а Давид точно передал Франциске все ее слова,— это же mondo cane pur, это же чистое свинство и грязь. Твои личные отношения меня, правда, не касаются, товарищ Грот, но ведь спросить я имею право: не боязно ли тебе хоть чуть-чуть, когда ты видишь, на что способна твоя жена?

После чего Хельга живописала, на что, по ее мнению, способна Франциска:

— Как только она подметит, что пробил ее последний час и смерть уже за порогом, что, думаешь ты, она сделает? Я скажу тебе, что она сделает: выкарабкается из постели, установит лампы, штатив, приладит фотоаппарат, холодеющими пальцами возьмет спусковой тросик и станет ждать. Ждать, пока не почувствует: следующего удара сердце не сделает, следующий вздох будет лишь слабой попыткой, следующее мгновение будет затуманено концом. Тогда она соберет остатки сил, а их хватит только-только, чтобы нажать большим пальцем на затвор, и вот он — конец, а на пленке, в чем я ни минуты не сомневаюсь, будет доподлинно отображена агония. Я бы содрогнулась от подобной перспективы, будь я на твоем месте, товарищ Грот!

Но Давид не пожелал развивать мысль в предложенном направлении.

— О, в этом смысле я совершенно спокоен, Хельга. Тут мне свидетелем быть не придется. Статистика утверждает, что мужья умирают раньше жен, а я отвечаю всем статистическим данным, с какой же стати мне содрогаться?

— А с той, что ведь она может учинить все, о чем я говорила, во время твоей агонии.

— Ну, Хельга, теперь-то я знаю, от чего мне и впрямь надо бы содрогнуться: от тебя!

— От меня?

— Да! В жизни не задумывался, симпатизируешь ты Франциске или нет. Да и зачем бы? По-видимому, это самая распространенная ошибка, какую мы допускаем: мы думаем, что все думают, как мы. И оттого ни о чем не задумываемся. Но теперь я могу сказать: ты попросту терпеть не можешь Франциску. Дело твое, но зачем же выпускать когти? Не я откопал это выражение, ты сама заговорила о mondo cane, а потому я позволю себе сказать: зачем же грязнить и чернить все, за что?

— Да с чего ты решил: терпеть не могу? Но я считаю, только бездушный человек в состоянии сделать такие фото; это меня напугало. А ты болтаешь о когтях! Я считаю: кто в подобный час способен, я имею в виду практически способен, сфотографировать рождение собственного ребенка, на что он вообще способен? Есть ведь известные границы, и я только подумала: не хотела бы я быть на твоем месте!

— Ну, ты не на моем месте, радуйся, но так радоваться, как рад я, ты вовсе не в силах. И так радоваться, как рад я, что на моем месте нет никого другого, никто другой не сможет, ведь на моем месте нет никого другого... Бездушие, да ты меня точно обухом по голове хватила. А что должна делать женщина в подобном положении, чтобы доказать, что у нее есть душа, да еще какая?! Э, можешь не говорить, я в кино сотни раз видел: влажный взгляд сквозь рюши ночной рубашки, о боже, о счастье, дитя родилось! — и прочая монашеско-приснодевья муть, это, что ли, признак наличия души? О да, как-нибудь после, пожалуйста, фотографируйте: младенец в купели, младенец на горшке, ожиревший младенец, перемазанный кашей, младенец в собственноручно связанных кофточках заливается от щекотки; но горе, если кто поведет себя иначе, отснимет пленку, на которой и впрямь запечатлеет нечто Новое, часть mondo humane, этакого человечка pur, да еще из единственной в своем роде перспективы — главного действующего лица, тогда целомудрие вопиет к небу и начинает разыскивать душу!

— Ты впадаешь в безвкусицу, товарищ Грот!

— Я вхожу во вкус, товарищ Генк! Теперь меня разбирает охота ругательски ругаться, теперь я вошел в раж, почему, отчего, зачем? Да затем, что бешусь, когда учую запашок средневековья. Но в бешенстве спорить негоже, и потому я беру себя в руки и с полным спокойствием заявляю: у тебя все симптомы страшнейшего заболевания.

— Ну вот, Гротова кавалерия выступила вновь против вооруженного до зубов мещанства... Твоя идиосинкразия мне достаточно хорошо известна, но мне известно и другое: мещанство — это не главная наша опасность.

— Знакомое изречение, все так: мещанство, что и говорить, не главная опасность, но я обороняюсь от сделанного вами перевода этого изречения: мещанство будто бы не опасность. Я не подумаю бросать против него армию, однако не премину напомнить часовому, делая обход: не забывайте, друзья, враг наступает не всегда под барабанный бой и не всегда с одной стороны!

— Но теперь, уважаемый товарищ, как я поняла, теперь враг вступил в пределы страны и даже ворвался в лагерь оттого, что я выразила отрицательное отношение к фотографиям, сделанным твоей досточтимой супругой? Ты что же, объявил чрезвычайное положение оттого только, что я нахожу эти фотографии тошнотворными и хотела бы избавить наших читателей от встречи с ними? В этом ты, Давид, видишь мещанство и потому вполне серьезно трубишь тревогу?

— Не в этом, Хельга, и не потому; позабудь снимки, они меня сейчас уже не волнуют, меня волнует то ужасающее сопротивление, на которое наталкивается мало-мальски непривычное; меня волнует чудовищная изобретательность тех, кто защищает свои предрассудки. Сколько темного затаилось в человеке, который мысленно умертвил своего противника из желания поверить, будто тот способен на дикий поступок.

— Ну, с меня довольно, мастер Грот,— взорвалась Хельга Генк, и, по словам Давида, на нее смотреть было страшно, он испугался, как бы она на него не бросилась с кулаками, но она сказала одно: — Подробности и все прочее мы обсудим на партийном бюро!

— Подумай только,— сказал Давид Франциске,— подробности и все прочее! Словно вызвала на дуэль, ты не находишь?

— Я нахожу, что ты зря удивляешься,— ответила Фран,— когда к твоим словам, которые ты мне передал, я примысливаю твой тон, который ты очень предусмотрительно мне не передал, но который я без труда восстанавливаю, тогда я лишь удивляюсь терпению Хельги.

— Вот,— воскликнул Давид,— вот, сын мой, благодарность в манере твоей матери! Я превозношу ее обаяние, и ее искусство, и ее мужество и не страшусь спора, который мы продолжим на бюро, я не пугаюсь ни подробностей, ни всего прочего, и вот что я получаю.

— Прекрати,— остановила его Фран,— я не нахожу в ссоре с Хельгой ничего веселого. Будь я членом бюро, я бы взяла ее сторону. Мне жаль, что она считает, будто я хотела сенсации. Но испугаться она была вправе, слышишь, вправе, а вот ты не вправе делать одного: обзывать ее пережитком капитализма.

— Спокойно, дорогой мой юный друг, спокойно; ничего подобного я не совершил, а уж хоть слабенький протест я смею выразить, если мне говорят, что я женат на кровожадной сосульке.

Но она перебила его:

— Ты цитируешь драматизированный вариант. В прозе речь шла всего лишь о том, что у Хельги преувеличенное представление о моем хладнокровии, а преувеличение было всего лишь выхлопом, который ей понадобился, потому что она перепугалась... Тебе не по душе ее взгляды, понимаю, но что ты собираешься менять, с чем бороться, что устранять — ее взгляды или ее самое?

— В вопросе заложен ответ.

— Твоя манера вести спор с Хельгой не вяжется с твоим ответом, Давид, разве ты этого не замечаешь? Ты, как всегда, слишком скор на великие подозрения. Ты оставляешь людям право выбора только между долгой тропой бегства и кратким путем на бюро. Ты слишком дерзок. Ты дерзко уверен, что вправе ставить своих близких перед выбором между Сциллой и Харибдой; никто не давал тебе подобного задания.

Давид поднялся и, осторожно ступая, прошел по линии коврового рисунка.

— Я бы сейчас выкинул черт знает что,— прошептал он.— Я бы спросил себя, всерьез ли ты назвала партбюро зубастым чудовищем, я бы дерзнул пойти напролом, более того, я бы себя спросил, как же вышло, что я защищаюсь перед тобой только потому, что защищал тебя от передержки фактов, но не стану отступать от дела. А дело началось с фотографий. Зачем ты сделала эти снимки?

— Зачем эти снимки или многое другое — ответить трудно, причины находишь позже, когда начинаешь искать, но уверенности нет, настоящие ли это причины. Быть может, я потому снимала, что в этом смысл моей жизни, это мой метод самовыражения и самоутверждения. Рождение ребенка — это в голове никак не укладывается.

Я и теперь еще вскочу среди ночи, гляжу на него, не могу наглядеться и постичь не в состоянии. Всем женщинам это знакомо. Когда ожидание позади, а боли точно не бывало, они тоже глядят на ребенка, пытаясь не упустить той связи, что существует между ним и собой, видимо потому, что она им всю жизнь нужна будет. Говорят — это счастье, думаю, в этом случае счастье — понятие вполне уместное. Никто, вообще говоря, ни разу не спросил меня, зачем я фотографировала то или иное, единственным исключением, пожалуй, был тот свадебный снимок, фотографировать — мое занятие, это все понимали, так почему же не в данном случае? Где записано, когда можно начать? С какого мгновения вправе мать фотографировать своего ребенка? Когда он идет в школу? А почему не в первый час его жизни? Я не слишком тогда задумывалась над такими проблемами и холодно-бездушной не была, скорее уж я вся пылала, пылала от счастья, только ведь при этом никакой надобности нет в обморок падать... Вот, пожалуй, и все, остальное — опасные домыслы.

— Что значит — остальное? — поинтересовался Давид, давно уже переставший разгуливать по ковру.— Люди считают, что твои фотографии — событие из ряда вон выходящее; но тогда им и причины следует назвать из ряда вон выходящие, чтобы они спокойно их воспринимали.

— Вполне возможно, не будь сестры Туро, я бы на это не решилась. История ее жизни, пожалуй, только благодаря своей концовке не надломила меня: женщина, у которой обстоятельства должны были с корнем вырвать всякое мужество, не сдалась, не озлобилась, но и святой, страстотерпицы из себя не корчит; она выполняет свою работу с полным пониманием дела, она понимает других людей и рада бывает, когда другие выкарабкиваются из своих злоключений,— вот что я нахожу из ряда вон выходящим, если вообще говорить о чем-то подобном, и я думаю, рискую так думать: увидев ее с младенцем, я обрела ту толику мужества, которой порой не хватает нам, чтобы решиться на естественный поступок.

— Быть может, наши друзья восприняли бы твои фотографии спокойнее, знай они все это; вот она, желанная, из ряда вон выходящая причина... Но ты все еще не согласна, что я вправе передраться с теми, кто, бросив взгляд на необычную фотографию, составляет себе точное мнение о лице, эту фотографию изготовившем? Меня не столько волнуешь ты и даже мнение Хельги Генк, что ты — бездушная ледышка, сколько реакция таких людей на то, что подано иначе, чем они ждали. Меня не волнует убеждение, что ты не права, меня волнует предубеждение. Есть что-то мистическое в том, что ни один механизм не функционирует у людей так надежно, как механизм предубеждения, я прошел через это: достаточно было носить непривычное имя — и тебя травили, достаточно было иметь собственное мнение — и тебя хватали за глотку. Меня беда миновала. Но отец не ускользнул из их лап. Дважды выступил он против их убеждений, которые были всего-навсего усугубленными предубеждениями, а потом он их так хорошо разгадал, что даже умер на иной лад, не так, как они ждали. В ту пору его смерть пользы не принесла, но она вообще не принесла бы пользы, если бы я забыл о ней.

— Но тебе же не добраться до сути нашей действительности, если ты будешь судить о ней как о продолжении прошлого. Такая несправедливость тебе вовсе не свойственна, Давид; нельзя же ненависть прошлых дней обращать против глупости дней нынешних.

— Вот в этом-то я иной раз сомневаюсь,— ответил Давид,— не волнуйся, Хельгу Генк я не спутаю с учителем Кастеном, суеверных баб из Уккермарка — с мерзавцами, прикончившими Гирша Ашера, но

готов от злости взвыть, что в укромном уголке души члена партии Хельги Генк притаилась какая-то предвзятость и она тотчас обретает голос, когда Хельгу выбивают из привычной колеи, ведь усердные труженицы Уккермарка действуют под влиянием понятий, которые столетиями гнали все чуждое, обрекая на невзгоды все непривычное, всякую самобытность, всякий разрушающий устоявшиеся представления талант, всякое смущающее дух новшество. Все это тянется с незапамятных времен: земля наша — юдоль плача, кто скажет иное, тот порождение сатаны; король ниспослан богом — кто скажет иное, того пожрет адов огонь; женщин сотворили из Адамова ребра, а ребрышку положено помалкивать; земля — плоская, предприниматель — работодатель; прививка заражает оспой; актрис бы заставить работать; человеку не дано летать; бурый уголь не годен для металлургического кокса; кто голосует за социал-демократов, тот губит Германию; чтение портит характер; политика портит характер; у евреев вообще нет характера; Германия превыше всего; красное вино прибавляет крови, а во время родов не фотографируют — вот так!

— Так,— сказала Франциска.— Ты все подряд крушишь с одинаковым жаром, если уж распалился и бросился в атаку: на слонов и на мух; я иной раз удивляюсь, как вообще сложилась наша с тобой жизнь. Уж предубеждений-то, если пользоваться этим словом, предубеждений, как у Хельги Генк, у меня в ту пору было с избытком.

Давид остерегся признать, что эта мысль ему не нова. Он глаз не спускал с жены и сына, которые занялись своими делами и, казалось, внимания на него не обращают; вот и хорошо; у него горели уши.

Он прекрасно понимал: не отступи он от того или иного из своих убеждений в те времена, когда зарождались их отношения с девушкой из средненемецкой плодородной долины, не отпусти он погулять тот или иной принцип на время свидания с Фран — не сидеть бы ему здесь и не участвовать в старой прелестной игре: мать-отец-младенец. На худой конец две из трех главных ролей исполнялись бы другими лицами; даже подумать страшно.

Все, казалось бы, претило ему: Вейслебен — тот же Ратцебург, только в средненемецкой долине, да еще меньше, еще ничтожнее, а он ведь жаждал отделаться от всего, что напоминало бы Ратцебург.

И будущая женина родня претила ему, мещанский уют с бесцветными всплесками радости или злобы, цеховые убеждения, нетвердо заученные обряды по Августу Герману Франке[1], гостиная, и воскресные рубашки, и жизненные устои, почерпнутые у Маттиаса Клаудиуса[2], и конечно же: кушайте, пожалуйста, у нас всего хватает!

И будущий тесть, склонный кстати и некстати употреблять слово «разумеется» и все-таки захиревший, ибо не в силах оказался уразуметь окружающий его мир; излюбленное слово — судьба; основное занятие — работа в поте лица и нытье. Да, тепловато-пресная жизнь, в ней ни спорам, ни смеху места нет.

Теща, правда, отменно готовила ливерную колбасу.

Все претило Давиду Гроту, претило его взглядам; а как же Франциска?

Она была действительно красивая и деловая девица, а в тех областях, где Давид ожидал, что натолкнется на арьергардный заслон саксонского пиетизма, на редкость неблагочестива; она прочла великое множество книг и считала себя в ответе за все события, проис-

[1] Август Герман Франке (1663—1727) — теолог и педагог, один из основных представителей пиетизма.

[2] Маттиас Клаудиус (1740—1815) — издатель назидательно религиозного журнала «Вандсбекер боте».

ходящие в мире, она не боялась ни Иоганны Мюнцер, ни Анетты Вундер, а дело свое знала так, что сам Федор Габельбах объявил: она свое дело знает! А как она умела слушать — о, добродетель номер один! — поневоле всякий раз хотелось ей все рассказывать.

Да, но... но-но!

Она, например, чрезвычайно высоко ставила Камю и Малапарте, любила балет и бегала в кино на Штайнплац, чтобы еще и еще раз посмотреть «Орфея».

Она, например, безобразно бранила Балтийское море и туманную погоду, а Давид любил и то и другое — и туман, и Балтийское море, и больше всего их вместе.

К тому же, вот она, критическая точка, Фран страдала объективизмом, и толковала ревнителю партийности Давиду Гроту о нейтральной объективности, и — что самое страшное — была склонна к пацифизму.

Но они любили, а это значит: хотели общими усилиями найти выход.

Общими усилиями мы найдем выход — не самый скверный перевод понятия «любовь», правда, лишь частичный перевод, но перевод самой основной его части. И они прилагали общие усилия, иначе дело бы не пошло. От убеждений можно отступать, но лишь на короткое время, и не очень-то охотно отправляются гулять принципы, они возвращаются, и когда-нибудь приходится либо расстаться с ними навсегда, либо навсегда сохранить им верность. И то могло сбыться, и другое могло сбыться, конечно, если приложить к этому общие усилия.

Ломка представлений возможна в неисчислимом множестве форм. Кое-что улаживалось само по себе. Кое-что улаживалось решениями вышестоящих инстанций. Моды отживали свой век, и вместе с этим отживало свой век и отрицание их. Пришли знания, облегчившие признание. Дашь другое освещение — и внезапно все прояснишь. Приходилось решать новые сложные проблемы, и то, что еще сию минуту столь много значило, теряло все свое значение. Время было не только мелом, но и тряпкой, чтобы стирать его следы. Понимание рождало понимание.

Однако приходилось считаться и с силой инерции, да, приходилось считаться, если в том была нужда. Только следовало доказать, что в ней есть нужда; но это тоже значило — прийти друг другу на помощь, значило любить, иначе говоря, не скупиться на доказательства, доказательства же требовали усилий. Но они не боялись усилий, они добровольно, даже с радостью соглашались на усилия, а разве это не залог того, что при всех разногласиях между сторонами царит согласие? Нажимом и окриком успеха не добиться; искушение пустить их в ход было подавлено в самом зародыше; кто сказал, что в любви не нужен разум? И кто сказал, что товарищеские отношения, где куда меньше точек опоры, чем в любви, кто сказал, что товарищеские отношения, да, именно они не нуждаются куда больше в разуме?

У Давида Грота все еще горели уши, а сын его все еще сосал, когда Франциска сказала:

— Поверишь ли, мне, вообще-то говоря, очень по душе, что благодаря нашим общим усилиям мы кое-чего добились.

— Да,— согласился Давид,— ты всегда верила в чудеса... А как ты думаешь, новому Давиду придется пройти подобные испытания? Ссоры, неприятности оттого, что он защищает непривычное, и огорчения оттого, что вступил в противоречие с привычками! Неужто, когда он вырастет, люди будут все еще страдать только потому, что

не поймут, чего же хочет сказать другой? Не перестанут набрасываться друг на друга из-за различия во взглядах; таиться в насосном подвале, потому что на земле все еще будут царить устаревшие представления о любви?..

— А два журналиста,— подхватила Фран и, повернувшись спиной к большому Давиду, уложила маленького Давида в кроватку.— два журналиста, долгое время отлично ладившие, с таким ожесточением станут накидываться друг на друга из-за двух-трех необычных фотографий, будто стоят под разными знаменами, под белым и под красным, и человек, слушая того и слушая другого, услышит, что над миром или, по меньшей мере, над социалистическим лагерем нависла угроза и, само собой разумеется, гнездится она в мнении оппонента. Ты это имеешь в виду, спрашивая, будет ли так и дальше?

— Да, и это тоже,— ответил Давид.

Фран взглянула на мальчонку и рассмеялась.

— Мне порой кажется, он каждое наше слово понимает. Посмотри, как он навострил уши!

— Он не навострил уши,— откликнулся Давид,— он унаследовал мои; а мы из породы остроухих. Надеюсь, со временем они-то выправятся.

— Не знаю, Давид, но думаю, для тебя жизнь потеряла бы свою прелесть, не будь ссор и споров. И если твой сын унаследовал от тебя больше, чем только форму ушей, то и ему покажется скучным, если не о чем будет поспорить.

— Да,— согласился Давид,— но надеюсь, это будут стоящие споры, а не брань из-за стопки так называемых «неслыханных» фото.

— Не знаю, так ли бесполезна эта брань,— усомнилась Фран,— но одно знаю наверняка: мы сохраним самые первые фотографии Давида для Давида, пока он не вырастет, и, когда покажем ему и расскажем историю великой ссоры из-за них, а он ахнет от изумления или не ахнет, рассмеется или не рассмеется, тогда мы будем точно знать, зарубцевались ли наши наследственные язвы или еще нет. Но я убеждена, Давид, он ахнет, он рассмеется, и мы вместе с ним.

— Милая жена,— объявил Давид,— я совершенно с тобой согласен.

## 10

Совершенно ясно: одна из неслыханных фотографий юного Давида висела с тех пор на габельбаховской стене. Но снабжена она была не обычной горизонтальной подписью, а вертикальной записью, вернее, хронологической таблицей: 1958 — фотография сделана, предложена для публикации в НБР, отклонена; 1960 — первая публикация в медицинской монографии «Человек»; 1961 — золотая медаль на венгерской выставке по вопросам полового воспитания «Люди»; 1962 — первая премия на советском фотоконкурсе «Величие человека»; 1963 — опубликована в серии НБР «Новый человек» с подписью «Человек — новее нового!»; 1964 — отклонена жюри выставки «Наши люди», основание: «Слишком много секса!»; 1965 — вклад ГДР в календарь ЮНЕСКО «Дитя человеческое»; 1966 — премирована серебряным кубком на международной фотовыставке «Человек — это звучит гордо!»; 1967 —...

На таблице Габельбаха оставалось еще много места для многих лет, и он сказал Давиду:

— Потерпите, шестьдесят восьмой — горьковский год, его слова о гордом человеке будут повторять на каждом шагу, и ваша драгоценнейшая супруга заполучит еще кучу разных премий. С этой точки

зрения нельзя не отметить, что при всей нашей безалаберщине все-таки намечается прогресс. Как вспомню пятьдесят восьмой...

При этом, подумал Давид, ты далеко не все знаешь, что было в пятьдесят восьмом! Ты же, по всей вероятности, не знаешь — надеюсь, этого ты не знаешь,— как я требовал тогда, чтобы тебя незамедлительно вышвырнули из редакции, вымели поганой метлой, надеюсь, ты понятия не имеешь о том, что я категорически отказывался хоть один-единственный день работать с тобою вместе.

— Нет, товарищи, такого вы от меня требовать не вправе: работать с этим типом! Я не желаю участвовать в подобном безобразии и только удивляюсь вам. С фотографией Франциски делайте что угодно, но историю с Габельбахом мы доведем до конца; увидим, кто из нас не прав!

Пока он это увидел, прошло известное время; волнение долго удерживалось на начальной высоте, заставив позабыть другое волнение, то, от которого и пошла вся заваруха: волнение из-за двух-трех детских фотографий, ибо в этом случае речь еще шла о вопросах вкуса, в другом — об основополагающих вопросах середины века, о путях в будущее и правильном выборе спутников, о расчете с прошлым и об основной проблеме — все ли у нас в прошлом; речь шла о политике союзов, о кадровой политике, о политике в отношении людей, о политике вообще, о политике в редакции НБР и в стране ГДР, горячие споры разгорелись вокруг Давида Грота, но поначалу они разгорелись вокруг Федора Габельбаха.

На пять часов назначено было партбюро; Хельга Генк вынесла свой спор с Давидом в повестку дня, но он был уверен, долго они на этом споре не задержатся, он готов пойти на уступки — во всяком случае, в этом вопросе, но не в вопросе о фотографиях, ради них он, как и прежде, готов на бой; он извинится перед Хельгой и прямиком перейдет к главному делу.

Линия поведения ему ясна, стало быть, можно еще немножко поработать: через два месяца наступает в двадцатый раз годовщина «хрустальной ночи», ему поручено подготовить материалы. У него мелькнула идея: вместо известных документов и рассказов известных людей или, на худой конец, в дополнение к ним опубликовать свидетельства людей, которые не могли быть участниками этих событий с той или другой стороны, он хотел опросить в редакции тех, кто, подобно ему самому, просто при сем присутствовал, хотел сам поглядеть и показать, какие уцелели воспоминания о том зловещем дне и какое влияние он имел на день нынешний, через двадцать лет.

— Привет тебе, кроликовая дева,— воскликнул он,— вижу, твоего босса нет на месте; это прекрасно, никто не помешает мне жадно созерцать тебя, к тому же, между нами говоря, с ним было бы слишком много церемоний. Поможешь мне?

— Я-то думала, тебе с избытком хватает созерцания собственного сына,— удивилась Карола Крель.— Но, кажется, это болтовня не по делу. Что тебе нужно?

— Мне бы хотелось получить список наших сотрудников, безразлично где работающих — в редакции, типографии или администрации, но таких, кто в ноябре тридцать восьмого уже хоть мало-мальски созрел умственно. Совсем хорошо, если среди них будут не только берлинцы. Может, найдутся баварцы, экс-померанцы или рейнландцы, а уж на худой конец — саксонцы.

— Ну ты и краснобай!.. В ноябре тридцать восьмого я отбывала трудовую повинность, но созрела ли я умственно? А что там такое случилось?

— «Хрустальная ночь».

— Тогда я кое-что припоминаю,— задумчиво сказала Карола.— Я бы тебе и так показала. Меня от этого документа мутит, но один на один с ним меня мутит еще больше. Надеюсь, ты все сохранишь в тайне?

— Не могу обещать тебе,— ответил Давид.— Ты, никак, раскопала документы о Мартине Бормане, и оказалось — он у нас заведует складом?

Карола вытащила чью-то папку и, посмотрев на дверь, положила ее перед Давидом на стол.

— Габельбах? — удивился Давид.— Чего доброго, коллега Габельбах и есть Мартин Борман?

— Остри, остри,— буркнула Карола, вынимая из каталожного шкафчика ящик с карточками,— ничего я не раскопала. А всего-навсего прочла кое-что, одно место в автобиографии вашего Габельбаха, это место отчеркнуто, но не мною; кто-то еще задолго до меня отчеркнул его.— Она открыла нужную страницу.— Ты читал что-нибудь о таком Альфреде Керре?

Давид уже опустил глаза на серый в клеточку лист и на прямой почерк, до него уже едва дошел вопрос Каролы, и он машинально ответил:

— Статьи о театре, занимательное чтение. Высокопарные. Словно от театра зависит жизнь и смерть!

И он стал читать объяснительную записку Габельбаха, слыша при этом его интонацию, голос человека, который снисходит до вас, у которого силой выманили какое-то согласие, но он хочет еще в последнюю минуту сказать, что не верит в удачный исход:

«В связи с вышеозначенным считаю себя обязанным остановиться на одном из пунктов более подробно, чем делал это прежде в сходной ситуации. (Дабы тотчас ответить на вполне законный после этого вопрос: вначале, в первые три года моей работы в НБР, у меня не хватило мужества изложить события, о которых я хочу сейчас говорить; вдобавок мне не хватало доверия, и — буду до конца откровенен — я еще не решил окончательно, не следует ли мне прислушаться к многократным советам и покинуть советскую зону оккупации. Это был для меня переходный период, и я не желал усложнять положение.) В первом изложении моей автобиографии, которое, несомненно, имеется в моем деле, я, говоря о своем отношении к захвату власти национал-социалистской партией, писал, что, будучи в то время студентом-германистом, я, как и подавляющее большинство моих соучеников, поддался пропаганде националистических идей и проявил беспринципность, позволив вовлечь себя в нацистское движение. Далее: как активист КНСК (Католической группы немецкой студенческой корпорации) я в 1934-м в соответствии с Имперским указом автоматически стал номинальным членом национал-социалистского Студенческого союза, но кроме этого не принадлежал ни к нацистской партии, ни к какой-либо другой ее организации, и, после того как покинул университет, мое членство в Студенческом союзе прекратилось. В этой части своей автобиографии мне нечего изменить, но зато есть что сказать о первой части, касающейся моих поступков в году 1933. Что до моих взглядов, то все там записанное — верно; относительно же моих действий я умышленно высказался не очень точно. Но теперь, мне кажется, наступило время разъяснить, как обстояло дело в действительности.

10 мая 1933 года меня, как делегата от Корпорации христианских студентов, вместе с пятью десятками других представителей Кёльнского университета вызвали к руководителю пресс-центра, профессору доктору Гельдмахеру. Тот объявил собравшимся, что в имперской

столице состоится в этот день акт национального самоочищения. Берлинский университет, как выразитель воли всего народа, освобождается от противных истинно немецкому духу писаний. Само собой разумеется, и наш, Кёльнский университет подобным же актом подтвердит свою приверженность новым идеям, тем более что он был первым немецким университетом, призвавшим на посты ректора и членов ученого совета людей националистического умонастроения.

Однако студенческий фюрер, некий Мюллер, убедил ректора, профессора доктора Лойпольда, отложить в связи с проливным дождем направленное против антигерманского духа мероприятие, перенеся его на более погожий и потому пригодный день.

Затем были поименно названы студенты, которым предстояло символически осуществить торжественный акт от лица всех факультетов. Без моего, правда, участия, но и без сопротивления с моей стороны я был занесен в списки от филологов.

Поскольку тем временем сама история вынесла свой приговор, я воздержусь от каких-либо личных оценок, тем более что это, возможно, открыло бы мне путь к уверткам. Итак, сообщаю о самом факте: 17 мая 1933 года около 10 часов вечера я швырнул в костер три книги, выкрикнув при этом: «Долой глумливое искажение немецкого языка. Защитим драгоценнейшие достояния нашего народа! Я предаю огню писания Альфреда Керра!»

Не знаю, имею ли я на то право, но, не пытаясь никоим образом обелить себя, должен истины ради добавить, что принимал участие в подобном действе без какой бы то ни было убежденности, стало быть, как истый соглашатель. Правду говоря, к писателю Керру я был вполне равнодушен, но сам бы никогда в жизни не додумался до мысли, что книгу следует швырнуть в костер, если не разделяешь взглядов, в ней выраженных.

И уж вовсе не равнодушно относился я, а скорее питал своеобразное влечение к двум другим авторам, чьи имена выкрикивались во время этого варварского действа, вслед за чем их произведения летели в огонь. Речь идет о Генрихе Манне и Эрихе Кестнере.

Тем не менее я участвовал в этой акции; и если во второй части моей автобиографии я, строго придерживаясь истины, пишу, что в других подобных действах участия не принимал, то это не означает попытки обелить себя. Обелить себя после такой акции немыслимо».

На этом кончался отчеркнутый абзац, и на этом закончил Давид чтение документа.

— Нет,— выкрикнул он,— нет, Карола, этого не может быть; Габельбах, сжигающий книги,— это безумие! Понимаешь, не знаю, как ты, но я, если случается видеть фотографии той поры, когда они проходят под Бранденбургскими воротами или стоят на Украине под виселицей, рядом с виселицей, точно зрители, или фотографии «хрустальной ночи», хохочущие толпы вдоль улиц, я задумываюсь, и каждый, должно быть, задумывается, я спрашиваю себя, спрашиваю людей, которых вижу на этих фото и которые ничем не отличаются от других людей: и ты, вот ты, с такой белозубой улыбкой, как же ты теперь все это осмысливаешь, что ты делаешь, как живешь, вспоминаешь ли, помнишь ли и что рассказываешь ты, когда тебя спрашивают твои дети? Иной раз я придумываю им биографии, это совсем не сложно. И все-таки очень сложно; то время бесследно исчезло, и тебе невольно представляется, что и те люди бесследно исчезли, что их больше нет.

— Но мы тоже принадлежим к тому времени,— напомнила Карола.— Должна тебе сказать: я растерялась, оттого что хорошо его знаю. Ты, конечно, поймешь меня: костры из книг всегда представля-

лись особенно ярким отличительным признаком фашизма, а Габельбаха я всегда считала человеком, делающим настоящее дело.

Давид попытался представить себе, как Федор Габельбах швыряет книги в костер, горланя при этом дикарские заклинания. Но это ему не удавалось; коллега Габельбах, человек обширных, хотя и беспорядочных знаний, человек педантичный, которого неразбериха лишала покоя, человек, который охотно делился своими знаниями, желая, чтобы они получали заслуженную оценку,— он же не мужлан и не чурбан неотесанный, он мог при случае любого куснуть, но никого бы никогда не прикончил, он же не душегуб, да в нем вообще ни единой черточки нет из тех, какие представляешь себе, представляя себе нацистов, учителя Кастена, живодера и штурмовика Во́льтера или охотников за партизанами среди клиентов мастера Тредера. Габельбах не вписывался в фотографии костров от десятого мая, а ведь стоял же у одного из них и принимал участие в националистском очищении. Концы с концами не сходились.

— Что ты насупился? — поинтересовалась Карола.— Только гляди не наломай дров. Я показала тебе документы, чтобы с твоей помощью разобраться в них, но не затем, чтобы ты придумал, как свернуть шею Габельбаху. К тому же ведь все это имеется в его деле и уже десять лет как известно; там же лежит записка с замечаниями Иоганны Мюнцер; Петрушенция, значит, читала этот документ, и уж если она оставила Габельбаха в редакции, тебе нечего метать молнии. Просто, Давид, мне хотелось с твоей помощью разобраться в этом факте.

— Но меня словно кипятком ошпарило,— пробормотал он.— Я не сверну ему шею. Скорее уж Иоганне: она обязана была сказать мне все. Нет, не ему, он не стоит того... Беседовал я однажды с таким типом. Тот во время о́но написал письмо в газету. А я, разыскивая какой-то материал в старой, еще нацистской газете, кажется «Берлин ам миттаг», мимоходом подметил имя и адрес: Шёнхаузер-аллее. До той минуты я читал всю эту галиматью как сообщения с поглощенного пучиной острова, но — Шёнхаузер-аллее, да по ней же трижды в неделю ездишь, Шёнхаузер-аллее — это же рядом, нынешний день у нас за углом. Письмо написал субъект, весьма озабоченный тем, что вот-вот не останется ни единого еврея, а озабочен он был из-за детей, этот фольксгеноссе Мальман, проживающий на Шёнхаузер-аллее. Как же он объяснит детям, что такое евреи, если вот-вот не останется ни единого еврея, нельзя ли парочку экземпляров показывать в Зоологическом саду? Он еще пытался острить, этот фольксгеноссе: вовсе не обязательно помещать евреев рядом с обезьянами, ведь обезьяны в конце-то концов родичи людей. Вот так, с глубоким уважением и германским приветствием, фольксгеноссе Мальман, Шёнхаузер-аллее.

Я съездил к нему. Думал: неужто он все еще живет здесь, и сам же всерьез не верил в это. А он жил здесь, но уже не фольксгеноссе, а господин Мальман, мастер на колбасной фабрике в районе Вейсензее, проживающий по старому адресу.

Конечно, он разнервничался, то наглел, то хныкал, но не слишком был напуган. Чего, собственно, я хочу? Он свою вину искупил: один сын погиб на фронте, второй уехал в Канаду и не подает о себе вестей, жена умерла, а сам он три года провел в Баутцене, у него имелись документы — свидетельство об освобождении, он показал мне его даже с неким торжеством, чего мне еще от него надобно? В Баутцен он попал за донос, он сожалеет об этом, он и вправду теперь сожалеет, но письмо? «Что вы хотите, коллега, ведь так тогда все считали. Понятно, неправильно это, и я сожалею, я и вправду теперь сожалею». Если я хочу, пожалуйста, могу справиться на комбинате, как

он работает, и, когда он еще разок-другой назвал меня «коллега», я сбежал.

Понимаешь, он мой коллега; он, конечно же, член профсоюза и, вполне возможно, делает отличную колбасу, и, вполне возможно, я каждую неделю съедаю кусок этой колбасы, он—мой коллега, фольксгеноссе Мальман, и Габельбах, который жег на костре книги, тоже мой коллега, ну, разве не великолепно?

— Когда произносят: «жег книги», это звучит чудовищно,— сказала Карола Крель,— но, на мой взгляд, Габельбах и этот сволочной колбасник — разные люди. Я читала его автобиографию...

— Разумеется,— прервал ее Давид,— они разные люди. Он же не колбасник, он студент-филолог, студент, изучающий языки и литературу; он не был в руководстве «Рабочего фронта», не был штурмовиком, его всего-навсего записали в национал-социалистский Студенческий союз, к тому же — в Католическую корпорацию. Тот мерзавец необразованный, этот мерзавец образованный. Не беспокойся, Карола, я делаю между ними различие, но, если хочешь знать, я безмерно разочарован, и это выбило меня из седла. С первого задания в этой редакции я работал с ним бок о бок, и мы работали неплохо. У меня язык не поворачивается сказать, что, конечно же, он один из моих учителей, а теперь...

— А теперь тебе ничего не изменить,— успокоила его Карола, которая терпеть не могла, когда Давид начинал, как она это называла, копаться в своей судьбе,— к счастью, это и не в твоих возможностях; иначе вышло бы, что ты желаешь позабыть азбуку, если учил ее у господина Кастена в Ратцебурге. Вдобавок нельзя упускать из виду, что истории этой уже двадцать пять лет.

— Знаю, все знаю,— ответил Давид.— Я же не говорю: забудь о списке, который я у тебя просил, оставь в покое воспоминания о «хрустальной ночи», кто знает, каких чудищ мы вспугнем... я же так не говорю, но надеюсь, что и тебя от всего этого жуть берет, Карола, самую малость надеюсь!

— Вот это, по правде говоря, хуже всего,— сказала она,— и я жалею, что показала тебе автобиографию Габельбаха. Истерику закатить я и без тебя бы сумела.

Давид шагнул к двери.

— Прежде чем ты меня подомнешь, как в стародавние времена, я лучше уйду, меня вызвали на партбюро. За списком зайду завтра или в другой раз. Я справлюсь со всем этим, Карола.

Он надеялся, но надежда обманула его. Поначалу он отнюдь ни с чем не справился. Поначалу он лишь учинил великую неразбериху, оттого что у него в голове царила полная неразбериха. В голове его состоялось бурное собрание.

Вот поднялся умудренный годами Давид, один из тех, о ком известно — он немало повидал на своем веку, в английском парламенте его знают как Давида Разумного, в его спокойной речи было предостережение: бойтесь оптического обмана, бойтесь увидеть то или иное событие крупнее, чем оно было на деле...

Но тут, выкрикивая гейневские слова о сожжении людей, которого следует ждать после сожжения книг, его прервал один из более молодых Давидов, и Давиду-старшему пришлось просить председательствующего Давида дать ему договорить без помех.

У него нет оснований, продолжал Давид-старший, преуменьшать значение огненного действа, но он желал бы обратить внимание, что означенное событие получило многократное увеличение в силу многократного проецирования в сознании людей всего мира, и вот

уже глупый студент внезапно начинает казаться исполином, размахивающим факелом.

Ага, вот как, раздались выкрики из молодой фракции Давидов, слушайте, слушайте, теперь они вдруг стали глупыми, эти студенты, а ведь еще совсем недавно господин коллега Давид именовал их учащимися нового типа, прозорливыми представителями нового образа мышления, конечно, тогда это всех устраивало, а нынче всех устраивает, если слово «студент» употребляется с прилагательным «глупый». Так вот, позвольте спросить, что же, собственно говоря, представляют собой на деле студенты, по мнению предыдущего оратора Давида?

Давид-фактограф попросил слова и получил его, а прозвище свое он носил по заслугам, ибо был адвокатом объективности. Он не желал вмешиваться в спор о сущности студентов, он осведомился о возрасте обвиняемого и узнал, что Габельбаху, когда он швырнул в костер Керра, было двадцать лет, Давид-фактограф счел, что при одних обстоятельствах это возраст достаточно юный, хотя при других — вовсе нет и было бы целесообразно выяснить обстоятельства, при которых жил в ту пору обвиняемый. Но многочисленная группа Давидов и слышать не хотела об этом — один за другим они вскакивали и выкрикивали: «В двадцать я уже имел профессию!», «В двадцать я уже давно был солдатом!», «В двадцать я едва не стал отцом!» (в этом месте протокол отмечает смех и возгласы). «В двадцать,— продолжали они выкрикивать,— я уже вел самостоятельную редакционную работу!» «В двадцать я уже прочел десяток произведений классиков марксизма!» «В двадцать я стал членом партии!» «В двадцать меня считали взрослым, и никому не пришло бы в голову извинять молодостью ошибки, которые я допускал,— к чему же эта болтовня о юном возрасте, если ему было двадцать?» (Бурное одобрение.) Но одновременно кто-то из Давидов — в последних рядах — попросил слова:

Да, конечно, Давид, тебе в тысяча девятьсот сорок седьмом было двадцать, а тому, другому, двадцать было на четырнадцать лет раньше; для него, двадцатилетнего, война была уже едва различимым воспоминанием, для тебя же она была живой действительностью... Да, еще кое-что! У тебя дважды забирали отца, первый раз надолго, второй — навсегда, но между первым и вторым разом у него было время, он помог тебе разобраться в жизни; а что говорил тому, другому, его отец, и что ему говорили в школе и в высшей школе, и о чем ему твердили плакаты на стенах и выписываемые в семье газеты? Тебе, Давид, тебе, когда ты был двадцатилетним, они продемонстрировали два трупа евреев и многое множество других трупов, тебе они показали четкую линию от первого трупа в Кюхенбахе до последнего в майской зелени Тиргартена; но для того, другого, тоже двадцатилетнего, как и ты, хотя отнюдь не такого же, как ты, для того смерть была порождением фантазии Теодора Кёрнера и Эрнста Юнгера, она приводила на память Лангемарк, она обладала бесконечно далекой красотой святого Себастьяна, и главное: тот двадцатилетний, мчавшийся, пылая, в будущее, и мысли не допускал, что имеется непосредственная связь между факелами перед университетом на Рейне, на месте древнеримской колонии Агриппина, и трубами Майданека, ректор прорявкал ему что-то о фениксе германского духа, о пламенном протесте против вредоносного духа подстрекателей и совратителей народа, о салонно-большевистских интеллигентах, он услышал команду и бросил три книги в костер — так разгляди же разницу между тобой, Давид, когда тебе было двадцать, и этим простофилей из корпорации, когда ему было двадцать!

Я вижу разницу, воскликнул Давид-обвинитель, но я ничего не прощаю...

Стоп, воскликнул защитник, также по имени Давид, прежде чем ты продолжишь свою мысль: мы еще не покончили с различиями между твоими двадцатью и его двадцатью годами; предыдущий оратор говорил о командах, отданных двадцатилетнему Габельбаху, но как обстояло дело с командами, отданными Давиду, когда ему стукнуло двадцать? Когда ему стукнуло двадцать, в году сорок седьмом, его уже два года настойчиво перевоспитывали, говорили с ним языком газеты «Нойес Дойчланд» и газеты «Теглихе рундшау», повторяли слова Энгельса, и Брехта, и Ленина, читали ему книги Гейне и Зегерс, разъясняли ему речи Пика, Ульбрихта и Гротеволя, вспоминали «Голоса народов» Гердера и вновь и вновь вспоминали Великий голос Великого Манифеста, набрасывались на него с приказами: учись азам! И гремели над его ухом: время тебе встать у руля! А на улицах, по которым ходил этот двадцатилетний парень, висели плакаты: «Помни, вперед шагая... вставай, проклятьем заклейменный... вперед, вперед, рабочий народ... марш, левой, два-три... воспрянет род людской!»

У этого двадцатилетнего Давида, продолжал защитник Давид, были еще и переводчики, если он чего-то не понимал, они обращали чуждые ему слова в понятные: пролетарий они переводили примером жизни Вильгельма Грота, а солидарность — примером смерти Вильгельма Грота, прибыль — примером мастера Тредера, а сверхприбыли — примером Бергман-Борзига, демагогию — примером учителя Кастена, антисемитизм—смертью в Кюхенбахе, милитаризм они показывали на примере жизненного пути Германа Грота из Ратцебурга и на солдафонском всевластии генерала Клюца в Берлине, а демократию они растолковывали ему, сотню раз спрашивая и переспрашивая: а ты, что скажешь ты по этому поводу?

Кстати, почти с нежностью добавил защитник Давид, если уж речь зашла о заслугах переводчиков, следует назвать их имена, некоторые, по крайней мере: имя Иоганны Мюнцер, известной также как Пентесилея или Петрушенция; имя Ксавера Франка, тогдашнего районного секретаря в Берлине, ныне работника высших инстанций, далее имя товарища Возницы Майера, которого ты должен благодарить прежде всего за преподанное им умение отличать интеллектуалов от прогрессивной интеллигенции, а также за многое другое; по крайней мере упомянуть-то следует патрона Ратта, колкости которого тебя частенько подгоняли; и... и вот тут в голосе защитника, который звался Давидом, зазвучали по-настоящему нежные нотки, тут и должно быть названо имя Федора Габельбаха...

Но еще прежде, чем адвокат Габельбаха успел перечислить заслуги Габельбаха перед Давидом Гротом, буйный хор Давидов загорланил: кончай, долой, подумаешь, вот именно поэтому все это утратило силу, ничего о том знать не желаем, не желаем знать Габельбаха, не желаем его здесь видеть, хватит, хватит терпеть его здесь, все ложь, все маскировка, мы его не желаем, не желаем больше...

Не желаю больше, думал Давид Грот, пусть говорят что угодно, я больше не желаю, я иду на партбюро и без всяких околичностей заявлю: с ним я больше не желаю иметь дело!

Только этого им не хватало. На бюро как раз горячо обсуждалось решение V партийного съезда и вопросы подготовки к выборам в Народную палату. В сущности, кроме двух-трех пустячных вопросов партбюро и обсуждать было нечего: чуть-чуть разнородный состав их парторганизации, которую надо вести в бой против последствий деятельности фракции Ширдевана и Вольвебера и за осуществление закона об упрощении и усовершенствовании работы государственного аппарата, ориентировать на осмысление политической сущности понятия конфедерации и мирного договора, на генеральную линию развития

народного хозяйства и социалистического переворота в области культуры и идеологии, кроме того, нужно обсудить вопрос о конференции рабочей молодежи и о Неделе Балтийского моря, а также вопрос о безатомной зоне. Партбюро осталось всего лишь подготовить два предложения для секретариата РК, переварить критические замечания ПБ, три решения Первого пленума ЦК конкретизировать для их журнала, ответить на запрос РКПК, обсудить два заявления о приеме в партию, предварительно обсудив одно дело об исключении из партии, обоснованно отклонить решение первичной организации, составить приветственный адрес, утвердить докладчика и двух пропагандистов, и снова и еще раз разъяснить, что такое взаимопонимание — в пределах партбюро и вне пределов партбюро, и снова и еще раз разъяснить, как следует понимать грандиозное событие, которое скрывается под деловым обозначением — XX партийный съезд.

Вот уж, действительно, товарищ Давид Грот явился в подходящую минуту; добро пожаловать: наконец-то нам есть чем заняться!

А что́ же так заботит товарища Грота, что́ принес он интересного? Он, видимо, принес предложение по улучшению работы, он хочет взять на себя новое обязательство, у него имеется план, новая идея, он может помочь нам советом, желает проявить инициативу или, на худой конец, хоть выскажет дельное замечание?

Но, может, он опять собирается спорить из-за этих младенческих фото? Ах, нет? И не сам товарищ Грот просил вызвать его на бюро? Так кто же? А, это товарищ Генк. Она крупно поговорила с товарищем Гротом. Началось все из-за фотографий младенца Давида? Ага, стало быть, все-таки эти чертовы фото! Нет, с нас довольно! Как так, ссора уже улажена, товарищ Грот признает, что вел себя неправильно? И для этого вы требуете вызова на бюро? Да вы что, ребятки? Ну, ну, ладно, принимаем к сведению: вы помирились. Отправляйтесь работать, у нас еще полно дел; надо обсудить план учебы в сети партийного просвещения... Но что же, боже правый, что же вы еще хотите сказать?

А сказать Давид собирается свою замечательнейшую речь. Все предостережения, предупреждения, попытки к умиротворению на только что закончившемся совещании Давидов позабыты, товарищ Грот держит речь, он в одном лице и Дантон и Робеспьер, железный борец, этакий монолит, глашатай пролетарской бдительности, рупор основных законов классовой борьбы; товарищ Грот высказывает своему бюро все, что у него накипело, он говорит резко, с жаром, и слова отбирает удачные, и фразы складывает ловко, о! хоть бы их запомнить, ах, какое горе, если он их позабудет и не сохранит для внуков и правнуков!

Какой позор, что партбюро, видимо, не может или не хочет уследить за ходом его мыслей, во всяком случае, оно не следует за ним по риторической тропе к вершинам революционной добродетели. Все члены бюро сидят спокойно, отгородившись от него зеленым столом, и все его слова-кинжалы, слова-топоры и фразы-копья не достигают их, они и не собираются выкинуть белый флаг самокритики. Напротив, совсем напротив: они выставляют красный брейд-вымпел, подают знак — теперь наша очередь критиковать! Помолчи, товарищ Грот, послушай нас, товарищ Грот, теперь будет говорить партбюро!

Но оно говорит не о Габельбахе и не об Иоганне Мюнцер, которая якобы обязана была сказать Давиду Гроту, кто такой Габельбах; партбюро для начала говорит о товарище Гроте, наконец высказывает ему то, что накопилось у всех на душе. Оказывается, не план учебы в сети партпросвещения был их первейшей заботой еще минуту назад; у них внезапно нашлось время для Давида Грота, они, можно сказать, увле-

каются воспоминаниями о нем, но создается впечатление, что память у членов бюро несколько односторонняя, она удерживает по существу вещи вовсе не существенные для данного случая, создается впечатление, что они не помнят его заслуг, зато помнят многое другое и, главное, помнят — мыслимо ли это? — помнят, что партбюро парторганизации «Нойе берлинер рундшау» уже дважды вынуждено было помочь товарищу Гроту, вернуть его воспитательными мерами на твердую почву устава, а почему, по какому поводу?

Давид с трудом вспоминает — слишком все давно было,— на вид ему поставили уже год назад, а выговор вынесли даже три года назад; неужто ему, такому занятому человеку, до сих пор держать все это в памяти, он и думать забыл обо всем, у него забот полон рот, ведь в конце-то концов, не правда ли, классовая борьба не осуществлялась бы, не будь классового борца Грота, не так ли, товарищи! Что ж, товарищи согласны и тут ему помочь, для этого они и существуют; они освежают память Давида и формулируют это весьма изящно: нам пришлось, дорогой товарищ, уже дважды вдалбливать тебе одно и то же, и, если бы не внутрипартийные правила, мы в обоих случаях записали бы как основание: «взыскание вынесено за круглый идиотизм». Но в действительности и на вид ставили, и выговор мы выносили тебе за то, что ты поддался своей склонности к политически опасным одиночным действиям, и лишь твое сверхъестественное везение предотвратило и в том и в другом случае беду, которая должна была неумолимо воспоследовать за твоими поступками, беду общественного значения. Итак, тебе дважды повезло: во-первых, не случилось беды, почву для которой ты уже подготовил, и, во-вторых, мы приняли во внимание это обстоятельство, когда выносили тебе взыскание.

И, словно бы не удовольствовавшись столь абстрактным воспоминанием, бюро после этого вступления конкретизирует свою критику.

Случилось однажды, начинают члены бюро и при этом исполняют свой рассказ, как им и подобает, коллективно, в манере антифонного пения: каждый выступающий подхватывает с полуслова фразу предыдущего оратора, каждый знает свою партию, и, взятые вместе, эти партии составляют две довольно странные истории, и обе они начинаются, как все истории: случилось однажды, да, случилось, что некий юнец... но Давиду Гроту не очень-то нравится выслушивать обе эти истории.

Давид Грот слушает, что говорят его товарищи, прилежные плетельщики ковров, искусные мастера смальтовой мозаики, они подают друг другу либо ниточку, либо пестрый осколок, и вот уже возникают узоры и картины, по которым легко прочесть, что же собой представляет этот Грот; Давид слушает и удивляется, как же это он дал оттеснить себя от своего благородного намерения и какую вообще-то роль играет его великий поход в «Порт-Артур» или его обмен мнениями с Конрадом Аденауэром сейчас, когда главное — выявить, какую роль играл, играет и еще сыграет в будущем Федор Габельбах, сейчас, когда необходимо внести ясность, почему Иоганна Мюнцер, член партбюро и страж прообраза нового человека, ни единым словом не обмолвилась Давиду о костре 17 мая и участии в этом деле поджигателя, подстрекателя, подговорщика Габельбаха.

Но, само собой разумеется, Давид не прерывает своих товарищей — это не принято, когда тебя критикуют; кого критикуют, тот получит слово в конце, но пока говорят члены бюро, лучше помолчать, ибо они тоже люди.

А люди не очень-то любят, чтобы их прерывали, когда они рассказывают истории; и Давид не осмеливается протестовать или возра-

жать, если даже в душе он рвет и мечет, ведь все было совсем-совсем иначе.

Ну, ладно, бюро хочет во что бы то ни стало представить его как помесь анархиста с дурашливым мечтателем—да будет воля его здесь, на земле, но уж только не на революционных небесах, там оценят по достоинству, что́ совершил Давид Грот для блага человечества и нашего дела как тринадцатого октября пятьдесят седьмого года, так и в Большой аудитории Технического университета в Шарлоттенбурге, западном районе Берлина; пусть бюро до той поры носится со своими версиями; пусть развлекает себя рассказом: случилось однажды, да случилось, что был среди нас некий юнец, некий Давид Грот, он считал себя умнее всех и недвусмысленно выказывал свою средневековую склонность вершить судьбы человечества в одиночку, надеясь лишь на самого себя, мысля себя господином положения; и если революции можно назвать локомотивами мировой истории, то Давид Грот желал быть стрелочником на пути исторических событий — так или примерно так мыслил себе это Давид Грот.

А партбюро утверждает далее, оно утверждает, что в самовольно присвоенной Давидом функции кормчего он уже дважды, по меньшей мере дважды, едва не довел дело до политического скандала; стоит лишь вспомнить его великий поход в «Порт-Артур», а ведь это лишь одно из двух его прегрешений.

Случилось все в один из тех воскресных дней, что называются тринадцатыми роковыми и пользуются особой популярностью у любителей высасывать из пальца всякие и разные небылицы о ГДР.

Случилось это в один воскресный день октября, тринадцатого октября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Давида разбудили спозаранок, вызвали поначалу в конференц-зал НБР, оттуда послали в районный комитет Вейсензее, отсюда переправили к бургомистру и в конце концов привели на агитпункт Национального фронта в районе Хоэншёнхаузен, его и многих ему подобных.

Там царило оживление, да к тому же еще политическое, что в этих стенах случалось не так уж часто. Дело в том, что требовалось нанести сокрушительный удар по врагу,— как же тут не активизироваться. Требовалось нанести сокрушительный контрудар, расколошматить врага — как же тут не радоваться.

Но не штыки и не премудрые печатные изделия, именуемые брошюрами, служили нынче оружием, с которым Давида и его друзей бросили в битву. Напротив, речь шла о куда более традиционном средстве борьбы, которое нынче вновь собирались пустить в ход, речь шла о деньгах.

Давид Грот в это воскресенье стал менялой, был на шестнадцать часов принят на государственную службу в банк, стал временно банкиром и вышел на бой,— о, редкостный миг! — дабы спасти отечество.

Последнее, увы, не было преувеличением; страна была в опасности, как каждая страна, когда она теряет контроль над своими денежными знаками.

Из банкнот, выпущенных в обращение министром финансов и его банком, недосчитывалась кругленькая сумма в два миллиарда сто миллионов. В сберегательных кассах, в сейфах всех отделений банка, в несгораемых шкафах предприятий, торговых центров и административных органов их в наличии не имелось.

Министр и его эксперты догадывались о местонахождении указанных ценных бумаг. Значительная часть недостающих двух миллиардов ста миллионов, как они предполагали, припрятана в Большой Чулок их соотечественниками; их соотечественники — стреляные воробьи, они люди озабоченные, недоверчивые и оттого все еще близо-

рукие; до сей поры они знали только государство, которое их облапошивало; они, быть может, и доверяли кое в чем новому государству, но в денежных вопросах многие состояли еще в далеком родстве с прусским финансовым воротилой Ханземаном и вслед за своим дальним родичем повторяли: дружба дружбой, а табачок врозь,— и придерживали денежки в сундуках. (Когда же в конце года пятьдесят седьмого сберкассы доложили министру о непредусмотренных дополнительных вкладах в сумме полутора миллиардов марок, то министр узнал совершенно точно: в Большом Чулке соотечественники держали один миллиард пятьсот миллионов. И министр, как говорят, был весьма доволен.)

Напротив, не слишком-то довольны были в воскресенье тринадцатого октября там, где осели недостающие шестьсот миллионов: в том краю, что кратко именуется — Запад.

Назвать все пути, которые вели туда, не хватило бы ни времени, ни сил даже у всего партийного бюро, хотя члены его могли подменять друг друга во время рассказа, а Давид Грот, обязанный слушать поучения своего партбюро — ибо это его здесь драли за уши,— не слишком-то интересовался подробностями, сам прекрасно зная дорожку, вернее сказать, ту темную тропку, по которой из его страны утекли двести восемьдесят марок и шестьдесят пфеннигов. В нем шевельнулось было непривычное щекочущее желание заявить во всеуслышание: эквивалент ста сорока марок тридцати пфеннигов из невыявленной суммы, видимо, все еще висит на дереве, на берегу Шпрее, неподалеку от острова Музеев. Но он остерегся; не остерегся он, однако, в то воскресенье, в день нанесения валютного контрудара, и уступил своей склонности к индивидуальным действиям, а теперь именно об этом факте напомнил ему хор партбюро.

В агитпункте Хоэншёнхаузена Давида назначили финансовым уполномоченным по району садовых участков «Порт-Артур»; ему надлежало совершить в «Порт-Артуре» то, что его единомышленники в этот день совершали по всей стране: нужно было вместе с остальными уполномоченными принять все наличные в «Порт-Артуре» деньги и выдать взамен квитанции, а по другим квитанциям выдать жителям «Порт-Артура» другие деньги, отныне единственно имеющие хождение, максимально по триста марок на человека. В случае же, если будут сдаваться бóльшие суммы, ему следовало заверить сдающих, что и эти суммы в течение ближайших двух недель будут обменены, все операции следовало заносить в бухгалтерские книги и, что самое главное — не в последнюю очередь именно поэтому на акцию обмена бросили его и ему подобных,— разъяснять политическое значение происходящего.

Вот все, что Давиду надлежало сделать в этот день; правда, во взаимодействии с другими уполномоченными. Однако беда: другие что-то опаздывали.

Они должны были вот-вот явиться, но Давид, наш умнейший Давид, решил, что при контрударе дорога каждая минута.

А потому он предложил, что отправится с деньгами в «Порт-Артур», там на обменном пункте, не теряя ни секунды, проследит, все ли в порядке, и подготовит порцию банкнот для всех секций обменного пункта; ведь весь «Порт-Артур» разделили на секции — от «Порт-Артура I» до «Порт-Артура IV», и даже очень по-деловому получится, что деловой Давид еще до прибытия остальных товарищей-менял все подготовит.

Что ж, руководители обменной операции на агитпункте Хоэншёнхаузен как люди образованные — двое были даже постоянными читателями «Нойе берлинер рундшау» и постоянными читателями очерков

Давида Грота — сделали на основании сравнительно толковых статей ошибочный вывод о деловых качествах автора этих статей; испытывая своеобразное благоговение перед сочинителями, к чему склонны как раз порядочные люди, они согласились с планом новоявленного финансового деятеля Грота, набили его мешок новыми марками в сумме двухсот восьмидесяти тысяч и с легким сердцем отпустили его в направлении «Порт-Артура».

Они-то, вполне возможно, с легким сердцем, подумал Давид, когда члены партбюро на этом месте своего рассказа перевели дух и представили себе, качая головами и покручивая указательным пальцем у лба, те самые двести восемьдесят тысяч марок в мешке на плече Давида,— они-то, вполне возможно, с легким сердцем отпустили меня, но на меня ответственность и деньги легли тяжким бременем; однако, прежде чем он успел мысленно перехватить инициативу и продолжить рассказ, изобразив, вне всякого сомнения, более верную картину последующих событий, бюро вновь взяло ведение бюро в свои руки; и это бюро — куда он явился из-за фотографий Франциски, ссоры с Хельгой и злодеяний Габельбаха,— это бюро вновь разразилось тирадами, никакого отношения к трем вышеуказанным поводам не имеющими; но главная-то насмешка заключалась в том, что все подробности дела, которые столь исправно излагались Давиду, были известны бюро только благодаря самому Давиду, ему самому и его самокритичному отчету, сделанному год назад.

Итак, он садится с двумястами восемьюдесятью тысячами в трамвай, маршрут 63, и еще спорит с кондуктором, потому что тот требует оплаты багажа, и с какой-то мамашей он тоже поругался, потому что три джутовых ниточки зацепились за плетеную коляску ее ребенка, при этом он ощущает себя Великим Конспиратором, ибо удержался и не ответил мамаше на ее шпильку о чокнутых садоводах, которые, ей-же-ей, могут в другое время возить свой кроличий корм.

Он сходит на остановке Вейсензеевег, взваливает на плечо свои двести восемьдесят тысяч и отправляется в район садов-огородов «Порт-Артур»; остается лишь разыскать Дом культуры «Порт-Артура» — жаль, он позабыл на агитпункте взглянуть на план поселка, но беды большой нет, ведь свой Дом культуры, как известно всем, в особенности журналистам, свой Дом культуры знает каждый гражданин страны.

И только журналист Давид Грот собрался спросить у первого встречного жителя «Порт-Артура» дорогу, как его охватывают сомнения: во-первых, ему еще давным-давно, еще на первом этапе его журналистской карьеры, вдолбили — не обращаться к первому встречному, если требуется навести справки,— кстати, не тому ли самому коллеге Габельбаху обязан он этой наукой? Во-вторых, ему кажется, что лица жителей «Порт-Артура» выражают кровожадность, а может, не кровожадность, а просто жадность и даже алчность, и не носят ли все эти физиономии печать преступности, и разве садово-огородные участки не служат прибежищем всякого рода сброду?

Нет, у них он лучше не станет спрашивать дорогу, он, помказначея Грот, с мешком, набитым народными денежками, на спине! Премудрому товарищу Гроту не пришло в голову, что люди, в столь ранний час поспешающие по дорожкам, желают попасть туда же, куда и сам он ищет путь, ему не подумалось, что вид у людей невеселый по причине утренних радиосообщений, раннего вставания в воскресный день и забот о сбережениях; и, наконец, он не заподозрил, что хмурые лица портартурцев, возможно,— результат психологического обмана, следствие подозрительности, к которой склонен человек, волокущий на себе двести восемьдесят тысяч марок по незнакомой местно-

сти; все эти соображения не пришли в голову Давиду Гроту, и это не удивит никого, кто хоть чуть-чуть знает Давида Грота.

Но мало-помалу партбюро начало действовать на нервы члену партии Гроту. Если бы они кратко, по-деловому раскритиковали события тринадцатого октября, дабы припомнить ему его промахи, ну, с этим он бы примирился, но они занялись разбором психологических обманов, обратились в консилиум психологов, психиатров даже. Э, нет, это явно не по-партийному, и тогда Давид мгновенно, и уж вовсе не по-партийному, решил: погодите уж, вас-то я больше в бюро не выберу!

И словно они действительно хорошие психологи, члены партбюро переключились в этом месте рассказа с эпической широты на анекдотическую краткость и быстро подогнали хоровой рассказ о великом марше через «Порт-Артур» к его политически знаменательному концу. Итак, коротко говоря, заблудившийся носитель денежного мешка не рискнул спросить дорогу.

Далее: он все-таки обратился с вопросом к какому-то ребенку; тот послал его в секцию «Порт-Артур IV», но там была пивная «Солнечная земля», а никак не Дом культуры.

Далее: какой-то человечек крикнул ему через живую изгородь: «Сюда! Сюда!» Человечек ждал коллегу своего племянника, который обещал принести ему древесные отходы с лесопилки. Небольшая путаница, большие усилия ее распутать: человечек насторожился, решил, что его обманывают, что в мешке дрова, пожелал взглянуть на содержимое мешка... Поспешное отступление, почти бегство Давида, вырваться-то он вырвался и убежал, но, конечно же, направление выбрал неверное.

Далее: пошел дождь. Выдержит ли мешок? Примут ли портартурские жители мокрые денежки? Осмотрительные меры осмотрительного Давида: он решает одолжить зонт! Результат: какой-то чужак, нагруженный мешком, появляется ранним воскресным утром, в восьмом часу, в домишке гражданина Кёнагеля, а там как раз купают детей, целых троих! Ну и крик же они подняли! Давид наскоро сочиняет небылицу, вручает пятьдесят еще действительных марок в залог, получает зонт, выскакивает на улицу, пока гражданин Кёнагель не включил приемник!

Далее, призывный вопль некой старой дамы; вопль явно относится к Давиду Гроту, шагающему по Фейльхенштиг, при этом одной рукой, еле удерживая равновесие, он сжимает мешок с двумястами восемьюдесятью тысячами, другой держит над ним зонт. Старая дама стоит на табурете, пытаясь вытащить из-под крыши домика какой-то толстенный сверток. Ей нужно приподнять доску, она просит Давида ей помочь. Он помогает, встав на мешок, набитый новенькими банкнотами,— на табурете для двоих места нет.

— Нынче обмен денег,— объявляет дама.

Местечко под крышей — самый надежный тайник; она идет сейчас обменивать свои сбережения, говорят, обменивают в Доме культуры.

Далее: Давид Грот, прослывший Хитроумным, притаился в засаде на Фейльхенштиг; четверть часика, и старая дама выходит из дома, сжимая под мышкой пакетик; она семенит по Фейльхенштиг в направлении Дома культуры, а на расстоянии тридцати шагов за ней следует, сгибаясь под грузом двухсот восьмидесяти тысяч марок и зонта, финансовый деятель товарищ Грот, активист, готовивший контрудар и наконец-то нашедший дорогу в Дом культуры «Порт-Артура».

Когда он прибыл, все уже собрались: все другие «финансовые деятели», полиция, ребятня, пенсионеры, рабочие, вернувшиеся после

смены, вдовы и старые дамы, молодые матери и отцы семейств — и слухи уже тоже скопились, и недовольство, и злоба, и гнев, и ненависть, не говоря о затянувшемся дожде, только ключа к Дому культуры не было, он ведь лежал у Давида в кармане, только денег не было, они ведь лежали в мешке у Давида, только самого Давида не было, он слишком много возомнил о себе, и за урон, нанесенный политическому сознанию жителей «Порт-Артура», ему вкатили строгий выговор.

Но это же перегиб, хотел вмешаться Давид, когда услышал, какой вывод сделало бюро из его доклада, тогда он получил вовсе не строгий, а всего лишь простой выговор — однако реплики он не подал: ему бы возразили, что прилагательное «строгий» имелось здесь в виду не в официальном смысле, оно имелось в виду как обозначение моральной встряски, с помощью которой они надеялись довести до его сознания свое неодобрение, хотели довести — но, увы, теперь понимают: этого, совершенно очевидно, было слишком мало.

Давид надеялся, что партийное бюро не станет развивать свою мысль, он прикусил язык и временно даже оглох на оба уха, ибо нравоучения ему до чертиков наскучили, хотя он и понимал, что партийному бюро вовсе не прискучило его поучать; сейчас они станут клеймить другой, более старый случай его сольного выступления и вновь и вновь возмущаться им, Давидом, и его диалогом с доктором Конрадом Аденауэром, бундесканцлером германской западной республики, когда тот собрался получить еще одно очередное звание почетного доктора.

За еретическую акцию ему поставили на вид, и Давид остерегся обнародовать, что нагоняй ни в коей мере не отравил ему радости от такой соблазнительной, хоть и еретической, акции.

А ведь Иоганна Мюнцер долго говорила о своем разочаровании и занесла Давида в список людей, которым сейчас здесь следовало бы кое-чему обучиться, а они здесь сейчас ничему не научились, ибо испорчены были до мозга костей еще в бесчеловечные времена.

Она назвала аденауэровскую акцию провокацией и тут же вспомнила, что именно суть этого понятия была предметом первого поучения, полученного Давидом Гротом от Иоганны Мюнцер.

— Отвечай, ты провоцировал Аденауэра, зуровский магистрат и штуммовскую полицию? — вопрошала Иоганна.

— Да, провоцировал,— отвечал Давид,— но ведь в противоположном смысле!

— Как так в противоположном?

— В смысле классовой борьбы. Я применил методы классового врага против классового врага. Я проник в лагерь классового врага и внес замешательство в лагерь классового врага.

— Верно,— вмешался Возница Майер,— надобно задать им жару, иначе мы останемся на бобах!

— Товарищ Майер,— заявила Иоганна,— я категорически протестую против лозунгов времен Макса Гёльца. Нам известно, что ошеломляющие методы товарища Грота тебе по душе, но сейчас здесь иные времена. Вдобавок тебе неизвестны конкретные обстоятельства, которые здесь сейчас обсуждаются, ты же был на курсах, если я не ошибаюсь?

— Нет, не ошибаешься,— ответил Возница Майер,— все верно, а учиться нужно постоянно, иначе останешься на бобах!

Давид тотчас почуял — нашелся союзник, потенциальный, и мигом вставил:

— Если товарищ Майер тоже будет решать вопрос, он должен знать, о чем идет речь. Предлагаю: я еще раз кратко изложу события.

Итак, я раздобыл билеты на церемонию торжественного присуждения Аденауэру докторской степени, сто...

— Раздобыл — это эвфемизм понятия «надул и выманил»,— вставила Иоганна Мюнцер.

— Я,— продолжал Давид,— рассказал представителям студенчества в Шарлоттенбурге, что многие студенты гумбольдтовского университета горят желанием хоть разок увидеть господина Аденауэра. И это ничуть не надувательство; я только не упомянул о мотивах их горячего желания. Я убедил студентов Технического университета, что во имя неделимой Германии не мешало бы, чтобы они выдали мне сотню билетов. Их я и вправду раздал студентам гумбольдтовского университета, девяносто девять штук.

— И уверил ребят, что за твоими действиями стоит партия,— вставила Иоганна.

— Я был в этом уверен, товарищи. Признаюсь, я так считал, иначе я не сказал бы этого нашим студентам.

Иоганна обратилась к остальным членам партбюро:

— Извините, если я отвлеку на минуту ваше внимание, но благодаря ежедневному общению с этим человеком я знаю его чуть лучше, чем вы. Он ловко переиначивает слова, если смысл их вовремя не закрепить. В его черепной коробке есть укромный уголок, где хранится запас невероятных идей, с ним нужно быть настороже. Ближе к делу, Давид!

— Так я же о деле толкую, но ты не даешь мне высказаться, товарищ Мюнцер!

— Высказываться,— пробурчал Возница Майер,— позволено каждому, иначе ни черта не раскумекать.

— Итак,— продолжал Давид,— студенты гумбольдтовского университета отправились со мной в Шарлоттенбург. Я их вовсе не подбивал на провокацию, я предложил им дискуссию с Аденауэром, а если он не пожелает, то демонстрацию. Мы точно договорились: я ловлю Аденауэра на подходящем слове, а не ответит он, мы все покидаем зал, ничего больше, покидаем зал, своими действиями мы лишь покажем, что он нас недостоин.

— Товарищи,— обратилась редактриса НБР к бюро,— вам известно, как выглядела эта дискуссия. Наш анархист что-то такое выкрикнул в адрес Аденауэра, что, видимо, считал политическим аргументом, после чего половина участников торжества вскочила и толпой повалила из зала.

— Все ясно,— вмешался Возница Майер,— в этакой ситуации надобно, чтобы тебя понимали, ведь все дело во взаимопонимании.

— Да к тому же,— воскликнул Давид,— вовсе не половина участников, а три четверти покинули зал. Студенты Технички пошли с нами, многие, правда, только из озорства.

— Все ясно,— согласился Возница Майер.— А что же Аденауэр, как он реагировал на этот цирк?

Давид получал истинное удовольствие.

— В ответ на мой выкрик он поначалу вообще не знал, что сказать. И когда добрых пять сотен студентов убежали, тоже промолчал. Ему хотелось заполучить свою докторскую шапочку. А тут, как на грех, застрекотали камеры и микрофоны вытянули свои шеи. Внизу, в зале, ученый совет воздел руки к небесам, ожидая, чтобы Аденауэр ответил; но он не сразу нашелся. Правда, когда я уже был у двери, а зал на три четверти опустел, он вновь обрел свою пресловутую бойкость, с опозданием самое большее на три-четыре минуты, и воскликнул, указуя пальцем прямо на меня: «Я глубоко убежден, ува-

жаемые дамы и господа, что недалек тот час, когда и его мы тоже обратим в свою веру!»

— Надеюсь,— обрадовался Возница Майер,— ты чихал на него!

— А я надеюсь,— воскликнула Иоганна Мюнцер,— что сейчас здесь всякий видит, какую ситуацию спровоцировал товарищ Грот,— своим самочинным выпадом он дал повод штуммовской полиции наброситься на студентов с дубинками.

— Да неправда же это,— закричал Давид,— полиция решила, что торжество кончилось. Полицейский, дежуривший у двери, спросил, когда толпа спускалась с лестницы: «Уже конец?» — а студенты загомонили, ясно, мол, конец, тогда полицейские сунули карты в карманы и высыпали на улицу, тут же подъехали машины, и, когда я спустился, они уже выстроились шеренгами по обеим сторонам улицы. Какие там дубинки, все в струнку вытянулись — просто не понимаю, чего ты вечно ко мне придираешься, товарищ Мюнцер!

— Я вечно к тебе придираюсь? Да я же за тебя в ответе, парень! В Шиндерханеса [1] ты мог играть в ратцебургских лесах, в Робин Гуда, так и быть, в гольштейнской чащобе, но классовая борьба — это учение Карла Маркса, а не Карла Мая!.. Предлагаю поставить товарищу Гроту на вид за политическое самоволие и зазнайство, чтобы не назвать его действия анархией, а на вид только потому, что и на сей раз все сошло благополучно, но знай твердо, это я говорю здесь сейчас во всеуслышание, дружочек мой, еще одно нарушение партийной дисциплины, и я предложу вынести тебе выговор!

Так вот, он получил на вид, а через год-другой и выговор, ныне же, еще через год, бюро решительно отвергает его нахальное требование разобраться в деле Габельбаха; для партбюро не существовало дела Габельбаха, а с тем, которое некогда существовало, разобрались раз и навсегда.

Но во взглядах Давида Грота они все-таки не разобрались — что партбюро и довело до его сведения; от него потребовали, чтобы он подверг самого себя и свою позицию тщательной проверке и подумал, кто же в конце-то концов разумнее: он или партия.

Нет, объявило партбюро, оно не оспаривает его права ставить вопросы и не уклоняется от своей обязанности давать ответы, но не желает иметь дело с человеком, который является на бюро, угрожая пистолетом, готовый пристрелить каждого, кто не соглашается с его представлениями.

Зачем, стало быть, они вспомнили все сольные партии, все каскады и курбеты товарища Грота?

Затем, чтобы предостеречь его от скорой расправы и молниеносных выводов, так-то, и кончим на сегодня: проведи-ка черту от Аденауэра через «Порт-Артур» до сегодняшнего не в меру запальчивого выступления на партбюро и проследи, совместится ли твоя линия с той линией, что зовется линией партии; мы побаиваемся, что линии не совпадут, они даже не пройдут параллельно, скорее всего получится спутанный клубок; обдумай все это спокойно, и тогда мы спокойно поговорим обо всем еще раз.

— А я уже сейчас попытаюсь,— объявил товарищ Возница Майер и вышел вместе с Давидом.

В столовой он взял у стойки две кружки пива, закурил сигару, вздохнул, покашлял, дважды заклеил сигару, обстоятельно вытер носовым платком чистый нос, передвинул стул поближе к Давиду и только после всего этого повел разговор:

---

[1] Шиндерханес (Иоганн Бюклер, ок. 1800) — предводитель шайки разбойников, о котором сложено множество песен.

— Для начала о Габельбахе. Предположим, я встретил бы его в году сорок пятом, или сорок шестом, или даже в сорок седьмом, ну, в самом еще начале, и мне сказали бы: послушай, а он ведь был заодно с Геббельсом, палил книги, арийские очищения учинял — как думаешь, где очутился бы я через секундочку? У моего старого приятеля по каталажке, у товарища полицей-президента, в его каталажке: за тяжелое увечье. Из партии я бы тоже вылетел, хоть и с тридцатилетним стажем, за индивидуальный террор.

Ты уж извини, но я скажу, что причин поломать ему ребра у меня несколько больше, чем у тебя. Это не упрек тебе; просто до моих причин ты тогда еще не дорос. Впрочем, хватит и той, что человек жег книги. О Керре я понятия не имею, но других, кого они сжигали или запрещали, знаю. С Эрихом Вайнертом я плечом к плечу не раз стоял в Веддинге; мотоцикл Бехера как-то три раза выжал, да, три раза над головой поднял, а он — отчаянный был тогда парень — и в уме не держал, что министром станет; да, а Владимир или Анна, ох и красавица была, но зубастая; даже Брехта довелось узнать, только он что-то чудаковатым мне показался.

Стало быть, Габельбаху повезло, что я поначалу понятия не имел, где он шуровал, ну и мне тоже повезло.

И вот однажды, он уже давным-давно у нас работал и, как всегда, отменно, не подкопаешься, сам знаешь, приходит он к Иоганне и выкладывает все начистоту. Она отправляется в ЦК, а потом мы созываем бюро; Ксавер Франк присутствовал, нарочно приехал; сильно подозреваю — из-за меня. Мы зачитали объяснение Габельбаха и с ним побеседовали. Не я, нет, меня душила бешеная злоба, но не думай, Иоганну тоже, да и всех нас.

Я только и ждал, сейчас он вытащит коробку стирального порошка и начнет отмываться: он-де был знаком с евреем и еще в тридцать пятом с ним здоровался, или он девушке-полячке гребеночку подарил, а ведь еще мог сам ею пользоваться, и прочие тошнотворные сказочки. Нет, этого не случилось.

Почему он в тридцать четвертом бросил учиться? Тут бы ему закатить пышную речугу, и кто бы с ним поспорил, наплети он о раскаянии или о познанной вине и осознанном отказе от изучения германистики?

Нет, ни одного такого слова он не проронил. Пожалуй, он не переварил всех противоречий, сказал он, а готовые решения, которые напрашивались или, вернее, навязывались, глотать не желал. Так он сказал. Он выучился на фотографа, начал заново, учеником, а работать пошел в «Гефлюгель-бёрзе», была такая газета для голубеводов.

С тех пор щелкал только премированных кур и состоял в «Рабочем фронте». Обязан был, а то ведь работы не получить.

Пусть что угодно говорят, но ведь понимать надо: студент, живи, веселись — и вдруг куриный фотограф! Поворот крутой.

И еще мне понравилось: на бюро его спросили, что же, он подался к пернатым, чтобы убежать от политики? А он ответил: вовсе нет, там он хорошо зарабатывал.

Да недолго он радовался; погнали его в Польшу, Францию, Грецию, Африку, оттуда выгнали в Италию, а там — фьюить, опять погнали — на Миссисипи, военнопленным, но он расхворался и весной сорок пятого уже был дома. Штабс-ефрейтор, не бог весть какой вояка, дешифровальщик аэрофотоснимков в штабе дивизии. Это мы уточнили.

Да, парень, он хоть и учинил такую мерзость, но один раз всего, и зарекся. Ни подвигов, ни подлостей.

Он человек религиозный, как нам известно, может, и это свою роль сыграло.

Одним словом: нельзя сказать, что его прошлое нас не интересовало, но можно сказать — его прошлое есть прошлое. Понимаешь, оно ушло, кануло в вечность.

Понятное дело: другом ему я не стану, да никто этого и не требует. От нас всех только требуют — от меня и от тебя,— чтобы мы не корчили из себя героев, не устраивали цирка, ежели что не вмещается у нас в голове.

Я-то понимаю, с чего ты взбеленился: какой-то чертовщиной от всей этой истории несет. Ты считал, что прошлое давным-давно миновало, а ведь всего тринадцать лет, как оно миновало, мальчик мой!

Над этим не задумываешься, а как сообразишь, что сосед был одним из «древних германцев» и твоим современником, кровь стынет в жилах.

Самая большая загвоздка нашей действительности в том, что прощание с ужасающе долгим прошлым только-только началось, но кое-где уже сталкиваешься с приметами будущего, и все вперемежку, вот и теряешь ощущение времени. Не успели мы избавиться от карточек на мясо, жиры и сахар, стало быть, от какой-то части войны и германского прошлого, как уже договорились, что проложен будет нефтепровод — от Каспийского моря до самых наших мест, а с ним для нас связано огромное будущее.

Вот я и считаю, что одна из главных задач, какую обязан решить нынешний сознательный человек,— это составить себе верное представление о времени.

Точнее говоря, о времени, в котором он живет; об исторической обстановке.

Понятное дело, такая задача всегда была важной. Стоит только вспомнить — мне эта мысль на курсах вдруг пришла на ум,— что Маркс-то и Энгельс едва не ощупью брели, прежде чем уяснили себе, на каком они, собственно говоря, свете, какова же историческая обстановка, да, пришлось им потрудиться, ничего не скажешь.

А трудиться и нам приходится, не то останемся на бобах. На практике в исторической обстановке разобраться — это тебе не на курсах сидеть, прошу прощения!

Когда война кончилась, тоже нужно было уяснить себе, какова историческая обстановка. Собственно, имелись всего две возможности: либо приняться за работу, трудиться на совесть со всеми, кто хочет помогать, понятно, исключая законченных бандитов; либо сказать: всем, кто имел дело с коричневыми, у нас не место — но ведь это значило бы отмести весь народ; курьезная мысль, а? Мне по душе твое волнение, Давид, но согласиться с ним я не могу, оно исторически не оправдано. Твои номера мне, право же, по вкусу, но скажу тебе совершенно серьезно: член партии может сесть в грязнейшую лужу, если возомнит себя умнее партии.

Правду говоря, Давид, ты сегодня поднял суматоху на ровном месте, только людям нервы попортил. Я бы так сказал: ты забил несоразмерную тревогу. Спроси ты, хотя бы и в резкой форме, со злостью: как же это так? Без цирка бы все обошлось. Наша сознательная жизнь наполовину состоит из вопросов и ответов, но именно сознательная.

А ведь ты никакого ответа не ждал, ты хотел всех привлечь к ответственности, а мы, знаешь ли, нынче чувствительные стали.

Позволь дать тебе совет: считай себя прожженным хитрецом, по мне, считай себя даже хитрее всех остальных, хоть это, конечно, рискованно, но не думай никогда, что ты способен перекрыть обобщен-

ный ум всех остальных. А партия — если уж мы об этом заговорили — это в моих глазах именно обобщенный ум.

В него входит такой вид ума, как опыт. Скажем, речь идет о конкретном вопросе, к примеру о повышении заработной платы, ну, скажем, на два процента.

Самое меньшее, что может дать тебе партия, это опыт тысячи различнейших мест, где возникла та же самая проблема. От Индии до Исландии, у японцев и у Круппа, где хочешь. Понятно, обстановка всякий раз иная, но кое-что общее всегда есть, а это, как известно, зовется закономерностями. Так кто же посмеет спорить с партией, которая скопила ответы на тысячи вопросов — от Индии до Исландии и Круппа, разобралась в них и обобщила огромный опыт? Кому же под силу критика такого обобщенного ума?

Я убежден: кому-то со стороны об этом и думать нечего! А в недрах самой партии, конечно же, дело другое. Все мы видели, как оно получается.

Не мастак я растолковывать противоречия, но столько-то соображаю: если партия хочет, чтобы ее члены перестали недооценивать свои силы,— ей, этой партии, наверняка придется столкнуться с новой проблемой, с тем, что кое-кто переоценит свои силы.

Мальчик мой, позволь предупредить тебя: ягодки еще впереди, ежели мы не будем начеку.

А потому полезно поскорее прочистить больной желудок; не слишком приятно, но не смертельно.

От несправедливых упреков мы, конечно, не застрахованы. Может, партбюро несправедливо припомнило тебе старые грехи, потому как твой вопрос сам по себе был правомочен. Только он на вопрос был не похож. Ты им размахивал, точно топором.

Габельбах двадцать пять лет назад повел себя как дурак и свинья,— я придаю большое значение и тому и другому слову! — но с тех пор, насколько нам известно, показал себя порядочным и разумным человеком. Все, что нам о нем известно, подтверждает во всякое случае, что он вполне порядочный и разумный человек, но тебе-то об этом лучше судить, ты же с ним каждодневно сталкиваешься.

Вот что я тебе скажу — суди всегда правильно, парень, не то останешься на бобах!

Возница Майер отнес пустые кружки назад к стойке, закурил сигару и пошел из столовой, ступая грузно, но осторожно — озабоченный слон, исполин, нашпигованный проблемами, великий доброхот: истинный член нашей партии Возница Майер.

Давид прекрасно помнит: выслушав эту необычную, окольную проповедь, он еще долго сидел в столовой, еще долго злился на бюро и предъявлял ему политический счет, да, у него найдется в чем обвинить партбюро, а поскольку в имеющемся у него каталоге грехов не сразу удавалось подобрать подходящее наименование для заблуждений бюро, Давид выказал себя изобретательным, долго еще выказывал себя человеком уязвленным, наделенным богатой фантазией, но в конце концов остыл, и мало-помалу обнаружилось, что он настоящий член партии, способный додуматься до мысли: а может быть, правы другие?

До такой мысли в один присест не додуматься, во всяком случае человеку типа Давида; идея эта сперва представляется невыносимой. Поначалу очертания ее расплывчаты, это скорее слабое мерцание, нежели озарение. Мысль эта подступает неуверенно; она движется ощупью, пританцовывает, спотыкается, никакой четкой хореографии не приметно; приметны только нерешительные намерения и реши-

тельное противодействие, а лучшим средством выпутаться из создавшегося положения представляется попытка увильнуть от ответа.

Легче вкатить в гору тяжеленный камень, нежели признать, что другие оказались правы, и самое удивительное: если ты член партии, то камень хочешь не хочешь, а вкатить нужно.

И самое благое: камень в конце концов вкатывается, чему очень и очень помогает добрая воля. И еще одно: партбюро однажды дало о себе знать, а теперь помалкивает и не вмешивается. Оно не задает вопросов с намерением вызвать в твоей памяти то или иное событие, не вмешивается в твой мыслительный процесс, никак не поощряет — и Давид успешно одолевает трудный путь.

Чем-то принципиально значимым дело, может, и не кончится; оно просто кончается: о нем больше не говорят.

Правда, дело с Габельбахом чуть затянулось. Давиду ничего не остается, как выбросить мысль о том Габельбахе из головы, оттеснить ее, вытеснить из разговоров, необходимых переговоров, нормальных бесед с этим, нынешним, Габельбахом; Давиду остается только отделить того от этого, нынешнего, слепить двух субъектов из одного и одного из них вычеркнуть из памяти.

Все получалось, но путем долгих тренировок.

На первых порах Давид полагал, что рано или поздно, но обязан откровенно поговорить с фотографом, признаться в своих сомнениях и задать ему вопрос-другой. Но проблема теряла свою остроту с каждым рабочим днем, который к Давиду и Федору Габельбаху предъявлял одни и те же требования.

А такими, честно говоря, были все дни девяти лет, что прошли с той поры. Девять вместе с тринадцатью предыдущими—это не просто определенный отрезок пробежавшего времени, нет, в эти годы два совершенно разных человека неразрывно были связаны с одним и тем же объектом, решали одни задачи, ломали головы над одними проблемами, несли сходные обязанности; и хоть не они одни, но и они, да, не в последнюю очередь они, создавали НБР, совершенствовали, изменяли, улучшали, защищали; журнал был их общим знаменателем.

Больше ничего общего у них не было — ни прежде, ни теперь. Какой бы сыгранностью и почти интимной близостью ни отличалась их совместная работа, в остальном жизнь того и другого протекала начисто обособленно, положение, если судить по местным обычаям, весьма странное, а для Иоганны Мюнцер, считавшей такую затянувшуюся отчужденность бесчеловечно жестокой, даже нестерпимое.

Но между Давидом и Габельбахом ни разу даже не наметилась такая ситуация, когда при общей работе возникает нечто большее, чем деловая общность, возникают дружественные, товарищеские отношения, а порой и дружба.

Доверительность в их отношениях возникала, если предстояло подавить общего противника, сердечность — если Габельбах к подходящему случаю цитировал корреспондента Франца Германа Ортгиза или Давид сызнова наслаждался фотографиями-осечками на габельбаховской стене, а предела задушевности их отношения достигли в тот час, когда главный редактор Грот обменялся мнением с заведующим отделом иллюстраций Федором Габельбахом относительно шансов Франциски в горьковском юбилейном году и чуть не поддался искушению все-таки хоть кое-что рассказать коллеге Габельбаху о том, какие еще события разыгрались тогда, в году пятьдесят восьмом.

Но Давид тут же отказался от этой мысли; ему стоило усилия оттолкнуться от нее и возвратиться в сферу деловых отношений, од-

нако, не желая показаться нелюбезным в ответ на сугубую любезность коллеги Габельбаха, он сказал:

— На днях у Киша я наткнулся на превосходное обозначение для определенного рода фотографий. Он описывает сенсационные снимки в одной пражской газете, называя их «моментальными фотографиями в момент смертоубийства»,— не пригодится ли вам?

Габельбах явно получил удовольствие.

— В момент смертоубийства? — переспросил он.— Мог бы и Ортгиз сказать... Кстати, что это за срочное задание: фоторепортаж о зернодиспетчере Креле? Разрешите спросить: с каких это пор вы заказываете фотографии без согласования со мной? И почему такая срочность; почему ради фотографии, каковая покажет человека на фоне птичьего корма, почему ради этого мы должны пересмотреть свой рабочий план? Не укажете ли вы мне основания, почему ради этого зерно-крупяного управляющего вы угрожаете внести хаос в сферу моей деятельности, в которой мне с нечеловеческими усилиями удалось навести некоторый порядок, почему, господин коллега, вы угрожаете этому мирному уголку? Ко всему прочему, мне бы хотелось знать: этот овсяно-пшеничный раздатчик, чье начисто внеплановое моментальное фото в момент подсчета зернышек вам желательно получить, этот господин Крель не близкий ли родственник нашей почтеннейшей заведующей отделом кадров, быть может, ее уважаемый сын или уважаемый внук?

— Ну, ну,— пробормотал Давид,— уж не такая она старая!

Но по ответу Габельбаха понял, что возразил слишком поспешно, ибо Габельбах сказал:

— Вот как? Ну, если вы говорите... я ведь не очень четко представляю себе, что и как.

Давид же подумал: ага, не очень четко? До этой минуты и я так считал; теперь понимаю, что ошибался. До этой минуты я думал, что обо мне с Каролой знал лишь мой незабвенный патрон господин Ратт. Ох, отсохни моя нога, Габельбах тоже знал.

— Большое спасибо за напоминание,— говорит он,— сегодня утром я затеял небольшую интригу, кое-какие детали придется еще отработать. Фотография этого диспетчера — один из элементов интриги, а если впоследствии из нее вытанцуется интересная повесть, я вам ее расскажу, договорились?

— Только не требуйте, чтобы я ваши повести, ко всему прочему, еще и понимал, господин коллега,— ответил Федор Габельбах.

*(Окончание следует)*

# ПЬЕТРО А. БУТТИТТА

# *Листок*

ПОВЕСТЬ

*Перевод с итальянского Ю. ДОБРОВОЛЬСКОЙ*

## *I*

Какой толк от того, что ты еще не стар и держишься молодцом, нравишься женщинам и сам не прочь приударить — скажем, за мороженщицей или за мисс, которая забегает починить каблуки. Туфель у нее навалом, но ты даже не замечаешь, меняет она их или нет: у чертовки такие ноги, особенно от колен и выше, глаз не оторвать! Но какой толк от того, что тебя распирают желания? Платить-то нечем.

А здесь все стоит денег, что бы тебе этот город в глаза ни тыкал, о чем бы в уши ни жужжал: и театры с зазывными афишами, и прикуренные неоном сигареты на башнях небоскребов, и женщины — те, что спешат к метро, и те, что в красных, зеленых, желтых платьях прохаживаются около кинотеатра, покачивая бедрами, плавно, как кобылицы на лугу.

Луг и пшеничное поле вплоть до самых холмов — лишь кое-где вкраплено зеленовато-серое пятно оливковой рощицы или темно-зеленое смоковницы — всегда стояли у него перед глазами; такими он запомнил их мальчишкой, когда учился ремеслу у отцова свояка — сапожника в захолустном городишке Палермской провинции.

Луга и родные поля — вот что запомнил, о чем неотрывно думал Сальваторе. Он думал о них с той минуты, как вступил на палубу трехтрубного парохода в палермском порту тридцать четыре года назад. С той минуты, когда обнаружил, что у парохода — старой калоши, битком набитой эмигрантами,— вовсе не три трубы, как уверял в тот воскресный день представитель компании, а всего-навсего одна.

Он думал о них, когда работал на ферме и терпел понукания боссов.

Думал и тогда, когда изловчился открыть свою мастерскую под лестницей большого дома в одном из бруклинских тупиков. (Около дома, помнится, был садик.)

И когда отказывался от предложения земляка открыть на паях «стор» [1]. Земляк потом, в пику ему, прикатил в тупичок на собственном «ка́ре» [2].

[1] От англ. «store» — магазин. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

[2] От англ. «car» — автомобиль.

Сальваторе думал об этом всегда — особенно же когда появлялось какое-нибудь искушение, и тем упорнее, чем искушение было сильнее.

Тогда он еще яростнее набрасывался на работу, еще неистовее колотил молотком, словно башмак был сделан из кожи того молодчика, который уговорил его уехать. Или забирался в свою дыру-каморку с оконцем, упиравшимся в грязную стену двора, и варил себе тарелку спагетти с чесноком и перцем без масла. С чесноком. Но разве это чеснок? Порошковый из банки, купленный в «супермаркете», затхлый — всякий аппетит отбить может.

Он думал об этом всегда и тем более теперь. Разве что-нибудь изменилось? С чего это он вдруг начнет транжирить то, что по крохам, пенни за пенни, скопил, чтобы вернуться домой и спокойно доживать остаток дней!

Какой толк от того, что тебя распирают желания? Платить-то нечем.

Но теперь самое главное его желание скоро сбудется: еще полгода — и прости-прощай, Америка! На самолет — и одним махом домой. К брату, к родным, к друзьям.

Теперь у него будет на что купить и кусок мяса, и стакан вина, и даже тосканскую сигару. Да, да, и сигару — плохо ли покурить около клуба как порядочному! Мало того: после Америки он сможет вступить в клуб. Его отец-батрак даже помышлять об этом, бедняга, не мог, да и брат-кузнец, так и застрявший в глуши,— тоже.

Шесть месяцев — это чепуха. Что такое шесть месяцев по сравнению с тридцатью четырьмя годами!

«Теперь уж нет смысла поддаваться городским соблазнам»,— твердил себе Сальваторе и еще истовей обрабатывал каблуки-шпильки той самой мисс. Убиться можно, какие у нее ноги!

Женщин Сальваторе знал мало, по-настоящему только одну. Все потому же — избегал лишних расходов. Ведь женщина — и случайная, и постоянная — требует, чтобы ты на нее тратился, притом всегда больше, чем можешь себе позволить. Обдерет тебя как липку и еще норовит на тот свет отправить.

Не попадись Сальваторе одна вдовушка, ирландка, он, наверное, так и прожил бы все эти годы монахом-отшельником. Она, слава богу, никогда ничего не требовала — наоборот, еще сама приносила: то чего-нибудь горяченького на ужин, то сладостей к празднику, а то запонки или булавку для галстука — в подарок.

Сравнивать ему особенно было не с кем, но и как женщина вдова, по его мнению, была хоть куда. Красавицей, может, не назовешь, но бабенка что надо. Если бы не дурная привычка каяться — бухнется, бывало, тут же у кровати, на колени, в грудь себя бьет, слезами обливается, за неостывший грех у боженьки прощения просит. С самого первого раза так повелось, с того вечера, когда она пришла к Сальваторе в его закуток. Между прочим, даже тары-бары разводить с ней не понадобилось... Хотя какие могли быть между ними разговоры, если они друг друга не понимали.

Однажды вечером Сальваторе ждал-ждал, да так своей надушенной, страстной подруги и не дождался.

Больше она не появлялась, и Сальваторе продолжал бороться со своими желаниями, пугать себя лишними расходами, внушать себе, что нужно экономить, что еще не дай бог заразишься, что от женщин одни неприятности.

Теперь, перед отъездом, он не спеша перебирал все это в памяти. За последние годы (вот уже лет двадцать, пожалуй) ни одной женщины ему больше не подворачивалось — ни такой, как вдова, ни похожей на длинноногую мисс.

Возвращение на родину произошло так, как он его представлял.

Из аэропорта Ла-Гардиа он вылетел барином, с небольшим чемоданчиком в руке и с «кодаком» через плечо. Об остальном багаже позаботилась авиакомпания — солидная фирма с конторой на Пятой авеню; персонал — одни девицы, и каждая шпарит на семи языках.

Самолет поднялся точно по расписанию. И на формальности много времени не ушло: таможенник едва взглянул на его новенький паспорт. (С тех пор как Сальваторе стал американским гражданином, он впервые ему понадобился.) Так что не успел оглянуться, как Нью-Йорк уже скрылся из глаз.

Сальваторе не успел даже собраться с мыслями, подвести итог тридцати четырем годам, прожитым в Америке.

«В Америке всегда так: уехать куда легче, чем приехать»,— подумал он, вспоминая свои эмигрантские мытарства.

В Риме тоже никаких придирок, все как по маслу. Сплошная любезность. Авиакомпания позаботилась и о билете на поезд.

Сальваторе возвращался барином, но по привычке бормотал: «Какой толк от того, что тебя распирают желания? Платить-то нечем».

Однако сейчас он платил, и мир преображался на глазах.

Италия явно походила на Штаты. Сигареты, жевательная резинка, кока-кола... чем не Америка? Были бы деньги, тут тоже есть где разгуляться. Все что душе угодно, хоть птичьего молока проси.

Когда он сошел с поезда, можно было подумать, что прибыл президент республики,— столько собралось на перроне народу. Со всех сторон раздавалось:

— Брат!

— Дядя!

— Деверь!

— Кум!

— Дон Сальваторе!

— Туридду![1]

В первый момент он растерялся, родного брата не узнал; еще немного — и тот бы обиделся.

Шутка сказать, тридцать четыре года... Да еще на краю света, за океаном, в Америке. Библейский срок!

Его встречала вся родня: внуки и дети двоюродных сестер и братьев, невестки, зятья. Когда Сальваторе уезжал, многих из них еще в помине не было.

По дороге, а потом и дома, у брата, Сальваторе без конца расспрашивал, кого как зовут, кто на ком женат, у кого сколько детей... Запутаться можно. Сальваторе всем улыбался, пожимал руки, раздарил несколько пачек сигарет. Наконец, невестка не выдержала:

— Люди добрые! Неужели не видите, что он устал?! Дайте человеку отдохнуть! Приходите вечером!

Выпроваживая родственников, она повторяла:

— Всех, всех приглашаем!

А сама дочери подмигивает: дескать, что стоишь, тетеха, глаза вылупила! Унесла бы лучше дядины чемоданы в спальню, не то он, добрая душа, все раздаст!

Сальваторе действительно то в один чемодан полезет, то в другой: хотелось всех одарить, как молодожену — гостей свадебными конфетами.

Когда они остались одни — Сальваторе с братом, невесткой и племянницей,— в доме вдруг стало тихо, как в монастыре. Только тут Сальваторе спохватился:

---

[1] Туридду — уменьшительное от Сальваторе.

— А где же сестра?

— Как где? — удивился брат Раффаэле.— Разве я тебе не писал? Вышла замуж и переехала в Галлуццо.

Теперь Сальваторе припомнил. Но где этот Галлуццо, представления не имел.

— А где это? — поинтересовался он.

Брат объяснил:

— Около Флоренции. Далеконько — день езды.

Взглянув на молодую девушку, помогавшую накрывать на стол, Сальваторе спросил:

— А это кто?

Брату даже кровь в голову ударила.

— Как это кто?! Черт подери, да это же Мария, моя дочь и твоя племянница! Двадцати одного года от роду. Или я тебе о ней не писал?

Конечно писал. Видно, Сальваторе и впрямь не в себе, сам подивился своей забывчивости. Ну, да ничего, обошлось: посмеялись, он сбегал за подарком, вернее, за подарками. Специально для нее припас — покупал перед отъездом с женой одного знакомого, земляка, который завел в Америке семью и остался работать на ферме.

Племянница не знала, что и делать: то ли смеяться, то ли нет. Она стояла, прижимая к груди подарки, исподлобья поглядывала на дядю, пыталась поблагодарить, но на первом же слове споткнулась, залепетала что-то невнятное.

За столом Сальваторе рассмотрел ее как следует. Девушка — кровь с молоком, просто загляденье! Он таких даже в Америке не видывал. Как ни хороши у бруклинской мисс ножки, она Марии в подметки не годится.

Сальваторе ел, смаковал доброе деревенское вино и, не сводя глаз с племянницы, беседовал с Раффаэле — тот старался ввести брата в курс последних событий, рассказывал о родных, о соседях, о друзьях, у кого кто родился, кто умер, кто уехал, кого посадили.

Чем дальше, тем Сальваторе все больше и больше чувствовал, что оживает. Вкусная еда и вино, рассказы брата и меткие замечания невестки, красота племянницы, ее лицо без всяких следов румян и прочих пакостей, какими мажутся американки,— все возвращало его к тому, что он оставил тридцать четыре года назад. Он чувствовал себя двадцатилетним. Одет во все новое, на столе — море разливанное, брат с женой говорливые, веселые. Так бывало только в давние времена, когда дома устраивали застолье в день Джусто Беспалого, местного святого. Все было как тогда, в молодости,— вплоть до того, что, любуясь Марией (Сальваторе мысленно хохотнул), он поймал себя на том, что у него вспотело под мышками и в паху, совсем как давным-давно, когда он был молодым парнем и засматривался на дочку соседа, жившего напротив сапожника, который обучал Сальваторе своему ремеслу.

Вот что значит перемена, вот что значит вернуться домой после тридцати четырех лет на чужбине!

Раффаэле, видя, что брата совсем разморило, стал его упрашивать немного отдохнуть.

— Мы тебе мешать не будем,— ласково уговаривал он.— Поди, поди поспи! Умаялся, будто конь после скачек.

Сальваторе и в самом деле устал. От обильной еды живот раздулся, точно бурдюк, от вина и суматохи шумело в голове. Едва добравшись до кровати, он заснул крепким сном, как в детстве.

Ему снились сны. Сны мальчишки, с утра до вечера прикованного к сапожному верстаку. Снилось, что он мчится куда-то, легко перепрыгивая через валы сена, через рвы и овраги, будто за плечами

у него крылья. Ему приснилась девушка. Она лежала, раскинувшись под смоковницей на солнце, и, увидев его, не шелохнулась, не изменила позы, а только заулыбалась; он прильнул к ней, будто притянутый магнитом, он делал с ней все, что хотел: целовал, прижимал к себе так крепко, что слышал, как бьется ее сердце, как пульсируют жилки на висках, как пробегает по телу сладостная дрожь. Наконец, утомленный, откинулся на спину и начал следить за полетом соколят, которые плавно кружили в небе, а потом вдруг куда-то падали камнем.

Сальваторе еще досматривал сон, когда племянница Мария вошла в комнату и тряхнула его за плечо. Он обернулся, но спросонья ее не разглядел — только слышал, как она, продолжая его тормошить, говорила:

— Дядя, дядя! Папа велел сказать, что уже вечер. Друзья собрались, они давно ждут, хотят тебя повидать, столько лет не виделись...

Сальваторе силился открыть глаза, что-то невпопад отвечал. В голове мелькнула отчетливая мысль: девушка, которую он видел во сне,— вылитый портрет его племянницы. Даже совестно стало. Тем временем Мария присела на край постели; она улыбалась — ей было смешно, что дядя никак не может продрать глаза.

Сальваторе чувствовал себя двадцатилетним.

Вот что значит вернуться домой после тридцати четырех лет на чужбине! Племяннице передалась его веселость, она смеялась вовсю. Сальваторе развеселился еще больше, начал ее щекотать. Мария заливалась здоровым, по-детски невинным смехом. В ее возрасте девицы уже мечтают о женихах, жеманничают, а она — нисколько.

Сальваторе чувствовал, какое у нее упругое тело, и порадовался за брата, что у него такая славная дочка. «Что за девушка, просто загляденье!» — мысленно повторял он, а руки опережали рассудок, руки касались тугой, высокой груди, не умещавшейся под блузкой. Руки опережали рассудок, а перед глазами все еще стояли только что приснившиеся картины.

Племянница же, казалось, ничего не замечала; правда, когда руки Сальваторе скользнули ниже, притихла. Тамошней мисс со стоптанными каблуками до Марии далеко... Его племянница заткнула бы за пояс всех красно-зелено-желтых дамочек, разгуливающих у входа в кино, там, в Америке. Ей и бедрами вилять незачем, вон они у нее какие крепкие, ядреные...

Сапожник, обучивший Сальваторе ремеслу, говаривал: «Руки соображают хуже, чем ноги, а у деревенских и вовсе вся сообразительность в ногах». Сальваторе почему-то вспомнилась сейчас эта тысячу раз слышанная присказка.

## II

Наступило утро, первое утро в родном городке. Кое-что здесь изменилось, но особых перемен не произошло.

И все же кое-какие новшества Сальваторе приметил — что ни говори, за тридцать четыре года немало воды утекло.

По соседству с домом брата все осталось как было, но городок раздался вширь.

Возле углового дома стояла все та же каменная скамья. Квартал по-прежнему замыкали две колонны; раньше они замыкали весь городок, а еще раньше, когда цела была чугунная ограда,— княжеские владения. Но за колоннами... там бы Сальваторе заблудился, столько понастроили новых домов и улиц.

Проснувшись, он встал не сразу. Поваляться утром в кровати ему никогда не удавалось — только рассветет, он уж на ногах: вечно ждала гора недочиненной обуви. А теперь можно и поваляться, поразмыслить о своих делах, вспомнить дни, прожитые в Америке,— дни, похожие на связку чеснока: одна чесночина вроде не такая, как другая,— эта покрупнее, та помельче; а если вдуматься, все одинаковые, все из долек состоят и у всех один вкус, один запах.

Родственников совсем не было слышно. Раза два Сальваторе показалось, что за стеной перешептываются, двигают мебель, вот послышались чьи-то легкие шаги — не иначе как племянница прибирает в доме после вчерашнего пиршества.

Мария разок даже просунула голову в дверь комнатенки, где его уложили спать. «Судя по всему, это ее комната»,— решил Сальваторе, разглядев кое-какие вещицы девичьего обихода. Он притворился спящим, и Мария тотчас скрылась.

Немного погодя он пошевелился, кашлянул, переставил с места на место приготовленный на ночь, возле кровати, кувшин с водой и стакан.

Первой явилась невестка — принесла кофе, за ней брат — спросить, хорошо ли спал, а вслед за ним племянница — пожелать доброго утра.

Так начался его день, первый день отдыха после тридцати четырех лет Америки. Кое-что изменилось, но особых перемен не произошло.

На главной площади Сальваторе почти ничего нового не обнаружил. Все та же церковь с часами на фасаде показывала время, давала тень старикам, приходившим посидеть на ступеньках, по-своему улаживала житейские дела—крестины, свадьбы, причастия, грехи, исповеди, покаяния. И священник был совсем такой же, как прежний, и служка, то и дело — иной раз прерывая мессу — выбегавший на паперть унять расшумевшихся мальчишек.

— Управы на вас нет, сорванцы вы этакие! Святого можете вывести из терпения! — отчитывал он их.

Табачная лавка тоже стояла на прежнем месте, только у трех ее хозяек, все еще незамужних барышень, теперь уже безнадежных старых дев, прибавилось по тридцать четыре года за плечами. У всех трех — распухшие ноги с венами толщиной с угря и толстые, толще бурдюка с оливковым маслом в урожайный год, зады. Ничего удивительного: отсиди-ка полвека за прилавком! А эти сиднем сидят, от зари до зари, в будни и в праздник торгуют почтовыми марками, сигаретами, газетами. Небось, разбогатели. Побогаче будут, чем он, Сальваторе. Интересно, почему замуж не вышли. На такой жениться прибыльно: клиентура постоянная, как у аптекаря; ведь кто однажды эту дорожку проложил, тот уж с нее до окончательного поворота — на кладбище то есть — не свернет. Вот была бы житуха! Одним выстрелом двух зайцев: и женой обзавестись, и озолотиться... А может, и не одной женой, а тремя сразу. Петух в свой курятник напарника не пускает, сам управляется.

Однако на табачниц никто почему-то не польстился. Видно, недаром ему, безбородому юнцу еще, внушали: «Никому торговка не нужна — и не любовница она, и не жена».

Парикмахерская все та же — только хозяин, мосье Тото, состарился и теперь обслуживает лишь самых почтенных клиентов, прочую публику стригут-бреют подмастерья.

Парикмахер тоже побывал в Америке, при Сальваторе в Бруклин приехал, при нем и уехал,— видно, стричь доходнее, чем обувать.

Однако же встретились они как равный с равным:
— Hullo, boy! [1]
— My friend! [2]
И полились рекой воспоминания:
— Помнишь такого-то?
— Джо-Блэка? [3] Еще бы!
— Пеппино все еще держит «стор»?
— Very nice! [4]
— О'кей!
Так что на бритье ушло полдня.

Потом Сальваторе отправился в клуб; вернее, заметив, что кое-кто из вчерашних гостей, приходивших поздравить его с возвращением, выглядывает из дверей клуба на улицу, стал прохаживаться поблизости. Его окликнули и представили президенту — всеми уважаемому, образованному и обходительному господину. Он сразу вывел Сальваторе из затруднительного положения — сам сказал, что если дону Сальваторе будет угодно, он поддержит его просьбу о вступлении. И уточнил:

— Теперь, когда у нас демократия, клуб называется «Порядок и свобода». Клуб общедоступный, то есть принимают в него всех. Всех порядочных людей! Да, да, господа!—повысил голос президент.—В том числе и простых тружеников. У нас теперь как в Америке: раз человек своим трудом выбился в люди, он заслуживает всяческого уважения, даже если его отец всю жизнь сидел без куска хлеба и умер с голода.

Последних слов — насчет отца, который умер с голода,— Сальваторе предпочел бы не слышать. Как бы там ни было, по настоянию друзей заявление он все же подал. Президент дважды заверил, что правление уважит его просьбу единогласно.

По дороге домой Сальваторе вспомнил беднягу отца: без куска хлеба он не сидел и умер не от голода... Правильнее было бы сказать: от нужды, от непосильного труда. Хотя... Сальваторе сам не раз слышал от него поговорку: «Что наш брат батрак, что нищий бедняк — и эдак плохо, и так».

Вот, значит, какая его ждет теперь жизнь! Клуб, приятели... Захотел — иди прогуляйся по площади или по Главному проспекту, захотел — посиди покури. А главное, ни у кого не надо одалживаться.

Насчет жилья беспокоиться нечего. Брат Раффаэле сказал: «Наша семья — и деды наши, и прадеды — испокон веков в этом доме жила. Места, конечно, маловато. Но под крышей столько жильцов помещается, сколько захочет хозяин. Надо бы, пожалуй, кое-что подправить, террасу перекрыть, второй этаж надстроить. Тогда будет где разместиться. А то сейчас кроме закутка, где жена лоханку держит — летом белье стирать,— ни одного свободного помещения нет. Давай надстроим второй этаж, перетащим туда твое имущество, поставим кровать, и заживешь у нас как у Христа за пазухой! Бабы мои будут тебя обихаживать. Что им еще делать, как не о нас, мужиках, заботиться? Меньше дури в голове будет»,— заключил Раффаэле.

Сальваторе решил: брат прав. В самом деле, зачем ему искать кого-то на стороне? Ближе, чем родные, с кем на ночь на один засов запираешься, все равно не найдешь.

А времени на устройство, чтобы спокойную старость себе обеспечить, у него теперь хоть отбавляй. Насчет дома непременно надо

[1] Привет, детка *(англ.)*.
[2] Друг мой *(англ.)*.
[3] Черного Джо *(англ.)*.
[4] Прекрасно *(англ.)*.

будет с братом еще потолковать. Впрочем, дело несложное: как потеплеет, позвать мастеров, и все тут. Пусть помаленьку начинают кладку.

С этими мыслями Сальваторе пришел домой. Невестка уже ждала его в дверях, племянница накрывала на стол. Все честь по чести. После обеда его разморило («Опять, наверное, выпил лишнего»,— подумал Сальваторе), и он, так же как накануне, прилег вздремнуть.

Проснулся он к вечеру — разбудили батраки, возвращавшиеся с работы. Вышел на порог, постоял в дверях, поглядел, как соседи загоняют скотину, скликают кур и детишек. «Дети и куры только грязь разводят»,— сказал себе Сальваторе и снисходительно улыбнулся, потому что ему ни от детей, ни от кур никаких неприятностей быть не могло: он один, и никто ему не нужен; денег, которые он на американских подметках сколотил, ему хватит до конца дней.

Сальваторе сам не заметил, как зашагал по направлению к клубу. И снова какие-то люди поздравляли его с возвращением, одобряли, что вернулся на родину, говорили: правильно сделал, как ни хороша Америка, а дома лучше. Адвокат закатил целую речь:

— Когда живешь дома, знаешь, какой вокруг тебя воздух, чем дышишь. Это как с женщиной: если она родом оттуда же, откуда ты сам, тебе о ней вся подноготная известна — откуда она взялась, как, что, почему; а приезжая — все равно что арбуз: никогда не знаешь, что тебя ждет, пока не взрежешь, а если даже, взрезав, увидел, что маху дал, все равно лопай — деньги плачены.

Адвокат заводил этот разговор чуть не каждый день: никак не мог забыть свою чужачку-жену. (Она пожила с ним немного и бросила.) Когда кто-нибудь сообщал ему, что собирается жениться, он выходил из себя:

— Лучше купи себе свинью! Намного дешевле обойдется. А когда откормишь, прирежь, наделай на зиму колбас и продай! Возместишь расходы и еще заработаешь!

Было уже поздно, когда Раффаэле зашел за Сальваторе в клуб, чтобы идти вместе домой. Точнее, не зашел, а попросил вызвать! Куда ему, простому работяге... как говорится, рылом не вышел.

По пути домой, когда попадался навстречу знакомый, он сначала здоровался с Сальваторе («Добрый вечер, дон Туридду!»), а уж потом — с братом («Добрый вечер, мастер Раффаэле!»).

## III

Конечно, если весь день пробездельничал, а после обеда к тому же вздремнул, то вечером сон не идет. Рядом ни души, а мысли суматошные, как муравьи вокруг муравейника: бегут, друг на друга натыкаются — и снова в разные стороны; или как женщины около роженицы — снуют туда-сюда, туда-сюда...

О женщинах Сальваторе в последнее время думал все чаще и чаще — и о тех немногих, каких знал, и о тех, с которыми пока жизнь еще не свела.

Потом задумался о доме, как его перестроить. Решил завтра же позвать каменщиков. Спешить, конечно, некуда, но надо чем-то заняться, понапрасну время убивать тоже не годится. Кроме того, нехорошо, что он лишил комнаты племянницу, ей теперь, бедняжке, приходится спать вместе с родителями. Неудобно все-таки: брат с женой хоть и не первой молодости, однако и не старики еще, тоже небось не прочь побаловаться. Может, не часто, но бывает, дело житейское. Бывает. А у него женщины не было и нет. Даже теперь, когда он из

этой Америки вырвался, с собой кое-что привез, мог бы себе и шалость какую позволить.

В здешних краях сойтись с женщиной просто так, чтобы потом не надо было ее всю жизнь содержать, всегда было трудно. Здесь либо ты ее берешь в дом, либо рискуешь встрять в историю. «У кого свой колодец, тот из него сам воду пьет, с соседом не делится,— рассуждал Сальваторе,— так что, если захотел пить, остается одно: идти на колонку, она всем дает». Но водой, которую пьют все, он брезговал. Да и не к лицу ему, дону Сальваторе, прожившему тридцать четыре года в Америке, уподобляться каким-нибудь мальчишкам-новобранцам. Известно, как они, пройдя медицинскую комиссию, рассуждают: «Коли меня признали годным служить королю, докажу-ка я, что могу служить и королеве!» И — прямым ходом к потаскухам. Есть тут две-три такие, из поколения в поколение этим делом занимаются, дверь даже на ночь не запирают.

У каждого человека должна быть женщина в доме. А у Сальваторе нет. Прислуги и то нет. Может, прислуга даже лучше: живет на всем готовом, не станет же она с хозяином недотрогу из себя корчить! Пожалуй, прислугу иметь еще сподручнее, чем жену: с ней все можно, а жена — не публичная девка: раз венчаны, значит, делай детей, и аминь.

Однако, чтобы завести себе такую бабенку, надо быть настоящим барином: ее надо, как виноград под навесом, выхаживать да пестовать и, набравшись терпенья, ждать, когда созреет. Ну, а дождавшись, ставь в воскресный день на стол, теперь ты — кум королю: свое ешь. Сальваторе же, хоть и вернулся из Америки барином, ничего такого не имел. Женщин под рукой, если не считать братниной жены и дочери, не было, но о них даже думать не моги, всякий знает: жена брата — святая святых. А племянница... Племянница — такой цветочек, что от одного взгляда на нее у тебя, старика, голова кругом идет.

И Сальваторе вспомнил свое первое пробуждение в доме брата, вспомнил, как Мария присела к нему на постель, как он жадными руками гладил упругое девичье тело...

Сон — предатель: к уставшему человеку подкрадется и вмиг сморит, даже когда у тебя срочная работа недоделана. А вот если ты нисколько не устал — часами его ждешь, он все не идет. Сальваторе стал всерьез подумывать о том, чтобы найти себе занятие. Не работу, конечно,— иначе зачем было столько лет торчать в Америке? — а просто какое-нибудь дело.

Надо будет позвать мастеров, надстроить дом, чтобы и самому, и братниной семье было где разместиться. И... не обзавестись ли ружьишком? Стал бы на охоту ходить с клубными приятелями. Сальваторе знал, что охотника из него не получится, но почему бы не иметь ружья — будет повод пошататься по окрестностям. И уважать больше станут: у человека с ружьем за плечами вид внушительней. В здешних местах испокон веков считалось, что если ты безоружный, значит, бродяга и голодранец, любая шавка ни за что облает.

Сальваторе мечтал заодно побывать в тех местах, где мальчишкой, удрав из мастерской, вместе с другими ребятами гонял дроздов для охотников. Соберут, бывало, охотники ребят-загонщиков на площади, те аж на месте устоять не могут — ни дать ни взять свора чистопородных охотничьих псов. Пообещают каждому по монетке — и пошел! Ребята заранее знали, что не получат ни гроша, и потому не терялись, сами о себе заботились: шныряют, бывало, по полям, как хорьки, во все горло орут — вроде дроздов выманивают, а на самом деле больше для отвода глаз, местных жителей отвлекают. Крестьяне

в такие дни, как пугала, около фруктовых деревьев встанут и стоят — боятся, как бы дьяволята-загонщики ранние фрукты не пообрывали, пусть лучше своим детям достанутся. «Куда там! — улыбался про себя Сальваторе.— Разве они могли с нами справиться? Бывало, набегаемся, наоремся до того, что дух вон, дроздов будто бы пугаем, а сами только и смотрим, как бы персиков да абрикосов поспелее нарвать. Пока до отвала не наедимся, не успокоимся. Домой придешь — рези в животе, да такие, что материны подзатыльники и отцовский ремень детскими игрушками кажутся.

Но это бы еще ничего, случалось с загонщиками и похуже: другой раз влепят тебе в задницу или по голым икрам солью из ружья, печет — мочи нет, потом целый вечер отлеживаешься. Мать припарки ставит, ворчит: «Не приведи господь детей иметь!» Но и жадность крестьянскую проклинает: «Мотыжники проклятые, из-за какой-то несчастной фруктины малых детей калечат! Э, да что говорить, если они из-за лукошка слив готовы друг друга из двустволки перестрелять».

То ли наяву вспоминалось ему это, то ли во сне, не поймешь. Раза два Сальваторе совсем было задремал — по крайней мере, так ему показалось, но, видно, лег неудобно или душно стало — опять начал с боку на бок ворочаться. Он хотел даже встать, однако подумал: брат с женой услышат, встревожатся.

Нет, чем-то надо заняться. Не дело это—вот так ночи напролет маяться и при виде первой юбки слюной исходить. Если он в молодости без баб обходился, то надо быть последним дураком, чтобы дать себя облапошить сейчас, когда он, пенни за пенни, доллар за долларом, скопил состояньице, спокойную старость себе обеспечил.

За стенкой, в соседней комнате, заскрипела кровать, кто-то ворочался — может, племянница или невестка. А Сальваторе все томился в полудреме, и мысли роем кружились в голове.

## IV

Тех окрестностей, что Сальваторе знал мальчишкой, и в помине не осталось. Не будь холмов и лощин, вдоль которых проходили границы владений, да знакомых примет — старинных облупившихся башен и креста над церковкой Святых душ,— он бы подумал, что память подвела: заблудился или по рассеянности не туда забрел.

В его время поля были сплошь изрезаны виноградниками, отделенными один от другого рядами смоковниц; лишь кое-где зеленела оливковая рощица, орешник или фруктовый садик вокруг редких усадеб, разбросанных вдоль невидимых дорог, которые только по крышам и угадывались, если смотреть откуда-нибудь с верхотуры.

А теперь, куда ни глянь, густо, как лес, растут лимонные деревья, растут неестественно ровными рядами — сразу чувствуется рука человека: здесь все рассчитано, подчинено жесткой схеме, холодной, как линии железобетонного сооружения; и в то же время в каждом узловатом утолщении ствола, в каждой ветке есть что-то волнующе плотское, и обузданное, и своевольное.

Добравшись до половины самого высокого холма, местными жителями именуемого Горушкой, Сальваторе присел на камень и положил ружье на колени — хотелось насладиться прогревшимся утренним воздухом.

Он тяжело дышал — не столько оттого, что одолел крутой подъем, сколько от дурманящего лимонного запаха. У ног его сбегали вниз, до самой кромки моря, террасы, полукружиями огибавшие холм. На

террасах росли наискосок лимонные деревья, совершенно одинаковые, словно отраженные в зеркале. Тут откуда-то из глубин памяти всплыло воспоминание о том, что он пережил еще совсем ребенком в Замке чудовищ, войдя в Парадный зал: он был тогда потрясен тем, что дерево, изображенное на фреске, стократно, тысячекратно повторялось в зеркалах. Прошло столько лет, а чувство, пережитое в детстве, нахлынуло и оглушило с прежней силой, почти до дурноты, как в тот далекий день, когда отец был вынужден поспешно увести его домой, извинившись перед смотрителем, который показывал им замок в благодарность за починку башмаков.

Из оцепенения его вывел один из новых клубных приятелей.

— День добрый, дон Сальваторе! — поздоровался он на старинный лад, отчего Сальваторе послышалось в его голосе что-то знакомое; порывшись в памяти, он вспомнил имя и фамилию этого человека, вспомнил его деда и отца: в облике его осталось что-то и от того и от другого. Дед и отец его были люди рассудительные и немногословные — до тех пор, пока речь не заходила о погоде; тут у них всегда находилось, что сказать: то они сетовали на засуху, то — если, не дай бог, ночью покрапал дождик — на сырость, якобы губительную для их посадок.

Сальваторе хорошо помнил и того и другого, они были соседями. Сначала на пороге дома сидел дед, потом, когда дед умер и место освободилось,— отец. У обоих были одни и те же привычки, одинаково бесхитростная речь, обоих волновал один и тот же вопрос: набрали ли силу «индийские морозы» и, стало быть, можно ли ожидать хорошего лета. Стоило появиться новому человеку, особенно если он слыл грамотеем, они тотчас подступали к нему с расспросами.

Сальваторе так никогда и не смог разобраться, о каких таких «индийских морозах» они толковали, даже после того как много лет спустя сообразил, что под Индией соседи подразумевали Америку, где он прожил тридцать четыре года и поистине промерз до костей. Из ответов умных людей тоже ничего не удавалось выяснить. Сидя рядом с отцом, не отрываясь от работы, Сальваторе вслушивался в разговор: ответы «грамотеев» были всегда уклончивы, вопрос всех ставил в тупик. Очевидно, никто, кроме стариков соседей, об этих таинственных морозах не слыхал.

Увидев перед собой их потомка, Сальваторе всполошился: уж не собирается ли он тоже задать ему тот же каверзный вопрос. Но одноклубник лишь проявил заботу — поинтересовался, как дон Сальваторе себя чувствует и не надо ли ему чего.

— У вас сегодня какой-то необычный вид,— заметил он.

Тогда Сальваторе признался, что поражен увиденным и осоловел от пряного запаха цветущих лимонных деревьев, для него непривычного и для здешних мест несвойственного. Уж кто-кто, а он этот край знает, он у него в Америке маячил перед глазами целых тридцать четыре года. (Срок немалый — за убийство и то меньше дают.)

Разговорившись, Сальваторе понемногу пришел в себя и выслушал объяснения нового приятеля по поводу здешних новшеств. Оказывается, виноградники погибли; две напасти на них обрушились: сначала пероноспора, потом филлоксера.

— Люди в панику ударились: ну, думают, не сегодня завтра по миру пойдем. Вот и решили разводить лимоны. За несколько лет весь край лимонными деревьями засадили, холмы и те приспособили: террасы разровняли, орошение наладили, у реки, вдоль дамбы, колодцы вырыли, стали воду наверх машинами качать; сперва моторы на нефти работали, потом перешли на электричество.

На вопросы земляк отвечал обстоятельно. Подробно объяснил, как надо дикорастущее деревце сажать, чтобы прижилось (чуть не метровой глубины яму рыть положено), как батраки расчищали холмы от камней и этими камнями террасы огораживали, как террасы все гуще засаживали деревьями. Постепенно крутые склоны холмов превратились в огромные лестницы, разделенные обводными канавками на четырехугольники.

— Люди из сил выбивались, в долги влезли — ведь от правительства никакой помощи не было. Особенно туго пришлось во время санкций[1]; после войны полегчало, потом опять трудности начались.

Из этого рассказа больше всего поразила Сальваторе одна подробность: как его земляки сумели удвоить урожай лимонов.

— Представляете? — продолжал словоохотливый собеседник.— В мае и в июне садоводы совсем перестают свои лимоны поливать, того гляди уморят. (Он говорил о деревьях, как говорят о скотине.) Потом набросают в ямку под каждое дерево удобрений и уж тогда напоят вволю. Деревья, разом очнувшись, такую набирают силу, что новые листья, целые ветки так и прут, так и прут. А уж когда цвести начинают... Ночью, после поливки, когда деревья просыпаются, они как живые, даже шевелятся, уростят, будто кони в стойле перед грозой или перед землетрясением.

Ветра вроде нет, а ветви взъерошены. Листва на макушках дыбом стоит, словно шерсть на спине у охотничьей собаки, когда она, учуяв дичь, замирает на месте; хозяин еще ничего не видит, но уже знает: где-то близко перепел.

Листья раскрываются и при этом даже потрескивают, как фасоль, когда ее ребятишки ногами лущат. А когда цветение начинается, вся округа благоухает, от пчел и от ос аж звон стоит.

Вот, оказывается, откуда этот дурманящий запах: это аромат пробуждения, наводнивший всю долину! Городок — как раз посередке, он и сам как лимонное дерево с раскидистой кроной, выросшей на прямом стволе — Главном проспекте, который разветвленными корнями-улочками нижнего квартала уходит в землю. Отсюда, сверху, Сальваторе отчетливо видел, как этот прямой ствол Главного проспекта терялся где-то в центре, на пересечении с Главной площадью, опутанной лабиринтом улиц и дворов.

Разговорчивый собеседник его продолжал что-то рассказывать, но Сальваторе почти не слушал — так захватила его эта фантастическая картина... Просыпающиеся деревья... Городок — тоже разросшийся, как дерево... Пробуждение! Ведь и сам он переживал сейчас нечто подобное.

Он тоже приехал из Америки высохшим деревом и теперь чувствовал, что оживает, с каждым днем набирает силу; появляется желание что-то делать, двигаться, продолжать жизнь с того места, где он ее тридцать четыре года назад прервал в погоне за счастьем, за деньгами — за «money», чтобы потом вернуться домой и безмятежно доживать остаток дней.

Долгие годы одиночества приучили Сальваторе размышлять вслух; видимо, и сейчас у него вырвалось несколько фраз, не обращенных к собеседнику.

Его новый знакомый опять забеспокоился, спросил, хорошо ли он себя чувствует. Сальваторе успокоил его, встал с камня и предложил отправиться в обратный путь вместе, пригласил к себе, обещал подарить сигару — из тех, дорогих, американских.

---

[1] Экономические санкции были применены к Италии Лигой наций в 1935 году в связи с нападением Италии на Эфиопию.

Долго просить себя земляк не заставил, и, мирно беседуя, они вскоре дошли до дома. Невестка Роза по обыкновению обрадовалась приходу Сальваторе, прямо как мать родная, словно только его и ждала. Но, увидев, что он привел с собой приятеля да еще собирается ему что-то подарить, помрачнела, насупилась, разворчалась, словно он в ее закрома полез. Сальваторе не обратил на нее внимания, только про себя подумал: «Ох уж эти бабы! Одно на уме: как бы побольше барахла в дом натаскать, будто на барахле свет клином сошелся».

Земляк поблагодарил и ушел — небось, удивился, почему это Американца так пронял его рассказ: то, что он ему сообщил, было известно каждому встречному-поперечному, притом не только сельскому жителю, но и лавочнику, и любому барину в клубе.

В Лимонном краю, как местные жители горделиво именовали свою долину, все теперь стали заправскими агрономами, специалистами-садоводами.

Их послушать, нет краше места на земле. На этот счет существовала целая теория — стоило появиться свежему человеку, как ее тотчас спешили ему изложить; приезжий снисходительно улыбался, но от него требовали большего: чтобы он безоговорочно признал их теорию такой же непреложной истиной, как существование святой троицы или чистилища.

Версия была проста и неопровержима, как дважды два четыре. Сальваторе тоже немедленно в нее уверовал. Ход рассуждения был таков: «Господь бог разделил мир на пять частей света — Европу, Азию, Африку, Океанию и Америку. Лучшая из них — Европа, лучшая страна Европы — Италия, лучшая часть Италии — Сицилия, а самое лучшее место на Сицилии — это Золотая долина и в центре ее — Лимонный край. Кто отсюда уедет, непременно вернется, а кто приедет, останется, потому что отсюда человека никуда не тянет,— пожив здесь, в другом месте не приживешься. Бог велел, чтобы мир принадлежал понятливым и зрячим, а непонятлив тот, кто не видит рядом с собой, не замечает благодати божьей; попросишь у такого: опиши страны, где ты побывал, он даже не знает, что сказать в ответ».

## V

«Правильно говорят,—размышлял Сальваторе,—что человек предполагает, а бог располагает». Никогда нельзя решать загодя, сегодня, что будешь делать завтра; непременно что-нибудь такое стрясется, о чем ты понятия не имел, чего в мыслях не держал,— и начинай все сызнова, действуй, шевели мозгами, прежних задумок как не бывало.

Он-то думал: вернусь домой и заживу на старости лет без всяких забот и хлопот. А вернулся — не терпится делом заняться; конечно, не на других спину гнуть, нет, а просто руки к чему-нибудь приложить. Он с каждым днем все больше чувствовал, что засиделся, что надо размяться.

Жилось ему неплохо: брат, невестка, племянница из кожи вон лезли, чтобы ему угодить, старались накормить повкуснее, угадывая его желание вспомнить вкус домашних блюд, которые когда-то еще мать к праздникам стряпала, потихоньку от своих, только с соседскими кумушками пошушукавшись. Обстирывала его племянница. Надевая чистую рубашку, Сальваторе принюхивался: ему казалось, что пахнет от нее молодой девушкой, пышущей здоровьем, как на рекламе витамина. Больше того, Мария, в знак благодарности за подарки, привезенные из Америки, желая показать, как она его любит, заду-

мала сделать дяде приятное: отложила в сторону свое приданое, над которым трудилась не покладая рук, и принялась шить ему шелковую рубашку. Сальваторе сначала отказывался: «Зачем она мне, что я — жених или барин благородных кровей?» Потом махнул рукой: делай, мол, как знаешь. Однако в глубине души просто млел от удовольствия и, вспомнив старинную присказку, посмеиваясь, говорил: «Лучше всего на свете — вода родниковая, пицца по-флотски да рубашка шелковая». И правда, что еще человеку надо?

Вода родниковая да рубашка шелковая... Хороша, как вода родниковая, его племянница Мария, задумавшая сшить ему господскую рубашку! Невестка тоже неплохая женщина, разве что немного корыстная. Одно и то же бубнит, все уши прожужжала: «По нынешним временам, чтобы девку как следует замуж выдать, мешок денег надо».

Разве он сам этого не понимает! Но ведь все, что он нажил в Америке, после его смерти ей же, Марии, достанется. Что до приданого, пусть мамаша не беспокоится, он и без ее просьб, по своей воле, докупит чего не хватает. «А с другой стороны, кому, как не матери, о будущем дочери печься? Не отцу же. Известное дело, мужик — только добытчик; конечно, если он человек с понятием, а не вертопрах; его дело — заработать и в дом принести, жене отдать, потому как дом на женщине держится: муж добывает, а жена в сундук прячет — конечно, если она хозяйка, а не мотовка».

Такие мысли тоже посещали Сальваторе, и было ему покойно, как царю Соломону. Иной раз, правда, закрадывалось сомнение — по своему ли почину племянница с ним ласкова, уж не мамаша ли подучила, но за такие мысли Сальваторе себя корил: грех на людей напраслину возводить.

«Все из-за бессонницы»,— говорил он себе, долго ворочаясь с боку на бок, перед тем как заснуть.

Однажды вечером, когда в доме все стихло и соседи угомонились, почудились ему какие-то шорохи на заднем дворе, где невестка держала кур,— со двора калитка выходила прямо в поле. Сальваторе прислушался и теперь уже отчетливо различил чьи-то шаги и приглушенные голоса. «Пришли кур воровать,— подумал он.— Пойти взглянуть, что там такое... в случае чего возьму ружье и пальну раза два для устрашения».

Он пересек свою темную комнатушку, распахнул дверь, и тут, в лунном свете, предстало перед ним ангельское видение: в прозрачной ночной рубашке, одной из тех, которые он привез ей из Америки, стояла Мария. Сияла полная луна, летняя ночь была светлее дня. Сальваторе обомлел. Его обуял непонятный страх, била крупная дрожь, подкашивались ноги, а взгляд был прикован к четким очертаниям девичьего стана. Первой пришла в себя Мария. Она приблизилась к нему вплотную и прошептала:

— Дядя, и тебе не спится, захотелось проветриться? Духота...

— Да,— с трудом выдавил из себя Сальваторе.

У него звенело в ушах. Мерещились удалявшиеся шаги.

Как-то так получилось, что он обнял Марию и медленно, однако без особого труда — усилия не потребовалось — прижал к себе. Мария не очень противилась, отстраняла его, но не резко и лишь тихо-тихо шептала:

— Нет, дядя, здесь нельзя, не ровен час, отец с матерью увидят. Давай уйдем... Спать надо...

И она легонько подтолкнула Сальваторе к двери его комнатушки. Он задержал ее руку в своей, молча приглашая с собой. Мария при-

няла приглашение, но проявила твердость: по-матерински, как непослушного ребенка, уложила его в постель. Ни слова не говоря, в темноте, Сальваторе снова притянул ее к себе, Мария села рядом, и он опять, как в прошлый раз, начал жадно гладить ее тело...



## VI

На следующее утро Сальваторе встал раньше, чем обычно. Невестка с племянницей еще даже не успели приготовить завтрак и, увидев его, разохались:

— Опять этот дармоед-козлятник молока не принес!

Сальваторе уговаривал не беспокоиться, несколько раз повторил, что может обойтись и без молока.

— Лучше купите мне две лепешки,— попросил он.— Говорят, в закусочной на ближней площади отменные гороховые лепешки на хорошем масле жарят.

— Что это за еда! Неужто вы, солидный человек, будете есть лепешки наравне с мужниным подмастерьем?! — урезонивала его невестка. Однако уважила деверя: послала дочь за лепешками к завтраку.

Когда они остались вдвоем, снова зашел разговор о приданом, только на этот раз его завел сам Сальваторе — предложил съездить с ними, с матерью и дочерью, в город за покупками. Но невестка не могла отлучиться из дома даже на полдня: затеяла варить томатную пасту.

— А вы поезжайте вдвоем! — посоветовала она.— Ничего зазорного в этом нет, с дядей можно: отцов брат, кровная родня.

Такое предложение показалось Сальваторе манной небесной, он обрадовался, что пробудет с племянницей целый день, всласть на нее наглядится. Поговорят на свободе — может, и о том, что было прошлой ночью: Сальваторе хотелось убедиться, что это был не сон. Впрочем, напрямик говорить, наверное не стоит, чтобы себя же в затруднительное положение не поставить. Вспоминая, что же все-таки между ними было, Сальваторе сам не мог сказать, много было или мало и что именно.

Когда вернулась Мария, мать ей рассказала, о чем они тут с дядей толковали.

— Поезжайте в город и купите все, чего недостает для приданого! — решительно распорядилась она.

Мария не возражала, только спросила, известно ли об этом отцу. Мать нетерпеливо оборвала ее:

— Вы поезжайте! Отцу я сама скажу. Что тут рассусоливать? А ты, дочка, не канителься, не то на автобус опоздаете! Жалко такой случай упускать: дядя человек бывалый, знает, что купить, что посоветовать.

Переодеваться Сальваторе не стал: он теперь с утра щеголял в новом костюме, в таком виде и в городе показаться не стыдно. А Мария провозилась недолго, так что на площадь они поспели вовремя, на автобус не опоздали. Однако Сальваторе заявил племяннице, что он не мужлан какой-нибудь, чтобы трястись в автобусе.

— Мы с тобой на машине поедем,— сказал он и в два счета сговорился с водителем, целыми днями торчавшим на площади в ожидании пассажира или какого-нибудь поручения.

Марии дядино решение явно понравилось: по ней видно было, что ей приятно ехать с дядей в автомобиле, расположившись на зад-

нем сиденье, совсем как богатые господа, которые дважды в день, в дождь и в вёдро, катаются в город и обратно.

В машине Сальваторе держал Марию за руку, то и дело поглаживал ей колено. Она взглядом показывала на водителя, умоляла сидеть смирно, но Сальваторе только плечами пожимал: дескать, ерунда, он за рулем, ему не до нас. Мария была благоразумнее и продолжала молча отбиваться. Поняв, однако, что дядю не переупрямишь, она разложила на коленях жакетку: теперь Сальваторе мог незаметно гладить ее ноги под юбкой и чувствовать ее тепло.

Так они доехали до города и отправились по магазинам.

Покупки Мария делала сама: Сальваторе не знал бы, как к этому и подступиться, даже если бы они вдруг очутились в Нью-Йорке. Он, хоть и прожил там много лет, у витрин не останавливался, держался подальше от соблазна. Да и ни к чему было. А теперь он всячески уговаривал племянницу не жалеть денег. Мария, привыкшая обходиться немногим, не хотела покупать лишнего — зачем зря транжирить?

Обедать пошли в ресторан на узкой улочке около театра. В ресторане было полно народу. Перед официантами оба робели, но обслужили их хорошо, к Сальваторе обращались уважительно, называли «кавальере».

Потом они долго брели по длинному, обсаженному деревьями бульвару, который вел к огромному парку. Наконец настала пора возвращаться домой, и они направились на автобусную остановку к площади, где вдоль тротуаров росли пальмы.

Нагруженные свертками, пакетами и пакетиками, они кое-как втиснулись в битком набитый автобус и пристроились стоя, в углу. Мария смотрела в окно, а Сальваторе встал позади, чтобы входившие и выходившие на остановках пассажиры не толкали ее. В какой-то момент на него так навалились сзади, что он совсем на нее лег, пошевелиться сил не было, ни вздохнуть, ни охнуть. Ее волосы лезли ему в лицо: пришлось отвести их в сторону, чтобы спросить, придет ли она опять к нему ночью. Сальваторе показалось, что Мария ответила согласием.

Дома их ждали невестка — с улыбкой в глазах и брат — в нетерпеливом предвкушении ужина. Прежде чем сесть за стол, осмотрели покупки, в один голос их одобрили, осыпали Сальваторе благодарностями — он только отмахивался.

Поужинав, почти сразу легли спать. Все устали: брат с невесткой после трудового дня, а Сальваторе с Марией — от поездки.

Сальваторе, однако, не засыпал, ждал, когда послышится храп брата и затрудненное дыхание невестки. Интересно, придет Мария или не придет? Он даже не заметил — видно, и его сморила усталость,— как она очутилась рядом, присела к нему на кровать. Мария поцеловала дядю в щеку и сказала, что пришла еще раз его поблагодарить.

— Только ради бога, дядечка, не надо как вчера! — лепетала она.— Это смертный грех. Если даже я покаюсь на исповеди — на великий пост в большой церкви исповедоваться буду,— бог меня не простит.

Сальваторе не знал, что ей на это ответить, лишь твердил: «Ах ты моя красавица!» — и всякий раз, как Мария порывалась уйти, удерживал ее и нежно гладил. Наконец она сдалась и позволила ласкать себя, как накануне, но наотрез отказалась выполнить просьбу — лечь рядом.

# VII

Для всякой другой женщины ремонт в доме — божье наказанье, но только не для Марии и ее матери; эти, наоборот, ждали каменщиков как божьего благословения. Расторопные мастера заражали их своей энергией: замешивая известь с песком, обтачивая камни, натягивая шпагат, они сновали вверх-вниз по лестнице, и Мария с матерью просто не могли усидеть на месте — предлагали свои услуги, целый день жарили-парили баклажаны, рыбные биточки, таскали вино бутылями, словно кормили не поденщиков, а именитых гостей.

Мастера, в благодарность за такое обхождение, работали не за страх, а за совесть, особенно молодые парни — подручные. Видя, что Мария все время возле них увивается, они из кожи вон лезли, каждый стремился свою удаль показать, привлечь к себе внимание.

Сальваторе тоже втянулся в этот коловорот и даже изменил своей привычке ежедневно захаживать в клуб. Он целыми днями не отходил от подрядчика, обсуждал с ним планировку второго этажа. По его замыслу надстройку надо было разгородить на три комнаты: две одинаковые — с окнами по фасаду и третью — направо от лестницы, с умывальником, со стенным шкафом, с большим слуховым окном, чтобы побольше света было и воздуха; в углу третьей комнаты Сальваторе предлагал поставить железную винтовую лестницу, чтобы можно было отсюда выйти на террасу — белье развесить, в летние вечера свежим воздухом подышать.

Не приглашать же архитектора ради такого дела! А спорам его с подрядчиком, казалось, не будет конца: то они никак не могли сговориться насчет величины окон, то препирались, где прорубать двери в большой комнате, как ставить винтовую лестницу, какой плиткой выкладывать пол. Время шло, но и работа помаленьку двигалась.

С племянницей дела обстояли вроде получше. А может, и хуже — смотря с какой стороны подойти. Не всякий вечер Сальваторе находил предлог, чтобы зазвать ее к себе, а потому частенько маялся бессонницей.

В один из таких неудачных вечеров он вспомнил, что привез из Америки две или три коробки гаванских сигар, и с того раза приноровился взбираться на недостроенный второй этаж — покурить и спокойно поразмыслить о прожитом дне, одновременно прислушиваясь к тому, что делалось в доме. Раза два или три он, не докурив сигары, опрометью кидался вниз: ему мерещились легкие шаги Марии — а вдруг надумала его навестить?

Но чаще Сальваторе докуривал сигару до конца и, швырнув толстый окурок на улицу, дожидался прихода двух известных на весь городок «окурочников». Как они пронюхали про эту его новую привычку, уму непостижимо. Каждый «окурочник» старался поспеть первым, опередить конкурента.

Для Сальваторе в то лето они стали неотъемлемой частью его ночных бдений — как полет сов, плач прихворнувшего ребенка, отголоски то разгоравшихся, то стихавших перепалок между мужьями и женами в соседних домах, падение звезды, оставляющей огненный след, пение петухов около полуночи. («Недаром в старину петухов называли полуночниками»,— отмечал он про себя.)

Обычно первый «окурочник» опережал второго ненадолго; опоздавший разражался проклятьями, осыпал своего более удачливого собрата упреками, обвинял в каких-то очень сложных нарушениях законов ремесла. Сальваторе заметил, что «окурочники» горячатся и входят в раж совершенно так же, как честные работяги, запо-

рившие о работе,— работа есть работа, и выполнять ее надо по правилам, как полагается. Сальваторе захотелось понаблюдать за ними, вслушаться в их разговоры. Так он узнал, что больше всего окурков бывает на тротуаре около клуба, немало — у входа в другие общественные места; возле кинотеатров и в центральной части Главного проспекта сбор идет нормально, а на остальных улицах можно не искать, там поживиться нечем. Выяснилось также, что сюда, на окраину, они приходили специально для того, чтобы подобрать окурок его гаванской сигары. Согнувшись в три погибели, они шныряли чуть ли не на четвереньках от двери к двери, как бездомные псы, вынюхивающие, не подвернется ли что-нибудь съедобное.

Каменщики управились меньше чем за месяц. Сальваторе прикупил кое-что из мебели: для себя — кровать, шкаф, два стула, столик; в дом — комод для племянницы, несколько картинок на стены и еще каких-то вещиц, по словам женщин, необходимых как воздух, в действительности же только загромождавших комнаты — потом не знаешь, куда их девать: продал бы старьевщику, да неудобно перед соседями, еще подумают, что нуждаешься.

Когда все было приведено в порядок, Сальваторе переехал в свою новую комнату — как поднимешься по лестнице, сразу налево — и, стало быть, освободил племяннице ее закуток. Но невестка рассудила иначе:

— Марии лучше перебраться наверх: пусть наконец и у нее будет комната с окном.

Предложение невестки пришлось Сальваторе как нельзя более по душе, но, чтобы не испортить дела и не выдать себя неосторожным замечанием, он промолчал, сделал вид, будто даже не слышал, о чем речь.

Мария тоже не сказала ни «да», ни «нет», так что невестка сама все и решила.

«Если наши комнаты будут рядом, а брат с женой останутся внизу,— размышлял Сальваторе,— подавно не устоишь перед соблазном». Тем более что в последнее время Мария стала все чаще поддаваться дядиным уговорам навестить его вечером.

Ему иной раз думалось: «А чем мы не муж и жена?» Если бы еще Мария перестала артачиться и позволила ему все, до конца! Но Мария не позволяла.

Только один раз, после долгих уговоров, согласилась лечь рядом, однако, как только он приподнялся, рывком повернулась на бок — чуть с кровати его не скинула. Каких трудов ему стоило после этого удержать ее хоть ненадолго!

Однажды вечером, в ожидании племянницы, Сальваторе стоял у окна и курил — теперь это прочно вошло у него в привычку. Американские сигары кончились, пришлось наведаться в табачную лавку и купить тосканских. С этим обстоятельством было связано его первое с момента возвращения на родину настоящее огорчение. В тот вечер, когда он перешел на тосканские сигары, «окурочник», не обнаружив гаванского окурка, сначала принялся поносить своего конкурента, но когда подоспел и тот, они сообразили, что американских окурков больше не будет, кончились.

— Факт! — орал второй «окурочник».— Ты же сам только что «полутосканку» подобрал. Чуешь, как воняет?

— Все они, эти «американцы», одним миром мазаны! — вторил ему первый.— Приезжают эдакими господами, балакают не по-нашему, сигары курят, как черчилли. Идет такой барин по Главному проспекту, сразу видно: ждет, чтобы ему кланялись. Еще бы, у него ведь долларов куры не клюют! А на поверку выходит, что у

барина только всего и денег, чтоб халупу починить, ту самую, из которой он когда-то за океан отправился. Доживать-то придется, видно, на пособие...

Слушая их болтовню, Сальваторе едва поспевал заводить средний палец за указательный — от сглаза; еще чаще, чем в то утро, когда ему попались навстречу, один за другим, доктор, священник и могильщик. У него руки чесались проучить нахалов. К счастью, отвлекла племянница.

В тот вечер она пришла явно с намерением попросить денег, но не решалась. Сальваторе сам сунул ей в руки кошелек. Мария вытащила большую бумажку — десять тысяч лир, после чего начались их ежевечерние забавы. Однако ничего более серьезного она ему и тогда не позволила.



## VIII

Каждому овощу свое время, но лето — время особенное, по крайней мере, в здешних краях: самое долгое, самое богатое фруктами. Только летом и живешь в полное удовольствие. Тянется оно без конца, день за днем, день за днем... Небо всегда ясное. Выглянешь в окно — женщины хлопочут по хозяйству, помешивают томатную пасту, обычные разговоры разговаривают.

Об Америке Сальваторе почти не вспоминал больше. Он свою Америку только теперь нашел: можно жить — не тужить, о своих делах наконец подумать; хватит другим угождать, набойки, подметки приколачивать.

Все бы хорошо, если бы не история с племянницей, застрявшая на мертвой точке. Казалось бы, всего добился, а вдуматься — ничего. Одно и то же почти каждый вечер, а что завтра будет, неизвестно.

Мария нет-нет да и спохватится:

— Дядя, дядя, так больше нельзя! Отец или мать в конце концов догадаются, такой тарарам поднимут!..

Сальваторе пропускал ее слова мимо ушей. Что он мог ей ответить? О женитьбе он и не заговаривал. Раз попробовал, так она расхохоталась ему в лицо, и он лишился даже того малого, что наверняка вечером получил бы, если бы не сунулся со своим предложением.

Но вот беда: Мария сама стала поговаривать о замужестве. Не навязчиво, а так, к слову, и не уточняя, за кого собирается и когда. Одно ясно, что не за него. «Есть даже такой закон, который запрещает брак между дядей и племянницей»,— бойко разъяснила она. Сальваторе чувствовал, что разговор этот неспроста, что она его испытывает, хочет проверить, как он настроен.

Между тем приданое было почти готово, дом привели в порядок, а племянница стала еще краше прежнего, налилась, как слива спелая. Прохожий увидит, слюнки потекут. Он не будет долго раздумывать да расспрашивать, чья да откуда: хвать — и в рот. Ведь сорвать, чтобы съесть, воровством не считается.

А что она кому-то приглянулась, Сальваторе нутром чувствовал.

С тем же подкатилась к нему и невестка: мол, девке замуж пора, вон какая вымахала. Девичья краса короче, чем коса.

На невесткины слова он тоже никак не отозвался. Что говорить-то? Послать их всех подальше? Дескать, мне с Марией и так неплохо, пускай себе живет рядышком, меня, старика, ублажает, а что не до конца, так это не важно, я все равно благодаря ей и про свои американские годы забыл, душой и телом окреп, молодость вернул.

Были свои соображения, однако, и у невестки Розы. Осла сколько ни понукай, коли он пить не хочет, силком не заставишь. Когда она увидела, что Сальваторе на это ухо туг, она про себя решила: хоть деверя нам в дом сам бог послал, дочка мне дороже. Кто о ней, кроме меня, позаботится, пристроит, пока не перестарок еще? В девках засидится, как печеное яблоко сморщится, поздно будет.

И вот однажды вечером — еще за столом все сидели — Раффаэле (не сразу, исподволь) сообщил, что приходили сватать Марию. Предложение хорошее, не от первого встречного, от человека с образованием: дон Джованнино — учитель, но служит в муниципалитете; тамошний секретарь, его дружок, устроил в канцелярию, работа легкая, а жалованье порядочное. Это куда лучше, чем в школе с чужими детьми, лоботрясами, возиться. Маменьки ведь думают: «Ежели мое дитятко не успевает, значит, учитель виноват». На самом же деле виноват священник: при крещении соли пожалел, недоложил. Оттого и получаются недоросли.

Покуда отец разглагольствовал, Мария сидела потупившись — ни слова не сказала, будто не о ней речь.

Потом подключилась мамаша, принялась этого Джованнино нахваливать.

— А главное,— говорит,— у него честные намерения.

Сальваторе послышалось, что на последние слова она сделала особый упор. Не зная, что сказать, он промолчал. Раз так, Раффаэле прервал жену, продолжавшую без умолку расхваливать жениховы достоинства, на полуслове и подвел итог:

— Я вижу, все согласны. Вот и хорошо! Стало быть, отвечу, что я не против.

Под конец он обратился к Марии. Та молча кивнула с таким видом, будто ей ничего другого, как подчиниться родительской воле, не остается.

— В воскресенье устроим смотрины,— объявил Раффаэле.— Никаких разносолов не будет — придет женихова родня, выпьем по рюмочке, и дело с концом.

## IX

Никчемное занятие — в муниципалитете чернила изводить, сидеть на шее у государства, вернее, у простого народа, потому как государство, правительство — все равно что банк для богачей. А бедняцкий банк — кладбище. Недаром муниципальный служитель накануне престольного праздника (в этот день всегда скачки устраивают) объявляет: «Его превосходительство господин мэр предупреждает, что во время бегов каждый сам должен думать о себе, о своих чадах и домочадцах. Кто жизни лишится, пусть взыскивает с кладбища». А кто может лишиться жизни во время бегов? Только беднота. Богатые у себя дома, на Главном проспекте, из окон лошадьми любуются; сидят себе в безопасности, орешки щелкают, семечки грызут, скорлупу-шелуху вниз швыряют, на пришлый люд, который со всех сторон — из Олеандри, из Аниме-Сантэ, из Даммузелли — стекается, на тротуарах толпится, муниципальных стражников и карабинеров до седьмого пота доводит.

Никчемное это занятие — штаны в муниципалитете просиживать. Работенка не бей лежачего. Знай одно: по каждому поводу денежки вытягивай, добрых людей за нос води. Придет к нему бедная женщина или старик, просит документ выправить, а что за документ,

не знает — ведь толком никто никогда не объяснит; так у него, щелкопера, терпенья не хватает человека выслушать, он еще из себя выходит!

Чернила, что ли, на них так действуют? Как отрава! От чернил у них животы пучит, желудок не варит. Пыхтят, отдуваются, вечно им жарко, и зимой и летом, то и дело к лимонаду прикладываются, к содовой, а потом рыгают тебе в физиономию.

И за такого вот хлыща спесивого, с сигаретой в зубах, в модной шляпе, в начищенных полуботиночках, племянница замуж выходит!

Простыни льняные, молочно-белые, на его, Сальваторе, кровные денежки купленные, этому вертопраху чернявому достанутся, черными пятнами пойдут!

Стены, недавно побеленные, тоже почернеют, весь дом чернилами пропитается, и тело Марии, и душа. Все черным-черно будет из-за этого бродяги, дармоеда-нахлебника! Есть такая птица обманная — охотники ее не бьют, проку никакого, жалко зря дробь изводить, а если кто и подстрелит, то невзначай или чтобы душу отвести; так вот Джованнино — точь-в-точь как эта птица бесполезная.

Брат Раффаэле тоже хорош. Стоило ради этого холуя казенного всю жизнь в кузне, у наковальни, у раскаленного горна маяться! «Он на службе у правительства...» Знаем мы это правительство! Только голову морочит. Муниципалитет объявление на всех углах вывесит, а о чем оно, не понять, даже если аршинными буквами напечатано: слова заумные и все приказы, приказы... Лучше не вникать. Заранее известно, к чему они, душегубы, клонят — чтобы налогов побольше платили. О чем бы речь ни зашла, налоговый инспектор тут как тут, такой же щелкопер — чернильная душа, как и тот, что скоро в доме брата поселится, под одной крышей будет жить с братниной семьей и с ним, Сальваторе-Американцем, который всю жизнь дратву вощил, гвозди заколачивал, кровью харкал ради того, чтобы домой вернуться и ни у кого не одалживаться. Только ради этого, а уж конечно не для того, чтобы то немногое, что он пóтом и кровью заработал, собаке под хвост выбросить.

В старой пословице так и сказано: «Мясо — хозяину, а собаке — кости».

Он ни одного пенни зря не истратил, копил, чтобы на старости лет в довольстве пожить, а вовсе не для того, чтобы первому же сукиному сыну, который в дом вотрется, свое добро отдать.

Зачем ты, Американец, сюда приехал? Чтобы первый же пес, поднявший лапу возле твоего порога, в штанину тебе вцепился?

Человек тридцать четыре года в Америке мучился, целый божий день — за верстаком, аж мозоли на заду натер, жил впроголодь, святым духом питался, и что теперь? Теперь неизвестно даже, кому твои денежки достанутся — родне единокровной или первому попавшемуся прощелыге.

Мысли эти не давали Сальваторе покоя, дырку в голове сделали, печенку выели.

Подойдя по обыкновению к окну, он в тот вечер даже о сигаре забыл.

О племяннице Сальваторе почти и не думал, от братниных и невесткиных разговоров у него желчь разлилась, а потому он даже не услышал, как она вошла.

Мария прижалась к нему, но он словно одеревенел, головы не повернул. Тогда она пожелала дяде спокойной ночи, чмокнула куда-то между щекой и ухом и убежала спать.

Поцелуй этот ожег Сальваторе, как тот зубчик чеснока, который сунули ему когда-то в детстве в попку от глистов,— сунули, молитву

пошептали, пупок перекрестили. Но чеснок, по крайней мере, пользу принес, глистов выгнал...

Что ему теперь оставалось делать? Взять Марию силой? К ней не подступишься. И потом, если дойдет до брата с невесткой, а теперь еще и до жениха, черт-те что может получиться.

Силу применить он пытался и раньше, но Мария всегда умудрялась держать его на расстоянии, делала так, чтобы он в обиде не остался, но до конца не доводила, блюла то, что девице до замужества блюсти положено. И кто только выдумал это замужество! Приходит в твой дом посторонний человек, и ты собственными руками отдаешь ему свое, кровное. Откуда его принесло, почему именно к тебе — неизвестно; зыркнул в одно окно, в другое, сообразил, что твой товар самый лучший, — и готово.

Странно устроен мир все-таки. Пьет человек изо дня в день паршивое покупное вино, до заветной бутылки не дотрагивается, старается о ней забыть, для гостей приберегает. А гости приходят когда, ему не до выпивки: по случаю рождения ребенка, обручения дочери, болезни или смерти. Если и поднесут, в горло не идет, всякий раз что-нибудь да отравляет удовольствие.

Это уж точно. Даже когда ребенок рождается, первенец. Что говорить, событие радостное, но и оно против тебя оборачивается: жене теперь между сыном и мужем разрываться приходится.

Все-таки надо иметь в жизни что-нибудь кроме развлечений. Нельзя целыми днями торчать в клубе, а вечера просиживать у окна. Слоняться без конца по Главному проспекту тоже не дело: еще подумают, что решил на старости лет жениться, вот и ищет повода лишний раз пройтись мимо дома своей суженой.

А он-то думал — теперь у него все есть: деньги, крыша над головой, все, вплоть до женской ласки... А того не подумал, что даже хромоножка — и та замуж стремится, что на каждую женщину рано или поздно охотник находится; надо уж, чтобы страшнее смерти была, чтоб от этой мысли отрешилась.

К Марии он привык. К хорошему быстро привыкают. Уложи человека на шерстяной тюфяк после того, как он всю жизнь на соломе спал: поначалу ему покажется, что он в лодке по морю плывет или, как в младенчестве, у мамки под боком в люльке качается; а скоро, глядишь, привык, будто так и надо.

Он теперь без Марии не мог: в привычку вошло, пристрастился — точно к этой сигаре, которую, сам не заметив как, закурил.

## X

Чужой человек — он чужой и есть. Если свой лишнего наговорит, можно пропустить мимо ушей, и все останется как было. А чужой скажет — обидно. Как узнать, что в его словах кроется, куда он клонит? Иметь чужого человека в доме — все равно что собаку или кошку: ты можешь ее любить, холить, баловать, но не станешь же ты требовать, чтобы она рассуждала по-человечьи! Правильно говорил аббат Мели: природа свое берет, никакой надежды на то, что животных можно заставить заговорить или что они сами заговорят, нет и быть не может.

Так же и с чужим человеком. Ты можешь почувствовать к нему расположение, любить его, угощать, но добро свое ты ему по своей воле не отдашь. Разве только силой вынудят, а полюбовно — никогда.

Да, плохи твои дела, Сальваторе. И надо же было свалиться на твою голову этому жениху чернильному! Ведь он не только племян-

ницу у тебя скоро отнимет, но и добром твоим завладеет, а оно тебе по́том и кровью далось, половине Нью-Йорка подметки перечинил, пока нажил. Других наследников у Сальваторе не было, только эта племянница и сын сестры, которого он в глаза не видел. Раньше он предполагал оставить большую часть Марии, остальное — племяннику.

А что будет теперь? Теперь, когда появился этот учителишка — чернильная душа, кровосос, пиявка на теле народа? Сальваторе не то что видеть, имени его слышать не мог. С тех пор как жених зачастил в дом, Сальваторе старался проводить больше времени в клубе, в беседах с приятелями. И все равно избежать встреч не удавалось. Сталкиваясь с Джованнино в дверях, надо было здороваться: ничего не поделаешь, будущий родственник.

Раза два пришлось за столом вместе сидеть, смотреть, как он уплетает за обе щеки, слушать его рассуждения. Джованнино вещал, будто проповедник; брат, невестка и Мария слушали развесив уши, даже есть забывали — точь-в-точь как та овца: заблеет — жвачка изо рта вываливается. Сальваторе, чтобы не связываться, притворялся, будто ничего не слышит, наскоро доедал обед и снова уходил в клуб. Невестка и Мария хоть виду и не подавали, однако все понимали; брат же, должно быть, и в самом деле ничего не замечал, такой уж человек. Его распирало от гордости: еще бы, такое счастье привалило, зять — муниципальный служащий!

Мало-помалу Сальваторе привык в их беседы не вмешиваться, своего мнения не высказывать — сидел как воды в рот набрав. Это он-то, проживший тридцать четыре года в Америке! Все-таки не чета своему брату, кузнецу, который всю жизнь так и проторчал в захолустье, сроду этих четырех стен не покидал. Брата Раффаэле слышно было, только когда он ковал железо или когда чихал. Оглушительный чих его знала вся округа: если при ясном небе раздавались отдаленные раскаты грома или доносился приглушенный расстоянием взрыв, кто-нибудь непременно спрашивал: «Уж не мастер ли Раффаэле чихает?»

И все же слово — серебро, а молчание — золото: Сальваторе держал язык за зубами.

Однако когда в доме чужой человек, даже если он к тебе прямого отношения не имеет, это всегда заноза: рано или поздно даст себя почувствовать, никуда не денешься. К тому все шло, так оно и случилось. Как-то раз заговорил жених о Германии, что-де она проиграла войну из-за предательства, а не потому, что американцы хорошие вояки. «Немцы,— говорит,— самые образованные люди в мире. Они такие станки, такие инструменты делать умеют, какие другим и не снились. Американцев мы видели: чистоплюи, воевали, сидя в автомобиле, с фотоаппаратами».

У Сальваторе аж в глазах потемнело, не смог он смолчать — встрял в разговор. «Я,— говорит,— Америку тоже знаю.— А у самого глаза из орбит вылезают, жилы на шее вздулись.— Немцы американцам в подметки не годятся! А главное, чем мне Америка нравится,— тут Сальваторе увлекся, забыл, что сам-то язык без костей, но кости ломает,—тем, что Америкой заправляют не канцелярские крысы, не гербовая бумага, не адвокаты, и тем еще, что она не такая, как Германия, где один всеми командует и по его команде все в пекло лезут. В Америке,— горячился Сальваторе,— у нас демократия, все равны, каждый может высказывать, что думает, без опасения, что какая-нибудь канцелярская крыса одним росчерком пера сотрет тебя в порошок только потому, что в его руках власть и что бедному человеку некуда податься».

Обед был испорчен. Мария сидела ни жива ни мертва, отец с матерью не знали, как унять разбушевавшегося родственника.

Сальваторе сам вывел их из затруднения — встал и ушел в клуб, где описал разыгравшуюся сцену приятелям, таким же «американцам», как он сам. Те его поддержали, тоже сказали свое слово насчет щелкоперов, которые заправляют в любом итальянском городе.

Сальваторе понемногу успокоился и, когда беседа вошла в привычное русло, сообщил последнюю новость: в палермском порту грузят лимоны на русский пароход — значит, цены на лимоны поднимутся, несмотря на конкуренцию Израиля, от которой стонет вся Европа.

Наступил вечер. Все было как всегда: на площади толпились батраки в ожидании, чтобы им сказали, к кому на следующий день идти работать; у поворота на Главный проспект разворачивались автобусы; автомобили и повозки запрудили улицу, образовалась пробка; стайки мальчишек и собак увивались вокруг продавцов вареных потрохов. Казалось, этому столпотворению не будет конца, но в действительности оно длилось не больше часа: так городишко подводил итог прожитого дня и делал наметки на завтра. Постепенно площадь опустела, остались только начальник карабинеров, прогуливавшийся об руку с судьей, да адвокаты, спорившие о политике так громко, словно судьбы мира заботили их больше, чем больная печень и несбывшаяся надежда найти дочке мужа-садовладельца. Адвокатские дочки почему-то все как на подбор неказистые — ни наряды, ни ухищрения парикмахерш не помогают; может, папашины доходы богом прокляты?

И все-таки этому дню не суждено было кончиться, как кончались все предыдущие,— по крайней мере, для Сальваторе. Началось со ссоры с женихом племянницы. Но до того, как лечь спать в своей светелке, которая встала ему дороже, чем барские хоромы (так Сальваторе считал и с мыслью этой свыкся), ему еще предстояло хлебнуть горя.

В тот момент, когда Сальваторе с помощью лимонада и соды (на сей раз и он к этому средству прибегнул) пытался избавиться от горечи во рту — последствий дневной нервотрепки,— его окликнул некий субъект, которого Сальваторе знал лишь по виду, из тех, что ходят, надвинув шляпу на глаза и зажав в углу рта потухшую сигару. Детина килограммов на девяносто. Жил этот господин в особняке какого-то герцога или маркиза — много их тут было когда-то — и привык к тому, чтобы все в городке, включая начальника карабинеров, духовенство и местного депутата, почтительно с ним раскланивались. Такой, если захочет, может мухам запретить летать поблизости, а если одному не справиться, у него всегда на подхвате кто-нибудь найдется, стоит только свистнуть — со всех сторон примчатся, даже из Рима; те воображают,- что сами командуют, однако голоса, чтобы в парламент попасть, он для них добывает, по крайней мере, в здешних местах, ему подвластных.

Сальваторе, направляясь к окликнувшей его всеми уважаемой персоне, мысленно прикидывал: беседовать ему с этим господином не о чем, он с ним не знаком, никаких дел никогда не имел. Однако же, подойдя, поздоровался как можно почтительнее:

— Благослови вас бог, дядя Нино!

Тот не менее вежливо ответил:

— Мое вам почтение, дон Сальваторе! Мне бы надо кое о чем вас попросить, но только не здесь — здесь, в клубе, слишком людно. Казалось бы, все немые, безъязыкие, а потом выясняется: болтуны.

Сальваторе не заставил себя просить и не спеша направился к выходу послушать, что же скажет ему знаменитый дядя Нино, к мнению которого прислушивается вся округа.

Дядя Нино долго его не томил. Не повышая голоса, но с решительностью человека, уверенного, что перечить ему не станут, он попросил впредь, разговаривая с порядочными людьми, а особенно с его закадычным другом, доном Джованнино Лигой, женихом племянницы дона Сальваторе, быть осторожнее в выборе выражений.

Такой отповеди Сальваторе никак не ожидал и на какое-то время просто лишился дара речи. Его собеседник, предвидя резкий отпор, решил покуда не нажимать, заговорить о другом, чтобы дать Сальваторе время сообразить, кто перед ним стоит и как он, дядя Нино, умеет быть полезным друзьям, если они нуждаются в его помощи и заслуживают ее. Но Сальваторе все это пропустил мимо ушей. Наконец, его прорвало.

— Вот уж не ожидал, что близкий человек, без пяти минут родственник, да еще намного меня моложе, проявит такое неуважение, посмеет мне угрожать! — возмутился он. И пересказал покровителю Джованнино утренний разговор, особенно напирая на то, что его друг оскорблял американцев.

Дядя Нино успокоил Сальваторе, заверил, что отныне Джованнино будет относиться к нему уважительно, сверхуважительно, но попросил, чтобы и он, дон Сальваторе, взвешивал свои слова.

— Можете по-прежнему рассчитывать на мою дружбу и простите за беспокойство!

На том разговор и кончился. Дядя Нино, не отвечая на подобострастные приветствия встречных, зашагал по Главному проспекту в сторону моря, домой, в особняк какого-то герцога или маркиза — много их тут было когда-то.

Сальваторе не знал, что и подумать. Дядя Нино не из тех, кто станет напрасно трепать языком, если уж он вступился за этого щелкопера — жениха Марии, значит, Джованнино его человек. Ну и времена! Деятель такого размаха, как дядя Нино, не стесняется показать, что заинтересован в какой-то канцелярской крысе! В прежнее время они бы друг друга чурались, делали вид, что в глаза один другого не видали. А теперь орудуют заодно, на основе взаимного уважения, открыто друг друга поддерживают!

О дяде Нино знали в городке многое, без конца пересказывали друг другу его подвиги — то ли со страхом, то ли с восхищением, то ли с завистью, не поймешь. Так уж в Лимонном краю повелось. Все понимают: лучше бы таких людей, как дядя Нино, не было, но каждый старается заручиться его дружбой, заискивает больше, чем перед властями, чем перед политиканами или перед врачом. Врач промахнется, не тем лекарством напоит — не велика беда, отлежишься; а такие люди, как дядя Нино, в выборе лекарства не ошибаются — прямо на погост, минуя аптеку, отправляют. И всегда за дело: знай свое место, не суйся куда не надо.

«Розги полезнее хлеба» — любимая поговорка обитателей Лимонного края, и, если находится человек, который пускает их в ход со знанием дела, в глубине души все рады. До тех пор, конечно, покуда удар не обрушивается на собственную спину.

Чего только про дядю Нино не рассказывали! Например, как он стал главарем местной мафии, убрав со своей дороги всех, кто ему мешал, кто хотел ставить осла там, где дядя Нино уже своего пристроил.

Более любопытной истории Сальваторе в жизни не слыхал — пожалуй, даже похлеще будет, чем все рассказы о стычках между нью-йоркской бандой и тамошней мафией (в Штатах «коренные» с «земляками» всегда были на ножах).

Поведал ее Сальваторе один бывалый человек, исколесивший полмира в мундире и в штатском; правда, в Америке он не был, но чего только на своем веку не повидал! Образованный — университет кончил, чуть ли не профессор,— однако не пожелал этому нынешнему правительству служить, предпочел бродяжничать: радиоприемники и телевизоры продавать.

В тот июльский день посетителей в клубе было мало, а те, что были, разомлели от жары; никто не хотел составить Сальваторе компанию — сыграть, как повелось, партию в безик. Вот и разговорились.

— Был тут у нас один человек, звали его Козимо Престо,— начал свой рассказ Профессор.— Мир праху его. «Дай-ка я все угли под свою лепешку подгребу,— решил он,— другим ничего не оставлю». Думал, что он, умник, всех перехитрит. Дядя Нино его предупредил: дескать, так дальше не пойдет; а тот в ответ: «Не лезь в чужие дела, если не хочешь, чтобы тебя собаки съели». Раз так, дядя Нино решил ответить по-своему. Однажды поутру отлучился Козимо Престо из города, надумал сделать приятное друзьям — повез корзину свежих фиников в соседний городок, да так домой и не вернулся. Корзину с финиками и пиджак с деньгами и документами нашли на сиденье его машины, но сама машина оказалась вовсе не там, куда Козимо Престо уехал, а на откосе, откуда открывался вид совсем на другой городок. Его же самого и след простыл — ни пятен крови, ничего не осталось. После того случая вошла в обиход прибаутка: «Свое место знай, кого надо, уважай, не то вспорют живот и свинья тебя сожрет».

Таким-то вот образом, дорогой дон Сальваторе, и поняли те, кому надлежало понять, что стало с Козимо Престо. Не поняли только судья и начальник карабинеров. А может, лишь сделали вид, что не поняли. Не случайно начальник карабинеров твердил: «Все равно отольются кошке мышкины слезки». Судья же, словно желая несогласием с этой народной мудростью подчеркнуть свое презрение к здешним людям — за то, что они так безропотно признают право сильного,— талдычил свое: «Naturam expelles furca, tamen usque recurret»[1] — и пожимал плечами, как бы говоря: «Ну, а если и за вилы не браться...»

Такова была история дяди Нино. Все ее знали, но от суждений воздерживались и не возмущались: чему, мол, быть, того не миновать. Даже свинины мясные лавки продавали не меньше, чем раньше, хотя, если верить слухам, именно скотоводы, поставщики этих лавок, и прирезали Козимо Престо по наущению дяди Нино.

Расставшись со своим почтенным собеседником, Сальваторе еще долго перебирал в уме его слова. «Однако,— успокаивал он себя,— у каждого есть свой святой в раю; в случае чего у меня тоже заступник найдется; пока никакой надобности просить ангелов, чтобы они его спустили на землю, нет. Все обошлось. Другого повода призывать на помощь дружков-приятелей я этому сволочному щелкоперу не дам. Ну, а уж если опять сцепимся, тогда каждый пусть своей башкой думает,— как говорится, у кого больше пороха, тот пусть и стреляет».

Другое дело Мария. Всю дорогу домой Сальваторе внушал себе: «С подарками надо кончать. Хватит». Но совладать с собой не мог: очень уж хотелось, чтобы племянница — такой лакомый кусочек, пальчики оближешь! — несмотря ни на что, досталась ему.

После ужина, за которым никто слова не сказал — жених и тот помалкивал, а уж брат с невесткой и вовсе сидели как в воду опу-

[1] Гони натуру вилами, а она все равно вернется *(лат.)*.

щенные,— Сальваторе ушел к себе, по обыкновению закурил сигару и устроился у окна. Но вечер был отравлен, события злополучного дня нарушили привычное течение мыслей.

Как Мария вошла в комнату и остановилась за его спиной, он не заметил. В этот вечер груз тридцати четырех лет, прожитых в Америке, давал себя знать сполна. Вдруг Сальваторе встрепенулся — то ли учуял запах молодого тела, то ли руки коснулся краешек ночной сорочки, а может быть, из-за сирокко, который дул с Беллачеры, но он почувствовал такой же прилив сил, как в то утро, когда понял, что такое пробуждение. Он сгреб Марию в охапку и с размаху швырнул ее, полуголую, отбивавшуюся ногами и руками, на кровать. Вот они, его молодые годы, взыграли, наконец! В свое время он этой игры не познал, теперь наверстает, свое возьмет! Но играть в нее должны двое, мужчина и женщина, если же она не хочет, ничего не получится. Это все равно что пытаться силком напоить осла: свисти не свисти, если ему не хочется, он пить не будет, скорее у хозяина в горле пересохнет и губы потрескаются.

Так что взыграть-то Сальваторе взыграл, таким же двадцатилетним, как Мария, себя почувствовал, но без толку: она все время от него ускользала, увертывалась, прикрывала то, что в таких случаях прикрывают, совсем позабыв, что нельзя шуметь. Мать внизу навострила уши, она уже давно приглядывалась к деверю — как охотничья собака, нюхом чуяла недоброе. Старая истина: любовь, красоту и деньги от чужих глаз не утаишь. И вот, когда Сальваторе, уставший, взвинченный, отвалился, в комнату вошла мать, да так и застыла на пороге ни жива ни мертва — невесть что себе вообразила.

Мария бросилась бежать, мать — за ней, на Сальваторе даже не глянула.

Она зашла к нему позднее и, отвернув лицо, сказала, что в этом доме ему теперь оставаться нельзя. Выставить его на улицу она не может, поэтому лучше всего в его положении уехать к сестре. Мало ли что: соскучился, захотелось повидаться. Так она и мужу объяснит, чтобы у него подозрений не возникло, а главное, чтобы Джованнино чего плохого не подумал.

Сальваторе молча слушал, что она еще скажет. Роза говорила решительно, не дожидаясь ответа. И договорились — как будто заключили деловую сделку, которую надо держать в секрете, если хочешь, чтобы удалась и чтоб никто дорогу не перебежал.

«Мать есть мать, ради своего ребенка на все пойдет»,— мысленно успокаивала себя Роза, когда выходила крадучись из комнаты деверя.

## XI

«Нет хуже, чем ехать поездом»,— думал Сальваторе.

Это хуже, чем жить одному среди людей, которых не понимаешь, хуже трехтрубного парохода, хуже самолета. Поезд хорош для солдат, для коммивояжеров, для непоседливых семей, переезжающих с места на место в надежде получше устроиться, или для старых железнодорожников с правом на бесплатный проезд. Вот кому нужен поезд, а не тому, у кого есть чем платить и на что жить. И еще: ехать поездом — это все равно что ходить мимо витрин в воскресный день: даже если ты при деньгах, ничего не купишь.

Чего только не увидишь из окна вагона! Вот дом с полем — думаешь: мне бы такой. Скот пасется по обе стороны полотна. В окнах мелькают женщины. У переезда, облокотившись о шлагбаум, выстроились в ряд ребятишки.

Мало тебе своих мыслей, еще эти добавляются. И вообще, не известно, куда тебя несет. Не забыть бы, что в Неаполе, около какой-то гостиницы, тебя ждет Фрэнк и что неподалеку от Флоренции, в Галлуццо, живет твоя сестра, которую ты не видел почти тридцать пять лет.

Гостиница, где назначено свидание с Фрэнком, называется «Новый прекрасный Неаполь» или еще как-то в этом роде; не мудрено и запамятовать: поезд грохочет, кто-то выкрикивает остановки, чего-то требует контролер...

Длинное название места встречи все время вертится в голове. Слишком длинное. То ли дело — «Таверна Кардьелло» на Четвертой авеню в Бруклине, где ты столько раз встречался с приятелями, которые сейчас осели в Неаполе, еле-еле перебиваются. Из Штатов их прогнали, как шелудивых псов.

А таверна на Четвертой авеню — местечко что надо. Сиди себе — вокруг полно земляков, делай свое дело, и никто тебе не будет вставлять палки в колеса. А главное: никаких канцелярских крыс! За темной деревянной стойкой хозяйничает Тони. Он и выпить тебе нальет, и, если ты не последний человек, подскажет, на какую лошадь поставить, чтобы сотнягу выиграть.

Нет хуже, чем ехать поездом. Это хуже, чем средь бела дня из-за проливного дождя застрять дома, хуже, чем ночью метаться в жару или, перетрудившись, лишиться сна. Ты всю жизнь просидел в этом South Brooklin [1], дальше своего квартала шагу не ступил — слишком мудреный был адрес, пришлось даже записать на бумажке, сам бы ни за что не выговорил: Bath Beach-Bensonhurst. Всю жизнь работал, чтобы вернуться на родину, в Лимонный край. С канцелярскими крысами никаких дел не имел. От фараонов с дубинками, жандармов и прочих кровососов, щелкоперам под стать, тоже бог уберег.

Всю жизнь работал, ни во что не лез, глаза зажмуривал и уши затыкал, чтобы, не дай бог, в какую-нибудь историю не влипнуть, и вот, когда наконец вернулся туда, где тебя мать родила, из-за какого-то щелкопера приходится все бросать и уезжать!

Теперь вот предстоит остановка в Неаполе. Кто знает, из-за чего твои приятели в Неаполе оказались... Почему американское правительство объявило их «нежелательными элементами»... Наверное, тоже дармоеды-политиканы в Вашингтоне виноваты, тоже ведь чернильные души.

— Посмотри Неаполь и можешь умереть! — раза два или три воскликнул пассажир, сидевший напротив.

«Сам сдохни, сволочь рогатая! — мысленно ответил ему Сальваторе.— Все-таки рогатых сволочей на свете больше, чем белых улиток! Едешь, никому не мешаешь, и вдруг ни с того ни с сего тебе начинают каркать: умрешь, умрешь... Заладил, как монах, что каждый год, к зиме, норовит всучить тебе по дешевке свои «райские кущи». Сам подохни! Больно длинный у тебя язык, а у кого длинный язык, тот своей смертью не умрет...»

Проехали Баттипалью, Салерно. Неаполь уже близко. Вот встретишься с Фрэнком, вместе обмозгуете, как с этой канцелярской крысой, племянницыным женишком, расквитаться.

— Память о Помпее, синьоры! Образок мадонны! Сто лир, синьоры, всего сто лир!

Сновавшие по вагону лоточники предлагали веночки, бусы, брелочки для ключей. Только уходил один, как следом тотчас появлялся другой:

---

[1] Южном Бруклине *(англ.)*.

— Горячие слойки, сто лир за штуку, сто лир!

— Горячая пицца, пицца горячая, настоящая, неаполитанская, сто лир!

— Карамель, синьоры, кому карамель с ожерельицем из Помпеи! Один кулек — сто лир.

Каким бы товаром они ни торговали, на все была одна цена: сто лир. Контролер делал вид, что прогоняет лоточников, грозился позвать полицейского, однако почему-то не звал и сам не уходил, ковырял в зубах — видать, ему тоже горсть карамели перепала.

— Настоящая неаполитанская! Сто лир!

Конца-краю этому не видно.

Стало быть, Фрэнк ждет его около гостиницы «Прекрасный Неаполь» или «Настоящий Неаполь», неподалеку от вокзала. Фрэнка еще никто вокруг пальца не обводил, а если делал попытку, то из чистилища немедленно переселялся в ад. В Нью-Йорке Фрэнк прочно стоял на ногах и если примкнул к Аль-Капоне, то лишь потому, что так ему самому было сподручнее, а вовсе не оттого, что нуждался в прикрытии. Наоборот, это он прикрывал босса с тыла, заботился о его выгоде, баб его опекал. Фрэнк — парень не промах, его мать на свет родила не для того, чтобы он, как все, мыкался, у него деньги и работенка никогда не переводились. Теперь он ждет Сальваторе в Неаполе, около гостиницы. Кто-кто, а уж Фрэнк нужды не знает; может, сошелся с Лучано — да, да, он, наверное, сейчас со Счастливчиком; тот в Палермо оставаться не захотел, на таком пятачке не развернешься, толкотня как на базаре, да и публика неподходящая — мелюзга одна, без гроша в кармане, бабенки с хозяйственными сумками, адвокаты и полицейские чины с клеенчатыми портфелями, каждый руку тянет, каждому надо дать, всем не надаешься.

В Неаполе Лучано неплохо устроился, торгует медицинским оборудованием — в клубе кто-то рассказывал, кто все время в разъездах и потому в курсе... Дай бог память, кто же это... ага, вспомнил: неаполитанец Маккарьелло, парень, который ездит на малолитражке, как бишь она называется... на «Джульетте». Точно, на «Джульетте» — малютка, а бегает лучше иных американских.

— Настоящая неаполитанская, сто лир, синьоры, сто лир!

Чем только эти неаполитанцы не торгуют, мать родную и ту ни за грош продадут.

— Говорит вокзал города Неаполя, вокзал города Неаполя! Скорый поезд в Латину, Рим, Флоренцию отправляется...

Тебе надо во Флоренцию — такой у тебя уговор с невесткой, с братом и Марией, что ты едешь жить к сестре. А в это время Мария твоя ненаглядная со своим доном Джованнино-щелкопером милуется, каждое утро, каждый вечер вместе. Мамаша, небось, из кожи вон лезет, чтобы улестить дармоеда, разве только птичьим молоком не потчует.

Надо выходить, там Фрэнк дожидается. Кроме чемодана у Сальваторе еще свертки — тут и свое, и кое-что из съестного для сестры.

Сколько народу! Сначала Сальваторе думал, что это все неаполитанцы, но нет, есть и американцы — вон шагают двое из military police [1], а посредине — карабинер; можно подумать, что он у них под арестом.

Пусть бы их всех переарестовали, чтобы ни одной полицейской рожи, ни одной канцелярской крысы не осталось!..

Около вокзала — но где? Gaddem![2] Где она, эта чертова гостиница? Надо спросить у полицейского.

[1] Военной полиции *(англ.)*.

[2] Черт побери *(искаж. англ.)*.

— Да вот она, на той стороне площади, синьор!

— Tenchiu [1].

Ого, в Неаполе тебя тоже синьором величают! Значит, неважно, кто командует, щелкоперы или кто другой,— раз ты на американские деньги разжился, тебе почет и уважение!

— Alò, Sal!

Это был Фрэнк.

— Alò, Frank!

Приятель не подвел. «Иметь под рукой друга лучше, чем сто золотых в кармане»,— внушал ему когда-то его наставник — сапожник. Друг есть друг, и познается он в беде.

Фрэнк помог ему устроиться в гостинице. Теперь они сидели в баре и беседовали, как в старые времена.

Впрочем, не совсем так: в «Таверне Кардьелло» Фрэнку вечно было недосуг, то с одним надо поговорить, то с другим — бизнес, дела. А сейчас никто им не мешал. Фрэнк никуда не торопился, знай заказывал официанту какой-то красный напиток. Сальваторе напиток не понравился. У него еще сохранился во рту вкус сухого крестьянского вина. В Америке Фрэнк пил спирт — чистый, неразбавленный. Даже в годы сухого закона. Что ему сухой закон? Чихал он на него. У Кардьелло спирта всегда было хоть залейся.

А здесь он глотал эту красную бурду, от которой першит в горле, бутылку за бутылкой.

Фрэнк изменился не только в этом. Сальваторе присмотрелся к нему внимательно. Куда девался красавец парень, каким он знал его когда-то! И говорит невнятно — с горлом у него что-то не в порядке.

— Не обращай внимания! — отмахнулся Фрэнк.

Потом не выдержал, прорвало его:

— Рано или поздно она, проклятая, уйдет — может, вместе со мной, в могилу, но уйдет!

От этой вспышки Сальваторе стало не по себе. «Да ты, брат, сдал»,— подумал он. Однако вслух не сказал ничего, потому что, хоть приятель и выглядел неважно — с глазом у него теперь еще хуже, чем раньше, обезголосел совсем, обносился,— Фрэнк, пока жив, останется каким был. А был он лихим парнем: друга не продаст, чуть что — за пистолет, весь Бруклин, да что Бруклин, половина Штатов его знала; когда же Фрэнк вместе с Аль-Капоне и другими после той чикагской истории перебрался в Сан-Франциско, он и вовсе на все Штаты прославился.

— А остальные как? — спросил Сальваторе.

— Если ты не устал, можем их навестить. Ничего, живут, устраиваются. Время тяжелое. Лучано умер. Говорят, от разрыва сердца, а я тебе скажу, можешь мне поверить: отравили его. На этот счет должна кое-что знать зазноба его, последняя сожительница. Тварь продажная, придушил бы собственными руками... Когда Лучано был жив, и нам легче жилось — он в помощи не отказывал, а теперь все пошло вкривь и вкось.

Сальваторе не знал, что Лучано нет в живых. Оказывается, были устроены пышные похороны, вся братия съехалась — и из Америки, и здешние.

Сальваторе ведь газет не покупал. На кой ляд ему газеты, если он читать не умеет! Теперь понятно: Фрэнка подкосила смерть Лучано. Но на Фрэнка всегда можно было положиться, с ним и надо решать, что дальше делать.

---

[1] Спасибо *(искаж. англ.)*.

Друзья Фрэнка живут возле порта, в переулке Фантазии. Чтобы дотуда дойти, надо пробраться сквозь целую ватагу беспризорников, околачивающихся в районе рынка, миновать десятки триумфальных арок из простыней и латаных подштанников.

Мальчишки пристают с расспросами: куда ты, к кому; если ответил — пиши пропало, они от тебя не отстанут, навяжутся, будто бы показать дорогу, а сами непременно приведут к девке, хотя никто их об этом не просил. Если скажешь, что женщинами не интересуешься, тебе тут же подсунут такое, что сперва даже не определишь, кто перед тобой, парень или девчонка. От горшка два вершка, а уже соображает: «Синьор, а синьор, я — как в рот воды... Пятьсот лир дадите?»

Скверная судьба у лошадей. Покуда конь молод, хозяин его холит, прихорашивает, а как состарится, впрягут его, горемычного, в таратайку разбитую — и тяни, пока жив.

Так и твои приятели из переулка Фантазии. Бывшие кони-скакуны теснятся втроем в полуподвальчике — старьевщики подержанную мебель в нем хранят,— на кусок хлеба зарабатывают в порту: поджидают, когда придет пароход из Америки, лаются с беспризорниками, отбивают у них моряков, напрашиваются в долю к девкам, к официантам в барах.

Вот они, кони-скакуны, в таратайку запряженные...

Джо в семнадцатом году, когда неаполитанцы воевали с сицилийцами, чудом выкарабкался: два полицейских его подстрелили, но поблизости оказался знакомый врач, спрятал его, подштопал.

Уильям всегда выходил сухим из воды, до тех пор пока какие-то пуэрториканцы не втянули его в kidnapping [1].

Бартоломео свое дело знал лихо, при Аль-Капоне благоденствовал.

А кто они сейчас?

Фрэнк вел себя с ними так, будто ничего не произошло. Но разговор был один: об Америке, о тех пятистах, которых так же, как их, выслали, о том, кто как ловчит, чтобы вернуться. О Нике, например. Ник даже в фильме снялся — «Король Поджореале» называется. А теперь ногу сломал, живет в гостинице на улице Нолана.

Какой толк от таких друзей? Пусть они к тебе благоволят по-прежнему, но что они могут посоветовать, если сами себе ничего придумать не в состоянии?!

Еще один приятель, Альфред — с ним Сальваторе, пожалуй, дружил даже больше, чем с Фрэнком,— лежит в больнице Ла-Паче. Ничего серьезного, просто стар стал, захотелось пожить подольше на всем готовом.

Пошли с Фрэнком и с приятелями в ресторан. Платил Сальваторе. В прежние времена у него бы язык не повернулся предложить таким людям: «Пошли пообедаем! Я плачу». Они бы в его сторону не посмотрели.

А теперь ты с ними на равных.

В последние дни американских пароходов что-то нет и нет, приятели сидят без дела, так что вполне могут составить тебе компанию. Повадки у них прежние, однако больше всего они нынче толкуют о том, как бы вернуться в Америку, а тебе этот разговор ни к чему. Ты в родном городишке жил припеваючи, и если есть такое место, куда бы тебе хотелось вернуться, так это Лимонный край. О закутке по соседству с «Таверной Кардьелло» даже вспоминать неохота.

В больнице всем заправляет матушка Эстерина, и приятель твой, когда-то наводивший страх на весь Бруклин, перед ней заискивает.

[1] Похищение ребенка *(англ.)*.

Сальваторе пришел навестить его вместе с Фрэнком и Ником. Альфред сидел на террасе, выходившей во внутренний двор, и чинил монахине четки к вечерней молитве. Тут Ник выкинул очередной номер — он хоть и прихрамывает еще, но все такой же сорвиголова: схватил четки и швырнул их во двор. Альфред заплакал. Потом набросился на Ника с кулаками, распсиховался:

— Что я буду теперь делать? Куда денусь, если они меня выкинут? Как мне дальше жить?

Поодаль стояли другие старики и тоже смотрели на Ника со страхом и укоризной. Ник, ругаясь на чем свет стоит, заковылял прочь, то ли обозлился, то ли расстроился — не поймешь; а скорей всего не мог примириться с тем, что такой человек, как Альфред, придает значение каким-то монашкиным четкам. Останься Ник подольше, он бы тоже все понял, как поняли Сальваторе и Фрэнк. Надо было видеть, как освобождали койку для нового больного: одного полуживого старика увели, а другого, ожидавшего своей очереди в углу, на стуле, положили.

Вот тогда Ник бы тоже все понял и тоже побежал бы в лавку на площади Трибунала, как это сделал ты,— за новыми четками для монахини, пригревшей твоего друга Альфреда.

Матушка Эстерина осталась довольна твоим посещением, тем, что к ее подопечному, такому славному, набожному старичку, заглянул друг проездом из Америки. Монахиня, и сама старая, небось всякое видала на своем веку, а поплакаться некому.

Из-за одного этого стоило задержаться в Неаполе — убедиться, что есть на свете люди, которым еще хуже, чем тебе. Тебе что? Кусок хлеба обеспечен! Переночуешь чин чином в гостинице, а завтра махнешь во Флоренцию, в гости к сестре и племяннику. Племянник — продолжатель рода, его и зовут так же, как твоего отца звали.

В Неаполе Сальваторе своими глазами убедился в том, что из Америки можно уехать и не по своей воле: до парохода под конвоем, там — под расписку капитану — и скатертью дорога.

Ты же вернулся на своих ногах, по собственному желанию, проедать то, что нажил.

Не будь на свете канцелярских крыс, вполне жить бы можно. Пусть бы каждый занимался своим делом, жил бы по своему разумению, в чужие дела не совался, в тарелку к ближнему не заглядывал.

Завтра уедешь, и никто слова тебе не скажет — ты на свои живешь, можешь делать что тебе заблагорассудится.

## *XII*

Оказаться после Лимонного края в Галлуццо — все равно что, привыкши к вину, перейти на пиво: никакого вкуса, только горечь во рту.

Но потихоньку Сальваторе начал привыкать и к Галлуццо, зажил у сестры своей жизнью, ни над чем особенно не задумываясь.

Поговорить, кроме как с сестрой, было не с кем: с племянником как-то не получалось, да и видел его мало — днем он на работе, а после работы где-то допоздна с друзьями пропадает.

Еще стояло лето, последние дни августа; единственным развлечением Сальваторе были прогулки. Свернув с улицы Подеста на ту, что выходила к Эминому мосту, он простаивал здесь часами, наблюдая за Сьенским шоссе и за небольшой, но всегда людной дорожкой к

монастырю. И там он побывал. В монастыре тишина, безмолвие, монахов никогда не видно.

Для человека семейного монах — диковина, дерево без листьев и плодов; но кто всю жизнь провел за верстаком и семьей обзавестись не успел, монаха понять может. Чем он сам не монах? Только без тонзуры и не в рясе.

В иных семьях бывают монашки, но чтоб были монахи — такого еще никто не слыхивал. Мальчики, одетые францисканцами, встречаются. Сальваторе сам видел. В рясу их обряжают обычно в знак благодарности за какую-нибудь особую божью милость. Среди сверстников эти ребята чувствуют себя не в своей тарелке, над ними, бывает, и подтрунивают, но потом привыкают и перестают — жалеют.

Время от времени приходили вести из Лимонного края: брат или невестка присылали открытку. Ни от кого другого Сальваторе известий не ждал и потому, получив письмо из Рима, удивился.

Кто бы это мог быть? На конверте значилось: «Клиника болезней уха, горла, носа». Распечатав конверт, Сальваторе увидел, что пишет ему Фрэнк.

«Надеюсь, это письмо застанет тебя и все твое почтенное семейство в добром здравии,— писал Фрэнк.— Я не нахожу слов, чтобы отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал, буду вечно помнить. Ты хороший человек, Сэл, у тебя доброе сердце. Сообщаю тебе, что в этой больнице я уже давно, здесь все страдают и молчат. Что меня ждет, не знаю — знаю только, что дни мои сочтены. Аль-Капоне, Счастливчик-Лучано и многие другие — на том свете. Теперь настал мой черед. Эх, дорогой Сальваторе! Кто бы мог подумать, что я так кончу! Невзлюбила меня судьба, жизнь моя — настоящий ад. Лежу в больнице, семьи нет, никаких средств к существованию, даже немного фруктов и кусок мыла купить не на что. Потому я и взываю к твоей доброте...» И так далее, все в таком же роде.

Вот тебе и скакун!

В Неаполе заставил за всех платить, а теперь еще жалостливое письмо прислал. Ни дать ни взять стрекоза: лето пропела, а как зима пришла, так за помощью к муравью.

Значит, сидит без гроша. Однако красную бурду, которая так ему нравилась в Неаполе, хлебал от пуза. Еще и на венок пришлось тогда потратиться — в память о друзьях. Э, да какие они тебе друзья! Ты в Америке знал одно: вкалывал. А когда тебе понадобилась помощь, ищи их свищи! Обратно, домой, путь заказан. Если Джованнино кое о чем пронюхает, тебе крышка. Как пить дать, на тот свет отправят, дядя Нино научит.

Лучше бы и тебе смолоду в монастыре запереться, по крайней мере ел бы хлеб, ни перед кем, кроме господа бога, не одалживаясь. Да теперь что говорить: ты свои тридцать четыре года в Америке отгрохал. Материально обеспечен, это верно. Но если начнешь раздавать направо и налево, тоже плохо кончишь, еще хуже, чем бывший лихой парень Фрэнк, хуже, чем Альфред, которому приходится перед больничной sister[1] заискивать, чтобы его где-нибудь в неаполитанской трущобе крысы не съели.

Впрочем, и ты тоже докатился. Ну, есть у тебя сестра, живешь у нее на всем готовом, обстирывает она тебя, но многого другого ты лишен. Не все за деньги приобретается: родную землю и земляков на рынке не купишь. Да к тому же и враги опасные у тебя завелись.

Галлуццо ты теперь знаешь как свои пять пальцев — и дома́, и магазины, и клубы. Но клубы здешние не для тебя — для простых

[1] Сестрой *(англ.)*.

смертных ни одного нет, все только для ветеранов войны, для бывших партизан, для коммунистов. Тебе там делать нечего. Не станешь же ты якшаться с этими безбожниками! Стыда у них нет! Они бы все в общий котел свалили — и свое и твое. Но ты свое горбом заработал, в Америке — там коммунистов нет и со стороны не пускают. Сестра говорит, что такой клуб, какой тебе нужен, есть во Флоренции.

Во Флоренции Сальваторе тоже был: большая деревня, хоть и зовется городом. Что это за город, если вместо улиц одни закоулки!

Племянник-то в клуб ходит, это точно. Сестра отрицает, но Сальваторе почти наверняка знает, что ходит. К социалистам. А социалисты — это все равно что коммунисты, только без России. Как американские священники: папы римского у них нет, но это мало что меняет — так же проповеди читают, так же деньги то на одно, то на другое выманивают. А эти социалисты все время какие-то бумажки печатные распространяют — листовки. Зарылись в бумагу хуже канцелярских крыс. Наверное, и среди них чернильные души водятся; все пишут, пишут, то одно им не нравится, то другое. Америка для них — хуже преисподней, только в преисподнюю они не верят и потому о ней молчат. Америку же ругают последними словами. А почему? Потому что голодранцы, на чужие деньги зарятся, так же как чернильная душонка — женишок племянницын.

К этому сводились все его размышления.

Один день походил на другой. Обменявшись несколькими словами с сестрой, Сальваторе отправлялся побродить по холмам, по эту или по ту сторону Сьенского шоссе, побывал однажды на гулянье в Импрунете, разок-другой послушал оркестр, игравший на площади по случаю какого-то праздника — тоже, сдается, коммунистического.

Наконец, Сальваторе все же завел себе приятеля. Новый знакомый был человек немногословный и местные клубы тоже не посещал. У него была типография при выезде из города — по дороге во Флоренцию, неподалеку от Жасминной улицы. Но на работу он ходил по настроению. «Старею,— говорил он,— пусть теперь другие на меня работают». Сальваторе поддакивал. Случалось, что они не совсем понимали друг друга. Ну и что, невелика беда: все равно ничего важного — ни коммерции, ни женщин — в разговорах своих они не касались.

О женщинах здесь и говорить-то нечего. В этом Галлуццо девки — как парни, только естество другое, а во всем остальном никакого различия. Так же на работу ходят, по клубам шастают, гоняют на велосипедах, машины водят.

Молодые чуть что — на танцы, старухи в лото дуются, а дочки делают что хотят: и летом и зимой за монастырь или на Лавровое кладбище, протестантское, забёрутся и с первым встречным — в кусты, кто он — не важно, лишь бы в брюках ходил да быстро скидывать их умел. И ведь что удивительно: потом замуж выходят. Безо всякого приданого. В рассрочку все необходимое для хозяйства купят, векселей навыдают, потом, глядишь, каждое первое число молодухи, уже на сносях, в банке на углу площади Аччайоли в очередь выстраиваются, чтобы взнос уплатить, пока не пришли вещи описывать.

Что за люди — без стыда, без совести! А начнешь им растолковывать что да как — до них не доходит. Приятель Сальваторе — Черный типограф, как его называет племянник Руджеро,— тоже ничего странного в здешних порядках не видит. Сам он вдовый, а дочка вышла замуж на пятом месяце.

Все они здесь один другого стоят: мужчинам наплевать, что им рога наставляют, а женщинам переспать с кем попало — раз плюнуть.

Хочешь не хочешь, а живи с ними, хотя всей душой рвешься в родимый край, в отчий дом — в *свой* дом! Раз ты в нем родился, на свои деньги отремонтировал, значит, он твой.



## XIII

— Мария выходит замуж! — объявила сестрица Кармелина.

Пришло приглашение, в нем все указано: день и час, в какой церкви венчание и кто приглашает — семейство Лига и семейство Прантале. По всем правилам, как у господ,— вместо того чтобы молодоженам по-простому, по-нашему ночью улизнуть, на пригласительные билеты и на угощение не тратиться... Да разве Джованнино, чернильная душа, на это пойдет! Он, чтобы развести канцелярщину, такого случая, как свадьба, не упустит, да и покрасоваться охота.

Невестка твоя Роза тоже, небось, перед соседями вылюжается, приданым хвастает. А платил-то ты, дон Сальваторе-Американец! Зачем ты из Америки вернулся, никто не спрашивал — и так ясно, а вот почему ты опять из дома уехал, даже «до свиданья» не сказал, это никому не известно; земляки, небось, не знают, что и подумать: уж непременно какую-нибудь грязную историю из пальца высосут.

Бабье, пока свадьба готовится, тоже будет языки чесать. А женихова родня наверняка свое торочит: дескать, хоть девица и чиста как голубка — большая редкость по нынешним временам — и приданое ей отец справил, но жених-то образованный, с положением, шутка сказать: муниципальный служащий! За такого молодца не только кузнецова дочка, наследница садовладельца почла бы за счастье выйти.

А тебя как будто и нет вовсе, никаких заслуг за тобой не числится, потому как ты не отец и не мать; а что ты ради своей племянницы ничего не жалел и царскими подарками ее осыпал, об этом никто не вспомнит. Если кто и захочет воздать тебе должное, всегда найдется еще кто-нибудь, кто скажет, что в конце концов ты — бездетный, умрешь, ей же, Марии, все перейдет. Как говорится, «кости—собакам, а добро — кому положено». Словом, как ни поверни, а всем твоим добром на законном основании Джованнино, чернильная душа, воспользуется. Так на кой ляд ты ездил в Америку, всему Бруклину каблуки перечинил, столько лет, как пришитый, на одном месте просидел?! Бывало, кто-нибудь из земляков просит: в случае чего прикрой меня, но ты ни в какую — знать ничего не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. Тридцать четыре года прожил, как кенарь прирученный, который в клетке сидит и на других, вольных, птиц только поглядывает. Лучше бы жил в свое удовольствие, что зарабатывал — по ветру пускал, чем копить для какой-то канцелярской крысы. Ведь ни разу ничего лишнего себе не позволил! И в мыслях не было, что явится какой-то щелкопер с бумажкой в кармане и посягнет на твои, кровные. Так ведь бумажка, диплом, чернила эти чертовы — дело наживное: сегодня у тебя их нет, завтра — купил, у кого купить, всегда найдется. Просто у тебя нужды в бумагах не было, один раз всего и потребовались, чтобы уехать в Америку. А теперь полны карманы: есть и те, что выдало правительство, и банковские. Но не они тебе сейчас нужны, тебе сейчас нужны совсем другие, и приятель-типограф может тебе их сварганить, чтобы ты тоже мог отпраздновать свадьбу дорогой племянницы с Джованнино, чернильной душой, ведь для такого, как он, чем больше писанины, тем лучше! Раз женится канцелярская крыса, нужно, чтобы было побольше бумаги.

Придя к такому выводу, Сальваторе отправился разыскивать своего друга, типографа.

Теперь, спрашивается, как ему объяснить. Прямо так и сказать: мол, напечатай мне листовку такого-то содержания, хочу кое над кем подшутить? В наших краях, куда я собираюсь вернуться, и быть может навсегда, такие забавы в порядке вещей...

Пратези, по своему обыкновению, болтался на площади, будто специально поджидал приятеля. Сальваторе увидел его, обрадовался и сразу начал растолковывать свой замысел, с пеной у рта доказывая, что речь идет не более чем о шутке.

— Ты мне напечатай такой листок, вроде тех, какие в Америке раздают на ярмарках, или перед приездом бродячего цирка, или накануне распродажи...

— Никак не пойму, чего ты от меня хочешь! — недоумевал Пратези.— При чем тут распродажа?

— Ну ладно, долго объяснять. Сделаешь ты мне такую афишку или нет?

— Какую еще афишку? Афишки по рукам не пускают, их на стены наклеивают. Ты, наверное, имеешь в виду листовку? Вот темнота!

— Ты мне только скажи: да или нет! Я в долгу не останусь, заплачу. Я знаю: бумага, да еще печатная, испокон веков дорого ценится.

— Да ладно, я с тебя по дружбе много не возьму. Давай текст!

— Чего-чего?

— Ну... то, что ты хочешь напечатать. Не мне же из головы выдумывать?!

Когда речь зашла о содержании, столковаться стало еще труднее. Типограф никак не мог сообразить, что от него требуется. Наконец, с грехом пополам сочинили и договорились, что заказ будет готов к четвергу, то есть за день до отъезда Сальваторе.

Как этим людям втолковать, что тебе надо, если у них даже понятия такого нет: нетронутая девушка! Они женятся, и дело с концом, а через чьи руки невеста прошла, кто у нее первым был, целая она или подпорченная, им безразлично. Мужики здесь, все как один, рогатые, такого за стакан вина с потрохами купить можно. Сперва было заладил: «Никак не пойму, о чем ты мне толкуешь», а как увидел, что Сальваторе готов раскошелиться, сразу смекнул, в чем дело. Обещал просьбу выполнить.

Щелкопер сейчас, небось, на седьмом небе: свадьба на мази, всего вдоволь. Но и ты тоже не лыком шит, свадебный подарок готовишь. Хоть и бумажный, а все-таки подарок. Разве сам он, Джованнино Лига, не из того же теста сделан? Он всю свою жизнь в бумажку вложил; не будь у него бумажки, кто бы на него внимание обратил? Как на червяка наступил бы, раздавил и не заметил. Не будь этой бумажки, и дядя Нино бы его не откопал, для своих нужд не приспособил — с тыла прикрывать и, в случае надобности, дорогу прокладывать. Конечно, твоя бумажка не из тех, к которым в канцеляриях привыкли,— Джованнино, наверное, не обрадуется, как узнает, что ты велел тысячу штук отпечатать. Тысячи листков, по словам твоего приятеля, тосканца, для небольшого городка за глаза хватит. Дон Джованнино не обрадуется и Мария — тоже. Да и твоя радость невелика будет, однако ты свое слово сказать обязан, молчит только баран, а человек, если он настоящий мужчина, руки целовать тому, кто его обирает, не станет. Настоящий мужчина свое добро отстаивает. А тебя к тому же еще и с насиженного места прогнали. А когда кинулся за помощью, оказалось, что ты один на всем белом свете и что

дружки твои тоже на твои деньги зарятся. А ты эти денежки по одному пенни тридцать четыре года откладывал, ни разу себе никакого удовольствия не доставил.

Зато теперь доставишь: вот оно, на бумаге напечатано и ту же силу имеет, какую канцелярская крыса — Джованнино пустил в ход, чтобы тебя Марии и добра лишить. А напечатано спереди и сзади вот что:

Невеста не голубка, а шлюха.
Жених того не расчухал.

Мария уцелела только потому, что ты всякий раз давал себя уговорить, делал, как она хотела. И все равно она шлюха. Женщину, которая с одним спит, у него берет и другому отдает, иначе как шлюхой, не назовешь. Так черным по белому и написано:

Невеста не голубка, а шлюха.
Жених того не расчухал.

Доехали благополучно. Кармелина и Руджеро всю дорогу за ним ухаживали, заботились о его удобствах. Они радовались, что едут на свадьбу Марии, и все допытывались, какой он везет подарок, что у него в пачке запаковано и почему он ее из рук не выпускает.

Узнали они это вместе со всеми, когда молодожены выходили из церкви под дождь из конфет. Сальваторе вместо конфет швырнул свои листики-листовки. Не листовки, а загляденье. По всем правилам типографского искусства отпечатаны, лучше, чем все канцелярские бумажки, какие Джованнино, чернильной душе, довелось видеть за всю свою жизнь.

Что тут началось! Молодежь хохотала. Родственники набросились на Сальваторе. Они толкали его, били, повалили на землю, снова били — до тех пор пока не подоспели карабинеры. А листок тем временем переходил из дома в дом, обошел весь городок.

В клубе адвокат злорадно бубнил:

— Женитесь, женитесь, сами увидите, что это такое! Лучше купить себе свинью. По крайней мере, рогов не наставит ни до, ни после.

Листок переходил из рук в руки, как программа большого концерта,— Сальваторе своими глазами видел, когда карабинеры его уводили.

Сказали, что он арестован за нарушение общественного порядка во время церковной церемонии. Сальваторе приводил свои резоны, но его никто не слушал. Разве у этих чернильных душонок правды добьешься? Разве они могут понять, почему ты так поступил?

Их дело — упрятать за решетку. И упрятали. Так ведь не на всю жизнь, рано или поздно выпустят. Зато на душе будет спокойно: живи — не тужи. Тюрьма что, тюрьма — не сума! Старинная пословица так и говорит:

За решеткой как в могиле,
А без денег давно б сгнили.

## От переводчика

Обостренное чувство протеста против социальной несправедливости, готовность отдать себя служению народу в сочетании с неуемным темпераментом — таким был Пьетро А. Буттитта в юности, в родном сицилийском городке Багериа, таким же он был в пятидесятые годы, когда учился во Флорентийском университете, принимал активное участие в борьбе студенчества, прогрессивной интеллигенции против реакции, и в шестидесятые годы, в Риме, когда работал в газете «Аванти!», сочетая журналистскую деятельность с писательской; таким мы знаем его и сегодня.

Больше всего Пьетро Буттитте хочется сидеть за своим столом и писать, писать. «Я работаю очень медленно,— говорит он,— чтобы создать книгу, должен пропустить через себя массу материала. Я не верю в писателя, добивающегося успеха благодаря наитию свыше». А приходится буквально разрываться на части, заниматься одновременно издательским делом, вести большую общественную работу, в частности в Синдикате писателей, одним из секретарей которого он является. Поэтому собственно литературная продукция П. Буттитты невелика — две книжки стихов и два небольших романа.

Мы избрали для перевода первую его книжку «Листок». Сегодня, через десять лет после ее выхода в свет, можно сказать, что она по-прежнему вызывает интерес у читателя. Незатейливая история ее героя, сапожника из сицилийской глухомани, еще молодым парнем эмигрировавшего в США, охватывает около четырех десятилетий (30—60-е годы), а трагедия миллионов итальянцев, вынужденных в поисках работы ломать себе жизнь, бросать семьи и мыкаться на чужбине, становясь людьми «второго сорта», длится и поныне. Тема, увы, не утратила остроты и актуальности. Согласно последним данным, 5 158 772 итальянских эмигранта разбросаны по 150 странам, хотя и считается, что итальянский неокапитализм совершил «экономическое чудо». Вместо того чтобы подумать о своей собственной стране и решить проблему отсталого аграрного Юга, «Фиат» и «Пирелли», «Ансальдо» и «Монтекатини» вывозят капиталы за границу, а обезлюдевшая, нищая, терроризируемая мафией сицилийская деревня все больше и больше дичает, экономическая, культурная, психологическая пропасть, отделяющая ее от промышленного севера страны, углубляется. Нельзя забывать также о том, что сотни тысяч сицилийцев стали эмигрантами у себя на родине, переселившись на север, где без них остановились бы конвейеры крупных заводов индустриального треугольника Милан — Генуя — Турин.

Сапожник — Американец — типичное порождение этой ситуации. Тридцать четыре года, которые он просидел за верстаком в Бруклине, надо вычеркнуть из его жизни, он сам это признает. Добровольным изгнанием он духовно себя обездолил, остановился в своем развитии на том уровне, какого достиг, став подмастерьем отцова свояка, читать-писать так и не научился. В Америке он корней не пустил — мучительно тянуло обратно в Лимонный край, все помыслы, все силы были обращены на то, чтобы накопить денег и вернуться. Но за тридцать четыре года корни омертвели и даже на родной почве не прижились.

Если он не сумел приладиться к сицилийской жизни, то у сестры, в Тоскане, и подавно чувствует себя не в своей тарелке, там, на его взгляд, «все не как у людей». Злополучная история с племянницей, вынудившая героя поселиться в чужом, непонятном краю, четко выявила эту его неприкаянность, полнейшее одиночество, перекошенное, искаженное представление о действительности, о морали.

Это не вина его, а беда. Вчерашний бедняк, отец, деды и прадеды которого жили впроголодь, тридцать четыре года недоедавший ради того, чтобы под конец жизни получить возможность ежедневно обедать — не более того! — он с чьего-то чужого голоса осуждает коммунистов за то, что они «норовят все поделить поровну». Италия, и больше всего простой народ Сицилии, мучается от страшной и пока неизлечимой социальной болезни — мафии, а наш Американец, плоть от плоти этого народа, знается с мафиози, не отдает себе отчета в том, что грозный дядя Нино и Счастливчик-Лучано — одного поля ягоды, хотя в конечном итоге из страха перед мафией он вынужден покинуть родной дом.

Разумеется, не все итальянские эмигранты таковы. Среди них много политически зрелых, активных людей, которые, несмотря на трудности, не отрываются от жизни родной страны и, когда надо, целыми поездами прибывают голосовать за левые партии, отстаивающие их интересы и добивающиеся решения проблемы Юга как одной из важнейших проблем страны.

Автор хорошо знает своих земляков, любит их, но не идеализирует. Конечно же мафия страшна, бороться с ней трудно, особенно в одиночку, вооруженные карабинеры и те ее боятся, но Буттитта осуждает тупую покорность злу, стремление жить по принципу «не было бы хуже». Конечно же нуждой порождена жадность, толкающая Марию на неблаговидную роль притворщицы и вымогательницы, но и она, и ее корыстная мать показаны жестко, без прикрас.

Вообще автору веришь, а это очень важно, это значит, что главный писательский долг — показать жизнь живую, подлинную и заставить читателя задуматься — исполнен.

**Ю. ДОБРОВОЛЬСКАЯ**

■

# Критика

М. ЛАНДОР

## «ОБЩЕСТВО ИЗОБИЛИЯ» — И СМЫСЛ ЖИЗНИ

### Заметки об американских новеллах

Появившуюся на рубеже XX века «Шлюпку» Стивена Крейна Г. Дж. Уэллс назвал самым прекрасным из известных ему рассказов — этот отзыв вошел в энциклопедии. И в последующие десятилетия американская новелла вызывала пристальный интерес у писателей Старого света. Достаточно привести слова Вирджинии Вулф о втором сборнике Шервуда Андерсона: «В «Торжестве яйца» старые элементы искусства сочетаются необычным образом: смотришь и не веришь глазам. Похоже на то чувство, с каким мы впервые читали Чехова...»

Это было сказано в 1925 г., когда чеховская новелла принималась во всем мире как новая норма. И на этом фоне Андерсон поражал своей самобытностью. Непринужденность устной речи, с неотвязным и ударным «ключевым словом», воспоминание о детстве, полное меланхолии, и библейская по происхождению притча — все это слилось в рассказе «Яйцо», остро современном и критическом. Ревностный герой, отдающий годы и помыслы безнадежной погоне за успехом, лихорадочно улыбающийся и общительный, когда близок горький срыв и далеко позади веселье молодости, был представлен здесь трагикомической фигурой; и целое оказалось травестией национального мифа. Насквозь американский, рассказ этот шагнул далеко за пределы своего времени и своей страны. В 1964-м, откликаясь на четырехтомник Андерсона, вышедший в ФРГ, Зигфрид Ленц назвал этот рассказ среди самых «знаменитых» у автора.

Конечно, мировой резонанс в XX веке получил прежде всего американский роман. Но роман не только многим был обязан новелле, они активно взаимодействовали, поддерживая друг друга, и в творчестве виднейших прозаиков, и во всей литературе. Это черта американского литературного развития и между войнами, и поныне.

Сборник новелл, или цикл новелл, не раз становился как бы романом-пунктиром. Эта свободная форма утвердилась в литературе после андерсоновского «Уайнсбурга». К ней тяготели самые разные писатели, открывавшие XX век через свои места, свою среду, странное среди родного. Здесь можно вспомнить и цикл рассказов Хемингуэя о Нике Адамсе, и «Райские пастбища» молодого Стейнбека, и раннюю новеллистику Сарояна («Меня зовут Арам» и др.), и «Мальчика из Джорджии» Колдуэлла.

Новелла могла стать истоком и новой формы собственно романа, а тот, в свою очередь, оказывать влияние на структуру последующих новелл. Классический пример тут — «Шум и ярость» Фолкнера. Известно, что сначала он думал о новелле — Фолкнеру представились непонимающие дети, отосланные играть в день похорон бабушки, и слабоумный мальчик, возникший потом, воплощал для него это общее непонимание. Но рамки новеллы скоро оказались узкими. Уже в монологе Бенджи есть — в переплетении времен — вся семейная история, и лирический монтаж придает ей особенную остроту: рядом оказывается Кэдди из детства, на дереве, в тот тоскливо-памятный день, и Кэдди-невеста, утраченная и потерянная, еще за несколько лет до свадьбы переставшая пахнуть деревьями. Первоначальный замысел новеллы прямо связан с перестройкой традиционного романа поколений в духе разлома XX ве-

ка: часть Бенджи естественно становится первой, но ограничиться одним временем, одним сознанием Фолкнер не может — семейная история, как и век, рельефно выступает благодаря тому, что сталкиваются разные сознания, восприятия времени, углы зрения. Время Бенджи — лирически, непосредственно ломаное; Квентина — утратившее связь, распавшееся (для философа-моралиста-интеллигента); Джейсона — буржуазно-трезвое, длящееся — как ни в чем не бывало; наконец, в четвертой части — время автора и Дилси, не утрачивающее своей реальности, ибо позади века страданий и закалки. Из новеллы о семейном горе и детском непонимании вырос роман, столь же связанный с традиционной историей поколений, как и с непривычной историей XX века. Фолкнеровская форма семейного романа оказалась общезначимой для европейцев — интересно, что и такой великий традиционалист, как Мартен дю Гар, с живейшим интересом читал «Шум и ярость», причем в пору нацистской оккупации Франции. Андре Жид написал тогда автору «Семьи Тибо» о Фолкнере: «Восхищен тем, что *Вы*, именно Вы, сумели за него ухватиться». А то, сколь многое мог определить этот роман в структуре послевоенной новеллы, едва ли не лучше всего видно на примере Маламуда, достаточно далекого от Фолкнера и по писательскому складу, и по изображаемой им среде. Герой заглавной новеллы его второго сборника, «Дорогу идиотам», сродни Бенджи: великовозрастный безумец, которого отец перед смертью хочет отправить к дяде в Калифорнию. Скитания в замкнутом мире благотворителей, джейсоновски-черством, американски-равнодушном, обнаруживают трагический абсурд этой затеи — и то, каким обломком стала и в издавна близкой Маламуду среде традиция семейной заботы, тепла, ответственности. Роман Фолкнера стоит за этой новеллой, начиная с исходной ситуации,— и помогает ей стать обобщенным повествованием об иной уже среде и ином времени.

Наконец, новелла, печатаемая отдельно, нередко оказывается органической частью будущего романа. Известно, что Сэлинджер опубликовал не одну новеллу о Холдене, прежде чем издал в 1951-м «Над пропастью во ржи»,— и это по-своему единое повествование сохраняет новеллистическую природу. Бывает, что и после публикации романа его глава, печатавшаяся раньше как новелла, не утрачивает своего особого, новеллистического интереса. Так, в одном из сборников новейших американских рассказов можно было встретить первую главу «Человека-невидимки» Эллисона, увидевшую свет за пять лет до публикации романа.

Нынешняя новелла появляется после расцвета критической американской прозы между войнами. Лучшие ее образцы поражают своей емкостью: за ними может ощущаться и весь художественный мир писателя, и современный этап всей литературы. Схватывая меняющийся облик страны, новелла в особенности остро заговорила о нравственной атмосфере «общества изобилия». И здесь в неоспоримо американских вещах была явная перекличка с русской традицией.

В свое время для американских новеллистов могли стать открытием вещи наших классиков, наиболее близкие им по форме: «Севастопольские рассказы» — для Стивена Крейна, «Записки охотника» — для Андерсона. Ведущие рассказчики 20—30-х годов (у каждого были, конечно, свои предпочтения) воспринимали всю русскую прозу XIX века как нечто небывалое и художественно-близкое. Не зря Хемингуэй вспоминал в «Празднике», что ему открылся в Париже «новый мир книг», когда он запоем читал «русских», от Гоголя до Чехова. Традиция, творчески усвоенная американской новеллой еще между войнами, обрела новый смысл и интерес в «обществе потребления» (если воспользоваться другим газетным клише). Русская проза помогает новеллистам в этом обществе определить свою творческую позицию и становится частью, а порой и символом гуманистических ценностей, которые они стремятся уберечь от профанации.

У нас уже привыкли различать за движением новеллы — «национального жанра» американской литературы — новые черты в духовной жизни США. Именно так подходил к новеллистам, которых он выделял, А. М. Горький. Ему принадлежит известный отзыв об авторе «Уайнсбурга»: «...неожиданное явление американской литературы, невозможное десять лет тому назад». И Амброз Бирс, забытый при жизни и нашедший свой круг читателей лишь в 20-е годы, был для него прозаиком, органично вошедшим в XX век. (Как вспоминала М. И. Будберг, Горький его «особенно любил».) Он написал однажды по поводу незаконченного рассказа О. Генри «Сон»: «Это Амброз Бирс», подразумевая неповторимый «Случай на мосту через Совиный ручей». Горького, как и Хемингуэя, поразил этот рассказ, полный горечи и иронии жизни: того, что открылось ветерану давней войны в XIX веке и было так понятно после этой, мировой, в XX. «Амброза Бирс не читали ровно двадцать лет»,— записал Горький в другой раз. Конечно, едкость этого новеллиста по преимуществу разрушала привычные самообманы — и обращение к его книгам свидетельствовало о сдвиге в общественных настроениях.

Ниже пойдет речь о нескольких новеллах, принадлежащих несхожим (в чем-то и явно контрастным) авторам. Но все эти новеллы задели читателей в США; все они — о смысле жизни и бессмыслице привычного, самоуверенно-типового, торжествующего. И за этими несколькими чувствуется целый поток: старый жанр не только не скудеет в Америке, но сохраняет общественную чуткость, отличавшую не один его образец еще в XIX веке. Наряду с лучшей эссеистикой новелла (как и роман, «ядром» которого она остается) говорит ныне свое критическое слово о мораль-

ных понятиях и ценностях, принятых в «обществе изобилия».

Уже ранние вещи Флэннери О'Коннор заставили говорить об особом качестве ее трагического дара. Поэтичные финалы ее новелл, хотя в них столь часто и присутствует южное насилие, казались знатокам чем-то, напоминающим скорее Софокла, нежели даже отличную современную прозу. С годами уроженка Джорджии находила все больший отклик в Америке; ныне резонанс ее прозы больше, чем когда-либо. В 1971 г. вышло Полное собрание рассказов О'Коннор [1].

В «Иностранной литературе» (№ 5, 1972) приводился отзыв известного критика А. Кейзина на это издание: «Она была не просто лучшей писательницей, ей удалось выразить нечто важное в американской жизни, называемое Югом...» Этот отзыв отражает нынешнюю репутацию О'Коннор.

В ее писательском облике была цельность, редкая не только в послевоенной Америке, но и в современной западной культуре. Подвижница, рано осознавшая свое призвание и сумевшая развить свой дар,— работавшая напряженно и с полной отдачей, хотя болезнь вынуждала ее делать перерывы и в последние годы оставляла ей не так много просветов; она умерла в 1964-м от волчанки, не дожив до сорока, когда была на подъеме как художник. О'Коннор настаивала, что моральное чувство и чувство драматического должны быть едины у писателя. Она заявляла, тоже с вызовом, что хорошему писателю мало писать о Юге,— свой широкий взгляд на мир она противопоставляла чисто местному, домашнему кругозору и могла сказать: «...бомба, сброшенная на Хиросиму, влияет на мое суждение о жизни в сельской Джорджии».

В то же время в ее духовном складе были очень явные противоречия, неотделимые от Америки и всего Запада наших дней. Писательница чувствовала себя католичкой «на протестантском Юге». В ее католицизме — предки О'Коннор, выходцы из Ирландии, уже давно укоренились на Юге— было нечто вызывающе архаичное: она говорила о своей вере как неизменной за века, вновь и вновь возвращаясь к основным ее догматам, и не нуждалась в логических и научных подпорах, которые предлагает современная христианская мысль. Это не мешало О'Коннор воспринимать XX век и текущие дни как интересные своими духовными и моральными поисками (причем в большой части далекими от ее веры). Она полемически защищала исступленную и страстную веру низов в ее родной Джорджии, называя и пророков из глуши, и кричащих фундаменталистов,— хотя ее читатели, разумеется, были склонны связывать это исступление не столько со светом веры, сколько с вековой темнотой. Но за всем подчеркнуто архаичным у О'Коннор — и отталкивание от рутинной и трезвенной активности гуманитариев, нередко берущихся представлять «религию» в ее стране, и выключение из той будто бы духовной (а для нее — грубо «материальной») жизни, что остается в орбите бизнеса и не противоречит его вкусу. Для европейских читателей — первый же сборник новелл О'Коннор быстро появился в переводах — она оказалась своего рода знакомым незнакомцем: в эту пору были очень популярны и «свои» писатели-католики из разных стран, от Мориака до Грина, и «южная проза», представленная десятком имен, не одним Фолкнером,— у О'Коннор же встретились две эти линии, и ее новеллы в резких поворотах показали европейцам современную Америку.

Она отстаивала те качества литературы, что в ее дни были совсем не часты в США, да и в Западной Европе. Писатель-христианин, по ее словам, не может обращаться лишь к «немногим избранным» — его проза должна иметь ценность «на уровне драмы, уровне правды, которую может признать каждый». «То, что множество людей не может увидеть в моем романе ничего христианского, не мешает многим из них видеть, что этот роман не фальсифицирует действительность».[1] Лучшая американская проза, говорила О'Коннор в статье «Региональный писатель» (1963), создавалась там, где было прошлое, разделяемое согражданами, ощущение подобия между ними и возможность прочесть малую историю в свете всеобщего,— в этом смысле Юг пришел ныне на смену Новой Англии и Среднему Западу. Она особенно ценила красочную речь родных мест, напоминая, что «наша история живет в нашем разговоре».

Но, ощущая Юг как свою антееву землю, О'Коннор особенно остро воспринимала всеамериканские перемены, превращавшие и ее край в часть — нередко причудливую и гротескную — «общества изобилия». Писательница отлично знала, что Юг, сохраняя свое лицо, грешил и узостью, и предвзятостью к пришлым, а ныне может попросту терять это лицо, легко поддаваясь «каждому ядовитому дыханию из Голливуда или с Мэдисон-авеню». Южная проза была для О'Коннор критической по преимуществу, и страшно было подумать, что в будущем место ярких и странных фигур в ней займут «мужчины в серых фланелевых костюмах», безликие конформисты,— главное же, что писатели утратят способность видеть в них «еще больших уродцев», чем их нынешние герои. Не удивительно поэтому, что на проповедь литературного конформизма в журнале «Лайф» так резко ответила эта новеллистка из Джорджии.

«Лайф» расписывал послевоенное богатство и мощь страны, близко подошедшей,

[1] У нас, вслед за журнальными публикациями, ее однотомник издан «Прогрессом».

[1] "The Added Dimension", Fordham Univ. Press, 1966, p. 231.

по его словам, к «бесклассовому обществу». И выражал крайнее неодобрение серьезной прозе США, не менее безотрадной, чем в годы кризиса, лишенной «радости жизни». Ответ О'Коннор, названный «Прозаик и его страна» (1957), сохраняет свою остроту поныне.

Она бескомпромиссно противопоставила верную истине прозу иронически поданным штампам журнала и рекламе просперити в духе Мэдисон-авеню. «Если мы не хотим принять наших художников, каковы они есть, то ответ на вопрос: «Кто говорит сегодня от имени Америки?» — должен был бы быть: рекламные агентства. Они более чем способны показать нам наше беспрецедентное процветание и наше почти бесклассовое общество, и никто и никогда не обвинял их в том, что их дух не утверждающ». Этот острый пассаж мы находим в конце текста, а в примечании к его началу, в посмертном сборнике О'Коннор, дается выдержка из одного ее устного выступления: «Эти авторы передовиц не могут понять, что писателю, делающему упор на духовные ценности, вполне пристало видеть то, что окружает его в этой стране сегодня, в наиболее мрачном свете»[1]. И в ответе «Лайфу» О'Коннор прямо говорит о *своих* духовных ценностях, о *своей* вере, но представляет она больших писателей и совсем иного склада. «Наши художники» — для нее это те, кто не откажется от критического взгляда вглубь, несмотря на все апологетические передовицы и обольщения статистики.

То, что О'Коннор высказала в этом и других своих программных эссе, подкреплялось ее уже известной тогда новеллистикой, а с другой стороны, помогает понять и позднейшие ее вещи. Мир, созданный «массовой культурой», и подлинная реальность неожиданно встретились уже в заглавном рассказе ее первого сборника — «Хорошего человека трудно найти». Перед нами стереотипы всех видов, легко проникающие в благополучный американский дом: отца не оторвать от спортивной страницы, дети глотают комиксы, а бабушка говорит без конца о газетной сенсации: ужасный преступник бежал из тюрьмы. По пути во Флориду семья попадает в аварию, и беглец с его подручными предстает перед ними въяве. Южное насилие — никто из благополучного дома не остается в живых — это в перспективе рассказа и возвращение к реальности: дети, воспитанные на комиксах, восхищенно вопили: «Несчастный случай!» — но тут было не до шуток, реальные сверхчеловеки оказались совсем не из комикса. Встреча призрачного процветания и злодейства уже не в газетном ореоле оборачивается отрицанием привычной бесчеловечности. Для писательницы особенно важно, что бабушка из «хорошей» семьи, воспринимавшая злодея, с которым не церемонилось общество, как полную себе противоположность, смогла увидеть в нем в предсмертный миг одного из своих сыновей. Для О'Коннор это действие благодати и неожиданность среди предопределенности, придающие жизнь рассказу, переводящие комически начатую историю в высокий план. Но каждому читателю этот финал открывает и просвет в художественно сгущенном мире стереотипного довольства и каторжного «недовольства».

В одной из поздних вещей О'Коннор — «Хромые войдут первыми» — гуманный воспитатель, желающий вывести порочного юнца в интеллигентные люди, узнает, как тот относится к нему на самом деле. Воспитатель, гордящийся своей гуманностью, не обескуражен: «Эти оскорбления были частью защитного механизма паренька». Однако и в этом рассказе, и в близком ему по ситуации и теме — «Блага дома» весь ход изложения и суть дела состоят в том, что без защитного механизма благостных слов и привычек оказываются те, кто нашел и теплое место, и интеллигентную роль в обществе просперити. А юные натуры, взрывающие покой как будто бы пригревших их домов, напоминают и о дистанции между реальным, нынешним — и «почти бесклассовым» обществом из «Лайфа»: они мало поддаются благому воздействию — низы таковы, какими их сделали века, пороку не обязательно жить в трущобе,— но выводят на свежую воду тех, с кем живут бок о бок в «интеллигентном» доме.

В своем ответе «Лайфу» О'Коннор заметила, что в «нынешние времена», как ей кажется, писателю-христианину резче всего открывается «гротескное, извращенное и неприемлемое». Конечно, критический подход к современности у самой писательницы не отделить от ее веры — но в большой мере он воспитан и литературной традицией. В первую очередь — своей, американской: она вспоминала, что начала думать о литературной карьере, прочитав том юмористических рассказов По; во многих эссе возвращалась к Готорну, другому классику, восприимчивому ко всему гротескному и близкому ей сумрачному моралисту. За критической прозой О'Коннор стоял и американский XIX век, и десятилетия XX: мещанской публике, принимавшей буквально ее гротеск в рассказах о текущем и провинциальном, она отвечала примерно так же, как мог еще в 20-е годы отвечать новеллист Среднего Запада.

Но безусловно, очень важной для формирования О'Коннор была и русская традиция. «Southland à la Russe» — «Юг в русском стиле» — так назывался один из материалов об ее прозе в католическом журнале «Critic». Писательница, стремившаяся представить еще прочное как призрачное, говорившая, что ее искусство комично — и оттого не менее серьезно, конечно, не могла пройти мимо «Мертвых душ». «Уверена,— сказала она в 1962-м,— что Гоголь повлиял на меня». Не могла она пройти и мимо Толстого, чьи вызывающе традиционные представления о морали, столь далекие от принятых в новейшей прозе, она

[1] Flannery O'Connor. Mystery and Manners. Farrar, Straus & Giroux. N. Y. 1969 pp. 26, 34.

вспомнила в одной из своих программных статей; «Анна Каренина» названа в ней рядом с Библией — и едва ли не важнее всего здесь, что О'Коннор, вслед за Толстым с «его верой», готова отрицать многое, что для нынешней — как и толстовской — публики само собой разумеется. Ориентация на «русских» прямо связана здесь с независимой позицией современного писателя.

Понятно, что новелла О'Коннор не принадлежит толстовской художественной эпохе,— эта писательница отнюдь не психолог по преимуществу. Условность привычного, воспроизведенного достоверно и схваченного остро, раскрывается тут через условные — крайние — ситуации, через гротескные фигуры и повороты. Многое в ее прозе — в духе всего XX века на Западе и особенно «южной традиции», как ни необычны для этой традиции насыщенно-поэтичные, при всей жестокости, финалы ее известнейших новелл. Но если художественно ее оригинальный мир прозы более сродни — из иностранных классиков — Гоголю, то весь моральный строй ее прозы неизбежно возвращает к позднему Толстому.

Такие новеллы, как «Река» (напечатанная в «Нашем современнике» в 1965-м) и «Гринлиф», очень характерные для всего строя мысли О'Коннор, естественно вызывают в памяти толстовскую формулу о «простой жизни в столкновении с высшей». В «Реке» фабричная работница приводит к себе на день заброшенного малого из интеллигентного дома, где всегда гости и вечно шутят и пьют. Работницу поражает господская гостиная, с неубранными окурками и чудной акварелью. Мальчишке же внове ее комната с картинками на священные темы и семейной реликвией — старинной детской книжкой о жизни Христа: здесь говорят всерьез. Разные миры вовсе не воспринимают друг друга благостно. Детям работницы странно жаловать городского, и отчего не выпустить на него прыткого поросенка, а горожанам-родителям исцеляющая молитва на реке, да и вся простонародная вера,— лишь повод для шуточек, после которых работница уходит, не взяв положенных за день денег. А финал тут — вслед за толстовски-резким сопоставлением разных миров — чисто о'конноровский. Мальчик-старик, сирота в отчем доме, приняв всерьез слова о царстве Христовом, ищет его, погружаясь в реку. В устремленности к этому царству, для О'Коннор, действие благодати — и в то же время после призрачных сцен высокомерно-сытой, иронически-легкой жизни дома в этом порыве и поэтическое очищение.

Призрачным оказывается и столь наглядный, по-видимому, успех владелицы крупной фермы в рассказе «Гринлиф». Миссис Мэй добилась процветания там, где все было запущено,— да еще в вечных, не прекращавшихся все 15 лет, распрях и глухой борьбе с нанятым ею нерадивым Гринлифом. Все, однако, в этом рассказе о хозяйке и работнике дышит послевоенной Америкой — и идет к нетолстовскому концу.

Дети миссис Мэй, столь разные насмешники, легко доходящие до драки, равно не дорожат ее успехом. Тут и обычный для писательницы университетский остроумец, и необычный реалист, смекнувший, как доходно продавать страховые полисы неграм. А энергичные и ладящие друг с другом дети Гринлифа — совсем другой коленкор: оба были ранены во Франции и поднялись на войне. Их новый дом совсем недалеко от фермы былой благодетельницы — а благодаря правительственной помощи у них такая доильная установка, какую и она не может себе позволить.

Демос не тот, что был вчера, говорит эта новелла, отразившая перемены в Америке. Но эти перемены делают лишь заметнее, что всегдашние представления о нем миссис Мэй были несовременны и далеки от реальности. Она еще свыклась с тем, что Гринлиф не очень охоч до работы,— но никак не с тем, что за его хитроватой нерадивостью своя гордость, не только свои интересы, и колкие напоминания о былых благодеяниях его семье меньше всего могут подвинуть дело (идиллии тут никогда и не было). А чумазая и суеверная миссис Гринлиф, взывающая к Христу лежа на земле, и вовсе претит ей — разумеется, у хозяйки, христианки «как все», своей веры нет. Рядом с женой работник для нее еще «аристократ» — в общем же, оба сама простота и суеверие: «бедные души». И эта добрая миссис Мэй мнит себя безгрешной труженицей, которой нечего робеть даже перед Страшным судом. Он приходит на земле.

К поэтическому возмездию финала рассказ ведет с первой сцены. Бычок, серебристый в лунном свете, не дает покоя хозяйке: вторгается в ее сон и будит ее, возясь у нее за окном. Это бык-плебей, бык-деревенщина, угроза ее племенному стаду. Скоро выясняется, что принадлежит он молодым Гринлифам и им до него дела нет. И другой, тоже тревожащий хозяйку образ: солнце, стоящее прямо над головой во владениях этих близнецов,— оно кажется «серебряной пулей», а потом во сне предстает раздувшимся красным шаром, бледнеющим и сужающимся, пока не выглядит тоже, как пуля. В конце резвый бычок, «гринлифовской» породы, получает от меткого Гринлифа четыре пули в глаз — но до этого он успевает вонзить рога в хозяйку, так снисходительно взиравшую на простые души и только что представлявшую, что бычок может забодать работника. Кажется, что она, «склонившись над ухом животного, шепчет ему то, что открылось ей в последний момент». Прозрение нередко у О'Коннор — рядом со смертью: оно может прийти и в последний миг, и к тому, кто остается в живых (и у кого — за видом иронического превосходства — своя трагическая вина); здесь же довольно того, что оно «кажется». Но этот мастерский рассказ, получивший премию О.Генри, разбивает несовременные представления и

---

М. ЛАНДОР
«ОБЩЕСТВО ИЗОБИЛИЯ» — И СМЫСЛ ЖИЗНИ

той части аудитории, что состоит из добрых и гуманных — на манер миссис Мэй.

«Гринлиф», как и «Река», заставляет думать о сегодняшней жизни той традиции, что была представлена суровой прозой позднего Толстого. Конечно, писателей-южан, заинтересованно читавших русского классика, было немало и между войнами. Но О'Коннор, пожалуй, как мало кому из них, чувство реальности, отказ от самообманов и прямота, достойные толстовского искусства и этики, помогли показать миру ее Юг. С замечательной рельефностью этот меняющийся край предстал в ее посмертном рассказе «Судный день» (1965).

На этот раз ее герой умирает в Нью-Йорке, где все ему чуждо — от кирпичных стен до кошек среди мусора: помыслами он дома, в зеленой Джорджии, но на Север, к дочери, его погнало то, что сделало такой непривычной жизнь в родном краю. Тэннер, у которого некогда «под рукой» были негры на лесопилке, оказался ни с чем, потеряв свою землю, и вот разжившийся важный негр новой формации, «доктор», делает ему унизительное предложение: перейти со своим самогонным аппаратом под его, «доктора», руку — ведь хижина, где живет Тэннер, теперь на его земле. Золотые часы на животе этого черного нувориша — «словно на троне» — напоминают, что пришло время перемен, тяжелых для традиционного и косного белого Юга,— перемен неотвратимых, ибо черные все меньше склонны знать свое место.

Однако и это мало готовит Тэннера к тому, что ему доводится испытать в Нью-Йорке, на лестничной площадке. Уж он-то уверен, что умеет разговаривать с неграми, и не сомневается, что черный сосед его дочери — из Алабамы, почти земляк, которому большой город тоже должен быть не по нутру. Каково же его удивление, когда тот не «клюет» на фамильярно-почтительное обращение белого: «Проповедник» — оказывается, это актер, уроженец Нью-Йорка, да и в бога не верит; назойливый добряк, не расстающийся с патернализмом и на Севере, и в нынешние времена, «зарабатывает» и колкие насмешки, и взбучку — без всяких церемоний.

Но Тэннер, которого реальность по ходу рассказа так жестоко учит за традиционно южные представления и разлад с ней, остается в некотором роде лирическим героем О'Коннор. Дочь его, по-своему очень не злая и «своя» в Нью-Йорке, может иронизировать над верой отца: все его толки о Страшном суде, когда овцы будут отделены от козлищ,— для нее лишь баптистский вздор. Но наивную веру Тэннера не отделить от его зеленой родины, а без Джорджии для старика нет ни жизни, ни смерти: поэтому он и мечтает добраться домой, а живым или мертвым — уже не важно. Поэтому он и пишет из последних сил несколько слов, чтобы — если найдут его мертвым — тело доставили на родину. Поэтому и снится ему снова и снова, что дома его встретят и мертвого,— преданный ему, еще со времени лесопилки, негр медвежьего роста Коулмен не подкачает,— а если встретят, когда он прибудет в сосновом гробу, то он, Тэннер, начнет скрестись и выйдет на зеленую землю Юга: ведь предстоит Судный день...

Реальность оказывается немилостива к старику и в последний его час. Его, лишь немного отошедшего от квартиры дочери и свалившегося на лестнице, ждет встреча не с верным Коулменом и зеленой Джорджией, о которой он грезит, а с насмешником-актером, передразнивающим последние слова Тэннера о Судном дне. Комизм — притом свирепый,— как часто у О'Коннор, помогает утверждению серьезного. Во всем облике старика, столь явно выпавшего из нашего времени, есть нечто, возвращающее к основам жизни, находящимся в загоне у тех, кто привык жить без веры и без травы. Последний штрих рассказа — полуиронически поданные мученья дочери: она потеряла сон, похоронив отца вопреки его воле на Севере,— и лишь когда его тело оказалось в южной земле, сон к ней вернулся и морщинки на ее лице по большей части разгладились.

Этот рассказ — о традиции, вырванной с корнем, сельской традиции Юга, со всем, что в ней было и живого и грешного,— конечно, сродни повести Фолкнера «Когда я умираю», столь любимой писательницей. Между фермерской верой Фолкнера и католицизмом уроженки Джорджии, окрашивающим многое в ее рассказах, от названий до финалов, остается порядочная дистанция. Но южанин в черной шляпе, наивная и трагикомическая фигура в современном городе, не столь уж далек от неказистых, вышедших на свет божий Бандренов из этой повести. А погребение в родной земле — весьма условное и житейски-обременительное — получает особый смысл, когда вся жизнь перевернулась, с землею же предков связано их прочное существование, длившееся не одно поколение, пусть и сошедшее ныне на нет.

Поэзия зеленого южного края, хотя бы по нему теперь и расхаживал нувориш с золотыми часами, каких еще не было, особенно ощутима в Нью-Йорке. И этот рассказ дает почувствовать то, что говорила О'Коннор о Юге, заместившем ныне в американской прозе Новую Англию и Средний Запад. Естественно, с сельским Югом в современной новелле связано и то, что не входило в мир писательницы. Только один пример.

В рассказе Ральфа Эллисона «Junetckenth» («Июньский праздник», 1965) герой вспоминает далекое, из детства, собрание негров в лесах и медвежью фигуру проповедника, черного мудреца Хикмена. Далекое мастерски вдвинуто в современность. Сначала «остранено»: ныне рассказчик знает большой мир, и он защищается от прошлого иронией — куда как наивно тогдашнее представление, в котором ему, крошке, подававшему проповеднику готовые реплики «от имени молодого поколения», принадлежала светло-комическая роль. Но собрание старомодных негров в

рассказе оживает,— и вся его атмосфера, от пылкой проповеди до гула толпы, кажется, равно близка и минувшим годам, и 60-м, эпохе Кинга. А в речи проповедника о тяжкой черной доле и нелегком пути к истинному освобождению вековая мудрость сливается с позицией современного писателя — в рассказе о патриархальном собрании чувствуется долгое дыхание его народа.

■

Среди послевоенных американских новеллистов Дж. Д. Сэлинджер — и самый популярный, и самый спорный. Дискуссия о всем его художественном мире развернулась в особенности с появлением рассказов о семье Гласс (роман «Над пропастью...» не сразу привлек широкое внимание и в спорах вокруг Сэлинджера часто рассматривался вместе с этими рассказами). А резонанс, который получили «Фрэнни» и «Зуи», был совершенно исключительным. Они были опубликованы в журнале «Нью-йоркер» и сразу вызвали поток читательских писем, множество откликов и толков. А в 1961-м эти вещи, уже известные, кажется, «всей» Америке, вышли отдельной книжкой — и она шесть месяцев возглавляла список бестселлеров [1].

Естественно, что в печати высказалось немало ревностных сторонников Сэлинджера. Но большая критика, не отрицая, что это — мастер новеллы, отнеслась к нему скорее немилостиво. «Сэлинджеровская индустрия» — так называлось полемическое выступление Джорджа Стайнера в 1959-м в журнале «Нейшн». Стайнер язвительно говорил о потоке критических похвал и некритических штудий, об университетской публике, способной возвести даровитого рассказчика почти в сан классика. И сам Сэлинджер был для него не столь далек от своих читателей — а его популярность связана и с тем, что он «льстит» их моральной мелкости и необразованности. Тут, конечно, чувствовалось отталкивание от литературной сверхмоды. Оно — и в самом названии статьи А. Кейзина «Всеобщий любимец» (в «Атлантик» за 1961 г.). Критик отдает должное сэлинджеровскому искусству новеллы, его чувству формы — столь заметному на фоне бесформенной прозы битников. За деталями, структурой, целым его рассказов он видит особый контакт автора с современной Америкой. Но акцент тут поставлен на том, что деление на тонких, всегда правых Глассов и прочих не-Глассов, вредя искусству автора, в большой мере объясняет и его популярность. Ибо в Америке легион читателей, воображающих себя бесконечно чуткими и духовно одинокими в обществе, обладают при этом весьма суженным кругозором и интересами. К этой критике был близок и Джон Апдайк, выступивший в том же 1961-м в книжном обозрении «Нью-Йорк таймс». И он сетует, что Сэлинджер любит Глассов «слишком исключительно» — в ущерб художеству; и если прежде проза этого писателя «спускалась на него как откровение», то по поводу осуждения мира в новых вещах он даже говорит: «мелкость осуждения».

Споры о Сэлинджере менее всего были цеховыми. Достаточно сказать, что все эти статьи были перепечатаны в сборнике, который вышел в 1963-м массовым тиражом [1]. По сравнению с другими материалами сборника они — где-то между некритическим приятием и безудержным отрицанием. Но, как ни точны многие их пассажи, в самом подходе тут пропадает масштаб явления. Герои Сэлинджера не несут ответственности за нелюбопытных студентов в американских колледжах; недаром, скажем, Холден вызвал такой отклик у юных в странах неокапитализма — Японии, Италии и ФРГ; далеко за пределами Америки известны и рассказы о Глассах — и заключенную в них критику там не считают ни мелкой, ни местной. С другой стороны, уязвимое в этой прозе не сводится к тем или иным слабостям одного писателя. Апдайк был прав, говоря, что в новых вещах углубление во внутренний мир привело сэлинджеровскую прозу к «опасному вращению по кругу и статике»: очевидно, что это опасность для многих. И сборник в целом дает почувствовать, что оценка художественного мира и эволюции Сэлинджера имеет отношение к движению всей американской новеллы.

Едва ли не глубже других высказался по сути спорных вопросов (причем отнюдь не в полемической форме) Уильям Фолкнер. Сэлинджер вошел в его размышления о послевоенной Америке и судьбе ее литературы.

Фолкнер выделял «Над пропастью...» среди книг послевоенного поколения, о Холдене же отзывался как о человеке не по мерке нынешнего мира, ибо он не добивается ни денег, ни положения,— как об «анахронизме и почти раритете в эти дни». А его историю увидел в такой перспективе: «Для меня его трагедия не в том, что он не был, как ему, вероятно, представлялось, достаточно крепок или храбр, чтобы быть принятым в человечество, или не вполне заслужил это. Его трагедия в том, что, когда он постарался войти в человечество, человечества там не было. Ему только и оставалось неистово и непрерывно носиться и жужжать, наподобие мухи в перевернутом стакане, пока он либо смирился бы, либо неистовое жужжание привело бы его к саморазрушению» [2].

Эти слова имеют прямое отношение и к посмертно изданной новелле самого

[1] «Фрэнни» в переводе Р. Райт-Ковалевой напечатана в сборнике «Современная американская новелла. 60-е годы» (изд-во «Прогресс». М., 1971).

[1] Salinger. A critical and personal portrait. A Giant Cardinal ed. 1963.

[2] "Faulkner in the University", Vintage Books. 1965. p. 244.

Фолкнера, программной для него, и к сэлинджеровским рассказам о Глассах. Но обращены они были к начинающим писателям из Виргинского университета — «Над пропастью...» представляет тут сегодня страны и ее прозы,— и сравнение Холдена, не выходящего из изоляции, из «человеческого вакуума», с мухой в перевернутом стакане толкуется диалектически тонко и многозначно. Тут и правда новейшей — корпоративной — Америки, где так нелегко художнику. «...Сегодня молодой писатель вынужден нынешним состоянием нашей культуры... работать, окруженный своего рода вакуумом человечности». Но если «наша культура» (то есть буржуазная цивилизация) ставит и молодого писателя в положение Холдена, то Фолкнеру тем более видна узость героя. У него не возникло человеческого контакта с учителем Антолини, независимым и находящим для смятенного юнца свои, не стертые слова, ибо тот воспринял расхожие в его среде представления,— Фолкнер говорит о «предвзятой мысли, навязанной ему, что каждый мужчина, если он несчастлив в браке, должен быть гомосексуалистом». Ничего человеческого, по словам старого писателя, не было и во встрече героя с людьми из низов, не избалованными судьбой,— проституткой и сутенером, и за этим эпизодом ему видится дистанция между прозой сэлинджеровского склада и традицией классиков. У мастера XVIII или XIX века это был бы опыт; контакт с далеким от благочиния «простым народом» не проходил даром для героя; здесь же за жужжанием мухи в перевернутом стакане — и правда прозы, и реальная опасность для нее: утратить те измерения искусства, которые грех утрачивать.

Таков был смысл фолкнеровских слов, сказанных в 1958-м, после появления «Фрэнни», и словно предвидевших все развертывание саги о Глассах. Этот рассказ Сэлинджера поражал, между прочим, той тонкостью, с какой в нем схватывалось все типовое и стандартное в мире колледжей. Начиная с разговора о Рильке — любимом поэте Сеймура Гласса, который ведут на перроне двое контрастных не-Глассов, проходящих курс современной европейской литературы. Агрессивно-липовая полуинтеллигентность оказывается рядом с интеллигентностью расхожей. Рею «понадобилось узнать, понимает ли Лейн, что пишет этот проклятый Рильке». Бесцеремонному малому словно невдомек, что до кого-то может дойти элегия, разбор которой задан им к понедельнику. Лейн, чтобы отделаться, говорит, что «не уверен, но, кажется, все понял». Однако с Фрэнни, которая приехала к нему на уик-энд, он берет иной тон: знатока, во всем стоящего на современном уровне, едва прикрывающего самоиронией гордость своим «сочиненьишком», расхваленным преподавателем. Не то чтобы умный Лейн не чувствовал, что понимает литературу, как многие: «Ты понимаешь, таких эссе про Флобера и всю эту компанию написана чертова уйма». Но оставить свои претензии и тон всезнайки из колледжа он не может даже в ресторане,— и Фрэнни обостренно чувствует это: «Ты разговариваешь совсем как ассистент профессора. Ну точь-в-точь...»

Весь рассказ отмечен щедростью и точностью деталей. Университетский быт — от привычного ожидания на перроне до продуманного праздничного меню в ресторане, от самоуверенных литературных умствований юнцов до поучений их лекторов,— все это схвачено здесь остро и создает тот тон прочного и постылого, что оказывается в таком контрасте с наивно- и чисто-поэтическим настроением героини, с ее — столь далеким от процветающих американских церквей — религиозным порывом. Книжка о русском страннике и старце, о том, что значит «молиться неустанно», не просто далека от всего мира самоуверенного Лейна и молодых да ранних светил колледжа: конечно, и она открывает в облике Фрэнни то явно анахроничное, отживающее — то есть девятнадцативековое среди американски-деляческого, что импонировало Фолкнеру в облике Холдена.

И мы, конечно, не сочтем случайностью, что среди жертв ненавистного Фрэнни ассистента назван русский романист (одетый с иголочки златоуст «начинает с полчаса терзать Тургенева»). В «Зуи», появившемся вслед за «Фрэнни», иронически представлена гипотетическая голливудская переделка «Войны и мира»: коммерческое кино, в меру современное и интеллигентное, готово «терзать» роман не хуже ассистента из колледжа. За русской прозой здесь — дорогие для новеллиста ценности, которые старается подогнать под свои куцые потребности «общество потребления». А книжка о старце вызывает естественную ассоциацию со всем художественным миром Карамазовых — мир этот, как видно, духовно поддерживал Сэлинджера и после войны, как и во фронтовую пору. Вспомним, что в рассказе «Посвящается Эсме», где герой читает слова нацистки, что жизнь — это ад, он отвечает ей другими словами об аде — из «Карамазовых»: это «страдание о том, что нельзя уже более любить».

По сравнению с последующими рассказами о детях одаренной семьи «Фрэнни» — вещь компактная и цельная. Но и здесь вполне заметно то, что нашел Фолкнер в повествовании о Холдене и что так затруднило работу Сэлинджера над его сагой о Глассах. Горизонты Фрэнни ограничены колледжем, где ей все претит — быт, серость лекций и разговоров, мелкость бунта. «А хуже всего то, что, если стать богемой или еще чем-нибудь вроде этого, все равно это будет конформизм, только шиворот-навыворот». Тут нет и намека на контакт ни с независимым воспитателем, ни с теми, кто бедствует, бродяжит и ищет правды не в экзотической России, а в тех же Штатах. Мистический порыв, в котором есть нечто юное и переломное, едва ли надолго, а там предстоит как-то существовать в привычном мире, жужжа в перевернутом стакане, что Глассам, с их «стеклянной» фамилией, словно на роду написано.

Существовать в мире — или уйти из него. В семье Холдена любимый старший брат, Д. Б., настоящий писатель, продался Голливуду. Здесь любимый старший брат, Сеймур, приобщивший всех детей к тонкостям мировой поэзии и восточной веры, уходит из жизни в первом же рассказе о Глассах — «Хорошо ловится рыбка бананка». Как и семья, сэлинджеровская сага о ней обязана своей поэтической энергией ему — рассказ о том, что происходит без него, здесь нередко статичен, особенно это относится к «Зуи». Естественно, что сага, начавшись со дня его самоубийства, возвращается к нему, старшему брату, в «Сеймуре: Первом знакомстве» он жив — самая поэтическая и сложная душа семьи, никогда не умиравшая для нее. Но все это оставляет открытым волновавший Фолкнера вопрос об интеллигентном герое, извлекающем ныне, как в классической прозе, из столкновения с современностью живой человеческий опыт.

В речи к начинающим писателям, где Сэлинджер и фигурировал как самый яркий пример, Фолкнер говорил о «признанных в национальном масштабе экономических группах» — по профессии, ремеслу, занятию, а то и по одной рубрике налогов или, «если нет ничего другого, по одному списку финансовой компании». Это говорилось и в связи со стиранием индивидуальности, поглощаемой группами и рубриками, и в связи с той разгороженностью и замкнутостью отдельных американских сфер, которые так препятствуют ныне писать в духе старых мастеров. В том же Виргинском университете Фолкнер остроумно высказался и на свою излюбленную тему о средостении между миром бизнеса и высокой культуры: «...сомневаюсь, чтобы м-р Чарльз Э. Вилсон, к примеру, знал, кто такой Эдмунд Уилсон,— и когда-нибудь вообще о нем слышал». (Первый был после войны президентом «Дженерал моторс» и министром обороны, второй — крупнейший американский критик, друг Фицджеральда.)

Это один круг вопросов, занимавших Фолкнера в последние годы. Его выступления в Уэст Пойнте, за несколько месяцев до смерти, развивают иной мотив. Человечество преодолеет все нынешние беды, переживет атомную бомбу, как пережило динозавров. Но серый и тупой люд, представленный ныне в избытке, это еще не наш род — и далеко не всякому, за срок человеческой жизни, удается приобщиться к человечеству. В этих словах — мост между фолкнеровскими раздумьями о Сэлинджере и его собственной художественной мыслью о современном американце, выраженной в его посмертно опубликованной новелле «Мистер Акариус» [1].

Эта новелла увидела свет в 1965-м, в «Сатердей ивнинг пост». В 1966 году она вошла в сборник лучших американских рассказов — естественно, что составители нашли здесь нечто неповторимо фолкнеровское, присущее только творцу Йокнапатофы, несмотря на явно экспериментальный характер новеллы, с ее современным и городским сюжетом.

Мистера Акариуса, пользующегося всеми житейскими привилегиями и интеллигентными дарами мира больших денег, преследует мысль: ему пятьдесят, и начни падать бомбы, от него не останется ничего — разве что «проволоки от скульптур Кейпхарта да рамы от картин Пикассо», он легко исчезнет «из членских списков нескольких клубов». Пока же он жив, он хочет хоть как-то добиться того, чего, по Фолкнеру, не достиг Холден, переживавший кризис в совсем иную пору жизни: «приобщиться ко всему человечеству». Акариус ошарашивает своего друга, доктора, тем, что хочет спиться,— узнав и бегство, и безнадежность бегства, как последний работяга-лесоруб, ночующий в подворотне или каталажке: и это, на взгляд богача интеллигента, сблизит его с людьми неустроенного мира. Для доктора, разделяющего его привилегированную и замкнутую жизнь, это странная блажь: Акариус хочет попасть в больницу для алкоголиков, и он трезво и насмешливо заключает, что лесоповал и комфорт такой больницы слишком не похожи; но, по-докторски иронизируя над «свиным хлевом в апартаментах», помогает Акариусу попасть в такую фешенебельную и современную больницу.

Рассказ развертывается как притча. Акариус не выходит из своего замкнутого круга. Но его мир, где в ожидании катастрофы покупают современные картины, тем более безумен и абсурдно комичен в этой блещущей современными удобствами лечебнице. Перед глазами Акариуса развертывается дикая комедия: состоятельные пациенты проявляют чудеса, надувая персонал,— запретное здесь виски оказывается и в горшке герани, и на груди увядшей красотки. Фольклорный юмор, с его буйными преувеличениями, излюбленный Фолкнером, сочетается в этих сценах с тем «черным юмором», который в послевоенные годы, особенно на пороге 60-х и в 60-е, так отчаянно потрошил все изношенные буржуазные нормы, выветрившиеся традиции и мнимые добродетели. Кстати сказать, в библиотеке Фолкнера был «классический» для «черного юмора» сборник новелл Дж. Парди «Цвет темноты» — и одной из его фигур был бизнесмен от религии, легко напивающийся моралист, сохранившийся, как мумия, и старающийся, пока ему повинуется язык, завербовать в свою группу однокашника-сотыльника. У Фолкнера за дикой комедией — жестокое сумасшествие реальности: одинокий среди ловко снующих пациентов, Акариус словно возвращается к дочеловеческим временам — «...беспомощный, он как бы очутился среди недоступных и безлюдных гор, где живут одни динозавры...». И он бежит по пожарной лестнице после того, в чем видит крайность расчеловечива-

[1] «Мистер Акариус» в переводе В. Хинкиса напечатан в сборнике «Современная американская новелла. 60-е годы».

М. ЛАНДОР
«ОБЩЕСТВО ИЗОБИЛИЯ» — И СМЫСЛ ЖИЗНИ

ния: старик, потрепанный актер, все спрашивавший: «А слыхали вы... говорящий сон?» — идет скандалить из-за виски к «верховному жрецу» этой лечебницы, Хиллу, и после докторского грома и ярости оказывается на полу — как труп, рука на груди словно сжимает сломанный стебель туберозы.

Беглец Акариус и тут не выходит из своего круга: его ждет полицейская машина, но и «свой» доктор, доставивший потрясенного друга к нему домой. Ироничный доктор знал, чем завершится эксперимент; он горько умудрен: «Итак, ты посетил человечество и обнаружил, что там нет для тебя места...» Но из столкновения с моделью своего сумасшедше-фешенебельного мира Акариус вынес пусть и отрицательный, но человеческий опыт. Это ужас перед расчеловечиванием, тоскливым одиночеством и бесцеремонной жестокостью.

Конечно, после андерсоновского «Яйца» современная притча, обращенная к национальным типам и делам, в Америке не новость. Но здесь гротескный ход новеллы — при всем, что в ней есть американского и хлестко фольклорного,— куда ближе чеховской «Палате № 6» [1]. Речь идет, понятно, не о прямом влиянии и не о внешнем сходстве, а о самом типе рассказа. Это притча, схватывающая состояние общества (в данном случае процветания, со всеми его тенями и безысходностью); злободневное сочетается тут с философским, и лучшим комментарием к речам Акариуса оказывается его жизнь в шкуре пациента — доктору остается лишь суммировать открывшееся другу.

Чехов глубоко занимал Фолкнера в последние годы. Интересно, что великий американец называл именно его (например, в Виргинском университете) как рассказчика «высшей пробы». В последнем своем интервью белградскому профессору Виде Марковић (6/V 1962) Фолкнер, как обычно, не забыл русских — и тут среди книг, что он перечитывает каждый год, названы «Братья Карамазовы», Чехов. По-видимому, само чеховское искусство прозы отвечало фолкнеровскому ощущению столь изменившейся и усложнившейся реальности послевоенного мира и его общества.

Само собой, нынешние времена далеки от чеховских. И американские новеллисты, показавшие в неожиданных ракурсах «общество изобилия», видят не только изнанку прогресса, но и этот неоспоримый прогресс. Однако за американской новеллой, в лучших ее образцах (как и за романом и эссе), стоят прежде всего новые нравственные потребности, их рост. Поэтому угол зрения новеллиста так явно отличается от угла зрения рекламы. И именно острая постановка вопроса о смысле жизни в «век беспрецедентного процветания» делает его столь необходимым демократическому читателю. И столь близким русской традиции, ибо, правдиво рисуя жизнь в богатой и меняющейся сегодняшней Америке, новеллист часто показывает, если воспользоваться чеховскими словами, «насколько эта жизнь уклоняется от нормы».

◆

[1] Упомянутый Фолкнером Э. Уилсон писал как раз о «Палате № 6»: «...Чехов превратил рассказ, один из своих шедевров, в притчу о всей ситуации разочарованных интеллигентов России 80—90-х годов». В этом отзыве проявилась чуткость американцев к структуре чеховского рассказа.

# Критика

И. МЛЕЧИНА

## ОТ КРУШЕНИЯ К ИСЦЕЛЕНИЮ

### Мартин Вальзер — романист и драматург

Имя Мартина Вальзера стало известно в ФРГ в середине 50-х годов. Он начинал как радиодраматург и режиссер, автор рассказов; за один из них — «Конец Темплоне» — был удостоен в 1955 году премии «Группы 47». Эти ранние рассказы, вошедшие в том же году в сборник «Самолет над домом и другие истории», отчетливо связывают молодого писателя с творческой манерой Кафки, которому Вальзер посвятил свою диссертацию. Постепенно, однако, кафкианская параболичность его ранней прозы, как и «абсурдистский» элемент его первых сценических опытов, уступает место все более глубокому проникновению в действительность, ее факты и явления, в социальную реальность страны.

Чем глубже писатель исследует конкретные проблемы своего времени, тем неплодотворнее оказываются заимствованные у Кафки и «театра абсурда» приемы художественного изображения. Вальзера влечет живое многообразие окружающего мира, превратности человеческих судеб и сложности отношений, и абстрактные схемы тесны для него, ибо не способны вместить мощный поток жизни, яркость ее красок.

Разрыв писателя с прежними художественными образцами, поиски собственного угла зрения особенно заметны в его первых больших произведениях — романах «Браки в Филиппсбурге» (1957) и «Половина игры» (1960). Гротескная символика сменяется здесь реалистическими картинами современного западногерманского общества; Вальзер все более явно обращается к традициям литературы критического реализма — в частности, к сатирической традиции Генриха Манна.

Роман «Браки в Филиппсбурге» — история начинающего журналиста Ганса Боймана в вымышленном западногерманском городке Филиппсбурге — подхватывает известный в литературе мотив вхождения в «высшее общество» неимущего молодого человека, одерживающего победы в гостиных и спальнях миллионеров. Сатирическое разоблачение буржуазной среды общая ироническая гональность, насмешка над карабкающимся вверх героем и его иллюзиями — все это сближает «Браки» с «Землей обетованной» Генриха Манна.

При этом, однако (как справедливо замечает в своей монографии о Вальзере литературовед из ГДР Клаус Пецольд), сходство отнюдь не означает эпигонства: просто для сатирика Вальзера остаются актуальными многие проблемы, волновавшие на рубеже двух веков сатирика Генриха Манна. Обращает на себя внимание близость отдельных мотивов. Например, история писателя Дикова, который в своих сочинениях отчаянно критикует филиппсбургское общество, вызывая восторженную реакцию буржуа, демонстрирующих тем самым свою терпимость, «широту» взглядов и готовность уважать «свободу художника». Но дело в том, что свирепая критика Дикова не выходит за пределы болтовни в светских салонах, она безопасна, и филиппсбургские обыватели могут позволить себе рукоплескать «поэту», ибо незачем опасаться его. Как тут не вспомнить историю манновского «революционного» драматурга Клемпнера, чьи псевдоразоблачительные опусы вызывают

восхищение у светских дам в гостиной госпожи Туркхеймер? Этот мотив — пустозвонство буржуазных окололитературных демагогов, фарс публичных дискуссий — займет позднее весьма важное место в романах Вальзера «Половина игры» и особенно «Единорог» (1966).

В «Половине игры», где вновь возникают некоторые сюжетные линии и персонажи первого романа, Вальзер идет дальше в своей критике капиталистической системы. Он создает блистательные по силе сатирического обличения картины жизни западногерманского «общества потребления», раскрывает многие стороны современного капитализма, персонифицированного в могущественном главе концерна Францке.

На сей раз Вальзер делает героем романа агента по продаже — человека зависимого, тысячей нитей связанного с буржуазным обществом, которое его топчет, заставляет с бесконечной униженностью ощущать эту свою зависимость. На вопрос, почему он сделал Ансельма Кристляйна коммивояжером, Вальзер отвечал: «...нет другой профессии, при которой у человека так отчетливо возникало бы чувство собственной ненужности... Что и сделало эту профессию такой симпатичной для меня, она напомнила мне... профессию писателя...»

В романе весьма отчетливо звучит один из главных мотивов творчества Вальзера — мотив конформизма, обывательского, мелкобуржуазного приспособленчества. И Ганс Бойман, и Ансельм Кристляйн, ловко маневрируя, пристраиваются к мутному потоку — «интегрируются» в систему, которую в душе презирают. Характерный для немецкого «романа воспитания» сюжет Вальзер иронически выворачивает наизнанку: воспитание героя означает здесь не обогащение, не совершенствование личности, а процесс стачивания душевных острых углов, встраивания в заданные общественные формы — ценой утраты индивидуальной неповторимости, превращения человека в среднего карьериста.

«Мимикрия» — так называется первая глава романа. Речь идет о стремлении «маленького человека» приспособиться, найти формы и способы существования в обществе, которое норовит раздавить его, лишить своего «я». Характерная для современной западной литературы мысль, что человек в буржуазном обществе выступает не столько как личность, сколько как исполнитель навязанной ему извне роли, возникает у Вальзера уже в его первой работе — диссертации о Кафке, где говорится: «И здесь становится очевидным, что в этом организованном мире главное — это роль, которую человек играет, не внутренний его мир, а... функция».

Конечно, в понятие роли может вкладываться самый разный смысл. К примеру, роли, которые исполняют герои романа Бёля «Бильярд в половине десятого», призваны замаскировать незащищенное, уязвимое человеческое начало, спасти личность от разрушения. Персонажи Бёля «играют» не с целью внедриться в общественный механизм, их роли — это маски (как правило, маски чудака, клоуна, человека «не от мира сего»), позволяющие им избежать приспособления и сохранить нравственную чистоту, не стать соучастниками нацистских преступлений, способ сохранить свою «идентичность», то есть оставаться самими собой.

Для персонажей Вальзера, особенно отчетливо это проявляется у Ансельма Кристляйна, маска — единственный «пропуск» на карнавал, в котором они, в отличие от бёлевских героев, непременно хотят участвовать, на ярмарку тщеславия, к которой стремятся быть причастными. Ансельм Кристляйн вошел в западногерманскую литературу как виртуоз приспособления, специалист по мимикрии, техника маскировки доведена у него до совершенства, и маска почти заставляет его забыть о собственном лице. И лишь его язвительный двойник, его второе «я» по имени Галилео Клеверляйн («Умник»), обладающий критическим складом ума, рефлектирует по поводу беззастенчивого мошенничества «деловых людей» и беспринципности самого Ансельма (кстати говоря, благодаря такой «двойной оптике» критика общества в этом романе оказывается шире, нежели та, на которую способен — вследствие ограниченности своего мировоззрения — Ансельм Кристляйн).

В романе «Единорог», в котором Кристляйн (коммивояжер превращается в литератора) пишет по заказу швейцарской издательницы «популярное» сочинение о любви, он уже не в силах играть роль. Он начинает задыхаться под своей маской — тоскует по простым человеческим чувствам, по настоящей любви, не той, с какой знакомится по необходимости, «собирая материал» для будущей книги. Он ищет чистого чувства — ему навязывают коммерческие сделки; он жаждет ощутить себя человеком, способным распорядиться собственной судьбой, но его судьбу программируют все те же невежественные толстосумы, выдающие себя за праведников и меценатов. Деваться некуда — ему платят деньги, а как известно, кто платит, тот заказывает музыку. И Ансельм Кристляйн пляшет под эту музыку, ему вовсе не весело, но он послушно и старательно, в душе издеваясь над собой, проделывает предписанные па.

К чему приводит эта постоянная готовность приноравливаться к любым условиям, это стремление — хотя бы ценой потери духовного суверенитета — идти в ногу, «поспевать», чтобы не оказаться за бортом, Вальзер показывает в завершающей части трилогии о Кристляйне — романе «Крушение» (1973). Мы застаем героя у разбитого корыта — он снова должен начинать с нуля. Он постарел на пятнадцать лет и знает, как мало шансов у человека его возраста «продержаться над водой», когда кругом хищники, готовые заглотнуть рыбешку помельче. «Я не могу жить в стране, где мучительно быть пятидесятилетним»,— скажет он в конце романа. А пока он терпит одну неудачу за другой и оказывается на грани полного банкротства.

Как и в предыдущих романах, он начинает свой рассказ, лежа в постели. Постель и прежде была исходным пунктом повествования, убежищем, единственным спасением от натиска враждебного мира, символом вожделенного уединения. Однако «общество» — все эти торговые агенты, менеджеры, крупные и мелкие боссы — снова и снова настигало его, предъявляло требования, подгоняло, пришпоривало, навязывало свои нормы и законы; и вынужденный подчиняться, Ансельм Кристляйн мчался по дорогам, пешком и в автомобиле, пускал в ход локти, рвался к успеху, и всякий раз успех оказывался иллюзией, а герой—отброшенным назад. Вспоминая о прошлом, он подводит итог: «У меня никогда не было сил, чтобы пробиться, поэтому я должен был приспособиться. Но и это становилось для меня с каждым годом труднее. Теперь у меня нет сил и для приспособления».

Названия всех глав последнего романа начинаются со слов «Зарабатывание денег». Необходимость быть «не хуже других», не выпасть из общей нормы становится для Кристляйна кошмаром, наваждением. Ниточка, связывающая его с обществом, делается все более тонкой, его жизненная ситуация — все менее благополучной. «Необходимость пробиваться, сопровождающаяся потерей связи со всеми другими людьми, является самым неблагоприятным условием человеческого существования,— комментирует Вальзер.— Может быть, Кристляйн хуже других приспособлен для этой борьбы и потому воспринимает ее как совершенно невыносимую. В таком случае его можно считать фигурой, которая особенно отчетливо демонстрирует это условие человеческой несчастливости...»

В новом романе Кристляйн выступает в роли управляющего неким «домом отдыха», принадлежащим концерну могущественного финансового и промышленного воротилы Бломиха. Роль эта унизительна, невыносима для Кристляйна. «Внутренний распорядок», который он призван охранять, есть не что иное как хитроумный способ давления на людей, вернее, их подавления. Он направлен против «зависимых». И потому должность вызывает у героя отвращение — ведь, выполняя свои обязанности, он совершает нечто вроде непрекращающегося предательства по отношению к людям, к которым испытывает скорее сочувствие и жалость. К людям, которые ищут приюта в его доме, ибо им не оказывается места нигде больше. Они никчемны до абсурда — отвергнутые, отринутые обществом, в котором социальный престиж измеряется счетом в банке и маркой автомобиля. Такие, как они, не могут «процветать» в обществе, где «процветание» считается главной гражданской добродетелью.

Но вот Кристляйн лишается и этой ненавистной для него, хотя и позволяющей «продержаться», должности — Бломих продает свое предприятие американцам. Рабочие концерна Бломиха воспринимают весть о продаже как еще большее зло: «Чего они (американцы.— *И. М.*) хотят, всякому ясно. Выжимать еще больше, чем те. В этом они сильны. Потому они и могут все покупать, что выжимают из рабочих больше...» Герой остается без места, без средств к существованию и главное — без сил начать что-то новое. Он еще конвульсивно пытается спастись, хватается за соломинку. Вместе со своими бесприютными друзьями он придумывает проекты, «как выжить»,— один другого наивнее и нелепее. Несколько дней он вживается в роль «прислуги за все» в маленьком отеле в горах, однако унижения, которые он испытывает, настолько чудовищны, а умение приспосабливаться настолько иссякло, что он бежит, бежит без оглядки — навстречу концу.

Никакого выхода не остается и у тех, кто его окружает. Череда гротескно обставленных самоубийств завершает вторую часть романа. Быть может, самым запоминающимся оказывается самоубийство приехавшего «на отдых» сорокалетнего рабочего, которого настолько страшит мысль о возвращении на фабрику, в отупляющую и бесчеловечную атмосферу, что он предпочитает добровольный конец. «Эта серия самоубийств,— замечает Вальзер,— вовсе не высосана из пальца... ведь все эти люди терпят крушение...»

Приближается к финалу и Ансельм Кристляйн. Подводя итог, он размышляет о своей чудовищной зависимости от «независимых», от Бломиха, с которым ведет нескончаемый мысленный диалог. Бломих фигурирует в его размышлениях как «противоположный тип», преуспевающий всегда оказывающийся «наверху». Ему ничто не угрожает, все у него в жизни складно, в том числе и дома, он «любящий отец», он за СДПГ, хотя поклоняется Штраусу и охотно проводит время в обществе христианских демократов. Он финансово независим и не должен, как Кристляйн, «работать ради еды и жилья». «Все его существо демонстрирует успех», он принадлежит к «высшему классу», «он постоянно на подъеме». Иронические страницы, рисующие портрет «противоположного типа», пожалуй, самые яркие, точные страницы романа.

Кристляйн жалеет о многом, но больше всего о том, что «потратил слишком много сил», чтобы «приблизиться» к Бломиху. Всю жизнь его преследует страх, как бы Бломих не подумал, что он болен или устал: тот не выносит ни болезней, ни усталости своих служащих. Кристляйна мучит кошмар, что однажды Бломих скажет ему: «Вы выглядите изможденным». Он зависит от расположения «противоположного типа», от его кивка, его покровительственной ухмылки, его гнева или раздражения. Постоянное чувство страха не покидает героя, ему кажется, что за ним гонится «множество хорошо натренированных и неутомимых охотников». В конце романа он скажет жене: «Мы провели жизнь, танцуя перед этим чудовищем. Нас превратили с тобой в товар».

---

И. МЛЕЧИНА
ОТ КРУШЕНИЯ К ИСЦЕЛЕНИЮ

Подчиненные тому же жестокому закону приспособления, и дети Кристляйна не могут стать полноценными людьми, они «редуцируются», превращаются в духовных калек, и общество пытается отторгнуть их от себя — ведь они не обнаруживают ни малейшего стремления к успеху. Старшая дочь бросает колледж и концентрируется на приготовлении замысловатых соусов, младшая — под угрозой исключения из школы, ибо ее «крайняя пассивность» становится, по мнению школьного начальства, «опасной» для сверстников. Один из сыновей со страстью отдается коллекционированию ненужных предметов домашнего обихода и неутомимо разыгрывает шута; другой проводит время, наслаждаясь нечетким, расплывчатым изображением на телеэкране. Размышляя, как могло случиться, что «цветущие существа» превратились в обрубки, Кристляйн осознает, что они загублены гнусным «внутренним распорядком». Навязанный герою «распорядок», который он вынужден навязывать другим, выходит, таким образом, за рамки локального бедствия и разрастается до внушительного символа: это форма подавления «зависимых», всех тех, кто не желает или у кого нет шанса «продвинуться к успеху».

Кристляйну, как и его «апостолам», и его детям, представляется глубоко бессмысленной, абсурдной всякая деятельность «на пользу общества», ибо оно подавляет личность. Здесь Вальзер идет в русле уже укоренившейся традиции западногерманской литературы, в которой мотив незатухающего конфликта между человеком и капиталистической системой звучит все настойчивее.

Роман полон скрытой, глубоко упрятанной горечи, маскирующейся шуткой, а еще чаще шутовством. Вальзер охотно обращается к гротеску. В гротескной интонации выдержана вся первая часть, живописующая злополучную одиссею Кристляйна. Здесь писателю удается целый ряд ярких эпизодов, возникает множество зло шаржированных фигур. Таков, например, чисто вальзеровский персонаж доктор Церль (напоминающий, кстати, доктора Церлебека из его пьесы «Дуб и кролик» [1]), воплощение воинствующего расизма и антикоммунизма. Чудовищный уродец и сегодня занимается «измерениями черепов» и изучением «превосходства арийской расы», сетуя по поводу «прогрессирующей монголизации» и «засилия иностранных рабочих». Вальзер с блеском пародирует архаично-абсурдную лексику Церля, лексику нацистских времен. Объектом сатиры становится и щеголяние «левой» фразой, повадки молодых экстремистов, прячущих за псевдореволюционностью устоявшийся эгоизм и мелкобуржуазный стиль жизни — такова зло описанная Вальзером «коммуна», в которой владычествует «шейх», молодой мошенник и наглец, заставляющий членов «коммуны» работать на себя, а потом продающий телевидению «шоу полного равноправия»...

[1] Пьеса «Дуб и кролик» опубликована в «Иностранной литературе» № 2, 1974 г.

Правда, пронзительно яркие сцены соседствуют в романе с бледными, насквозь сконструированными эпизодами, при чтении которых нередко возникает чувство обиды за то, что оригинальный социально-критический замысел приносится в жертву неугомонному сочинительству. Ансельм Кристляйн считался прежде «самым болтливым» героем западногерманской литературы — не без основания. Ему, как и автору, все казалось достойным пересказа, все — одинаково важным. За многословием героя-рассказчика в прежних романах порой исчезала главная мысль, терялась основная линия повествования. Существенное и второстепенное, значительное и мелкое — все передавалось в одном недифференцированном речевом потоке. Виртуозная техника, свежесть наблюдения, точность подмеченных реалий сочетались с утомительным многословием и пристрастием к словесным шарадам. Вальзер и в «Крушении» не избежал формальных издержек, которые не могут не вредить его прозе. И здесь пристрастие к изощренным стилистическим фигурам, погоня за гротескно-эпатирующей деталью, лавина языковых изобретений порой размывают мысль.

И все же Вальзер стал более экономным в расходовании отпущенного ему словесного дара. Это особенно заметно в последней части, где повествование обретает неожиданный суровый лиризм и где затаенная, чуждающаяся признаний горечь, прорывающаяся на лучших страницах романа, становится определяющей нотой, скорбной и трагической, несмотря на гротескные атрибуты.

Своеобразно, неповторимо звучит в романе мотив человеческой привязанности. В прошлой своей жизни Ансельм Кристляйн был, как говорят немцы, «охотником за фартуками», любителем и поклонником женского пола, не терпевшим однообразия. И всякий раз после бесчисленных похождений искал приюта возле своей жены. В последних главах «Крушения», на пороге финала, героя охватывает запоздалое чувство к жене, спутнице долгих и трудных лет. Символически возникает и повторяется грустный мотив: герой наблюдает двух бабочек «нуптиоптера», пару, связанную неразделимыми узами — они могут жить только вместе; если они проведут друг без друга больше часа, они теряют защитные механизмы и погибают. Впоследствии герой романа находит в кармане пиджака двух мертвых бабочек. Эта ненавязчивая аллегория снова возникает на последних страницах, когда Ансельм, подводя итоги, думает о жене.

Возродившееся в его душе щемящее чувство — тоже выражение происходящих в нем, хотя и слишком поздно, перемен. Размышляя о том, как распорядиться остатком жизни, он думает: «Это будет выглядеть как нечто вроде самоубийства или воскресения». «Воскресение» он понимает как путь к изменению. Мысль о необходимости изменения и является главным философским итогом этой книги. Мысль об изменении человека и изменении общества.

В последней части романа Ансельм вместе с женой добираются на машине до заснеженного и опасного альпийского перевала; машина, к которой привязана украденная парусная лодка, срывается, и герои летят в пропасть. Уже после падения Кристляйн как будто слышит приближающиеся голоса людей и надеется на спасение, но в последний момент вспоминает о «внутреннем распорядке», в голове у него всплывают «пункты правил» — и он решает не подавать голоса. Спасатели уходят, так и не обнаружив сорвавшихся в пропасть.

Погибает ли герой? Однозначного ответа на этот вопрос нам не найти в романе. Скорее всего — да. А возможно — и основания предполагать это заложены в финальных главах,— его все же спасают, и тогда его надо искать среди тех, кому не оказалось места под крылом успеха, кто объявил войну этому обществу. В последней части, говорит Мартин Вальзер, «предлагаются две возможности конца... Оба предложенных варианта финала (угасание в снегу, возвращение в Мюнхен) я воспринимаю как счастливый конец. Негативный вариант отчетливо показывает, где позитивное. Стало быть, это все же конструктивный момент!»

Приближаясь к развязке, подводя жизненный баланс, Кристляйн делает для себя вывод, к которому уже пришел незадолго до него другой эпический персонаж Мартина Вальзера — герой романа «Болезнь Галлистля» (1972). Галлистль (который мог бы зваться и Ансельмом Кристляйном) — модель человека, «больного капитализмом»; симптомы его недуга — отвращение к жизни, неспособность к труду, полная апатия. А причины? Постоянная погоня за успехом, боязнь опоздать, отстать от других — ведь это равносильно краху в обществе, которое все меряет успехом. Галлистль — это окончательно выдохшийся и сошедший с дистанции Кристляйн.

Но если сегодня, в условиях «общества потребления» оппортунизм и приспособленчество приводят прежде всего к разрушению самой личности, то на крутых поворотах истории обывательская уклончивость, поиски лазеек в собственной совести становятся страшной опасностью для целых народов. Трагический национальный опыт Германии, двенадцатилетие нацистского террора наглядно показали, как дорого может стоить человечеству нежелание задавать вопросы себе и другим, постоянная привычка приспосабливаться к обстоятельствам.

Вальзера, как и других писателей ФРГ, занимает вопрос: как могло случиться, что миллионы немцев оказались на поводу у преступника и убийцы, как могли они пойти за нацизмом, стать его активными приверженцами или немыми соучастниками? Именно Вальзеру принадлежат известные слова о том, что немецкий писатель не может игнорировать «период с 33-го по 45 год», что «каждая фраза», которая «замалчивает эту историческую действительность», замалчивает нечто очень важное.

В своих произведениях — романах, пьесах — Вальзер в той или иной форме снова и снова возвращается к теме «непреодоленного прошлого», одной из главных тем западногерманской литературы послевоенных десятилетий. Существенное место она занимает в его драматургии, прежде всего в пьесах «Дуб и кролик» и «Черный лебедь», которые, не будучи связаны сюжетом, составляют вместе с пьесой «Господин Кротт в сверхнатуральную величину» своего рода драматическую трилогию, «немецкую хронику».

Известно, что расцвет драмы обычно приходится на периоды, связанные с обострением социальных и политических конфликтов, с острыми историческими коллизиями. Такой расцвет драмы мы наблюдаем в ФРГ в 60-е годы — десятилетие, когда особенно отчетливо выявились сложнейшие общественно-политические противоречия и опасные тенденции в развитии этой страны и, как следствие, неслыханно выросла политическая активность интеллигенции, ее социальная ангажированность. Именно в драме (в частности, в так называемой «документальной драме», связанной с именами Хохгута, Кипхардта, Вайса) получила наиболее убедительное художественное воплощение тема «непреодоленного прошлого», вины и ответственности за это прошлое, не терявшая все послевоенные годы своей актуальности. Драматурги привлекли внимание к наболевшим темам немецкой истории — их волновал вопрос о позиции личности, ее возможности сохранять моральный суверенитет в условиях нацистской диктатуры, возможности противопоставить себя обществу, которое навязывало человеку свои звериные законы. Среди драматических произведений этого рода важное место принадлежит и «немецкой хронике» Мартина Вальзера.

Примерно за год до появления «Дуба и кролика» Вальзер выступил как составитель книги, имевшей большой резонанс в ФРГ. Называлась она «Альтернатива, или Нужно ли нам новое правительство?». Изданная к выборам 1961 года, она содержала высказывания известных западногерманских писателей, резко критиковавших тот опасный политический курс, который — с небольшими вариациями и изменениями — проводило федеральное правительство вплоть до 1969 года, когда к власти пришла социал-либеральная коалиция. Исходным пунктом критики был вопрос о «непреодоленном прошлом», о несостоявшейся демократической перестройке общества. Писатели отмечали, что «преодоление прошлого» чаще всего оборачивалось его поверхностным оттеснением, вытеснением из памяти, если не полным забвением. Линия общественного и политического развития, связанная с курсом на милитаризацию и антикоммунизм, достигла в тот период высшей точки. «Эра реставрации»

сделала свое дело, и бывшие нацистские чины, снова войдя в силу, заправляли в разных сферах экономической и политической жизни страны (характерно, что спустя четыре года, к следующим выборам, группой западногерманских литераторов была выпущена новая книга, которая, уже вполне определенно давая ответ на вопрос, поставленный в предыдущей, называлась: «О необходимости нового правительства, или Без альтернативы»).

Эти чрезвычайно актуальные в те годы проблемы и нашли свое — добавим сразу, весьма оригинальное — отражение в пьесе Вальзера «Дуб и кролик», премьера которой состоялась 23 сентября 1962 года в западноберлинском «Шиллер-театре». Пьеса принесла автору премию имени Гауптмана и в то же время вызвала нападки со стороны западногерманских критиков, причем некоторые из них имели к автору конкретные политические претензии. (Так, рецензента еженедельника «Крист унд вельт» неприятно задело то, что Вальзер «не замечает ни демонического характера национал-социализма, ни деятельной воли к жизни, проявляемой народом, разгромленным и стиснутым на тесном пространстве вместе с миллионами изгнанных». Сама лексическая форма этого высказывания, напоминающая о временах «геополитики» — «тесное пространство» и пр.,— уже достаточно красноречива.) В 1963 году пьеса была показана на Эдинбургском фестивале и названа в еженедельнике «Нью стейтсмен» «лучшей новой пьесой... которую можно посмотреть в Британии в этом году». Вскоре издательство «Зуркамп» выпустило новый вариант пьесы «Дуб и кролик» — автор уменьшил количество сцен и действующих лиц, сделал драматическое действие более сжатым, концентрированным.

Непосредственным импульсом к написанию «Дуба и кролика» послужил (как устанавливает в своей монографии Клаус Пецольд) подлинный эпизод — трагическая гибель польского пленного, который весной 1945 года был казнен за то, что осмелился полюбить немку. Пьеса оказалась гораздо шире этого эпизода: тревожащий Вальзера вопрос о том, как могло случиться, что люди совершали нацистские преступления, а совершив их — оставались безнаказанными, выдвинулся на первый план.

Главная фигура пьесы, ее идейный центр — Алоис Грюбель, человек, искалеченный нацизмом, изуродованный физически и нравственно. В концлагере, куда он был брошен как «красный», его подвергли унизительной и бесчеловечной операции. Разрушенной оказалась вся его душевно-нравственная структура, вся его личность. Теперь он позволяет делать с собой все что угодно, готов приспособиться к выполнению любой функции, все принять на веру, со всем согласиться. Но вот странно: между его готовностью «сделать все», что прикажут, и некоторыми его поступками существует несомненное и какое-то непреодолимое противоречие. Стремясь всегда и во всем шагать в ногу с временем, он то и дело «выпадает» из истории, говоря «правильные вещи» в «неправильный момент». То он весьма не ко времени восторженно поминает «день рождения фюрера». То в период, когда все занимаются показным очищением от грехов прошлого, опять-таки не ко времени называет свой поступок, приведший к капитуляции города, «предательством», хотя как раз на этом коротком отрезке истории отцы города лицемерно говорят об «акте спасения родины». И еще одно примечательно: только «впадая в рецидив», он действует разумно и по-человечески, хотя и вопреки конкретным требованиям ситуации. Когда же он «все понимает» — он поступает вразрез с требованиями разума.

Трагикомическая фигура Алоиса Грюбеля — гротескное выражение конформизма, вечного обывательского соглашательства, которое в опасных исторических ситуациях приводит вовсе не к комическим, а к трагическим последствиям. Без сопротивления подчиняясь любому нажиму, он неизменно оказывается жертвой, объектом манипуляций; он — подопытный кролик. Кролик, кстати, почти в прямом смысле: нацистский врач Церлебек производит над ним свои гнусные опыты, не прекращая их и после войны. Эти «опыты», как и сама фигура Алоиса, заставляют вспомнить «Войцека» Бюхнера. Его влияние на Вальзера несомненно: та же фигура загнанного, униженного «маленького человека», с одной лишь разницей, пожалуй,— Алоис Грюбель оказывается неспособным даже на тот трагический и бессмысленный протест, на который решается герой драмы Бюхнера.

Несомненна здесь и связь с театром Брехта. Стремясь представить на сцене исторически конкретную реальность, Вальзер совершает заметный шаг от «абсурдизма» своих ранних драматических произведений к реализму. При этом он пользуется брехтовским «эффектом очуждения», заставляя зрителя задуматься над существом как будто знакомых ему и вдруг оказавшихся непривычными, «странными» явлений. В пьесах Вальзер стремится к символическому обобщению (особенно это заметно в «Господине Кротте», главный персонаж которого — олицетворение дряхлеющего, но никак не желающего умирать капитализма), к максимальной образной концентрации. Пьеса «Дуб и кролик» счастливо соединяет в себе эту параболическую обобщенность и живую образную деталь, конкретные реалии действительности, вполне определенные и точные ее приметы. Элементы интеллектуальной пьесы-притчи сочетаются здесь с приемами народной комедии, сочным языком, ярким юмором. Вальзер не раз опровергал утверждения некоторых западногерманских критиков о близости его драмы к традиции Ионеско или Беккета и подчеркивал, что стремился к изображению «здешней действительности и истории».

«Дуб и кролик» — одновременно и обвинение нацизму, и злая сатира на нацистских последышей, сбросивших коричневую

форму и нарядившихся в более современные одежды. Внешне Вальзер создает «идиллию немецкого добродушия» — ведь здесь, собственно, никого не убивают. Но в этой «идиллии» шум дубрав и хоровое пение сочетаются с преступлениями, совершаемыми «именем науки» и «именем народа».

Вальзер более чем далек от того, чтобы «демонизировать» фашизм, как это делал, например, Рольф Хохгут в своей известной драме «Наместник». Доктор у Хохгута — воплощение «абсолютного зла», как Юдеян в «Смерти в Риме» Кёппена или Крамер в романе Андерша «Рыжая». В вальзеровских нацистах нет ничего сверхъестественного, они представлены в гротескно-сатирическом виде — жалкие трусы, наглые приспособленцы, страшные в своей преданности приказу — приказу, который освобождает от ответственности. С ними, как и с Алоисом, происходят всевозможные метаморфозы послевоенного времени, только они, в отличие от героя, не «впадают в рецидивы», и потому их мимикрия надежна, устойчива. В 1950 году, когда еще в моде раскаяние, они бьют себя руками в грудь и громко клеймят прошлое. Но уже спустя короткое время весь этот ненужный реквизит выбрасывается на свалку — начинается активный процесс реставрации. Проходит всего лишь несколько лет, и бывшие нацисты с содроганием думают о том, что после войны вели себя как «настоящие коммунисты» — даже показное преодоление прошлого оказывается подозрительным. А Алоис Грюбель, как неприятное напоминание, становится и вовсе нежелательным — его изгоняют из певческого кружка, в который он рвался всю жизнь, и отправляют в психиатрическую лечебницу. В сцене, в которой представители двух певческих кружков обсуждают программу предстоящего праздника, политическая тенденция тех лет, связанная с курсом на милитаризацию и антикоммунизм, раскрывается с особой, гротескной силой. Самый последовательный из бывших нацистов Потц выражает главное — всеобщий страх перед «красной опасностью». «Враг,— заявляет он,— остался прежним».

Как и в «Половине игры», Вальзер делает объектом злой сатиры тех, кто, по словам героя романа, «готов пожертвовать собой... чтобы спасти нас от коммунизма,— и при этом даже не может правильно выговорить это слово». Все эти Церлебеки, Потцы и прочие — характерный персонал вальзеровских произведений — позавчерашние нацисты, вчерашние «кающиеся грешники», в нужный момент «патриоты», готовые «забыть прошлое» и полные решимости не допустить «красной угрозы». В «Половине игры» это «интеллектуальный убийца» доктор Фукс, гальванизирующий методы геббельсовской пропаганды, или доктор Бальхубер, который поздравляет себя с тем, что успел «вовремя» пройти «денацификацию» и теперь освобожден от «хлопот». В пьесе «Черный лебедь» — бывший концлагерный врач (вариант Церлебека) и его коллега, которые «отделались» от прошлого легко и просто; их «совесть дремлет в качалке забвения» — и только сын одного из них, юный Руди, которому так и не удается пробудить отца к раскаянию, добровольно уходит из жизни.

В известном смысле «Дуб и кролик» оказывается более зрелым произведением, чем написанная позднее пьеса «Черный лебедь». В последней толкование феномена фашизма сосредоточено преимущественно в сфере нравственно-психологической. В «Дубе и кролике» писатель выходит за рамки такого толкования, включая изображаемые события в ясный историко-политический, классовый контекст.

Эволюцию, которую Вальзер проделал за два десятилетия творческого труда, один американский исследователь его творчества весьма точно определил как превращение «насмешника», «иронисты», стихийного критика общества — в «просвещенного марксиста». Правда, Вальзер на вопрос того же исследователя, чем объяснить это «неожиданное превращение в марксиста», отвечал, что «марксизм — наука, и надо прежде овладеть ею, а уж потом можно называть себя марксистом». Но тут же добавил: «Тенденция к марксизму была у меня, мне кажется, всегда... Все мои истории возникли из опыта классового общества».

Этот опыт, обобщенный зрелой и ищущей мыслью писателя, подсказал ему, в частности, и идейно-художественное решение проблем, поставленных в романе «Болезнь Галлистля»,— решение весьма симптоматичное для творческого развития самого Вальзера. Причины тяжелого социального недуга, которым страдает герой романа, ему помогают разгадать люди, наделенные способностью анализировать общественные процессы, вооруженные знанием исторической природы непостижимого для Галлистля конфликта,— коммунисты. Они же помогут ему преодолеть кризис, найти путь к исцелению.

Итогом высшей жизненной мудрости становится для Галлистля реализованная идея солидарности. К мысли о солидарности приходит перед финалом «Крушения» и Ансельм Кристляйн. Он с душевной мукой вспоминает, как в угоду все тому же «распорядку» подавлял в своих детях чувство солидарности с бесправными детьми иностранных рабочих. Уже задумав самоубийство, он вспоминает молодого рабочего Конрада Шнеля, шумно (и не без налета левацкой экспрессивности) восставшего против рабских «правил». «Я приветствую Конрада Шнеля, — мысленно произносит Кристляйн,— с Конрадом Шнелем он (Бломих.— *И. М.*) не сможет делать то, что он делал со мной... Конрад Шнель не одинок. А я был одинок...»

Вальзер особенно подчеркивает эту важную для него мысль о связи между Кристляйном и Галлистлем, за которой стоит и другая, более широкая проблема: поиски

---

пути от безнадежности одиночества к единству людей, связанных общей целью. «Крушение» Кристляйна могло произойти только тогда, когда Галлистль обрел способность жить,— говорит писатель.— Диалектика ведет от одного к другому».

Быть марксистом, по мысли Вальзера, означает прежде всего ощущать ответственность перед будущим: «Нельзя жить только сегодняшним днем, нельзя жить, не спрашивая, как будет дальше с разделенным миром... То есть надо размышлять, надо сравнивать капиталистическое общество с социалистическим. Надо быть способным оценивать политические события: я не могу позволить себе относиться к ним только как потребитель информации...»

Вальзер не раз демонстрировал свое умение оценивать политические события — оценивать с позиции человека, искренне озабоченного тем, по какому пути пойдет Федеративная Республика Германии. Его мысли о конкретных политических коллизиях минувшего десятилетия нашли яркое отражение в его публицистике. Требуя демократизации всех сфер общественной жизни, Вальзер неоднократно высказывал свое убеждение в том, что писатель не может ограничиваться «высмеиванием и вышучиванием» неудовлетворительных условий, а должен вскрывать и описывать симптомы болезни, заложенные в системе.

При этом Вальзер никогда не стоял на той распространенной среди западногерманских писателей точке зрения, что литературный протест безнадежен и бесперспективен, что литература не может и не должна претендовать на осмысление политических и общественных проблем. Мы неизменно видим его среди тех, кто осознает свою «ангажированность» и как просветительскую деятельность, и как «предостерегающую функцию».

Весьма определенно он высказался о задачах литературы в ходе полемики вокруг нашумевшего выступления американского профессора Лесли Фидлера. Прокламируя «эру новой литературы», Фидлер предлагает заменить формы буржуазного модернизма «поп-литературой», сочетанием «вестерна», научной фантастики и порнографии. Вальзер, издавна не приемлющий «культурную индустрию», соглашается с необходимостью ликвидировать «вырытую для народа пропасть между искусством» и массами. Однако «поп-литература», по его мнению,— не альтернатива, а лишь подновленный вариант старого. Подлинной альтернативой может явиться лишь конструктивный вклад литературы в общественное развитие.

Заметки на полях

# ЖИВ ЛИ УОЛДЕН?

## Коммуны в Англии и США

**В западном обиходе значение слова «коммуна» девальвировано. Коммунами там обычно называют просто группы людей, которые живут совместно, единой общиной. В рамках наших заметок мы и будем придерживаться этого узкого смысла слова.**

**Недавно на страницах английского сженедельника «Лиснер» появилась статья известного журналиста Уилфреда Ди'Эта, который специально посетил несколько коммун в Англии и поделился с читателями своими впечатлениями. Он пишет:**

> «Для того чтобы сказать, что коммуны вас не интересуют, в наши дни требуется большая доля общественной храбрости. Знакомым мне молодым людям, которые не живут и не собираются жить в коммунах, нужны как будто бы очень веские причины, чтобы объяснить свой отказ. Люди постарше, которым, как мне, уже за тридцать или за сорок, а то и больше, интересуются коммунами, потому что обеспокоены судьбой собственных детей или потому, что их самих уже в зрелом возрасте стала мучить одна из разновидностей психического синдрома, который выражается вопросом «Кто придет на мои похороны?». Экзистенциальное беспокойство, тоска, отчуждение, отчаяние — симптомы кризиса, вполне обычные в жизни таких людей, к числу которых, как мне кажется, принадлежу и я сам. Обычно этот кризис разрушает их семьи, губит карьеру и заставляет искать выхода в разнообразных «подпольных» культурах — в эротике, наркомании, мистицизме, в идее общины, во всем, что обещает преодоление своего одинокого и неудовлетворенного «я». Коммуны и представляют собой одну из попыток найти такой выход».

**По правде говоря, выход не такой уж новый, как и не нова болезнь, психический синдром которой описал английский журналист. Но вне кардинального переустройства общества болезнь эту вылечить невозможно. Строители современных коммун этого, однако, не понимают и упорно продолжают идти «своим» путем, стремясь создать островки человеческого счастья в бушующем море несправедливости.**

**Конечно, так или иначе западные коммуны противостоят завсденному распорядку буржуазного общества. По сути, они представляют собой пассивную форму протеста против капиталистической действительности, против постоянно растущей дегуманизации человеческих отношений, против отчуждения и нивелировки личности. Объединяясь в коммуны, американцы и европейцы ищут ответа на свои вопросы. Что случится, если мы отвернемся от общества и будем жить общиной? Попытавшись уйти от зла, сможем ли мы сотворить благо?**

**Сейчас, в середине 70-х годов XX века, коммуны уже давно никого не удивляют. К ним привыкли, они стали частью повседневной жизни. В одной только Америке их многие тысячи. Есть они и в странах Западной Европы, таких, скажем, как Швеция или Англия. Там их пока меньше — несколько сотен. Но, как показывает статистика, число коммун растет из года в год.**

Последнее десятилетие было особенно бурным периодом роста коммун на Западе, когда идея общин, по-новому вспыхнувшая у хиппи, охватила различные слои общества. И совершенно естественно создатели коммун в поисках точек опоры стали обращать взоры к своим предшественникам. В частности, в последнее время много пишут о Брук Фарм, колонии, объединившей видных американских интеллигентов 40-х годов XIX века во главе с Джорджем Рипли и Теодором Паркером. Устав коммуны гласил:

> «Наша цель — деятельно способствовать великим задачам человеческой культуры; установить отношения людей на основе разума и чистосердечия; применить к нашей социальной организации принципы справедливости и любви, соответствующие законам божественного провидения; заменить систему эгоистической конкуренции системой братской кооперации... установить систему промышленного труда, отличающуюся привлекательностью и высокой производительностью; ослабить страсть к наживе, заставив частную собственность служить честным, неэгоистическим целям; гарантировать друг другу средства к физическому существованию и духовному развитию и придать, таким образом, всей нашей жизни свободу, простоту, истинность, утонченность и моральное достоинство».

Одевшись в блузы из сурового полотна, колонисты весь день работали в поле, желая жить плодами трудов своих, а долгими зимними вечерами вели разнообразные философские дискуссии, читали стихи и слушали музыку.

Не менее известен и другой эксперимент, описанный Генри Дэвидом Торо в его знаменитой книге «Уолден, или Жизнь в лесу». Отвергнув коллективный опыт колонистов из Брук Фарм, Торо удалился на берег уолденовского пруда, где он прожил два года и два месяца, прервав всякие связи с «цивилизованным» миром и добывая себе пропитание трудом собственных рук. Вот что писал об этом сам Торо:

> «Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни... Я не хотел жить подделками вместо жизни... не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины... свести ее к простейшим формам и, если она окажется ничтожной — ну что ж, тогда постичь все ее ничтожество и возвестить о нем миру; а если она окажется исполненной высокого смысла, то познать это на собственном опыте».

«Уолден снова жив» — назвал свою статью в ежеквартальнике «Диссент» американский социолог Дэвид Бромуик, который обследовал коммуны в самых разных частях США. По словам Дэвида Бромуика, отрывки из произведений Торо

> «служат прекрасным материалом для любой дискуссии о современных коммунах».

А под манифестом колонистов из Брук Фарм, добавим мы, могло бы, наверно, подписаться большинство членов современных сельскохозяйственных коммун.

Действительно, нетрудно найти много общего в идеалах движений XIX и XX веков. Но есть между ними и принципиальное различие. В период романтической критики капитализма и огромной популярности идей утопического социализма Оуэна и Фурье коммуны в основном мыслились как пример для переустройства всего общества на началах братства и справедливости. Современные же коммуны не более как союзы одиночек, стремящиеся увести своих членов от катаклизмов буржуазной действительности, а с ними и от насущных общественных проблем. И в этом смысле они играют на руку властям предержащим, отвлекая недовольные обществом массы от борьбы за революционные преобразования. Поэтому современные коммуны не в состоянии в какой-либо мере влиять на социальный порядок. Более того — они становятся жертвой его.

За истекшее столетие капиталистический индустриализм разросся и принял зловещие формы, какие не могли даже представить себе богатые фантазией романтики. Само общество, с которым пытаются порвать строители коммун, стало иным, а потому и жизнь в современных общинах имеет весьма мало общего с опытами их предшественников.

Высокие идеалы, романтическая героика, вдохновлявшая колонистов из Брук Фарм, мало популярны сейчас на Западе. Рассказывая об Америке последнего десятилетия, Дэвид Бромуик пишет:

> «Как-то вдруг у нас почти не осталось героев. Все вакантные места заняли астронавты и спортсмены. Вместе с этим пришла грусть, почти отчаянная тоска по старому доброму времени... Нечто очень дорогое ушло из нашей жизни, хотя мы и получили определенную компенсацию: эрозия индивидуализма (то есть традиционной героики.— А. Г.) принесла с собой некое перераспределение энергии, героизацию целой общины людей».

Надо сказать, что компенсация эта призрачна. Современная община все более эволюционирует в сторону развлекательной организации. Более того, подпольные течения капиталистического общества размывают морально-этическое основание коммуны, оставляя лишь ее «балласт». Так постепенно коммуна становится местом, где особенно

быстро расцветает наркомания. Но Дэвид Бромуик объясняет этот печальный факт довольно своеобразно:

«Притягательная сила наркотиков в значительной мере основана на том, что ими делятся, создавая интимный круг друзей, где можно спастись от угроз враждебного мира: «Не гаси эту сигарету, приятель, передай ее мне». Теперь мы все вместе можем стать героями».

Итак, героизированная община и кружок курильщиков марихуаны. Как это всегда бывало в истории, то общество, от которого пытались бежать непокорные бунтари, наложило неизгладимый отпечаток на форму их протеста. Массовая культура, это детище современного высокоразвитого капиталистического общества, в своем наиболее деформированном виде проникает в самую гущу строителей коммун, предрешая печальную судьбу многих экспериментов.

Типов коммун на Западе великое множество. Но и английский журналист Уилфред Ди'Эт, и американский социолог Дэвид Бромуик выделяют среди них три основные разновидности, которые носят достаточно условный характер.

Первый — городские коммуны. Это наиболее респектабельный вид коммун, участники которых не порывают связей с существующей общественной системой.

Члены таких коммун, как правило,— представители обеспеченного среднего сословия. Испытывая разочарование в буржуазном институте семьи, свое неприятие они разрешают просто — обычно снимая целый дом и прорубая двери между квартирами. Самые большие комнаты дома отводят для общей детской спальни и комнаты игр, где проводят время дети всех живущих здесь членов коммуны. Как рассказывает Дэвид Бромуик, в одной из таких коммун, расположенной в двухэтажном доме в Калифорнии и состоящей из 15 семей местных адвокатов, существует следующий довольно типичный распорядок:

«Каждая из семей занимается приготовлением пищи для всей коммуны один раз в неделю; один раз в 7 недель она дежурит во время уикэнда — то есть остается дома; ответственность по присмотру за детьми распределяется подобным же образом...»

Итак, никаких высоких слов, все деловито, все предусмотрено, все рассчитано. По-видимому, такая коммуна может быть практичной, выгодной для ее членов, но она вовсе не противостоит «индустриальному обществу», а скорее приспосабливается к нему. Ее члены преспокойно продолжают свою службу, зарабатывая крупные суммы денег, и никто из них даже не помышляет хотя бы символически отвернуться от «истэблишмента». Куда там! Ведь могут и уволить! Что же касается протеста против буржуазного института семьи, то обыватели из крупных городов уже давно обогнали благопристойных адвокатов из Калифорнии, обобщая не только детей, но и жен. Неологизм «обмен женами» (wife-swapping) в США уже прочно вошел в обиход.

Конечно, не все городские коммуны так «респектабельны». Многие из них материально обеспечены гораздо скромнее. Больше внимания они стремятся уделять духовной жизни. Члены их часто пытаются организовать совместный досуг и устраивают дискуссии, чтение стихов или даже самодеятельные спектакли и концерты. Занимаясь всем этим, люди ближе сходятся друг с другом, иногда довольно содержательно проводят время. И это все. Чувство одиночества, внутреннее напряжение, на которое так часто жалуются жители западных стран, все же остается, принимая лишь иные формы. Член одной из городских коммун в Англии полушутя пожаловался Уилфреду Ди'Эту:

«Я очень редко говорю то, что мне на самом деле хочется сказать, когда дело доходит до простых вещей вроде: почему, черт побери, кухонная раковина такая грязная. Я не хочу обидеть людей. Но гораздо легче просто высказать все это, чем ходить и злиться, что кухонная раковина такая грязная».

Таким образом, вместо одиночества в большой толпе члены коммуны обретают одиночество в маленькой коммунальной толпе.

Другим видом коммун можно считать общины религиозного типа. Они самые старые. Испокон века в них находили убежище люди, гонимые за свою веру, или просто те, кто хотел отойти от зла мира и стать ближе к богу. Однако, по свидетельству журналистов и социологов, посетивших такие коммуны, христианский бог в старом традиционном смысле этого слова мало привлекает их жителей. Все они обычно ищут нового бога, пытаясь при этом найти свое собственное «я». В общине буддистов в Шотландии Уилфред Ди'Эт познакомился с молодой англичанкой, которая с отличием окончила Оксфордский университет, но отказалась от научной карьеры, решив заняться тибетской медитацией. На вопрос журналистов, не боится ли она, что эти занятия могут нанести ущерб ее интеллекту, девушка ответила:

«Прежде чем наносить ущерб интеллекту, мне хотелось бы выяснить, что он такое и как ему можно нанести ущерб. Мне кажется, что я пытаюсь развить другие аспекты моей личности».

Как видим, ответ скорее «научного», чем религиозного характера. Массовая культура, «вседозволенность» современного западного общества в большинстве случаев подчинили себе поиски новой религии. Обычно она сводится к мешанине пророчеств мистицизма, дзен-буддизма, астрологии, гипотез мадам Блаватской и т. д.

Еще одной разновидностью религиозной коммуны являются общины так называемых «детей Иисуса», исповедующих «особый» вариант христианства, получивший широкую популярность благодаря знаменитой рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Есть среди строителей коммуны и «сатанисты» — «семья» Чарльза Мэнсона, банда маньяков, зверски убивших киноактрису Шарон Тейт и ее гостей, тоже называла себя религиозной общиной. Члены этой «семьи» исповедовали культ сатаны и служили черные мессы, принося человеческие жертвы.

Третий тип — коммуны сельскохозяйственные. Члены их живут в сельской местности, добывая пропитание собственными руками. Дэвид Бромуик посетил такую коммуну, расположенную в штате Орегон и называющуюся Рейнбоу Фарм. По словам Бромуика, жители Рейнбоу Фарм выполняют лишь необходимый минимум работы, предпочитая жить в грязи и запустении. Они не слушают радио, не смотрят телевизора, не читают книг и газет.

«На первый взгляд кажется, что жители Рейнбоу Фарм просто скучают. Тот факт, что ужин может продолжаться здесь в течение четырех часов, несколько сглаживает это ощущение, но оно все же остается. Поэтому утром люди, как правило, чувствуют прилив бодрости, днем — депрессию, а вечером — если все в порядке — они так сильно накачивают себя наркотиками, что не чувствуют вообще ничего. Как только туристы въезжают на территорию Рейнбоу Фарм, им обычно задают вопрос: «Нет ли у вас наркотиков?..»

Как выяснилось, наркотики употребляют не только взрослые, но и дети. Маленький Артур (9 лет) показал Бромуику макет геодезической вышки, которую он сделал из зубочисток. Мысль о сооружении этого макета пришла ему в момент наркотического транса.

Дэвид Бромуик относит Рейнбоу Фарм к числу коммун, пущенных на самотек. Другие коммуны этого типа могут функционировать более успешно, но выводы, к которым приходит автор статьи, в целом весьма сдержанны. Касаясь всего движения, Дэвид Бромуик пишет:

«Те, кто знакомится с жизнью в коммунах, иногда преисполняются всеобъемлющей симпатией к «новому единению людей», которую они выражают в каждом произнесенном и написанном ими слове. К сожалению, я не могу разделить эти чувства... Как и другие посетители, я был поражен дружелюбием большинства жителей коммун. Картина, скрывающаяся за этим дружелюбием,— гораздо менее обнадеживающая. Поэтому, в отличие от других, я не рассматриваю это движение как безусловный источник надежды. И все же — я надеюсь».

Но одной надежды мало. На пути развития коммун нет достойных ориентиров. И хотя сейчас они растут числом, их будущее сомнительно. Источник, питающий коммуны,— массовое недовольство буржуазными общественными отношениями. И можно только сожалеть, что это недовольство приняло такие формы. От зла коммунам уйти не удалось, сотворить благо они тоже не в состоянии.

**А. ГОРБУНОВ**

# МИРАЖ «ЧЕСТНОГО ДИАЛОГА»

Поводом для беседы корреспондентки английского еженедельника «Обсервер мэгэзин» Эллен Доусон с руководителем Национального театра Питером Холлом послужило в известной степени уникальное событие в театральной жизни Англии — строительство нового здания Национального театра с несколькими залами, просторными репетиционными, студийными мастерскими, широким фойе, стеклянные стены которого открывают панораму Лондона.

«Целый день напролет двери театра должны быть открыты для музыкантов, художников, поэтов, для молодежи, которая еще ищет себя... Он станет театром нации, а не просто еще одной театральной труппой, круглый год здесь будут проходить фестивали, гастролировать европейские труппы. В общем, все сводится к тому, чтобы привлечь как можно больше зрителей к театру»,—говорит Питер Холл.

Для английского театра, который развивается в тисках хронических финансовых трудностей, когда продолжается переоборудование театральных помещений под магазины, склады и бары, строительство здания на Саут-Бэнк — событие радостное.

Но выступление режиссера посвящено не столько строительству нового здания, сколько проблемам современного театра. Признавая, что «в английском театре не так уж хорошо обстоят дела», Питер Холл полагает, что за прошедшие двадцать лет — с момента появления драматургов «новой волны» — произошли такие радикальные перемены, что театр по праву можно назвать «прообразом здорового общества».

> «В 50-е годы у нас были «Оглянись во гневе», Беккет, Брехт. А затем появилась целая плеяда драматургов, о которых мы и мечтать не могли до 1954 года. Двадцать лет назад можно было увидеть постановку шекспировской трагедии, но трудно — спектакль, представляющий современную мировую или английскую драматургию. Потом все изменилось. Революция в финансовом субсидировании театра Советом искусств дала толчок развитию нашего театра в 60-е годы, а с расширением финансовых возможностей выросло число людей, серьезно относящихся к театру. Эти радикальные годы были поистине волнующими. Сейчас мы вступили в новый период».

О «новом периоде» «нового английского театра» говорят многие деятели культуры, литературоведы и критики, причем разговор этот выходит за рамки обсуждения удачного спектакля, режиссерской или драматургической находки, того или иного направления. Участников этой дискуссии прежде всего волнуют проблемы, связанные с определением места и роли театра в духовной и социальной жизни общества, высказываемые мнения порой исключают друг друга, но в них очевидно стремление вывести формулу театра, «вечно живого элемента нашего общества», как пишет о нем Питер Холл, «который призван задавать вопросы зрителю». Почему же должна измениться роль театра в английском обществе?

> «Крах британской колониальной империи, комплекс ощущения обманутости, порожденный ослаблением национального могущества,— все это привело к тому, что вот уже с 1956 года Англия переживает поворот своей истории. Быть может, именно поэтому она расчистила путь для развития субсидируемых компаний, согласилась ликвидировать театральную цензуру и, руководствуясь теми же общими соображениями, во все большей мере способствует превращению своего театра в инструмент социального самоанализа»,— мотивирует причины перемен критик Даниэль Салем в статье «Каков новый английский театр?».

Воздавая должное отмене театральной цензуры, увеличению субсидий, финансовой политике Совета искусств, Даниэль Салем, так же как и Питер Холл, пишет о наметившемся процессе духовной переориентации английского общества 70-х годов, естественной реакцией которого на атмосферу «вседозволенности» стал поиск новых ценностей и идеалов, стремление к чистоте чувств и правдивости мысли.

Один из ведущих английских драматургов Эдвард Бонд предложил недавно свое прочтение шекспировского «Лира». В бондовском варианте, поставленном на сцене «Роял корт», старый король говорит Корделии: «Наши жизни складываются неудачно, они хрупки, и лишь одно может позволить нам сохранить здравый рассудок: сострадание. Человек без сострадания — безумен».

Двадцать лет назад английский театр дал новый тип героя — сердитого, неуемного, отвергающего все и вся Джимми Портера, а Эдвард Бонд несколько лет спустя создал пьесу «Спасенные», тема которой была агрессивность и злобность человека. Сейчас Бонд видит спасение в сострадании и всемерной отзывчивости. Последняя пьеса Арнольда Уэскера «Старики», как отмечает критика, преисполнена «жизнерадостности, упоения малыми радостями жизни... надежды и человечности». На смену dies irae, дню гнева, пришла пора выбора положительной программы.

Абстрактная проповедь гуманизма в пьесах «нового театра» — лишь толчок, побудительный мотив в поисках реальных, конкретных идеалов. Но чем явственнее потребность в новых идеалах, тем острее опасность подмены их суррогатами, стереотипами «общества вседозволенности», тем шире процесс их интеграции в охранительную систему буржуазного общества.

70-е годы показали, что нависшая над театром угроза быть поглощенным «фабриками стереотипов» — кино, телевидением и прочими средствами массовой информации — может быть устранена. Поиск истинного, неповторимого заставил англичанина выключить телевизор, выйти из дома, преодолеть в себе, если применить терминологию апологета средств массовой информации Маршалла Маклюэна, «инстинкт омассовленного индивида» и пойти в театр. Вот что говорит по этому поводу Питер Холл:

> «Зритель сразу же начинает сердиться, если его разочаруют. Нет смысла сердиться перед киноэкраном или перед телевизором. Живое, непосредственное общение со зрителем делает театр главной силой в нашем мире средств массовой информации. Он вызывает сильные реакции.

Зритель, находясь в театре, может разделить с актерами происходящее на сцене, более того, они вступают в контакт друг с другом, хотя и не подозревают об этом. Зритель в целом — гораздо более тонкий и умный организм, чем каждый индивид в отдельности.

Телевидение сослужило добрую службу театру. Оно пробудило в людях жажду к неповторимости. Спектакль в театре — событие уникальное, неповторяющееся. Ведь все большее число людей предпочитает иметь у себя кресло, сделанное вручную, чем шесть собранных поточным методом. Завтра вечером 900 человек станут свидетелями уникального эксперимента, который состоится в Олд Вик, уникального, ибо оно уже не повторится. А во вторник та же самая пьеса будет сыграна совсем по-иному при совсем иных обстоятельствах».

**Одним из экспериментов, который призван был помочь зрителю утолить «жажду неповторимости», по мнению некоторых критиков, явилось возникновение «Ликвид тиэтр».**

**«Ликвид тиэтр», или, как его называют — «групповая терапия», разместился в Глобал Виллидж — помещении, переоборудованном из старых винных погребов и оформленном в виде альковов. Свет притушен, посетитель садится на мягкий восточный ковер в атмосфере уединенности и тишины. Перед входом в театр каждому дают полиэтиленовый пакет — голубой, желтый, розовый, куда следует сложить свою обувь, пиджак и все остальное, что может помешать самораскрытию. Затем посетителей делят на группы, в каждой по двадцать человек, а в ожидании церемонии посвящения их заставляют разминаться — играть в различные детские игры, изображая лягушек, вампиров и пр. Потом зрителей проводят в темную комнату, усаживают на пол и предлагают предаться размышлениям. Хорошенькая девушка ведет после этого их в «лабиринт». «Закройте глаза,— шепчет она,— доверьтесь нам». Невидимые руки ласкают посетителя, голоса шепчут «добро пожаловать», ветерок разносит запах ладана, играет тихая мелодичная музыка.**

**Но вот двое молодых людей, голые по пояс, начинают кружить свою жертву, напевая тихо на ухо. Наконец, поцелуй в губы — и жертву просят открыть глаза. Лабиринт окрестили «эротической игрой в жмурки». Затем все собираются в общей комнате, садятся на пол в одном из прохладных альковов и проверяют чистоту своих чувств, съедая апельсин и миндаль, выпивая сладкий мятный чай.**

**«Ликвид тиэтр» называют еще «чувственным противоядием напряженности современной городской жизни». Конечно, он — это экстремистское проявление права театра на эксперимент, за которое ратует Питер Холл, его цель — помочь зрителю не только сбросить с себя путы урбанистического рабства, но и освободиться от тех сословных, образовательных и прочих признаков, которые обусловливают место личности в современном интегрированном обществе.**

«Зритель — часть искусства, часть нашей работы. Театр собирает зрителя из разных слоев общества. Один какой-то класс — в социальном ли смысле: верхушка или низы, в возрастном ли: молодежь или старики — не может быть хорошей аудиторией...» — утверждает Холл.

**Бережное отношение к личности вместо всесокрушающего нигилизма героев Осборна и Уэскера; радость познания и общения вместо трагедии бессмысленности и обреченности героев экзистенциальной драмы Беккета и Пинтера проповедует Питер Холл. Монологи гнева Джимми Портера и монологи молчания героев Беккета, отметавшие саму надежду на возможность контакта, должны уступить место спокойному, открытому диалогу.**

«Работа в театре — поиск. Это, конечно, не очень легко. Но общение со зрителем служит нам наилучшим вознаграждением, самое главное — непосредственное общение с обществом... Когда театр и зритель честно ведут диалог — это удивительно! Подобное может случиться и во время не самого хорошего спектакля и не с самым талантливым актером...»

**«Честно вести диалог» — вот, пожалуй, основной тезис беседы Питера Холла и то, к чему стремится английский театр 70-х годов.**

**Свой новый сезон «Роял корт» начал со спектакля Брайена Фриела «Свобода города», посвященного трагическим событиям, происходящим в Ольстере. Перед зрителем с документальной достоверностью разворачивается цепочка событий: судебное расследование дела об убийстве трех мирных граждан солдатами английской армии, разгон демонстрации с помощью слезоточивых газов, лекция американского социолога, в которой он пытается убедить аудиторию, что причина конфликта в Ольстере — религиозные распри. Бар — веснушчатый ирландский парень поет слушателям балладу, посвященную Ирландии; кладбище — священник отправляет в последний путь павших в боях за свободу отважных сынов родины.**

**Читая рецензию на спектакль театрального критика Дж. Ламберта, опубликованную в журнале «Драма», мы убеждаемся, как четко срабатывает принцип защиты анг-**

лийского конформистского общества,— Ламберт спешит расставить все необходимые акценты:

> «М-р Фриел большего бы достиг, если бы постарался избежать того ужасающего впечатления, которое остается при виде зверской расправы солдат над беззащитными людьми,— думаю, что даже самый ярый ирландский патриот понимает, что это не может являться комментарием к хаосу и трагедии, происходящим сейчас в Северной Ирландии».

**Конформистская буржуазная критика Англии уже примирилась с тем, что театр перестал быть лишь развлечением, что он выполняет определенные воспитательные и социальные функции. Но как только драматург Брайен Фриел сделал попытку заговорить о том, что уже несколько лет волнует англичан, его тут же обвинили в прямолинейности и примитивизме.**

**Зато с каким воодушевлением пишут, к примеру, критики Джон Элсоп и Даниэль Салем о представителях «театра абсурда» — последователях Ионеско и Беккета — и «театра жестокости» — учениках Антонена Арто:**

> «Гарольд Пинтер, не ведая спадов, по-прежнему на подъеме, и это, несомненно, благодаря своему психоаналитическому, а не социальному направлению»,— пишет Салем, а Элсоп, как бы подводя теоретическую базу под этот посыл Салема, добавляет:
>
> «Разве театр призван заниматься только ординарными проблемами? Разве он не обязан рассматривать вопросы бытия, такие как одиночество и отчужденность человека, невозможность наладить контакты с другими, внутренний мир человека, мир его фантазии?.. В своей последней пьесе «Старые времена» Пинтер, отталкиваясь от натуралистического повествования, достигает тончайшей формы, передает ностальгию своих героев, от сентиментальных сожалений подымается до страстного осознания глубины потери».

**Известный критик и издатель Джон Колдер также полагает, что новое слово призваны сказать не драматурги-реалисты, а последователи «театра абсурда». Оставляя без внимания творчество Арнольда Уэскера, заявляя, что**

> «Джон Арден отныне в счет не идет, ибо он, не сумев обрести второго дыхания, постепенно превращается в светского писателя, а Дэвид Мерсер, на которого в прошлом возлагались большие надежды, отвлекся трагикомедиями, камерными и вместе с тем мрачными по духу»,

**автор расточает похвалы представителям абсурдистской драматургии. Наибольшего внимания, по его мнению, заслуживает Хиткот Уильямс. Хиткот до прихода в литературу был врачом, и медицинские познания весьма ему пригодились в работе над пьесой «Эйси» — «Ди-си».**

> «Смелая, местами сенсационная, способная внушить ужас, эта удивительная пьеса представляет собой мощный поток слов, детально описывающих напряженное состояние, в котором находится человеческий мозг».

**В эпилоге главному герою делают трепанацию черепа...**

**Лорду Артуру Джеймсу Бальфуру, лидеру консервативной партии, оставившему по себе след в истории жестокими репрессиями против ирландского национально-освободительного движения, принадлежит изречение: «Лучше сделать глупость, как это делалось всегда, чем совершить умный поступок, которого никто никогда не совершал». И руководствуясь этой максимой, буржуазная критика пытается извратить достижения таких талантливых английских драматургов, как Ардеи, Мерсер, Бонд, Стоппард, а перемены английского театра ввести в русло общепринятого: эксперимент свести к порнографическим шалостям, социальные проблемы — к двусмысленности, философские вопросы — к модернистским вывертам.**

**«Вседозволенность» — «permisiveness» — производная глагола «to permit» — «разрешать», «позволять». Английское общество добилось не свободы, а лишь «разрешения» на определенные поступки. Ханжество и лицемерие викторианской морали достигли новой стадии: вместо свободы англичанину предоставляется несколько свобод — мелкие эрзацы всеобъемлющего права человека распоряжаться своей жизнью. Ему дозволено ходить в ночные клубы и смотреть стриптиз, ему дозволено расторгнуть свой брак и вступить в новый. Ему даже дозволено заявлять о своих политических взглядах. Но так, чтобы это не выходило за рамки «дозволенного», не угрожало благополучию и спокойствию буржуа — потомков лорда Бальфура.**

**В Ливерпульском университете идет спектакль «Ястребы приземлились». Начинающий драматург, журналист из Йоркшира Дэвид Эдгар сделал попытку показать в своей пьесе-феерии современную Америку. Космонавт, первым вступивший на Луну,— не кто иной, как лейтенант Колли, участвовавший в зверской расправе над жителями вьетнамской деревни Сонгми. Парень, в которого влюбилась героиня спектакля, оказывается**

Чарльзом Мэнсоном. Мэнсона автор пьесы делает символом больного американского общества.

Трагические события в Чили послужили темой для телевизионной пьесы Адриана Митчелла, которую он посвятил чилийскому патриоту, поэту-коммунисту Виктору Хара. Но это всего лишь редкие исключения.

> «Безусловно, если бы кто-нибудь написал пьесу о Пулсоне или о любом из ныне здравствующих английских политических деятелях, она никогда не была бы поставлена. Ведь не разрешает же до сих пор цензура выпуск фильма о Пулсоне «Мир в действии». Все это очевидные факты. Если так будет продолжаться, то, конечно, «Мышеловка» Агаты Кристи не сойдет с английской сцены еще 187 лет» — эти горькие слова принадлежат критику Стэнли Рейнольду, выступившему в канун 1974 года со статьей об английском театре.

Недавно английская газета «Гардиан» поместила заметку о том, что актриса Ванесса Редгрейв, писательница Эдна О'Брайен и член английского парламента от Ольстера Бернадетта Девлин явились в суд с просьбой отдать им на поруки находившихся под следствием десять ирландских патриотов, которых обвиняли в антигосударственном заговоре, диверсиях и вооруженных нападениях. Из заявления, сделанного Девлин, явствовало, что обвиняемые содержались в тюрьме до суда в ужасающих условиях, им было отказано в адвокате. Но как и следовало ожидать, на поруки их выдать отказались. Это газетное сообщение — одно из сотен, которые служат веским комментарием к пьесе Фриела «Свобода города». Прогрессивные художники театра знают истинную цену демократии буржуазного общества, но тем не менее они не могут уберечься от его болезней и его мистификаций. И потому Питер Холл считает, что перед ним открыты неограниченные возможности превращения театра в «социальный инструмент», а Ванесса Редгрейв наивно полагает, что господа судьи отдадут ей на поруки ирландских патриотов.

**А. НИКОЛАЕВСКАЯ**

◆

# Публицистика

# ЗВЕНЬЯ В ЦЕПИ ВРЕМЕНИ

*Вступление, перевод с вьетнамского и примечания М. ТКАЧЕВА*

Это было не так уж давно, когда в Северном Вьетнаме еще шла война. После плавания на катере по порожистой Черной реке мы вместе с Нгуен Туаном устраивались на ночлег в бамбуковом доме на сваях. Сквозь щели в тонких плетеных стенках поблескивали звезды, висевшие над горами так низко, что казалось, их можно достать рукой. Поблизости, в садах госхоза «Као-фаунг», отсвечивали в лучах луны огромные золотые апельсины, похожие — точь-в-точь — на райские плоды, развешенные Альбрехтом Дюрером на ветках за спиной его Евы.

«Старик» Туан — как называют его друзья,— безжалостно очистив дюреровский апельсин, зажег три благовонные палочки. Терпкий дымок их должен был незамедлительно погубить окрестных комаров, посрамив тем самым плескавшуюся в моем флаконе прозрачную жидкость с невероятно длинным названием. Само собой, в наш век, именуемый «веком Химии», подобная вещь отдает ретроградством. Я сообщил об этом Туану. И он стал припоминать все прочие «определения» нашего беспокойного XX века: век Атома, век Электроники, Автоматики, Космоса... В общем, мы убедились, если XIX веку еще достаются электричество и пар, то на долю всех прочих столетий почти ничего не осталось. И мы заспорили о нашем времени — стремительном, противоречивом и многоликом. Меня удивило тогда, как много знал об успехах человеческой мысли и прикладных наук писатель, проживший жизнь в стране, недавно еще числившейся в отсталых, и не раз на своем веку познававший «передовую цивилизацию» весьма конкретно — по ее достижениям в области разрушения и убийства. Подытожил наш спор Старик Туан совершенно неожиданным образом. «И еще,— сказал он,— я читал у одного из нынешних знаменитых философов, что в искусстве наш век — это век документального жанра, век Факта. Выходит, я как публицист вовсе не ретроград, а человек современный и модный. Вот начну,— продолжал он,— писать без знаков препинания, и это даже до тебя дойдет...»

Я понял, слова мои его не обидели, и это была, конечно же, шутка. Но, как говорится, в каждой шутке... Долго еще я не мог уснуть, размышляя о нашем споре. Все книжки Нгуен Туана, кроме последней, вышедшей уже позднее, я к тому времени прочитал — и не раз — от корки до корки, вырезал из журналов и газет его очерки и статьи. Признаюсь, сперва, еще с университетской скамьи, когда я учил вьетнамский, меня привлекала яркость и образность его языка, отточенность и совершенство стиля. Но потом я оценил по достоинству и другое, не менее важное качество прозы Нгуен Туана — многомерность его публицистики. Он умеет не только воссоздать многокрасочные и объемные изображения «материальной среды» и людские портреты, но и мастерски владеет «четвертым измерением» — временем. Каждый его очерк — это не просто отдельное событие, данное само по себе, но — и здесь, наверно, начинается граница между газетным репортажем и художественной прозой — основное звено в «цепи времени», итог логической последовательности совершившихся фактов, а иног-

да — и ступенька в будущее. Нгуен Туана всегда интересуют не просто «факт» в его, так сказать, документальной очерченности, но прежде всего то, что скрывается за каждым фактом — его исторический и духовный смысл. Он оценивает события и факты по шкале человеческих ценностей. Вся публицистика Нгуен Туана сугубо «личная» — не просто в плане позиции автора, его выводов и оценок, в каждом его очерке автор — непременное действующее лицо, не наблюдатель, а соучастник происходящего. И потому каждая вещь его несет в себе высокий эмоциональный заряд. Нгуен Туан — прозаик-документалист обращается не только, а порой и не столько к интеллекту и здравому смыслу читателя, но к его эмоциям и фантазии. Воздействие лучших его произведений на читателя сопоставимо с воздействием поэзии, и, наверно, в этом секрет того, почему многие из самых его «злободневных» произведений читаются с интересом долгое время спустя после того, как формальная их актуальность теряет свою остроту.

Я думаю, будущим историкам семьсот страниц публицистики, составивших четыре последние книги Нгуен Туана, послужат существенным дополнением к документам, атласам и цифрам. Они пронизаны торжеством двух великих военных побед Вьетнама — нынешней и той, прежней, что отгремела два десятилетия назад. Но они говорят и о другом: о том, как, какою ценой завоеваны были обе победы — о стойкости и мужестве, о принесенных жертвах и горечи невосполнимых утрат. Эти книги — художественное свидетельство двадцати семи лет вьетнамской истории: от первых боев с колонизаторами в конце сорок шестого и до победной весны семьдесят третьего — двух войн, когда была защищена новообретенная свобода, и недолгого мира в промежутках между ними, когда были утверждены, и, как мы видим теперь, нерушимо, основы нового, социалистического строя. И оттого в публицистике Нгуен Туана ощущается ясно радость еще одной, третьей великой победы Вьетнама — над несправедливостью и косностью старой жизни, над противящейся творческим замыслам человека могущественной природой,— победы, одержанной уже не силой оружия, а мощью труда и разума раскрепощенного народа.

Нгуен Туан по духу своему и творческой манере — писатель современный и вроде бы ни на кого в прошлом не похожий. И все-таки.... Все-таки «документальная» традиция во вьетнамской прозе насчитывает почти пять столетий (летописные своды здесь не в счет), хотя выглядела она прежде, разумеется, не так, как сегодня. Назовем знаменитые «Десять заповедей о неприкаянных душах» короля Ле Тхань Тонга. А потом был, уже в XVIII веке, любопытнейший «Рассказ о путешествии в престольный город» Ле Хыу Чака, позднее — «Записи в дождливую погоду» Фам Динь Хо и многие еще книги... Я назвал здесь лишь самые, на мой взгляд, интересные. Многие написаны в жанре путевых записей — любимом жанре Нгуен Туана. Кстати, и старой вьетнамской поэзии, которую любит и превосходно знает Нгуен Туан, был свойствен интерес к «документальности» (точным фактам, конкретным личностям, географическим пунктам); причем поэты стремились повернуть известное всем событие, привычную вещь незнакомой еще стороной, найти удивительное в обыденном... Не таков ли и излюбленный «ход» Нгуен Туана? И как иногда похожи его очерки с частыми поэтическими и фольклорными вставками на старую прозу с ее непременными стихотворными украшениями!

Нгуен Туан — писатель с ярко выраженным национальным характером. О Хельсинки пишет он, о Москве или об Одессе — мысль его постоянно обращена к Вьетнаму, там черпает он примеры для аналогий и сравнений, там — источник его вдохновения и его читатель. Он хорошо знает свою землю. По ее дорогам он ходит и ездит вот уже который десяток лет. И родная земля, народ ее — на Севере и на Юге — для него всегда единое целое; об этом он пишет со всей присущей ему страстностью, будущее Вьетнама для него неотделимо от национального воссоединения. Не случайно именно Нгуен Туан в течение нескольких лет вел на Ханойском радио рубрику радиопублицистики «Переписка с Югом» [1]. Давайте послушаем ответ одного из адресатов Нгуен Туана — южновьетнамского писателя Ань Дыка: «Я не один слышал вас, рядом со мной сидел Ли Ван Шам [2]. Он восхищался вашим умением строить документальную основу очерка, богатством и яркостью вашего воображения и искусством воодушевлять людей силой точно найденных слов» [3]. Тут, как говорится, ничего не прибавишь.

Нгуен Туан в одном из очерков сравнивал себя со старателем, намывающим чистое золото человеческих сердец. И золото это он находит не только у своих, вьетнамских, рек, но и на берегах Москвы-реки, Ангары и Волги. Слова «Россия» и «революция» стали для него синонимами. Он писал о святынях Октября — Разливе, «Авроре» и Смольном, о квартире Ленина в Кремле и Красной площади. Писал о Ленине и величии ленинской мысли, воплощенной в плане ГОЭЛРО, в генераторах Братской ГЭС и первых космических взлетах. Для него были всегда очевидны сродство и связь между двумя революциями — Октябрьской и Августовской [4], как и между нашей Отечественной войной и битвами за свободу Вьетнама. Не случайно сталинградский подвал, где был взят в плен Паулюс со своим штабом, напомнил ему бункер де Кастри в Диен-биен-

---

[1] См. «Иностранную литературу» № 6, 1966 г., стр. 121.
[2] Ли Ван Шам — южновьетнамский прозаик и публицист.
[3] «Иностранная литература» № 5, 1965 г., стр. 218.
[4] Имеется в виду победа вьетнамской революции в августе 1945 г.

фу [5]. И в трудные дни недавней войны он не раз вспоминал о героизме советских людей, сломавших хребет фашистскому зверю.

Как и все его земляки, Нгуен Туан высоко оценил братскую помощь, которую наш народ оказывал Вьетнаму, сражавшемуся против американских империалистов. Наметанный глаз его подмечал сразу и батоны из советской муки в ханойских столовых, и новые ЗИЛы на дорогах, и нацеленные в небо ракеты — их он, подобно вьетнамским крестьянам, называл «огненными драконами». Но больше всего, по-моему, он любит глядеть на корабли под красным флагом с серпом и молотом, стоящие у причалов хайфонского порта. Поднявшись на борт, он подолгу беседует с моряками и разглядывает карты с трассами корабельных маршрутов. Его интерес к синим океанским дорогам вполне понятен, ведь по ним после победы будут идти — вернее, уже идут — грузы, необходимые для восстановления разрушенных войной заводов, дорог и городов Вьетнама и для намеченных уже новостроек. Он мечтает, что когда-нибудь и сам проплывет по этим дорогам; и, я думаю, мечта его осуществится, ведь Старику Туану, как любит он сам говорить,— «всего шестьдесят четыре»...

Несколько слов об этой публикации: здесь собраны очерки, написанные в разные годы и о разном. «Торговый ряд Конг-тхэн» — памятка прежней войны — яростное отрицание буржуазной морали, культа наживы, с хирургической точностью препарированного в свое время Карлом Марксом в его «Капитале». «Лубки деревни Донг-хо» — своеобразное эссе о народном творчестве, провозглашающее несовместимость гуманистических идеалов искусства и слепой бесчеловечной машины империализма. «Люди строят дорогу» — взволнованный гимн созидательному труду народа, пролагающего пути в будущее. И, наконец, «На опаленной земле Куанг-чи» — сегодняшняя реальность Вьетнама, его борьба, его чаяния и победы, художественный «комментарий» к той информации, которую каждый из нас находит на газетных страницах.

## НГУЕН ТУАН

### Торговый ряд Конг-тхэн

Моя лодка миновала мост Бэу, Куан-баунг и подплыла к обводному каналу, что в Донг-куане [6]. Среди множества людей, плывших, подобно мне, на лодках, я был чужаком. Здешние лодочники возили всех по одному и тому же маршруту — на рынок, ставший прибежищем спекулянтов, валютчиков и прочего сброда, рехнувшегося на деньгах. На берегу мигали ручные фонарики — великое множество огней, похожих на сонмище светляков. Заморгали фонарики и с лодок. Попутчики мои, опустив руки в воду, принялись отмывать до блеска резиновые сандалии, которые только что еще были у них на ногах. Я-то знал уже, что фонарики, вспыхивающие в ночи, и эти сандалии будут проданы, едва ими попользуются самую малость, чтобы надуть налоговую инспекцию.

В нашей лодке буквально негде было повернуться, и все-таки кое-кто умудрился размотать обернутые вокруг бедер полотнища ткани и тотчас продать покупщикам, с которыми они сошлись в цене. Громко шелестело черное американское сукно. Продавали сандалии, продавали юбки и фонарики. Одна женщина, распродав все с себя, осталась в нижнем белье, и я подумал, чем же она будет торговать дальше? А рядом со мной люди совали из рук в руки фонарики, пересчитывали деньги: двадцатки — зеленые, как рисовая рассада, сотенные — новенькие, глянцевитые, светло-красные и старые — смятые, потертые на сгибах. У каждой кредитки свое прозвище. Люди мусолят их, считают, пересчитывают. И вода в канале булькает созвучно их шепотку.

Рама ворот над входом в улицу Конгтхэн словно отпечатана черным на фоне лунного марева, похожая на остов гильотины, застывшей в ожидании человеческой головы. У пристани и вдоль дороги маячат в тумане силуэты людей, слышатся приглушенные голоса, споры, чудовищные словечки черного рынка. «Эра» процветания Донг-куана коренится в торговом неистовстве: бывают дни, когда сюда завозят товаров на десять миллионов [7]...

Не желаете ли глянуть на солнечный восход в Ван-чай? Тогда вам лучше всего явиться сюда после ночи, проведенной

---

[5] Диен-биен-фу — город и район в горах Северного Вьетнама, где весной 1954 г. Народная армия разгромила и вынудила капитулировать французский гарнизон во главе с генералом де Кастри. Победа эта практически решила исход войны Сопротивления 1946—1954 гг.

[6] Донг-куан—уезд и населенный пункт на одном из рукавов устья Красной реки в провинции Тхай-бинь (ДРВ).

[7] Объем торговых сделок здесь исчисляется в старой валюте.

в небольшой плетеной лодке [8]. Нагие — без створок и штор — двери домов глядят прямо на улицу, и солнце, едва поднявшись, вторгается в тяжкие нездоровые сны. Встают, зевая и потягиваясь, женщины. Лежанки, еще хранящие тепло их распаренных тел, тотчас преображаются в прилавки, заваленные импортными товарами. И нехитрые эти лавчонки мудрено уже отличить от прочих галантерейных заведений. А рядышком с «главной фирмой» — филиалы: на выносных лотках разложены рулоны шикарных тканей, завезенных из Америки и Европы. Те, у кого нет своих лотков, берут их напрокат. Бывает, за никудышный столик на трех шатких подпорках сдирают двадцатку в день. И поэтому многие, желая открыть здесь торговлю, строят собственные свои лавчонки. Взять в аренду клочок земли — плевое дело, а всех расходов на тростник с соломой да на уплату мастеровым будет около тысячи. И торговый ряд Ван-чай все дальше и дальше вытягивается вдоль реки Ньюе [9].

Я останавливаюсь поглядеть на каких-то людей, препирающихся из-за участка, на котором ставят дом. Особенность здешнего «градостроительства» в том, что все дома располагаются продольными рядами, поперечных улиц нет и в помине. И строят тут на один-единственный манер: во влажной, вязкой земле роют землянку, по углам ее вкапывают столбы и на них настилают кровлю. Одни ставят дома, другие их продают. «Продается дом со всей обстановкой»... Надпись эта выглядит печально и сиротливо. Еще одна семья утратила веру в будущее. Значит, снова кто-то уходит со свободной земли в оккупированные районы [10]...

Дома вырастают сперва как грибы, а потом пустеют, люди покидают их, гонимые набегающим прибоем войны. На обреченных этих улочках и недолговечных базарах легко увидать все и всяческие разновидности пессимизма, порожденного нашим нелегким временем. У здешнего люда даже память устроена по-другому. Им ничего не говорят, к примеру, такие памятные всем даты, как 6 января [11] или 9 марта [12], 19 августа [13], 2 сентября [14] или 19 декабря [15]. Но зато они знают назубок названия новомодных европейских и американских медикаментов, которые нам с первого раза и не прочесть. Они не читают никаких газет. А если и делают вид, что прочли что-нибудь, то лишь для того, чтобы изложить свой скептический взгляд на все и вся. Они верят только в тюки с товаром. И считают, считают деньги. Кончив пересчитывать сухие купюры, они начинают сушить на ламповых стеклах и у огня банкноты, тронутые влагой. Спрятав в потайных местах контрабанду, они тихой сапой переправляют ее на черный рынок. Они считают по ночам, считают днем, не прерывая счета даже во время бомбежек,— под накатом больших убежищ и на дне тесных — на одного человека — ячеек. Они почти не замечают боли и горестей войны, их не трогают злодеяния, совершаемые врагом прямо у них под носом. Я видел, как два «спитфайера», пикируя поочередно, поливали базар расплавленным свинцом; а тем временем двое «деловых людей», выставив головы из землянок по разные стороны улицы, торговались, стараясь перекричать гул моторов и треск очередей.

Один из наших разведчиков рассказывает мне историю за историей о здешних воротилах, не забывая при случае показать их в натуре.

Вон та брюхатая баба (она сделала себе состояние на австралийских шерстяных одеялах) собирается на днях транспортировать свое чрево в Ханой, здесь ей, видите ли, негде рожать, нет «современной клиники».

А этот упитанный тип в очках — специалист по доставке товара из Ханоя; на каждой поездке он заколачивает мешок денег. Метода его проста: отправляясь в столицу, он прячет на теле деньги, а выступая в обратный путь, натягивает на себя все купленные и сшитые на заказ одежки. Обличье его мне показалось знакомым: вроде это он при японцах [16] повадился загодя занимать место у кассы на станции «Травяной ряд» [17], чтобы сорвать мзду с людей, опаздывающих за билетами на сайгонский экспресс. Затем он торговал вразнос ароматными сигаретами, а потом открыл для себя новый «бизнес»: он укладывался с вечера на циновке возле дверей банка и утром продавал «первую очередь» кому-нибудь из

---

[8] Речь идет о плоскодонных лодках, корпус которых плетется из бамбука и обмазывается смолой.

[9] Один из притоков Красной реки, протекающий поблизости от Ханоя.

[10] Имеются в виду районы, которые были временно оккупированы французским экспедиционным корпусом во время войны Сопротивления 1946—1954 гг.

[11] День проведения во Вьетнаме первых в истории страны всеобщих выборов, в результате которых было избрано Национальное собрание ДРВ (1946 г.).

[12] Дата ликвидации французской колониальной администрации захватившими Вьетнам японскими войсками (1945 г.).

[13] День захвата власти в Ханое революционными силами во главе с коммунистами (1945 г.), официальная дата торжества народно-демократической революции.

[14] День провозглашения Демократической Республики Вьетнам (1945 г.).

[15] Дата начала всеобщей войны Сопротивления (1946 г.).

[16] Вьетнам был фактически оккупирован японскими войсками с 1940 г. по август 1945-го, когда революция свергла созданное японцами марионеточное правительство; японские войска были разоружены и выведены из Вьетнама к концу 1945 г.

[17] Травяной ряд — в наши дни небольшой переулок рядом с ханойским железнодорожным вокзалом; в старину на этом месте торговали травой и сеном, которыми кормили слонов, лошадей и домашний скот; древнее название это весьма популярно, и потому столичный вокзал называют нередко станция «Травяной ряд».

дельцов, торопившихся обменять донги [18] на франки.

Вот еще один «негоциант», знаменитый ловкач по брачной части: всюду, где случалось ему задержаться по торговой надобности, он заводил «младшую» жену. Он разъезжал на дюралевом велосипеде. По циферблату его часов крутилось целых пять стрелок, писал он паркеровской ручкой, над пером которой зажигалась крохотная лампочка; за спиной у него вечно болтался американский карабин, и одет он был тоже во все американское. Он вечно вертел сомнительными, но денежными делами. Однажды — было это неподалеку от Четвертой зоны [19] — он, ни с того ни с сего воспылав отвагой, сколотил мобильное отделение велосипедистов и прибавил к своей заморской экипировке знаки, приличествующие «военачальнику». Но вскоре все выяснилось: каждый «патрульный рейд» имел своей целью доставку какой-нибудь из его «младших» жен канистры, полной бензина. А дамы, дождавшись перебоя с горючим, должны были распродавать бензин «в розницу»...

Немало еще осталось здесь любопытного. Но нам пора, да и я, признаться, изрядно устал.

Явившись в торговый ряд Конг-тхэн, мы вспомнили: здесь понятие «одеваться» включает в себя обязательное ношение галстука, европейской обуви и носков. А мы как были с дороги — в коричневых брюках и куртках — ввалились в какую-то харчевню. Люди, сидевшие там с набитыми ртами, тотчас, как по команде, перестали жевать и уставились на нас. Опомнясь, они зашептались: «Та-ак... Кадровые работнички [20] пожаловали...» По всему было видно: они недовольны нашим приходом и готовы затеять ссору.

Пришлось выбираться назад, на единственную здешнюю улицу, прямо-таки кишевшую мужчинами и женщинами в новехоньких сандалиях, в выутюженных, накрахмаленных костюмах и платьях из светлого заграничного полотна. У всех туго набитые баулы, корзины, сумки из парашютного шелка. Они извлекают из этих вместилищ самые неожиданные вещи, торгуют и торгуются прямо посреди дороги. А в домах по обе стороны улицы восседают владельцы «магазинов» — один глаз, подъятый к небу, приглядывает за самолетами, другой — с надеждой устремлен на дверь. Ответив сквозь зубы на вопрос покупателя, они швыряют ему в лицо товар с криком: «Выкладывай деньги! Да поживее!..»

[18] Донг — основная денежная единица Вьетнама; один донг равен десяти хао, или ста су.

[19] Военно-административная зона, охватывающая южные провинции нынешней территории ДРВ.

[20] «Кадровый работник» — термин, которым обозначали самые разные категории людей, участвовавших в войне Сопротивления 1946—1954 гг., — партработников, сотрудников правительственных и местных учреждений, офицеров и политработников Народной армии и т. д.

Особенно непригляден Конг-тхэн в дождливые дни. Раскисшая дорога лоснится, словно ее намазали салом. Стоит поднять ногу — и на оставшийся в грязи отпечаток подошвы усаживаются мухи. Мокрая земля размешена так основательно, будто это не улица, а тропа, по которой гонят стада. И над мерзкой жижей выставлены на прилавках белоснежные зубные щетки и прочая заморская галантерея.

Вода в канале кажется неподвижной, и лишь приглядевшись, можно заметить, что зеленый покров ряски медленно ползет по течению.

Само название Конг-тхэн [21], решил я, — отголосок случившегося здесь когда-то страшного бедствия, чудовищного разгула стихий, неистовства воды и огня. И я невольно подумал о могучем урагане, который опрокинул бы наземь постылые крыши и унес прочь всю здешнюю мерзость и грязь, очистив землю от гнойных болезненных струпьев.

Признаюсь вам откровенно, атмосфера, царящая в этих вытянутых кишкой улицах, никогда не вносила в мою душу радости и покоя. Что же до гигиены, то ею в тех местах и не пахнет — ни в прямом медицинском смысле, ни в переносном, — я имею в виду гигиену нравственную. Кругом лишь одна суета и дешевая заморская роскошь.

Обо всем этом я рассказал однажды нашим солдатам. Беседовал я с ними поздним вечером неподалеку от Хоа-биня [22]. Они как раз выступали в поход и вскоре, в боях осенне-зимней кампании, покрыли себя неувядаемой славой [23].

Может сперва показаться, говорил я им, будто предмет этот вовсе не подходящий для разговора в такой торжественный день. Но жизнь многолика, и солдат, сражающийся за нее, должен знать о ней все. Да и потом, многие из этих людей, увязших в трясине алчности и себялюбия, заслуживают сожаления. Кто знает, как сложилась бы их судьба при другом, справедливом и человечном строе? Наш долг — открыть им глаза на окружающий их мир и время, в котором они живут, чтобы они осознали величие и красоту нашей борьбы и поняли: на свете есть много такого, что стоит считать, пересчитывать и беречь, кроме денежных знаков. И лучше других могут

[21] «Конг-тхэн» можно перевести как «протока Повелителя стихии».

[22] Хоа-бинь — город и провинция в ДРВ, на юго-запад от Ханоя, большая часть ее занята горами, где живут малые народности.

[23] Имеется в виду сражение, происходившее в конце 1948 — начале 1949 г., когда части Народной армии сорвали крупное наступление французских войск, пытавшихся овладеть целиком треугольником Ханой — Хоа-бинь — Шон-тэй (город в провинции Ха-тэй, северо-западнее Ханоя).

сделать это наши солдаты, идущие в бой за свободу и честь, за человеческое достоинство...

После того как противник сбросил парашютный десант в Ча-тяу и занял Дуккхе, нам приходилось всякий раз делать изрядный крюк, и мне довелось как-то снова заглянуть в Конг-тхэн. Мы плыли вчетвером в лодке сквозь дождливую безлюдную ночь. Но настроение у нас было отличное. И мы так и не смогли заснуть до рассвета, считая грохотавшие вдали орудийные выстрелы и пытаясь отличить на слух «свои» от «чужих». А утром мы высадились на берег возле Конг-тхэна. Вокруг не было ни души. Одни лишь вывески пестрели над вымершей улицей, показавшейся мне теперь шире и просторней, чем прежде.

Раздобыв свежую газету, мы прочитали о важной победе наших войск у Дуккхе.

Мы шагали вдоль улицы Конг-тхэн, где даже дорожная грязь казалась поблекшей и мертвой, радостно вслушиваясь в отзвуки канонады, долетавшие с далеких склонов хребта Хыонг-тить.

*Базар Тьай.*
*Конец 1948 года.*

## Лубки деревни Донг-хо

В войну на реке Дуонг в Бак-нине [24] стояло немало вражеских укреплений. Но теперь, в мирные годы, вдоль извилистого русла ее то и дело мелькают фабричные крыши, дымовые трубы кирпичных заводов, строящиеся здания — стены из камня, из дерева и бамбука. Нынешней весной рис в Бак-нине уродился на славу [25]. К югу от реки урожай уже собран, и жнецы — вереница за вереницей — тянутся к переправе и расходятся с пристани Хо по полям северной стороны.

Я очень люблю эту пристань, прикорнувшую на берегу Дуонга. А прямо за нею находится знаменитая деревня, где печатают лубки. С малолетства пристрастился я к картинкам из деревни Донг-хо — со свиньями и курами, мышами и жабами, сборщиками кокосов, «писаными красавицами» и героями сказок. Всякий раз, когда накануне лунного Нового года в Ханое торговцы, расстелив прямо на тротуарах свои циновки, выкладывали на них лубки Донг-хо, я подолгу разглядывал их товар, все более восхищаясь творческой манерой этих простых деревенских художников — их душевной ясностью и добротой, оптимизмом и тонким юмором. Надо всем сердцем любить простую сельскую жизнь с ее трудами и заботами, чтобы вырезать на досках этих очаровательных, украшенных символическими завитками [26] свиней, подъедающих корневища жай [27], и веселых цыплят, словно пляшущих вокруг мамы-наседки, или придумать для лубка фон цвета желтой лилии, с которым безупречно гармонируют основные краски. Особой изысканности техника лубка достигает в традиционных — их обычно четыре — изображениях красавиц. Они одеты в разрезанные по бокам длинные цветные платья и широкие черные штаны, причем передана фактура переливающейся черной ткани, украшенной стилизованными цветами. Черная краска эта готовится не из химических красителей; сам по себе материал — порождение древней и изобретательной «деревенской науки»: мелкий густо-черный пепел сожженной рисовой соломы, сносившихся циновок из сыти и опавших по осени листьев бамбука. Белый цвет дают растертые в порошок перламутровые ракушки. Им подкрашивают лица и плоть изображенных на лубках людей. Перламутровый порошок, нанесенный широкими мазками на лист бумаги, образует и белый фон лубков, а смешанный с другими красками — придает им глубокий переливчатый оттенок и сообщает неуловимую изменчивость и подвижность помещенным на лубок фигурам...

Примерно за год до того, как японские фашисты начали опустошать наши деревни, грабить рис и силой заставлять крестьян сеять на полях джут [28], мой друг художник, собиравшийся оформить в старинной национальной манере первую книгу моих рассказов, впервые привез меня в Донг-хо. Меня окончательно покорила тогда цветовая гамма лубка, ее яркость и в то же время гармоническая стройность. Я узнал, что зеленую краску здешние мастера делают из окиси меди, сосновой смолы и толченого перламутра, фиолетово-багряную — из свежего сока сумаха [29], листьев гибику-

---

[24] Бак-нинь — город и, по старому административному делению, провинция ДРВ; ныне — часть укрупненной провинции Бак-ха, центром которой стал город Бак-нинь.

[25] Речь идет о первом из двух урожаев риса, собираемых во Вьетнаме, так называемом «урожае пятого месяца».

[26] Имеется в виду круг, разделенный на две части разного цвета — символ двух противоборствующих начал (свет — тьма, добро — зло и т. п.), которым пользовались последователи древних философских учений Юго-Восточной Азии; мотивы появления его в качестве декоративной части лубка неясны.

[27] Невысокое растение с сердцевидными листьями и клубневыми корнями, растет большей частью на обочинах дорог и по берегам водоемов.

[28] Японские милитаристы, оккупировав Вьетнам, заставляли крестьян вместо риса сеять технические культуры, требовавшиеся для промышленности Японии, что вместе с массовой реквизицией риса для Японии привело к страшному голоду 1945 г., от которого погибло около 2 млн. человек.

[29] Сумах — лаковое дерево; из коры его добывается вязкая жидкость, идущая на приготовление лака.

са [30] и саппана [31], а желтую — из побегов и веток софоры [32]... При свете луны я слушал рассказ мастеров о том, как они творят краски, растирая софору, толча каменья (чтобы добыть красную краску — шон), нарезая древесину саппана. Я разглядывал большие, величиной с грейпфрут катыши толченого перламутра, крупицы его переливались в лунных лучах. И в сердце моем росла гордость за наших дедов и прадедов, упорство, смекалка и вдохновение которых создали эту красоту.

Говорят, будто далекий — в пятом колене — предок одного из старых мастеров Донг-хо указал как-то на стопы печатных досок и горшки с красками и молвил:

— Гляньте-ка, это — наследство, которое я оставляю детям моим и внукам. Это их буйволы и пашни...

Поистине завещанное им наследство сделалось общим достоянием, частью бесценных сокровищ, которые принадлежат народу.

Скоро уже два года, как к нам возвратился мир, а я вот только сегодня выбрался снова навестить знаменитую деревню. Бывшая батрачка — теперь она председатель общины Ту-хо, где успешно прошла аграрная реформа,— провожает меня в Донг-хо.

Нынче у всех моих друзей-художников повальное увлечение лубком. Они разыскивают старые доски и печатают оттиски, изучая древнее искусство. Вот уж который день старые мастера Те и Дан обходят соседние деревушки, не пропуская ни единого дома, в поисках уцелевших старых досок. Оба они в войну находились во Вьет-баке [33]. Но и там не позабыли они исконное свое дело, завещанное отцами и дедами, и все вспоминали, как до войны накануне лунного Нового года в Донг-хо печатали множество лубков, расходившихся по всем городским торжищам и деревенским базарам. «Бывало,— рассказывали они,— задолго до праздников народ принимался за дело. А там лубки увозили на лодках к причалам Тхань-хоа, Нге-ана [34] и Ха-тиня [35] — на восток и на юг, на запад и на север. Лубки громоздились повсюду целыми кипами. Торговцы набивались в дома и, расплачиваясь, устилали деньгами циновки. Потом лубки складывали в плетенки, заполнявшие весь дом. Чего только здесь не было: и новогодние картинки — такие идут поштучно, и наборы, и целые повествования. Тут тебе и «Тхать Шань» [36], и «Фыонг Хоа» [37], и «Ньи до маи» [38], и «Шон-хэу» [39], и «Киеу» [40]... Куры и свиньи, мыши, рыбы... В доме и во дворе пестрят все какие ни есть краски. Вот дождемся покоя и мира, не будет больше бомбежек, и мы примемся снова растирать и смешивать краски, а там лубки разойдутся опять по всем базарам равнины...»

Итак, я снова в Донг-хо и не могу оторвать взгляд от старых приятелей Дана и Те. Склонив белые от седины головы, они колдуют над досками, шелестят кистью, потом тихонько похлопывают по распластанному листу бумаги, и звуки эти плывут вдаль под полуденным солнцем.

Старейший мастер деревни закатил в нашу честь угощение. Поданы рис, вареная курятина, соль, специи, зелень. Кстати, Донг-хо славится с древних времен еще и своими курами. Мясо у них белое, кожица ярко-желтая. Ей-богу, курица, возлежащая на подносе, на вид нисколько не хуже своей родственницы со свежеотпечатанного лубка. И я поостерегся бы отвечать на вопрос, что в старину появилось раньше — ароматная и соблазнительная курица на пиршественном подносе или красочное изображение ее на бумаге, отливающей перламутром? Но думаю, осязаемая реальность и бесплотный ее художественный образ давно уже нераздельно слиты в жизни

---

[30] Гибикус — невысокий кустарник, цветы его утром имеют белую окраску, а к вечеру меняют ее на розовую.

[31] Саппан — дерево с желтыми цветами и древесиной, из которой делают краску.

[32] Софора (японская) — высокое дерево с желтыми цветами, из листьев ее готовят краску, плоды используются для приготовления лекарств.

[33] Вьет-бак — автономная область в горах на севере ДРВ, населенная малыми народностями; Вьет-бак в годы Сопротивления 1946—1954 гг. был главной базой освободительного движения, здесь находилось правительство ДРВ, работали промышленные предприятия и т. д.

[34] Тхань-хоа — город и провинция в Центральном Вьетнаме. Нге-ан — провинция в Центральном Вьетнаме (ДРВ).

[35] Ха-тинь—город и провинция в Центральном Вьетнаме (на юге ДРВ).

[36] «Тхать Шань» —здесь: построенная на вьетнамском фольклоре знаменитая поэма XVIII века; герой ее, богатырь Тхать Шань, выходец из бедняков, совершает множество чудесных подвигов.

[37] «Фыонг Хоа» — написанная, вероятно, в XVIII в. поэма, героиня ее Фыонг Хоа, желая спасти безвинно очерненного супруга, переодевается мужчиной, сдает в столице экзамен на высшее ученое звание и затем оправдывает своего мужа перед государем.

[38] «Ньи до маи» («Цветы сливы распускаются дважды») — известная поэма конца XVIII в.; автор, бичуя коварных и злых вельмож, противопоставляет им немногих честных и добродетельных чиновников.

[39] «Шон-хэу» (горная твердыня Шон-хэу)— одна из старейших среди дошедших до нас вьетнамских пьес в жанре «высокой оперы» (туонг), строившихся на материалах китайской и вьетнамской мифологии и дворцовых хроник; в основе пьесы лежит сюжет из древней китайской истории, во многом созвучный с междоусобными войнами во Вьетнаме конца XVIII — начала XIX в.

[40] «Киеу» —имеется в виду прославленная поэма великого вьетнамского поэта Нгуен Зу (1765—1820) «Стенания истерзанной души», известная также под названием «Повествование о Киеу»; в основе ее лежит трагическая судьба добродетельной девушки Киеу, жертвующей собой ради блага ближних.

Донг-хо, ее земных трудах и вдохновенных исканиях...

Подле обоих мастеров, печатающих лубки, разбросаны принадлежности их ремесла: мохнатая кожура кокосов (ею протирают доски), тонкая бамбуковая стружка (она не впитывает влагу, и потому ею обкладывают края досок, когда на них нанесена краска), мочала из старой люфы [41] (ими протирают оборотную сторону лежащего на доске листа)... В горшках с краской торчат кисти из связанной в пучок молодой хвои (каждой такой кистью пользуются, покуда она не сотрется вконец — пересыхать и стариться им нельзя). Нехитрая эта «техника», может, кому и покажется примитивной, ну что ж — ведь она создавалась в отсталой «аграрной» стране! Но простота ее отнюдь не помешала здешним художникам передать во всей полноте свое видение мира...

Помнится, старина Те говорил мне когда-то, что он был приставлен к ремеслу — протирать доски да счищать с них краску — десяти лет от роду. Но сегодня он снова рассказывает мне свою историю.

— До войны,— говорит он,— у каждой семьи половину дома занимали доски, с которых оттискивают контур, и те, с которых печатают цвет — на каждую краску своя, особая. Изображения на досках поднимались из вынутой вокруг сердцевины дерева — их не вырезали ножом, а выдалбливали долотами. Иначе не пропечатать как надо и контуры и цвета... Эх, жаль,— продолжает он, помолчав.— Был у нас, помню, набор «Четыре красавицы»! Да нет, не те, которые стоят во весь рост, их и сейчас полно, а сидящие красавицы... Только ведь враг, он спалил все доски...

Я вспомнил, что неприятель долгое время стоял в Бак-нине — сперва южнее, а потом и севернее Дуонга — и без конца проводил здесь карательные операции, причем три или четыре очень крупные. Вражеские части нередко отводились сюда на отдых и перегруппировку. Тогда обезлюдели многие деревни и целые уезды. И еще я вспомнил, как в пятьдесят втором, в ночь на шестое апреля, наши взяли штурмом форт у самой пристани Хо. Я пролежал тогда всю ночь неподалеку от дамбы, и над нами завывали снаряды вражеской артиллерии. И по сей день я сожалею, что после той славной ночи не заглянул в Донг-хо...

Соседские старухи, тоже мастерицы печатать лубки и ритуальные деньги [42], слушающие наш разговор, добавляют:

— Вот-вот, когда «он» стоял у пристани, «он» и к нам сюда заявился ненадолго. Больше всего досок-то и сгинуло в ту пору. Какие сгорели вместе с домами, а какие «он» порубил на растопку. Небось сожгли и «Четырех красавиц»...

Я был на войне и видел, как империалисты сжигали дотла дома и деревни, видел людей, сгоревших заживо. Но в этот погожий вечер, слушая, как старики, подарившие землякам столько света и красок, сокрушались о сожженных врагом «Четырех красавицах», я почувствовал, как к горлу моему тяжким комом подкатила ненависть и гнев. Захватчикам мало было бесчестить наших жен и дочерей всюду, куда дотянулись их кровавые руки. Они опозорили и убили красоту и нежность, запечатленные резцом древнего мастера и приносившие радость многим людским поколениям. И чудилось мне, я слышу, как гудит пламя, пожирающее драгоценные доски, и стонет каждым своим волоконцем привыкшее к человечьим рукам старое дерево. Я видел, как едкий дым стирает улыбки с безмятежных лиц красавиц и очертания их фигур тают в рассыпавшейся золе...

Я поднял голову и обрадовался: рядом со мной белоголовые Дан и Те печатали как ни в чем не бывало полюбившихся мне с детства кур и свиней Донг-хо. А вокруг них шумели и суетились живые птицы и свиньи.

Жизнь брала свое здесь, на земле Бак-ниня, породившей столько легенд и сказок, щедро дарящей людям рис и плоды, влившей в их жилы мужество, вдохновение и упорство и открывшей им таинство красок и песенных созвучий и радость созидательного труда.

*Июль, 1956*

## Люди строят дорогу

Когда госхоз Диен-биен-фу собрал в закрома почти весь рис первого урожая, довольно далеко отсюда, на развилке дорог в Туан-зиао [43], только что закончился необычный праздник: был сделан символический «первый удар» мотыгой на стройке шоссе номер сорок два Туан-зиао — Диен-биен. И здесь, в Диен-биене, и в Туан-зиао пущена в дело вся рабочая сила. Народ вышел на поля госхоза, чтоб завершить поскорей уборочную страду и начать подготовку к новому севу: тут рушили старые межи [44], там выводили на поля тракторы — поднимать пар. Вереницы людей потянулись по лесным дорогам —

[41] Люфа — вьющееся растение семейства тыквенных; из высохших плодов его делают мочалки.

[42] Ритуальные деньги — в старинный поминальный обряд вьетнамцев входило сожжение денег, которые покойный якобы обретал на том свете; со временем настоящие деньги были заменены здесь специальными ритуальными деньгами, которые, разумеется, не имели никакой ценности.

[43] Туан-зиао — город и район в провинции Лай-тяу, к северо-востоку от Диен-биен-фу.

[44] На заливных землях межи представляют собой довольно высокие земляные перегородки между полями, являясь как бы стенками бассейна, наполняемого водой, в которой выращивается рис.

собирать зеленые удобрения, и впервые дикая трава тьо-де [45] обрела назначение и ценность. Далеко вдоль рек и в глубь джунглей ушли дровосеки — чтобы строить жилье, нужно много бамбука и леса: сотни и тысячи семей новоселов скоро переберутся в горы, и они должны сразу почувствовать себя как дома здесь, на своей второй родине. В бригадах [46], закончивших жатву, обмолачивают рис и ссыпают его для просушки на широкие плетенки, а высвобождающиеся рабочие руки перебрасываются на настилку крыш амбаров, на приведение в порядок мощеных или трамбованных площадок, чтоб было где сушить и веять зерно. А часть бригадиров с агротехниками, не теряя времени, обходят ближние лесные участки, намечая, где надо бы в первую очередь срубить и выкорчевать деревья, чтоб распахать потом новые земли и расширить посевную площадь.

Под Диен-биеном все решается сейчас в поле и на лесных массивах. Воздух дрожит от гула машин и человеческих голосов — обмолачивается, просеивается и ссыпается рис; на животноводческих фермах мычат быки и коровы, блеют козы, ржут кони, верещат свиньи. Пошли в рост саженцы каучука, привезенные сюда из Винь-линя [47], и распустившаяся листва их весело звенит на ветру: нынче конец года и дует «ном».

А в Туан-зиао главное — это дорога. Грохот и гул на строительстве шоссе посильней, чем в Диен-биене. Всякий раз, когда рушатся вставшие у людей на пути горы, стонут деревья и камни, гудит земля и ревут реки. На старой дороге номер сорок два, извилистой и неширокой, туго приходится тяжелым грузовикам, нередко им лишь со второй или третьей попытки удается въехать на особенно узкие и неровные участки трассы. Но сегодня дорога, гневно урча и содрогаясь всем телом, покоряется первому преобразующему натиску отважных трудовых подразделений. Огромные каменные глыбы, чьи щербатые ягодицы, нагло вторгаясь на самое полотно, мешали — особенно в дождливую пору — проезду машин, вырваны из грунта и сброшены в пропасть. Не умолкая грохочут взрывы. В расщелины между камнями тяжко вонзаются ломы. Никнут оскопленные утесы, расступаются рассеченные надвое холмы. Могучее эхо катится вдаль, точно гул наступающей армии. И вековые валуны, торчащие как грибы далеко впереди посреди старого шоссе, настораживают уши.

Земля вздымается и движется в Диенбиене и здесь, на дороге номер сорок два, рвущейся к Диен-биен-фу. Человек укрощает природу. Она покоряется ему и на бескрайних просторах полей, и вдоль трассы новой дороги. Время, как говорится в старинных стихах, мчится здесь вскачь или, точнее, оставаясь верным старинным сравнениям, как стрела, сорвавшаяся с туго натянутой тетивы.

Пульс жизни здесь созвучен биению юных горячих сердец, и, уезжая из Диенбиена, я ощущаю неясную грусть: это печаль расставания с только что обретенными друзьями и землей, облик и воздух которой стали уже привычными. Конечно же я приеду сюда снова, может быть даже и скоро, но все одно — и ландшафт и люди успеют перемениться во многом. Когда я опять попаду в Диенбиен-фу и захочу искупаться в единственной здесь, на полях Мыонг-тханя, глубокой и полноводной реке Нэм-жом, может быть, и сама эта река будет не та, что прежде. Поистине, как утверждал знаменитый мудрец Эллады, никто не может войти дважды в одни и те же воды текучей реки. Я покидаю Диен-биен, сокрушаясь о том, что не в силах в одно и то же время быть в разных концах Тэй-бака.

Переправясь через Черную реку [48], я въезжаю в округ Фу-иен [49]. И здесь жизнь, расправив плечи, стремительно шагает вперед, ничуть не уступая Диенбиену. Фу-иен строит дорогу: она от Зиафу двинется к Черной реке и, переступив через реку по подвесному мосту, пойдет к Мок-тяу [50]. Шоссе свяжет промышленный центр Мок-Тяу с Куанг-хюи, третьим по величине сельскохозяйственным районом Тэй-бака.

Мне не довелось повидать стройки огромных гидростанций в братских странах, где работало множество людей, неисчислимых, как песчинки великой реки Ганг. Но думаю, для моей небольшой

[45] Тьо-де — дикорастущее травянистое растение; высота его 30—40 см, цветет желтыми цветами; используется в народной медицине, за что и получило еще одно название — «целебная», или «небесная», трава.

[46] В Диен-биен-фу после восстановления мира в 1954 г. были созданы крупные государственные хозяйства по производству технических культур и риса, где основной рабочей силой стали демобилизованные солдаты воинских частей, переведенных туда в полном составе. Поэтому там долго еще вместо обычных терминов: «бригада», «звено» сохранились слова: «подразделение», «рота», «взвод» и т. п. Здесь и далее автор пользуется нередко этими военными обозначениями, которые в переводе заменены более привычными для русского читателя словами.

[47] Винь-линь — самый южный район ДРВ, расположенный на 17-й параллели.

[48] Черная река — одна из самых больших рек Северного Вьетнама, длина ее от истоков, находящихся в южнокитайской провинции Юннань, до впадения в Красную реку — около 900 км; протекает большей частью по горным районам, весьма перспективна для развития гидроэнергетики, в районе ее русла найдены залежи различных полезных ископаемых.

[49] Фу-иен — город и округ в провинции Нгиа-ло, на левом берегу Черной реки.

[50] Мок-тяу — город и округ в провинции Шон-ла (Тэй-бак), на правом берегу Черной реки.

страны число рабочих здесь, на строительстве дороги, да и самый размах его весьма велики. Здесь трудятся солдаты и рабочие-дорожники — парни и девушки из тридцати шести городов Северного Вьетнама; рядом с ними — недавние школьники и люди преклонных, как говорится, лет. Одни недавно лишь познакомились с лопатой и здешними горами, другие строят дороги с того самого дня, когда смолкла военная канонада. Самые бывалые из них любят порассказать при народе, как они прокладывали железнодорожные магистрали, а уж рельсовый путь, понятно, не то что шоссейный...

Здесь, в округе, зелени, овощей и фруктов в избытке. Днем люди, не щадя сил, возводят насыпь, трамбуют дорожное полотно, а едва стемнеет, выходят собирать зеленые удобрения. У всех на устах крылатая фраза: «Каждая корзина удобрений — ступенька к изобилию!» Допоздна при факелах люди подкармливают землю на грядках, где уже проросли всходы, семена — с великим бережением — доставлены были с далекой равнины. Работа кипит и днем и ночью. Тут, как и на других новостройках, в ходу довольно длинный, но зажигательный лозунг: «Солнце-фонарь перестанет гореть — загорится луна; не выйдет луна — факелы будут светить»...

Сейчас по всей стройке развернулось движение «тачечников». Самое, пожалуй, трудоемкое дело — выемка и переброска грунта. Деревянные колеса освобождают людские плечи от многотонной тяжести земли, и сразу резко идет вверх кривая производительности труда. Все наперегонки сколачивают тачки. С утра до вечера — в зной, на ветру — люди мнут и корежат старую дорогу, петляющую вдоль речки Тэк. Они ведут прямую трассу шоссе к берегу Черной реки. А как только стемнеет, начинают мастерить тачки. Древесину и бамбук — каждый человек, каждое звено — добывают сами в лесу. Есть тачки с колесами из цельного куска дерева полуметрового диаметра — прочными и на вид просто великолепными. Другие колеса сколочены из кусков, подогнанных друг к дружке, как лоскуты в платье бедняка. Расколотые надвое сухие стебли бамбука, звонкие, точно пустые рога диких буйволов, идут на длинные ручки. Здесь и старомодные тачки с одним колесом, и «реконструированные» двухколески. Раньше носильщики, стремясь перевыполнить норму, насыпали верхом корзины или подвешивали к каждому концу коромысла — вместо одной — две корзины. Теперь землю наваливают на тачки: их много — десятки и сотни. Скрип их колес влился в многоголосый оркестр стройки. Нововведение это сэкономило немало времени. И вот уже родились новые, более удобные ручные бабы для трамбовки грунта и приспособления, каких не бывало раньше, — рамы, где пест, уплотняющий грунт, ходит вверх и вниз наподобие ткацкого челнока, приходя в движение от нажима ступни. Конечно, по сравнению, скажем, с искусственными спутниками земли, созданными и запущенными в космос советскими учеными, инженерами и рабочими, изобретения наших дорожников выглядят более чем скромно. Но у нас, во Вьетнаме, ручной труд еще играет важную роль, привычку к нему внедрили нам в плоть и в кровь столетия совместных полевых работ с их чередующимися циклами и выверенным ритмом... Вот новый пест: уже не двое — в четыре руки,— а один человек трамбует им землю и успевает за четверых. Катят и катят вереницами тачки. И весть о советской космической ракете, которая, обогнув Луну, мчится в просторах нашей Солнечной системы, радостной волной прокатывается по всей трассе строительства. Люди теперь — вернее прежнего — убеждены: все трудности и невзгоды будут преодолены.

Сюда приезжают из других мест рабочие, работницы и техники — знакомиться с опытом строителей. Есть среди них и гости из Диен-биена. Там развернулись дорожные работы, и люди так же отважно и самозабвенно борются с природой. Каждая бригада объявила во всеуслышание: рекордные показатели будут перекрываться изо дня в день. Многие из победителей соревнования сами побивают свои собственные рекорды. Тачки в Диен-биене — еще одно новшество — катятся по бамбуковым рельсам. Чтобы сподручнее было сбрасывать грунт в отвалы, здесь поставлены на бревенчатых опорах специальные крытые желоба. Земля и камни с вершин холмов, громыхая, скатываются по ним в пропасть. И люди, идущие по старой дороге, слышат, как над головой у них движется земляной поток, красным каскадом низвергающийся с обрыва. Последняя рекордная цифра на выемке грунта в Диен-биене — семьдесят семь кубических метров на одного человека.

Глядя издали на трассу строительства, вытянувшуюся по прямой на несколько десятков километров от Фу-иена, видишь взметнувшиеся к небу облака пыли. Они застилают русло реки и окрестные поля. И кажется, будто огромная армия стремительным маршем движется к Черной реке. Согласно плану строители должны к шестидесятому году завершить отрезок дороги здесь, на левобережье, и выйти к Черной реке. Но рабочие — ими движет не только романтическая окрыленность, но и трезвый расчет своих сил и возможностей — уверены, что сумеют претворить в жизнь лозунг: «Даешь Черную реку до начала дождей!..» [51]

[51] В Северном Вьетнаме дождливый сезон продолжается с конца весны до начала осени. Поскольку действие очерка происходит в начале 1959 г., а план строительства шоссе предполагал завершение его на левом берегу Черной реки к 1960 г., стало быть, лозунг этот означает призыв закончить участок трассы к лету 1959 г., то есть на 7—8 месяцев раньше плановых сроков.

«Даешь Черную реку!..» Слова эти стали как бы рефреном героической песни, которую ежедневно, ежечасно творят своим вдохновенным трудом люди, пришедшие в Тэй-бак, для которых он стал второй родиной. И в этом припеве мне слышалось эхо звучавшего здесь семь лет назад обращения Главупра и Ставки Главнокомандования к нашим солдатам, когда они, форсировав на плечах неприятеля Черную реку, открыли первую главу в эпопее освобождения правобережья, а затем и всего Тэй-бака.

Конечно, нелегкое это дело — строить дорогу в Тэй-баке, но я вижу, как радость переполняет сердца рабочих, которые проложили путь машинам, посланным социалистической революцией. Они повезут необходимые Тэй-баку грузы в глубь гор — все дальше и быстрее, и грузов этих будет день ото дня больше и больше. Кипит и грохочет дорога. Люди копают землю мотыгами и лопатами, раскалывают глиняные и каменные глыбы и переносят грунт, выкорчевывают леса, укрепляют края обрывистых склонов. Здесь же рядом крушат горы экскаваторы, бульдозеры и скреперы. Усилия человека и мощь машин устремлены к единой цели.

Полотно дороги в Фу-иене становится все шире и вытягивается вдаль. Жизнь шагает вместе с дорогой. Рядом со стройкой вырастают — один за другим — дома из тростника и бамбука. И там, где поднимаются дома, отступает лес. Дома сходятся в улицы и селения, которых еще нет ни на одной карте. Кое-где времянки трудовых бригад стоят вперемежку со свайными домами мыонгов [52], крытыми выцветшим тростником. В лесах Тэй-бака возникли рабочие поселки, и там осели солдаты, живущие ныне мирным трудом. Здесь на веревках сушатся рядами штопаные и залатанные на локтях и коленках гимнастерки и брюки, когда-то давным-давно были они того темного желто-зеленого цвета, каким насыщают ткань листья травы кей, а теперь — выцвели и поблекли. Рядом на длинных бамбуковых шестах развешены после стирки белые блузки и черные диагоналевые штаны, рубахи — оранжевые, как спелые плоды кукэм [53], и красные, как листья хюйетзу [54], пуловеры — пестрые и неяркие — на всякий вкус. Влажная разноцветная одежда похожа на крылья бабочек и мотыльков, что, умывшись росою, задремали рядком в залитых солнцем тростниках.

Я, разумеется, не располагаю точными данными о том, сколько здесь, на строительстве, сыграно свадеб; но знаю, что судьбы многих молодых людей связала дорога и из совместного их труда родилось семейное счастье. Нередко попадались мне тут, у лесных опушек, деревья, на коре которых были вырезаны старые как мир символы — сердце и два имени, как полагаю — мужское и женское. Кончается день, и предвечерняя голубая дымка плывет над веревками и шестами с одеждой — ее не всю успели собрать и унести домой. Голубая дымка клубится над берегами рек, которые широкими ступенчатыми террасами поднимаются вверх по склонам гор, над лесными опушками и сбегающими к шоссе старыми проселками, над мостами и низинами...

■

Над новой дорогой на всем ее протяжении стоит какой-то свой, особенный запах. Нет, это не обычный в лесных чащах тяжелый дух отмирающих деревьев и старой плесени. Я думаю — это дыхание стройки, крепкое, бодрящее дыхание нашего сегодняшнего дня. В нем слиты смолистые ароматы деревьев, сквозь стену которых пролегла новая трасса — белая и долгая, как след могучей ракеты. Огромные бревна — круглые срезы их похожи на днища плетеных корзин — свалены возле шоссе, словно доставленные сюда слонами с лесоразработок. Корневища выкорчеванных пней истекают резко пахнущими слезами. Рядом, переплетя зеленые ветви, громоздятся поваленные деревья — поменьше и помоложе. Сильные, натруженные руки людей пробились здесь, подобно неукротимому урагану, сотрясая джунгли, водопады и реки.

Высоченные вехи, обложенные мешками с землей, уходят все дальше и дальше, отмечая осевую линию строящейся дороги. Вдоль трассы вырастают вымпелы трудовых бригад и отрядов. Люди, выполнившие задание, тотчас перебрасываются на новые участки, туда, где надо усилить боевой натиск. Но необычней всего выглядит трасса в недолгую пору дневного отдыха. На дороге вокруг ни души. Девчата и парни ушли под деревья в тень. Торчат частоколом вонзенные с маху во влажную землю лопаты и заступы. А на концах рукоятей топорщатся вымазанные в глине рукавицы, хранящие еще терпкий запах пота. И тут же рядышком прогуливаются — парой — деревенские утки. Перья на их длинных шеях отливают зеленым металлическим блеском. Утки невозмутимы и

[52] Мыонги — народность мон-кхмерской семьи, живущая в горах Северного Вьетнама, общая численность — около 500 000 человек; мыонги строят дома на сваях, они занимаются суходольным и поливным земледелием, животноводством, ремеслами, охотой и т. п. Обычаи мыонгов почти полностью совпадают с обычаями собственно вьетнамцев (киней); некоторые ученые считают мыонгов потомками древнейших жителей Северного Вьетнама.

[53] Кукэм — вьющееся растение, плоды которого используются при варке некоторых блюд, приготовлении лекарств и т. п.

[54] Хюйетзу — растение с коленчатым стеблем в 1—2 м высотой; из листьев его делают лекарства.

всем своим видом дают понять — мол, им нипочем грохочущие поблизости динамитные взрывы.

А дорога — здешний участок ее уже закончен — простилась с речкою Тэк и торопится дальше в горы. Старый проселок — его совсем сровняли с землей — возвращается в лоно лежащих по обе стороны пашен. Скоро и по нему пройдет плуг, и очертания былого проселка затопит зелень рисовых всходов. Новое же шоссе уходит к Черной реке по высокой и мощной насыпи, которая, если глядеть отсюда, со старого большака, похожа на могучие и величественные плотины, воздвигнутые когда-то вдоль Красной реки государями дома Ли [55].

Вдоль этой горной плотины растут селения. И что ни день рядом с уступами полей я вижу один, а то и два новых дома. Времянки рабочих ладно вписались в пейзаж под боком у хижин-старожилов, привставших на деревянных сваях. Но домов из досок и тростника уже не хватает. Приходится ставить палатки. Брезентовые эти жилища — обычный кров кочующих по земле мастеров дорожного дела, для которых наполненные живой кровью артерии дальних дорог — это вечный поиск, работа и, как говорится, «место жительства». На белых боках палаток черными буквами выведено: «Продовольственный склад», «Склад инструментов», «Столовая», «Клуб», «Общежитие мостовой бригады номер два»... На ближайшей к дороге палатке старательно вычерчен красный крест. За поднятым клапаном окошка виден женский профиль, это — медсестра, специалист по производственным травмам и безопасности труда. А в прямоугольнике входа другой палатки, стоящей у самого ручья, мелькает силуэт сгорбленной поварихи — она размалывает соевые бобы, потом достает формочки и принимается за лепешки.

■

Неподалеку от Диен-биен-фу, где сейчас расширяют шоссейное полотно, установлен специальный график движения: проезд автомашин разрешен в определенные дни недели. Исключения допускаются лишь для срочных рейсов и машин особого назначения. И вот в один из урочных дней наш «газик» покидает Диен-биен. Мы едем в Туан-зиао. На тех участках шоссе, где еще ведутся работы, шофер сбавляет скорость, и я вглядываюсь повнимательней в лица дорожников, стараясь запомнить их, а заодно — и словечки, которыми они обмениваются по ходу дела. Насколько я знаю, нелегкое единоборство с водопадами и монолитами скал здесь, под Диен-биеном, ведут сейчас многие из тех солдат, кто четыре года назад втаскивал по горным кручам тяжелые пушки на огневые позиции в Мыонг-тхань [56]. Слыхал я, что кое-кто из этих ребят, осев здесь после войны, как говорят, «не нашел себя», и они обуреваемы сомнениями и тревогой. Пускай таких парней и немного, скажем — считанные единицы, но меня это затронуло, как мое кровное дело. Ощущение это неотступно преследовало меня. Я спрашивал себя: «Будь я политруком или командиром подразделения дорожников, где есть хоть один такой «пессимист», что я сказал бы ему?.. Какие нашел бы слова?.. А если бы я, к примеру, задумал роман о строителях шоссе в Тэй-баке, назвав его, ну, допустим,— «Рождение дороги», с чего бы я начал роман и чем его закончил?..»

Я высунулся из «газика», разглядывая панораму стройки — справа и слева от машины. Роты и взводы концентрировались на трудных участках или рассредоточивались вдоль обочин. Мое внимание сразу же привлек к себе молодой улыбчивый парень, кативший через дорогу здоровенный камень. «Не он ли,— подумал я,— должен стать положительным героем моего романа?! Разумеется, не в моих правилах собирать материал для книги, наблюдая жизнь из окошка мчащегося автомобиля. Но — что поделать с дурной профессиональной привычкой! — я все равно вглядывался в фигуры и лица рабочих, подмечая ритм их движений и похожее на прибой колыхание стройки. Потом я остановил свое внимание еще на одном парне. Он сидел у палатки на сваленных в кучу свежих досках и бамбуке. Был он вроде недоволен чем-то, а может, как говорится, «ушел в себя» и даже не заметил проехавший «газик». Ну, а если даже заметил, до нас ли ему было? Наверно, он думал о какой-нибудь «трудной» скале или вековых деревьях, загородивших трассу, или вспоминал свою родину, оставшуюся где-то далеко на равнине, пересеченной высокими плотинами, и змеев со свистелками, которых он запускал с соседскими мальчишками. Разве, выглянув на ходу из машины, догадаешься, что беспокоит этого парня, сидящего на обочине лесной дороги?..

---

[55] Дом Ли — династия вьетнамских королей, правившая с 1010-го до 1225 г., когда государство достигло высокого уровня экономического и культурного развития и утвердило свою политическую независимость, отразив попытки правившей в Китае Сунской династии завоевать Вьетнам. Летописи относят строительство первых плотин в дельте Красной реки к 1103 и 1108 гг.; они воздвигались поблизости от столицы и частично сохранились до наших дней.

[56] Мыонг-тхань — населенный пункт поблизости от Диен-биен-фу, куда по считавшимся непроходимыми горным джунглям бойцы Народной армии втащили на руках пушки; огонь их сыграл важную роль в сражении под Диен-биен-фу. Подвиг солдат, перетащивших пушки через горы, стал темой многих произведений вьетнамской живописи, литературы и музыки.

Передо мною уже не Черная, а другая река. Я стою у причала. Катер тащит к нашему берегу паром с двумя огромными, как слоны, экскаваторами. Они отправляются отсюда дальше, на стройку дороги в Тэй-бак.

Я делаю короткие заметки для памяти в моем блокноте. И вдруг ловлю себя на том, что пишу о грустном парне, сидевшем на обочине шоссе неподалеку от Диен-биена. О нем и еще об одном, совсем на него не похожем, который запомнился мне из множества людей, работавших на другом участке стройки, за Фу-иеном,— хотя у них одно общее дело, общие трудности и сомнения. Наверно, этот, второй, парень был из тех, чья душа не прикипела к дороге и кому не открылось высокое назначение его труда. Он, словно желая выдернуть меня из кабины, ткнул пальцем в наш «газик» и крикнул:

— А ну-ка слазь, поработай лопатой!..

Долго еще звучал в ушах у меня этот окрик, и, наверно, он будет преследовать меня до тех пор, пока я не допишу до конца задуманный мною роман. Что я отвечу, если кто-нибудь из молодых людей, строящих дорогу в Тэй-баке, спросит меня, для чего, собственно, я пишу этот роман? Может быть, для того, чтобы нам всем вместе, сообща осознать до конца историческую необходимость и величие проделанного труда? Заново, полнее и глубже понять, что значат «социалистические дороги» для горного края Тэй-бака? Раскрыть перед всеми душевную красоту, бескорыстие и отвагу строителей, преодолевших небывалые трудности, лишения и сложности, коренившиеся подчас в их собственном сознании и характере?..

И еще я бы мог им сказать: «Друзья, в трехлетнем плане[57] записаны точно объемы и сроки вашей работы. А «запланированная» мною книга?.. Не знаю, закончу ли я ее до или после того, как будет перерезана лента на открытии вашей дороги. Может быть, по шоссе давно уже станут — из конца в конец — ездить машины, когда мой роман «Рождение дороги» впервые увидит свет? Возможно, многое в моей книге будет сказано о других тружениках, об их свершениях и победах, столь же значительных и важных, как и ваши дела... Но, думаю, главное в том, что все мы — девушки и парни из Фу-иена, солдаты из Диен-биен-фу и я, пишущий эти строки,— одержимы одним стремлением: внести свою, пускай малую лепту в стремительный бег жизни!

*Весна 1959 года.*

[57] Имеется в виду трехлетний план развития экономики ДРВ на 1958—1960 гг., который был успешно выполнен всеми отраслями народного хозяйства страны.

## На опаленной земле Куанг-чи[58]

Чем дальше спускались[59] мы к югу, приближаясь к 17-й параллели[60], тем яростней закипала вода в радиаторе нашего «газика», выбиваясь наружу лохматой струей пара. Конечно, никто из моих спутников не догадался прихватить веер, да я и сам не думал, что весной здесь может быть так жарко. Ведь всего пару дней назад в Ханое, расположенном на двадцать первом с минутами градусе северной широты, стояла самая настоящая весенняя погода. Первая за долгие годы мирная весна! И мир этот дался нам нелегко...

Говорят: «Ни один праздник в году не сравнится с полнолунием первого месяца»[61]. Теперь же Тет Нгуен-тиеу совпал с возвращением мира. Повсюду — в самой столице и в пригородах, в общинных домах, в пагодах и поминальных храмах[62] яркими весенними красками пестрели цветы, радовавшиеся тому, что умолкла канонада; а кругом — куда ни кинь взгляд — переливались оттенками юной ярчайшей зелени весенние листья и травы. Ден Куан-тхань[63] был полон народу, благовонный дым обволакивал все вокруг, нестерпимо сияли фонари и свечки. И чем дальше проталкивались мы в глубь святилища, приближаясь к лоснящейся черной бронзовой стопе священного Воина-усмирителя и все яснее различая пальцы его ног, тем ощутимее становилась прохлада весеннего полдня. Я невольно подслушал слова молившихся женщин. Большею частью — старухи,

[58] Куанг-чи — город и провинция в Южном Вьетнаме, по которой протекает одноименная река. Большая часть ее территории была освобождена патриотическими силами и по Парижским мирным соглашениям отошла под юрисдикцию Временного Революционного правительства Республики Южный Вьетнам.

[59] Вьетнамцы глаголами «спускаться» и «подниматься» обозначают соответственно продвижение на юг и на север.

[60] 17-я параллель по Женевским соглашениям 1954 г. была определена как временная демаркационная линия между Северным и Южным Вьетнамом.

[61] Имеется в виду праздник первого полнолуния лунного Нового года (Тет Нгуентиеу); в старину в этот день устраивались праздничные моления и возложения даров в пагодах и других храмах, которые украшались фонарями, флагами и т. п., в семьях готовились праздничные угощения.

[62] Поминальный храм (*вьетнамск.* — ден)— храм, посвященный культу героев (исторических и легендарных), считавшихся заступниками и покровителями страны или отдельной местности.

[63] Ден Куан-тхань — один из древнейших храмов вьетнамской столицы, основанный в XI в.; посвящен легендарному Воину-усмирителю, победителю девятихвостого лисы-оборотня и охранителю северных пределов; в храмовом культе здесь слились элементы даосизма, конфуцианства и буддизма. Храм находится на берегу Западного озера; упоминаемая автором статуя из черной бронзы высотой около 4 метров отлита в 1681 г.

они, наверное, все были матери, и молитвы их — то горькие, то радостные — были о мире. Миру этому, обретенному высочайшей и тяжкой ценой, едва исполнилось несколько недель. Но матери просили у Будды вечного мира...

■

— Давайте остановимся у первого же тенистого местечка! Машине пора перевести дух, да и нам невредно бы посидеть где-нибудь под деревом.

Давным-давно были сказаны нашему шоферу все эти слова, а благословенная тень по-прежнему оставалась мечтой, и «газик», страдая одышкой, катил и катил по магистральному шоссе номер один [64], словно кто-то гнался за ним следом.

Впрочем, у него и впрямь был преследователь — это зной, который, не отставая ни на шаг, поднимался вместе с нами по дороге на Зок-миеу. И тут, глянув на брошенные артиллерийские форты рядом с шоссе, я понял: это Ба-зок, и до меня наконец дошло, что мы с полчаса уже как пересекли 17-ю параллель и вот-вот подъедем к 16-й!..

А все потому, что исчезли привычные в прежних поездках паузы — паромы. На пути от Ханоя до Куанг-чи осталось всего две паромные переправы — в Бентхюи и До-хэу, а во всех прочих местах наведены мосты! Впервые в истории Куанг-биня [65] мост переброшен даже через реку Зиань [66].

■

В голове моей, орошаемой потоками пота, всплывают всяческие подробности про железный мост Хиен-лыонг [67] — последний пункт Северного Вьетнама, через который я проехал, сам того не заметив.

Хотя оговорюсь: старый мост Хиенлыонг рухнул под американскими снарядами и бомбами, и мы в этот раз переехали реку Бен-хай по новому понтонному мосту, наведенному в канун праздника Тет [68]. Когда еще янки возместят нам убытки за разрушенный ими прежний мост, а ведь ездить-то нужно; значит — да здравствуют понтоны! Я припоминаю, что в прошлую войну [69] сами американцы предоставили французам и металлические конструкции, и пиломатериалы для строительства ныне разбитого семипролетного моста. Он был длиною в сто семьдесят восемь метров и как бы распилен надвое демаркационной чертой — три с половиной пролета Северному Вьетнаму, три с половиной — Южному. Правда, северная часть оказалась длиннее южной на целых шесть досок (из общего числа в восемьсот девяносто четыре доски, доставленных американцами). Время от времени обе стороны красили мост, каждая — в свой цвет. Но перейти мост ни в северном, ни в южном направлении никто не имел права. Десятки раз я вместе с нашими пограничниками поднимался на этот мост; но, дойдя до делившей его пополам черты, мы неизменно поворачивали обратно. Это ли не парадокс — мост, по которому ни пройти ни проехать! Раз так, может, не зря он и рухнул на дно? Но шутки шутками, а тот, кто разбомбил прежний мост, обязан возместить ущерб; мы же пока довольствуемся понтонами...

■

Зной уловил наш «газик» в свои обжигающие силки, и тщетно старался шофер побыстрее доехать хоть до какого-нибудь дерева. Уже не один десяток километров отмахали мы от южного конца переправы, а прохлады и тени как не бывало. Мне чудилось, будто я попал на луну, до того окружающий нас ландшафт, сплошь изрытый кратерами воронок, старых и новых, напоминал лунный пейзаж. Только все было раскалено от зноя.

Я вспомнил здесь, что давний друг Вьетнама, польская писательница Моника Варненска, буквально на днях вернувшаяся в Ханой из поездки по Куанг-чи, вовсе не жаловалась на жару (хотя при ее комплекции ей явно пришлось нелегко). И стал утешать себя тем, что страна моя вроде никогда и не числилась умеренным поясом, а Куангчи вдобавок — огненная земля; причем эпитет «огненный» образовался от двух корней: испепеляющего пламени войны и жгучего жара стихий. Земля эта и живущие на ней люди, выстоявшие во всех испытаниях, по заслугам удостоены были высокой награды — ордена Бронзовой цитадели первой степени [70].

■

Наконец-то у самого Зио-линя [71] машина остановилась, приткнувшись под вытянувшимися рядком негустыми деревьями с листьями, красными от пыли.

[64] Магистральное шоссе номер один — одна из основных транспортных артерий страны; идет от Ханоя до Сайгона вдоль морского побережья; та часть шоссе, которая проходит по территории ДРВ, была одним из основных объектов американских бомбардировок.

[65] Куанг-бинь — провинция на юге ДРВ.

[66] Зиань — река в провинции Куанг-бинь; из-за быстрого течения и сложности берегового грунта через нее прежде не строили мостов.

[67] Хиен-лыонг — мост через реку Бен-хай (неподалеку от устья); река эта протекает вдоль пограничной 17-й параллели.

[68] Тет — новогодний праздник по лунному календарю (см. сноску № 61).

[69] Имеется в виду война Сопротивления 1946—1954 гг.

[70] Орден Бронзовой цитадели — вторая по значению награда, присуждающаяся ЦК Национального фронта освобождения Южного Вьетнама; имеет три степени.

[71] Зио-линь — город и уезд в провинции Куанг-чи на магистральном шоссе № 1.

1933 год. Безработные

## Из работ Светлина Русева

Болгарка

**Стирка**

**Пейзаж в красном**

Семья, владеющая этим садом, раньше эвакуировалась в Винь-линь [72], а теперь вернулась. И первым, что увидели они возле дома, были распустившиеся по весне желтые цветы абрикоса. Вокруг полыхал знойный южный полдень, а лепестки абрикоса как ни в чем не бывало золотились над не остывшей еще после боя землей. И, глядя на них, я почувствовал в глубине души смущение: цветы эти разобрались в жизни, пожалуй, скорее меня...

Мы проехали разрушенный и опустошенный Куан-нганг, и, глядя на валявшиеся вокруг останки военной техники, я заметил, что воронки на полях по эту сторону Зио-линя вроде быстрей затянуло дикой сытью и тростником. Над брошенными укреплениями пресловутого «вала Макнамары» стояла мертвая тишина, здесь даже не пели птицы.

Переехав по понтонному мосту через речку Хиеу, мы попадаем в бывший военный сектор Донг-ха [73]. Солнце никак не решалось сесть за рельефные фиолетовые склоны хребта Чыонг-шон [74]. И ослепительные зайчики вспыхивали на медных гильзах от американских снарядов калибром миллиметров этак за сто пятьдесят. Здесь, в Донг-ха, начинается магистральное шоссе номер девять [75]. Не перечислить всех злодеяний, совершенных сайгонскими солдатами и янки перед их отходом из города. Стоя среди сплошных груд битого кирпича и черепицы, трудно даже понять, где пролегали здешние улицы. Снесены с лица земли часовни и пагоды.

Но, право, не менее грустное зрелище представляет собой уцелевшая пагода, где помещалось местное отделение Ассоциации буддистов. Невысокая ограда вокруг храма и цветника «возведена» из американских снарядных гильз. И внутри сохранилось немало «шедевров» заокеанской нейлоновой цивилизации: новогодние букеты и подносы с плодами — из мягкой пластмассы, пластиковая кровля «под черепицу», похожая на подгоревшие в печке булки, и даже нейлоновые циновки... Все, кого я здесь ни расспрашивал, сходятся на том, что наши простые циновки из сыти много лучше всех этих модных новинок, на которых зимой до костей пробирает холод, а летом преет кожа.

■

Главная река Куанг-чи называется Тхать-хан («Тхать», если я не ошибаюсь, означает «камень», а «хан» — «пот»). Тут от жары камни исходят потом, и струи его сливаются в реку. Гребцы единым духом переплывают ее от одного берега до другого, и капли их пота тоже падают в реку. В ярком образе этом, конечно, нет приторных чувств, но такова уж здешняя лирика!

■

Останавливаемся на ночь в Кам-ло [76]. Я долго ворочаюсь с боку на бок, и женщина протягивает мне веер, которым она обмахивала спящего в люльке младенца. Нехитрая штука — листок обычной бумаги, распяленный на семнадцати посеревших бамбуковых лучинах, а гонит ветер ничуть не хуже роскошного опахала, какие сооружают иногда из нейлоновых парашютов американских осветительных ракет. Наконец я заснул, и во сне мне привиделась снова забавная сцена, свидетелем ее я был однажды в лагере для сбитых воздушных пиратов (их именуют теперь деликатно военнослужащими США). Такой же вот душной ночью молодчики эти, лежа на нарах, обмахивались веерами из лыка и бамбуковой дранки, восполняя отсутствие кондиционеров, к которым они привыкли в кабинах своих самолетов и которые вместе с машинами превращены были нами в металлолом. Не знаю уж почему, но кого-то из них ухватил по ошибке чужой веер, и тотчас вспыхнула перебранка, где даже я уловил несколько «международных» ругательств...

■

А поутру солнце, решив, наверно, что одной лишь жары нам маловато, напустило на нас с перевала Лао-бао [77] иссушающий западный ветер (его называют обычно «лаосским»). Но мы все равно выехали в Ай-ты, подбадривая друг друга изысканными остротами, словно собирались — по прохладе — на весенний пикник. В Ай-ты совсем еще недавно находилась военно-воздушная база неприятеля и главные тыловые склады. Добавлю еще: именно отсюда более четырех столетий назад вышел княжеский род Нгуен, основавший позднее императорскую династию. А в седьмой год царствования Ты Дыка [78] город Ай-ты стал окружным центром. Печально знамени-

[72] Винь-линь — район ДРВ, расположенный у 17-й параллели.

[73] Донг-ха — город в провинции Куанг-чи на магистральном шоссе № 1.

[74] Чыонг-шон — горный хребет, проходящий в меридиональном направлении вдоль Индокитайского полуострова; является естественной границей между Вьетнамом и Лаосом.

[75] Магистральное шоссе номер девять идет от Донг-ха на запад до Саваннакхета (Лаос).

[76] Кам-ло — уезд и город на дороге № 9 в провинции Куанг-чи.

[77] Лао-бао — горный перевал (и населенный пункт) на магистральном шоссе № 9, у границы с Лаосом.

[78] Ты Дык (преемственное благословение) — девиз царствования принца Хонг Ньэма, ставший как бы его тронным именем; он правил с 1847 г. по 1883 г.

тый мост Ай-ты [79]... Там, где стояли когда-то полки династии Нгуен и правили ее наместники, совсем еще недавно располагался штаб Первого военного округа сайгонской армии. Но «хозяева» вместе с янки бежали отсюда. И вот, стоя сегодня на пустынной взлетной дорожке, я ловлю себя, как ни странно, на том, что перебираю в памяти деяния и битвы девяти князей из рода Нгуен, считая без Нгуен Кима [80], и тринадцати императоров этой династии, и мне мучительно хочется увидеть воочию, какой же она была, здешняя земля, в те далекие времена... Поле брани у Ай-ты — так же ль нещадно, как нас нынче, в семьдесят третьем, обжигало когда-то солнце и сек ветер пришедших сюда воинов Благого князя Нгуен Хоанга [81]? Песок на берегу реки Ай-ты... Был ли он четыреста лет назад бел или желт, а возможно, белые и желтые зерна его и тогда, как сегодня, смешались уже друг с другом? А прозвание Нгуен Фук Нгуена [82] «князь Шай» — не связано ли оно с торжищем Шай, что лежит на другом берегу реки?..

Увы, я напрасно жду ответа, глядя, как ветер лохматит бескрайние береговые пески. Среди раскаленных зноем песчинок поблескивают снарядные гильзы, в каждой небось килограммов семь меди. Здесь сущий рай для сборщиков металлолома и всяческого утильсырья. Линию горизонта перерезают нелепо торчащие в грунте бетонные сваи и металлические балки — остовы разрушенных ангаров, неподалеку от них блиндажи, перекрытые поверх листового железа пластиковыми мешками с землей. Вокруг госпиталя — тоже стена из листового железа. Рядом с полуразрушенными зданиями бросаются в глаза несколько совсем еще свежих тростниковых крыш. И один лишь вид немудреных этих кровель согревает сердце; они кажутся мне прекраснее и дороже самых современных покрытий из синтетики и металла, которые попадаются здесь, в Ай-ты.

По-прежнему душно и жарко. Медленно блекнут лучи предзакатного солнца, но птичьего щебета — всегда такого звонкоголосого на исходе дня — не слыхать. Одна лишь горлинка воркует, усевшись на перебитую взрывом железную балку (противник накануне своего поспешного бегства взорвал здешние провиантские склады). Голуби всегда держатся парами, отчего же горлинка эта одиноко воркует в развалинах? Или дружок ее не успел увернуться от грохотавших здесь взрывов? Где уж мне, путающемуся в иероглифах, похваляться знанием древней поэзии! Но в памяти вдруг всплывают танские [83] строфы:

Одинокая птица горюет
над брегом песчаным в ночи...

■

Передо мной поблескивает на солнце река Тхать-хан. На северном ее берегу — знамена освобождения, на южном — испещренный полосами желтый сайгонский флаг. Северный берег — левый, южный — правый. Ясно видны старинные стены Куанг-чи. Еще дальше, на правом берегу, вырисовываются холмы Ла-ванг, оттуда слышна канонада. Это сайгонские войска, в который уже раз нарушая мирные соглашения, пытаются захватить ключевые высоты, и наши дают им отпор. А на левом берегу виднеются вдалеке торговые ряды: базар Шай. Кроме него, здесь открылись в последнее время еще два базара: Ан-лой и Тхуэн...

■

По ночам на берегу речки Хиеу, где мы обосновались на это время, слышны артиллерийские залпы: на реке Тхать-хан бьют пушки. Сайгонские войска снова стараются потеснить нас, и стоящие на передовых позициях наши батареи ведут по ним огонь.

Слушая канонаду, я слежу за беседой местных кадровых работников. Они обсуждают план восстановления Донг-ха. Но речь идет не только о том, чтобы отстроить все, как было: Донг-ха должен стать благоустроенным новым городом. Работы будет непочатый край. Надо поднять народ, наладить материальное снабжение.

Секретарь партийного комитета провинции Куанг-чи — мой старый знакомый. Который уж год я не имел о нем никаких известий и вдруг повстречал здесь сегодня. Разглядываю исподтишка непривычно бледное его лицо — ведь здешний люд все, как один, здоровяки, смуглые, загоревшие до цвета старой бронзы. Догадавшись, в чем дело, он весело хохочет:

---

[79] Имеются в виду события, происшедшие в 1572 г., когда князь Нгуен Хоанг заступил на реке Ай-ты путь вторгшемуся с Севера полководцу Лэп Бао. Нгуен Хоанг подослал к Лэп Бао девушку по имени Нго, которая поднесла ему драгоценные дары, посланные Нгуен Хоангом якобы в знак примирения, и пригласила его на переговоры. Очарованный ее красотой, Лэп Бао отправился на переговоры с Нгуен Хаонгом, не приняв никаких мер предосторожности, был схвачен солдатами Нгуен Хоанга и убит. На месте убийства поставлен храм в честь Жены — благодатной воительницы (то есть Нго).

[80] Нгуен Ким (?—1545) — вельможа и военачальник, служивший при дворе вьетнамской династии Ле (1428—1788). Когда узурпаторы из рода Мак на время захватили престол. Нгуен Ким бежал на Юг и организовал сопротивление в поддержку законной династии; он явился родоначальником могущественного княжеского рода Нгуен, который позднее, в XIX в., стал императорской династией.

[81] Нгуен Хоанг (1524—1613) — сын Нгуен Кима, был князем-правителем Юга с 1600 г.

[82] Нгуен Фук Нгуен — сын Нгуен Хоанга, был князем-правителем Юга с 1613 по 1635 г.

[83] Тан — династия, правившая в Китае с 618 по 907 г.; танская эпоха была временем высочайшего развития китайской классической поэзии, когда жили и творили великие поэты Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй и др.

— Я тут, брат, проторчал довольно долго в лесу...

А мне вспоминаются строчки из стихотворения Те Ханя [84].

Небеса там сияют особенной синью—
синью Куанг-чи...

■

В этом году теплые дни наступили раньше обычного, и потому непривычно рано распустились повсюду цветы, а плоды черного перца — хоть по календарю весна началась не так давно — заметно уже округлились, и скоро, наверно, прилетят удоды — полакомиться перечными горошинами. Здесь, в деревне Куа, разводят черный перец, до которого далеко перцу из Зио-линя или тому, что растет в Винь-лине. Перец Куа обжигающе горек, пахуч и прян...

Жара не спадает. В деревушке Камтхань какая-то сердобольная старуха сорвала для меня лист арека [85] прямо с черенком — вместо веера, чтобы я мог, обмахиваясь им, отгонять прочь знойный лаосский ветер.

Ближе к вечеру мы едем осматривать концлагерь; его построили здесь сайгонские войска. Теперь он, разумеется, пуст. Мрачно чернеют похожие на крысиные норы двери бараков.

Отсюда видна гора, где находится командный пункт бывшего Пятьдесят шестого артиллерийского полка марионеточной армии, который в полном составе со всей техникой перешел на нашу сторону.

Места эти — царство хлебных деревьев «мит». Я вспоминаю, как в прошлую войну партизаны и солдаты засушивали семена хлебного дерева и носили их при себе в бутылочках и глиняных фляжках: у всех, кто грыз семя «мит», тверже становилась рука и вернее глаз, и если уж брали они врага на мушку, промаха не было.

■

Люди в освобожденных районах счастливы тем, что могут открыто поднять свой флаг, могут собраться вместе, могут, наконец, сообща, с песнями воротиться по дорогам и тропам в старые свои деревни и бросить в борозды обожженных войною полей первые мирные семена. И они идут и идут, на плечах у них знамена и мотыги, в руках — связки бататов и саженцы маниоки.

А по неторопливой реке Куанг-чи — вверх и вниз по течению — спешат баркасы и лодки, подвесные моторы оглушительно тарахтят, поднимая буруны и волны. Лодки полны народа, возвращающегося из эвакуации домой, и над каждой полощется красно-синий вымпел с желтой звездой. А по берегам — у самой воды и дальше, на склонах,— над верхушками бамбуков и пальм тоже колышутся флаги. Флаги приманивают ветер, ветер раскачивает бамбуки и пальмы, на которых распустились эти диковинные полотняные цветы, рядом с которыми пестреют желтые лепестки софоры, алые соцветия граната, голубые вьюнки.

Перед лунным Новым годом повсюду собирались митинги в честь новообретенного мира, у входов в деревни поднялись увитые цветами арки; приветствуя «синь Куанг-чи», созвучно гремели большие и малые барабаны, колотушки из древесины хлебного дерева и медные гонги. С музыкой этой сливался грохот гудевших под ударами бил американских железных бочек и листов кровельного металла и звон снарядных гильз. Пятьдесят тысяч флагов поднялось тогда в небо провинции. Если учесть, что населения здесь триста тысяч, приходится в среднем один флаг на шестерых. Но Куанг-чи нужны еще флаги. Нужны мясо, рыба, овощи и... флаги освобождения — чем больше, тем лучше.

Особенно много флагов на реках Тхать-хан и Хиеу. Они плещутся над лодками с народом. Суденышки всех разновидностей и форм сплошным потоком плывут к устью Вьет. В иные набились разом взрослые, старики и дети вперемежку с саженцами маниоки, вязанками сахарного тростника, снопами рисовой рассады, связками бататов и клетками с курами и кошками. Попадаются, правда, лодки, сплошь груженные рулонами толя.

Семьи, изгнанные отсюда войной в Винь-линь, вернувшись, высаживаются с моторок на северный берег Хиеу. А вдоль реки люди жгут заполонившие поля сорняки, и в мирную синеву поднимаются белые столбы дыма. Крестьяне — они распахивают близ берега новь и убирают прочь опостылевшую всем колючую проволоку — машут руками возвращающимся на лодках землякам.

И единственное, что удручает взгляд,— это нелепо торчащие на берегу церкви, собранные из пластмассовых блоков на благо американских военных капелланов. Передвижные божьи храмы странствуют следом за военными советниками и солдатами, приплывшими из-за океана...

■

Нет уж, кто как, а я, хоть программа наша и чересчур плотна, не уеду из Куанг-чи, не искупавшись хоть раз в устье Вьет! Надо же просолить свою шкуру морской солью и унести «на память» ее горьковатый вкус...

[84] Те Хань (род. в 1921 г.) — выдающийся вьетнамский поэт; родился на юге Вьетнама, в настоящее время живет в ДРВ, секретарь правления Союза писателей.

[85] Арек — арековая пальма; плоды ее идут на приготовление бетеля, из семян делают лекарства.

Здесь, в устье, противник построил два военных порта: один — для сайгонских войск — чуть выше по реке и другой, американский, — у выхода в море. Возле этого, теперь оставленного неприятелем порта мы дали врагу достойный урок. Бой разгорелся, когда сайгонские подразделения попытались — опять-таки в нарушение мирных соглашений — отторгнуть часть освобожденного района и создать там свой плацдарм. На прибрежном песке осталось лежать несколько сот вражеских солдат, многие утонули в реке. Подбито и сожжено было сто танков и броневиков. Тринадцать машин, захваченные целыми и невредимыми, были выставлены для всеобщего обозрения посреди базара Зио-ле...

В устье Вьет я купаюсь на пляже у северного мыса. Отсюда хорошо видно место недавнего боя. На раскаленном песке чернеют обгоревшие американские танки, похожие издали на навозных жуков. Слушая рокот ударяющего в песчаные берега прибоя, я спрашиваю у соседа, далеко ли отсюда до устья Тунг [86]. Оказывается, туда пешком вдоль берега идти часа три-четыре. А если ехать по песку (конечно, во время отлива) на велосипеде, на дорогу уйдет примерно полтора часа. Путь лежит мимо деревень, расположенных в трех уездах: Зио-хай, Кэм-фо, Тхюи-бан, а там уж — Кат-тон. Оттуда, перебравшись на лодке через устье Тунг, попадаешь в сторожевой форт, где я бывал каждый год.

И вот я снова жду лодку. Только поведет ее сегодня, в отличие от прошлых лет, наш боец, а вовсе не щеголявший в красных шортах марионеточный солдат [87]...

*Февраль 1973 года.*

---

[86] Устье Тунг — место, где впадает в Южно-Китайское море река Бен-хай; на южном и северном берегах устья Тунг в первые годы после заключения Женевских соглашений находились контрольные пограничные пункты войск ДРВ и Республики Вьетнам (Сайгон).

[87] Здесь автор имеет в виду то время, когда он переправлялся с северного берега устья Тунг на южный (где находился пост погранохраны ДРВ) на лодке сайгонских пограничников.

# Наши интервью

Т. КИРИЧЕНКО

## ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ДАВИДОМ АЛЬФАРО СИКЕЙРОСОМ

Да, к несчастью, правда... Умер Давид Альфаро Сикейрос — один из выдающихся художников современности, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», боец мексиканской революции, коммунист, солдат интернациональных бригад в Испании, борец за подлинно народное искусство.

Весной прошлого года, во время визита в Советский Союз президента Мексики, в Москве, где демонстрировалась выставка работ трех великих мексиканских художников — Хосе Клементе Ороско, Диего Риверы и Давида Альфаро Сикейроса,—появился маэстро Сикейрос. Приехал он ненадолго и со свойственной ему энергией окунулся в деловые встречи с художниками, деятелями культуры. Интервью, которое дал Сикейрос автору этих строк — корреспонденту Московского радио, суждено было на этот раз оказаться, здесь в Москве, единственным и вообще последним на советской земле. Но в тот день, 24 апреля 1973 года, когда я входила в номер гостиницы «Советская», невозможно было представить, что через несколько месяцев Сикейроса не станет. Несмотря на свои семьдесят семь лет, несмотря на тяжелую болезнь, он выглядел энергичным, собранным. Художник, проведший свою жизнь на лесах, всегда в движении. Глаза его светились мыслью, мечтой, страстью.

Я спросила Сикейроса, как он отнесся к открытию выставки в Москве.

— Я очень обрадовался,— ответил художник,— увидев в Москве экспозицию эскизов, проектов и произведений станковой живописи, которые я делал для последующих монументальных работ. Мне кажется, что экспозиция выставки продумана великолепно. И она является большим событием для нас, мексиканских художников, особенно для художников-монументалистов. Эта экспозиция впервые позволит советским людям довольно полно познакомиться с мексиканским изобразительным искусством. Это искусство неразрывно связано с мексиканской революцией. Характер ее, боевой, категоричный, антиимпериалистический, определяет и черты нашего искусства, и направление его пути. Конечно, были в его истории тяжелые времена. Соседство с Соединенными Штатами Америки стоило мексиканскому монументализму нескольких печальных периодов застоя, однако в последнее время — и в этом я вижу заслугу народных масс: рабочих, крестьян и особенно интеллигенции — наше искусство снова встало на революционный путь.

— Не могли бы вы рассказать, над чем сейчас работаете, о ваших планах?..

— Я работаю в своей мастерской в Куэрнаваке. В этом городке, расположенном неподалеку от Мехико, у меня большая мастерская со всем необходимым техническим оборудованием: огромными лесами, машинами, режущими металл, и т. д. Роспись, создаваемая нами, грандиозна по своим масштабам. Работаю я с целой группой мастеров-художников. В нашей работе принимают участие художники из других стран. Например, сейчас вместе со мной — несколько художников из Соединенных Штатов Америки, один английский художник, а через некоторое время в нашей группе будут мастера из Южной Америки и Испании. Многое можно было бы говорить о планах на будущее.

Сикейрос задумался.

— Я хотел бы расширить экспозицию своей мастерской в столице, в Мехико. Там мною собрана коллекция произведений современного искусства нашей страны начиная с первых лет мексиканской революции. В экспозиции — работы виднейших мастеров современности. Это произведения не только живописи, но и прикладного искусства, скульптуры. Собраны также партитуры, книги. Своего рода панорама культурного наследия и развития Мексики.

Отвечая на вопрос о том, сколько часов

в сутки он работает, Сикейрос не задумываясь сказал:

— Восемнадцать.

С увлечением он рассказывал о традициях, технике и проблемах мексиканской настенной живописи — муралистма. Истоки его он видит в росписях древних обитателей страны, в изображениях, сохранившихся в Сан-Хуан-Теотиукане, в других центрах древних цивилизаций.

— Мы хотели сделать что-то подобное, используя технические возможности нашего времени. Сейчас мы можем сделать это намного лучше, совершеннее, чем раньше: индейцы в древние времена сталкивались с очень большими трудностями. Мы используем совершенно новые материалы для пластического изображения в настенных росписях экстерьеров зданий. Мы живем в очень интересное, в очень напряженное время. Период поисков и споров. Художники, занимающиеся станковой живописью, резко выступают против нас — монументалистов, спорят с нами — в спорах, как известно, рождается истина.

Наше искусство трудоемкое. Мы работаем много. Можно сказать — круглосуточно. У нас хватает проблем и чисто экономического характера. Вы меня спросите: почему? Какая разница: большое или маленькое по размерам произведение искусства?.. Во имя чего столько жертв? Если произведение станковой живописи может быть великим произведением, то во имя чего создавать гигантские полотна, панно? Нет, отвечаем мы. История подтверждает, что только произведения, живущие многие века, произведения искреннего выражения чувств, таланта художника дороже всего людям. Монументализм живет века...

В нашей стране произведения настенной росписи мы создаем повсюду. Сотни школ украшены произведениями настенного искусства. В росписи школ принимают участие даже ученики, школьники. И основной костяк армии мексиканских художников составляют монументалисты...

Мы пишем кистью, лепим скульптурную форму. На наших стенах — скульптуро-живопись. Этот термин мы придумали для объяснения техники. Впервые в истории подобного вида искусства мы используем металл. Нами найдено средство полихромировать поверхность металла. При полихромии, на мой взгляд, нет никакой необходимости в закалке металла огнем, чтобы сделать его таким же прочным, как в прошлые века. Наше творчество и наши поиски продолжаются. Перед нами еще много нерешенных проблем. Естественно, что в первую очередь, как я уже сказал, приходится сталкиваться с проблемами экономического плана: наши работы поглощают огромные, фантастически огромные суммы. Но мы работаем без устали, и я думаю, что и наши советские друзья довольно скоро услышат о наших новых достижениях...

В свой последний визит в Советский Союз Давид Альфаро Сикейрос привез с собой много книг и репродукций. Он собирался прочитать публичные лекции с показом фильмов, посвященных мексиканской настенной росписи. Он мечтал о том, чтобы все города мира засверкали яркой и могучей россыпью фресок, воспитывая в каждом чувство красоты, дух борьбы за светлые идеалы человечества.

Незадолго до приезда в Советский Союз Сикейрос читал лекции о проблемах муралнзма в Италии, участвовал в жарких дебатах с художниками Парижа. Мехико — Рим — Мехико, Мехико — Париж...

Однако в Москве ему не пришлось выступить с лекциями, показать фильмы. Он неожиданно уехал — заканчивать работу в Мехико. Чувствовал ли он тогда, что его подтачивает болезнь, что надо спешить? Вряд ли... У него было столько планов...

Сикейрос любил Советский Союз, любил как революционер, коммунист и как художник.

— Вы знаете, я не первый раз посещаю Советский Союз. Впервые я приехал сюда, когда еще был жив Ленин. Потом неоднократно возвращался в различные периоды. И вдали от советской земли я постоянно и неустанно следил за развитием и строительством социализма в Советском Союзе.

Я и мои товарищи — монументалисты, скульпторы, графики — всегда принимали горячее участие во всех самых значительных кампаниях, проводимых в мире в поддержку Советского Союза. Мы поддерживаем и защищаем содружество социалистических наций, боремся против империалистических сил. Борьба решительная и бескомпромиссная.

Мы говорим народам, чтобы они вставали на путь строительства социализма, шли вместе с Советским Союзом. Чтобы никогда между народами земли не терялось чувство солидарности.

Мы боремся за то, чтобы социалистические страны всегда были вместе, чтобы шли они по одному пути.

Мы говорим народам о том, что Советский Союз начал преобразование мира, что он прорвал брешь в капиталистической системе и открыл совершенно новую дорогу для человечества. Опыт этой страны должен изучаться другими народами постоянно, опыт Советского Союза и его пример грандиозны. Такова основа убеждений ведущих художников Мексики...

В этих словах — политическое кредо великого мексиканского художника.

Задаю последний вопрос:

— Что бы вы хотели пожелать людям?

— Теснее сомкнуть ряды! Нажим империалистических стран все сильнее, все яростнее. Необходимо бдительно следить за опасностью новой войны! Нельзя допускать благодушия. Надо быть всегда начеку. Это мой призыв ко всем людям Земли.

А советских художников, скульпторов, архитекторов я призываю к тому, чтобы они развивали монументальное искусство и чтобы этот процесс, набирающий все более мощные темпы, никогда не останавливался!

◆

# Наши гости

## ГОД МИРА, ГОД ТРУДА

### Вьетнамские писатели — в «Иностранной литературе»

Дружеские встречи с писателями и поэтами Демократической Республики Вьетнам стали у нас уже давней и доброй традицией. Редакцию навещают не только вьетнамские литераторы, гостящие в Советском Союзе, но и друзья журнала и авторы его из Вьетнама, которые останавливаются в Москве на дальних своих дорогах, ведущих в другие страны. Так и участники двух последних встреч, состоявшихся, как говорят, «под занавес» минувшего 1973 года, были в Москве проездом: секретарь Правления Союза писателей ДРВ Те Лан Виен и один из руководителей Хайфонского отделения Ассоциации литературы и искусства Нгуен Вьет Лам — из Венгрии, генеральный секретарь Союза писателей Нгуен Динь Тхи — из ГДР. Уже сами по себе маршруты писателей являются подтверждением жизненности и нерушимости содружества литераторов социалистических стран. И пожалуй, у вьетнамских писателей в этом содружестве положение особое. К их героическому народу, почти девять лет сражавшемуся против империалистических агрессоров за свободу и независимость своей родины, устремлены были сердца и помыслы народов братских стран социализма, чья дружеская поддержка и помощь явились одним из решающих факторов, обеспечивших Вьетнаму победу. И к творчеству литераторов Вьетнама отношение тоже было особое. Оно нашло свое выражение и в решениях ежегодных встреч руководителей Союзов писателей социалистических стран, и в издательской практике, и в писательских контактах. Немало писателей из братских стран побывали за эти годы во Вьетнаме, делили со своими вьетнамскими друзьями горечь и риск военных дорог, писали о героизме солдат и тружеников республики.

Двое из наших гостей — Нгуен Динь Тхи и Те Лан Виен — знакомы нашим читателям[1]. Поэтому мы представляем только Нгуен Вьет Лама. Он родился южнее 17-й параллели, но давно уже живет на Севере, в Хайфоне, который он называет в шутку «вьетнамской Одессой». И стихи его, ставшие популярными еще в годы прошлой войны (1946—1954 гг.), теперь чаще всего рассказывают о людях, чья жизнь и труд связаны с морем,— рабочих хайфонского порта и моряках, жителях островов и смотрителях маяков. В эту, последнюю войну Нгуен Вьет Лам писал о солдатах и ополченцах, отстоявших от врага морские ворота республики, о тех, кто своим трудом приближал радостный день победы. В творчестве его, как, впрочем, и у всех поэтов ДРВ, важное место занимает тема Юга: героизм патриотов, боль разделенных сердец, вера в грядущее воссоединение родины. Глубоким уважением и дружбой проникнуты строки стихов Нгуен Вьет Лама, посвященные Стране Советов и ее народу...

Мы задаем нашим гостям вопросы о том, что нового появилось в их литературе после восстановления мира, о чем пишут сейчас писатели ДРВ, что выпускают издательства и каковы планы Союза писателей.

Нгуен Динь Тхи говорит, что мир в Северном Вьетнаме был восстановлен лишь около года назад и, конечно, пока еще рано подводить итоги. Но все же есть уже первые стихи и рассказы на мирную тему.

«Теме труда, созидания,— говорит Те Лан

---

[1] См. «Иностранную литературу» № 11, 1965 г., № 6, 1966 г., № 11, 1968 г., № 1, 1973 г.

Виен,— уделялось внимание и в военные годы, но сейчас она приобретает особое значение. Мы должны превратить нашу страну из отсталой, аграрной в передовую, индустриальную, с развитой наукой и промышленностью. Для вас, советских людей, это уже прошлое, а для нас, как говорится, проблема номер один». А Нгуен Вьет Лам, дополняя его, подчеркивает, что новые задачи, выдвинутые партией в политике и экономике, ставят само собою и новые проблемы перед литераторами в общественной и творческой области.

Сюжетов и тем, по мнению гостей, много. Здесь и восстановление городов и деревень, разрушенных войной, и строительство новых заводов, электростанций и дорог, новая техника и достижения сельскохозяйственной науки в деревенских кооперативах, освоение целинных земель и горных районов... В психологическом плане весьма интересна, скажем, такая тема, как возвращение людей с войны, или «залечивание» душевных ран, нанесенных войной. Хотя, конечно, горькие человеческие утраты невосполнимы.

Впрочем, как говорит Нгуен Динь Тхи, новообретенный мир отнюдь не принес с собой ощущения безоблачного покоя и довольства. Ведь на Юге, из-за происков и провокаций сайгонских властей, то и дело снова вспыхивают военные действия. А в небо Северного Вьетнама продолжают вторгаться американские беспилотные самолеты-разведчики, и кое-кто из пентагоновских стратегов призывает «изучить возможность» возобновления бомбардировок ДРВ. Остались еще и материальные трудности, вызванные войной, и люди понимают, что ликвидировать их быстро нельзя. Люди понимают также, что не миновала еще военная угроза и борьба за упрочение мира и грядущее национальное воссоединение потребует немалых лишений и жертв.

Но тем не менее возникли новые, более благоприятные, чем прежде, условия для творческой работы. Расширяются издательские возможности, налаживается нормальный ритм деятельности периодической печати. Так, скажем, журнал Союза писателей «Так фам мой» («Новые произведения»), выходивший в военные годы раз в два месяца, снова стал издаваться ежемесячно, и десятитысячного тиража ему уже явно маловато. В 1974 году Союз писателей ДРВ получит свое издательство, которое будет печатать произведения современных авторов. Откроется и новое издательство министерства культуры, оно будет специализироваться на издании классики — своей, вьетнамской, и зарубежной. Ожидается также, что в 1974 году будет утверждено новое авторское право.

Союз писателей предполагает расширить существующие уже около десяти лет Ханойские литературные курсы, которые, кстати, не прерывали своей деятельности и в самые трудные военные годы. Здесь, в столичном пригороде, у Западного озера, в небольших домиках, мало чем отличающихся от соседних хижин, занимались под руководством видных прозаиков, поэтов и критиков молодые литераторы, чьи первые выступления привлекли к ним внимание писательской общественности. Курсы закончили без малого сто пятьдесят человек, и многие выпускники завоевали уже своими произведениями признание у массового читателя. Теперь намечается увеличение числа учащихся, а также расширение учебных программ, которые будут рассчитаны на более длительный срок. В перспективе имеется в виду возможное преобразование этих курсов в высшее литературное учебное заведение. И Союз писателей ДРВ намерен направить специальную делегацию в Советский Союз и Германскую Демократическую Республику для изучения опыта имеющихся в этих странах литературных институтов.

Говоря о творчестве молодых писателей, Нгуен Динь Тхи подчеркнул, что произведениям их свойственна актуальность тематики. Если раньше большинство интересных книг посвящено было военной и деревенской темам, ставшим уже в какой-то мере традиционными для вьетнамской литературы, то именно молодые писатели и поэты обращаются к теме рабочего класса и новой интеллигенции. Оно и понятно, ведь среди молодых, особенно это касается прозы, едва ли не больше половины — рабочие, техники, инженеры. Не случайно большинство этих авторов — выходцы из Хайфона, из шахтерского района Камфа, из Ханоя и Намдиня, то есть из городов и областей, наиболее развитых в промышленном отношении. Немало среди молодых литераторов и сельских учителей, которые, будучи сами проводниками новых идей и современной культуры, сумели по-новому увидеть и отразить в своем творчестве жизнь вьетнамской деревни.

Большая систематическая работа с молодыми авторами ведется не только в столице, но и на местах. Об этом, в частности, рассказал Нгуен Вьет Лам, редактирующий журнал «Кыа биен» («Морские ворота»), который издается в Хайфоне. Журнал этот не только литературный. Он посвящен также проблемам театра и изобразительного искусства. Вокруг него удалось собрать актив талантливой творческой молодежи. Многие интересные прозаики и поэты, пришедшие за последние годы в литературу,— армейские офицеры и солдаты. Творчеству их неизменно уделяет внимание журнал «Ван нге куан дой» («Литература и искусство армии»), который издается Главным политуправлением Народной армии.

Для нынешней литературной жизни Вьетнама показательны итоги последнего поэтического конкурса еженедельника «Ван нге» («Литература и искусство», орган Ассоциации литературы и искусства), о котором рассказали Те Лан Виен и Нгуен Динь Тхи. Конкурсы эти всегда собирают большое число участников, что объясняется как поистине широчайшим развитием культуры, так и традиционной тягой вьетнамцев к поэзии. Из нескольких тысяч

присланных на конкурс стихотворений были отобраны и опубликованы лучшие. Вот имена лауреатов: Нгуен Дык Мау (он военный, служит в пехоте, и у него уже вышла книга стихов «Зеленые ветви над опаленной землей»), Нгуен Зюй (он тоже служит в армии), Лам Тхи Ми За (эта молодая поэтесса живет в пограничной провинции Куангбинь, которая подвергалась особенно ожесточенным бомбардировкам; она впервые — за присужденной ей премией — совершила поездку в Ханой), Хоанг Нюэн Кам — зенитчик.

Говоря о лучших, на его взгляд, произведениях прозы последних лет, Нгуен Динь Тхи называет романы военных писателей Нгуен Минь Тяу «По следам солдата» и Нгуен Кхая[1] «Боец», а также рассказы До Тю (он — артиллерист-зенитчик и, кстати, выпускник Ханойских литературных курсов) и Ма Ван Кханга[2] (он много лет проработал в горных районах, где живут малые народности, которым и посвящена большая часть его рассказов). И если Нгуен Кхаю, автору многих известных книг, недавно перевалило уже за сорок, то остальные трое писателей совсем еще молоды и только начинают свой творческий путь.

В общем же, касаясь тематики современной вьетнамской литературы, гости подчеркивали, что преобладает в ней тема военная. И это естественно. Ведь, как верно сказал Нгуен Вьет Лам, война на земле Вьетнама — с небольшими перерывами — длилась практически тридцать лет, а на Юге она не прекратилась полностью и по сей день. Но теперь, с восстановлением мира на Севере, литература военно-патриотической темы как бы начинает новый этап своего развития. У писателей появились условия для более вдумчивого и неторопливого отбора материала и тщательной работы над композицией и стилем. И, конечно, сегодня, после победы, возникает возможность в историческом плане точнее показать войну, шире осмыслить отдельные ее эпизоды.

Яснее во всем, что касается политики, техники, психологии, стал для писателей облик и сущность врага, которого вьетнамский народ победил в эту войну. Сейчас с какой-то имеющейся уже временной дистанции зримей становится значение и масштабы этой исторической победы, равно как и тех факторов — внутри страны и за ее пределами,— которые привели к победе. А все это, по мнению Нгуен Динь Тхи, дает основания надеяться на появление новых монументальных произведений о великом народном подвиге. Работу над крупными полотнами о войне начали сейчас многие именитые мастера старшего поколения. Не отстает от них и молодежь. В какой-то мере тенденцию эту отражает и заметно возросший читательский интерес к прозе, и к роману в особенности.

Заметим, в скобках, что военной теме отданы и симпатии всех троих наших гостей. Вот что говорят они о своих планах: «Я еще долго буду писать о войне. Меня интересуют философские аспекты этой темы — человек и оружие, отношение к жизни и смерти... В войну духовный заряд, энергия и воля человека как бы достигают критической точки. Меня как раз и привлекает тот переломный момент, когда решается раз и навсегда: выстоит человек или склонит голову. Война, по-моему, обнажила и очистила от всяческой накипи такие чувства, как дружба, любовь, верность... Это помогает придать особый «накал» моей лирике» (Те Лан Виен).

«Мне хочется написать по-настоящему, не торопясь, о людях, которых я встречал на войне. Поэзия, пожалуй,— самая прочная и яркая «память» человечества, и каждый из нас обязан, в меру своих сил и таланта, обогатить ее, сказать свое слово потомкам. Я буду писать о Хайфоне, о моряках, иногда ценою жизни прорывавших минную блокаду, чтобы доставить на острова продовольствие, оружие, медикаменты и книги, о суровых и добрых людях, живущих на островах, и, конечно, о море и о любви» (Нгуен Вьет Лам).

«О чем я пишу сейчас?.. О войне, вернее, о двух войнах, выпавших на долю моих соотечественников. О мужестве и горечи утрат, о красоте человеческого труда. Я пишу пьесу, главная ее героиня — женщина по имени Хоа, что значит «цветок»... Она прошла две войны — ту, прошлую, и нынешнюю, закончившуюся совсем недавно. На последней войне погиб человек, которого она любила. Но Хоа — она работает медсестрой в больнице — в своем труде, так необходимом пострадавшим от войны людям, черпает силы и твердость духа. Война отнимает счастье и у многих подруг Хоа. Мне хотелось в этой пьесе воздать должное нашим женщинам, которые вынесли на своих плечах огромное бремя, небывалую нагрузку — нравственную и физическую. И еще я хотел показать весь трагизм и сложность людских судеб в условиях разделенной надвое страны. Я был бы счастлив, если бы мне удалось тронуть своей пьесой сердца наших зрителей» (Нгуен Динь Тхи).

Нгуен Динь Тхи рассказывает, что первые два акта пьесы он написал в Доме творчества в Дубултах, на берегу Балтийского моря. За окном его комнаты неслись параллельно земле подхваченные ветром снежинки; мороз одел землю непривычным белым убором, пенились серые, как свинец, волны. И необычность этой зимней природы, так непохожей на далекий Вьетнам, помогла ему по-новому, иначе, чем прежде, взглянуть на своих героев и как бы воочию представить себе их дела и поступки. «Теперь,— говорит Нгуен Динь Тхи,— осталось дописать еще один, третий акт и эпилог...»

Уместно будет остановиться и на другой теме, которая, по словам Те Лан Виена, все больше привлекает к себе внимание его

---

[1] См. Нгуен Кхай. На острове Трав, «Иностранная литература» № 6, 1966 г.

[2] См. Ма Ван Кханг. Песни мео, «Иностранная литература» № 9, 1973 г.

коллег. «Сейчас,— говорит поэт,— когда великая наша победа стала осознанной реальностью, мы с гордостью оглядываемся в прошлое, по-новому понимая и оценивая четыре тысячелетия нашей истории». Интерес к прошлому не случаен, он отражает стремление уяснить истоки и процесс формирования национального характера. Ведь иному стороннему наблюдателю наверняка покажется парадоксальным тот факт, что немногочисленному, в сущности, народу не только удалось одолеть стихийные силы природы и перекроить на собственный лад просторы своей земли и течение рек, но и, несмотря на постоянные нашествия завоевателей, сохранить самобытность своей духовной сущности, свой язык и культуру». Раскрыть этот «парадокс» и должна, по мнению Те Лан Виена, литература социалистического Вьетнама, вооруженная таким действенным методом познания прошлого, как исторический материализм. Причем поэт подчеркивает, что под «прошлым» имеется в виду не только легендарная старина; это понятие представляет собой сплав, где слиты воедино деяния минувших веков и ход революционной борьбы, которой руководил великий вождь вьетнамского народа Хо Ши Мин, принесший на родную землю учение Маркса и Ленина. Конечно, обращение к исторической теме требует от писателя не только таланта, но и высокой творческой зрелости; вот почему здесь и были названы имена таких известных литераторов, как Нгуен Хонг, То Хоай и Хюи Кан, раскрывающих историческую тему в самых различных жанрах — романе и драме, мультипликате и поэтической сказке.

Все большую роль в развитии современной литературы ДРВ играет литературная критика. Об этом говорил Нгуен Динь Тхи, отметив, что наряду с профессиональными критиками интересно выступают в этом жанре и сами писатели и поэты и такое сотрудничество дает плодотворные результаты. А это тем более важно потому, что осенью 1974 года намечается созвать съезд писателей ДРВ и перед съездом, естественно, хотелось бы дать верную оценку творческой продукции последних лет, определить основные тенденции литературного процесса, обобщить накопленный опыт и дать рекомендации на будущее...

Наши гости с волнением говорили о Юге, где патриоты борются за утверждение национальной независимости и торжество идеалов справедливости и демократии. Конечно, для каждого честного вьетнамца проблема Юга, как говорил Нгуен Динь Тхи,— это не просто академический тезис для дискуссии, а личное, кровное дело. И среди писателей Вьетнама, верных своему долгу и своему народу, когда речь заходит о Юге, нет безмолвных и равнодушных. Те Лан Виен, побывавший недавно в освобожденных районах Юга, рассказал о том, как провалились все уловки американских империалистов и их сайгонских «партнеров», пытавшихся воздействовать на народ Южного Вьетнама не только вооруженной силой, но и насаждением религиозных предрассудков (в дело шли «на равных» учения Христа и Будды), и пропагандой «чудес» заокеанского образа жизни.

Писатели ДРВ внимательно следят за успехами своих собратьев на Юге. С гордостью рассказывал Нгуен Динь Тхи о творчестве писателей-южан, которые сочетают литературный труд с нелегкой и опасной солдатской долей. Говоря о романе южновьетнамского прозаика Фан Ты «Ман и я»[1] (Ман — имя девушки), он назвал его «шагом вперед не только в творческой биографии автора, но и в развитии всей южновьетнамской прозы». С похвалой отозвался он о рассказах и повестях Ле Ван Тхао, Нгуен Шанга и погибшего на фронте молодого писателя Нгуен Тхи; искренней теплотой проникнуты были и слова, сказанные им о прозаиках Нгуен Чунг Тхане и Ань Дыке...

Перед писателями Демократической Республики Вьетнам стоят сегодня большие и сложные задачи, впереди у них новые замыслы, новые книги; их ждут увлекательные и трудные поиски, находки и творческие радости. Пожелаем им успеха...

**М. Т.**

---

[1] О романе Фан Ты см. сообщение в рубрике «Из месяца в месяц». «Иностранная литература» № 10, 1973 г., стр. 277.

Жажда

# СВЕТЛИН РУСЕВ

Болгарский художник Светлин Русев родился в 1933 году в Плевне и учился в Академии художеств в Софии у известного живописца Дечко Узунова. Уже первые его полотна, появившиеся с 1960 года на выставках,— среди них «Жажда» (1962), «За свободу» (1963), «Перед боем» (1964), «Клятва» (1966), достаточно полно раскрыли и его своеобразную живописную манеру, и отношение к людям и окружающей действительности, к истории и событиям современности. Они привлекали художественной цельностью, значительностью характеров.

Неоднократно обращается художник к истории болгарского народа, не модернизируя своих героев и не прибегая к стилизации. Русева интересует не сюжет, не отдельные эпизоды или атрибуты. Через характеры своих героев, через атмосферу события он дает возможность зрителю сопережить увиденное, предлагает ему самому оценить величие и красоту подвига нацио-

**За свободу**

нальных героев. Прочна связь художника с пролетарским искусством 30-х годов, утвердившим в искусстве образ представителя рабочего класса (картины «1933. Безработные», «1923. Расстрел», «День последний», серия портретов).

В центре внимания Русева — портрет современника. Светлин Русев утверждает свое право на расширение традиционных возможностей живописной лепки формы — уже в ней самой чувствуется огромная внутренняя сила, энергия и динамика. Это художник-скульптор, обладающий способностью быть многогранным — суровым, мужественным и в то же время проникновенным, поэтичным. Пластический ритм картин Русева позволяет говорить о перекличке с античными и фракийскими росписями, с древнеболгарской живописью.

Пейзажи — особая страница творчества Русева. Диапазон их значителен — от картин эпического, философского плана («Белое дерево», «Пейзаж в красном») вплоть до интимных, внешне скромных лирических пейзажей Причерноморья. Среди последних — пейзажи-портреты старых болгарских городов.

Картина «День последний», получившая премию на Международной выставке реалистической гражданственной живописи в 1973 году, особенно важна для понимания сегодняшнего этапа творчества С. Русева. Она как бы подытоживает его живописные поиски. Эта картина — живая страница героической летописи борьбы болгарского народа за свободу, исполненная драматического напряжения, утверждающая силу человеческого духа.

Светлин Русев — лауреат Димитровской премии, национальной премии имени Захария Зографа, заслуженный художник Болгарии, Председатель Союза болгарских художников, депутат Народного собрания. Творчество его, получившее широкое признание в Болгарии, помогает людям других стран глубже понять его Родину. В то же время страстные, мужественные образы его произведений становятся достоянием зрителей других стран мира — С. Русев во многом определяет лицо современной социалистической культуры, утверждающей гуманизм, героику труда и борьбы за свободу.

**Е. ЛЬВОВА**

**Перед боем**

# Из месяца в месяц

## АВСТРАЛИЯ

### НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПАТРИКА УАЙТА

Нобелевским лауреатом по литературе за 1973 год стал австралийский писатель Патрик Уайт. Высокая награда была присуждена ему за «искусство эпического и психологического повествования, которое вводит в литературу новую часть света».

Нобелевскую премию Патрика Уайта восприняли по-разному. Французский журнал «Монд» поместил весьма язвительную и резкую статью, где выражалось недоумение и крайнее удивление политикой Нобелевского комитета. В качестве довода французские критики приводили соображения о малой популярности австралийского писателя и о недостаточно высоком, по их мнению, художественном качестве его произведений.

Обозреватель «Таймс литерари сапплмент» пишет, что Патрик Уайт — крупный мастер слова, хотя и не очень читаемый из-за сложности его прозы. Романы Уайта отличаются психологичностью, крайне критическим отношением к мещанству. Но его критическое осмысление действительности не выходит, как отмечают критики, за рамки аллегорического изображения борьбы добра и зла.

Усложненность прозы Патрика Уайта литературоведы связывают с «потоком сознания», который писатель довольно часто использует в своих произведениях. «Поток сознания» пришел в прозу Патрика Уайта, как он сам пишет, отчасти от Джеймса Джойса, сильное влияние которого австралийский писатель испытал в молодости.

Как отмечают английские рецензенты, крайне типичным для Патрика Уайта, ныне автора восьми книг, является его последний роман «Сердце бури».

В Сиднее, в большом и роскошном доме умирает очень богатая, очень старая и очень красивая женщина, Элизабет Хантер; умирает, окруженная многочисленными сиделками и родственниками. Всех волнует вопрос наследства. Этот сюжет, как отмечает рецензент «Таймс литерари сапплмент», «скорее свойствен Мопассану, который мог на сорока страницах тонкой и изящной прозы рельефно вылепить характеры. Но у Патрика Уайта этот столь хорошо знакомый европейской литературе сюжет растягивается более чем на 600 страниц, на которых писатель тщательно и скрупулезно исследует человеческий характер и мотивы поведения. Патрик Уайт рассказывает нам трагическую историю семьи Хантеров — Элизабет, ее мужа и двух детей. «Сердце бури» свидетельствует о внимании писателя к нравственным вопросам: борьба добра и зла, ненависть в душе человека, прозрение, которое ожидает заблудших героев на тернистом пути жизни».

Критики отмечают стилистическое совершенство прозы Патрика Уайта.

Обозреватель «Таймс литерари сапплмент» подчеркивает сходство прозы Патрика Уайта в «Сердце бури» с прозой Генри Джеймса. Та же точность в выборе слова, та же еле заметная ирония, та же способность передать сложные взаимоотношения людей в одном предложении.

## АНГЛИЯ

### СПОРЫ ВОКРУГ РОМАНА

Новый роман известного английского драматурга и прозаика Дэвида Стори «Временная жизнь» (издательство «Аллен Лэйн») получил весьма разноречивую

Актеры Джек Никольсон и Мария Шнейдер, исполняющие главные роли в фильме «Профессия», съемки его закончил в Лондоне итальянский режиссер Микеланджело Антониони. Это второй после «Крупным планом» («Блоу ап») фильм, который Антониони снимал в Англии.

*(Газета «Унита»)*

---

оценку в англо-американской критике.

Поль Бэйли поместил язвительную статью в «Нью стейтсмен», где недвусмысленно высказал свое мнение о книге. Он считает «Временную жизнь» неудачной копией первого романа Дэвида Стори «Такова спортивная жизнь», который был экранизирован. (Он шел на наших экранах.) Критика раздражает в последней книге Д. Стори аморфность сюжета: скучный, серый герой, который, как он считает, с делом и без дела пускает в ход кулаки, банальный диалог. Но больше всего претензий у Поля Бэйли вызывает стиль Дэвида Стори. По этому поводу он пишет: «Дэвида Стори надо запереть в комнате, вручив ему экземпляр «Дублинцев» Дж. Джойса, и не выпускать до тех пор, пока он не извлечет из этой книги несколько полезных уроков».

Рецензент «Таймс литерари сапплмент» не разделяет столь негативного мнения. Он тоже видит немало сходного между последним романом Д. Стори и его первой книгой «Такова спортивная жизнь». Герой нового романа писателя и в самом деле напоминает Артура Мэчина из романа «Такова спортивная жизнь». Колин Фристоун — это тот же тип внешне грубого и закаленного, но внутренне очень чувствительного и уязвимого спортсмена, который вступает в борьбу с силами, природу которых он даже не всегда понимает. Критик отмечает и схожесть обстановки, изображенной в двух романах: северный индустриальный городок, описанный в мрачных реалистических, а иногда и грубо натуралистических тонах. На этом фоне и разворачивается история жизни Колина Фристоуна, в прошлом боксера-профессионала, а теперь преподавателя в заштатной художественной школе.

Название романа определяет состояние героя: у него все временно — жизнь в городке, куда он приехал, потому что здесь лечится от нервного расстройства его жена Ивонн, временная работа в школе директора-самодура Уилкокса. Он надеется, что также временны и отношения с богатыми дельцами. На самом же деле они, использовав в собственных интересах талант Колина Фристоуна, оставляют его духовно раздавленным человеком.

Несмотря на схожесть ситуаций и героев в обоих романах, критик считает возможным говорить об эволюции писателя. Проза Дэвида Стори стала лаконичнее и напряженнее, и рецензент полагает, что в этом проявилось недавнее обращение романиста к драматургии: к пьесе «Кромвель» («ИЛ» № 1, 1974). Критик особо отмечает несколько необычное сочетание пафоса и юмора в новой книге писателя. Переходы внезапны, но они нисколько не ухудшают качества прозы.

Однако, в целом давая положительную оценку книге Дэвида Стори, критик говорит и о ее серьезном недостатке — излишней аллегоричности. Заключая свой обзор, рецензент пишет: «Может быть, такому талантливому писателю, как Дэвид Стори, способному глубоко понять природу современного общества, не стоило злоупотреблять разными символическими преувеличениями, которые, несомненно, портят его жизненно правдивую прозу». Как отмечает критик, притчи не свойственны Дэвиду Стори.

Майкл Рэтклиф в «Таймсе» пишет, что Дэвид Стори особенно хорошо сумел передать внутреннюю опустошенность своего героя и показать те силы, которые способны убить человека в современном западном обществе. Критик считает, что директор Уилкокс Дэвида Стори — фигура в духе Ивлина Во и Э. Пауэлла. Сатирическая окраска — новая черта в художественной манере автора.

Майкл Рэтклиф в отличие от рецензента «Таймс литерари сапплмент» отмечает отсутствие натурализма, свойственного предыдущим книгам писателя. Однако, продолжает он, рано еще говорить о новой стилистической манере Дэвида Стори.

## ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ БАЙРОНА

В апреле 1974 года исполняется 150 лет со дня смерти Байрона.

В английском издательстве Джона Меррея недавно вышли два тома «Писем и дневников» Байрона под редакцией профессора Лесли Марчанда. По сообщению корреспондента еженедельника «Обсервер», предыдущее аналогичное издание было предпринято 23 года назад. Нынешнее издание расширено по сравнению с предыдущим и включает, по словам обозревателя, «совершенно достоверные и полные» тексты байроновских документов. Профессор Марчанд, подготовивший предыдущее и нынешнее издания писем и дневников поэта, является также автором вышедшего в 1957 году трехтомного труда о жизни Байрона.

Обозреватель приводит слова Джона Рескина о

стиле Байрона: «Он писал с такой же легкостью, с какой летает сокол, и его проза столь же прозрачна, как отраженный озером свет».

Первый том нового издания документов Байрона носит название «В дни моей горячей юности» и охватывает период с 8 ноября 1798 года по 4 июля 1810 года; второй — «Помню, он был знаменит» — с 19 июля 1810 года по 31 декабря 1812 года.

## БОЛГАРИЯ

### ИТОГИ КИНОФЕСТИВАЛЯ

Тематическое многообразие, тонкий психологический анализ и новые выразительные средства — таковы отличительные черты XII фестиваля болгарского фильма, отметил председатель жюри фестиваля Т. Динов.

Как сообщают болгарские газеты, большая премия «Золотая роза» присуждена фильму режиссера Э. Корабова «Иван Кондарев» по одноименному роману Э. Станева и исполнительнице главной роли Кате Паскалевой.

Первой премии за показ женщины-революционерки удостоены режиссер и сценарист фильма «Последнее слово» Бинка Желязкова и актриса Цветана Манева.

Вторую премию получила лента сценариста Г. Мишева и режиссера Э. Захариева «Перепись зайцев».

Среди короткометражных фильмов большая премия «Золотая роза» присуждена фильму «Здравствуйте, дорогие дети».

Премии за лучшее исполнение женской роли удостоена Невена Коканова за роль учительницы в картине «Самый добрый человек, которого я знаю», а премии за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Игрек-17» — Иван Кондов.

Обладателями других высших наград стали создатели фильмов «Дети играют на улице», «Мужчины без работы».

Премия Союза болгарских писателей присуждена Н. Русеву за сценарий фильма «Дома без оград» и В. Акьову за сценарий фильма «И настал день».

Кадр из фильма «Здравствуйте, дорогие дети», получившего премию «Золотая роза».

*(Еженедельник «Народна култура»)*

## БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

### ИСКУССТВО НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ

Государственный секретариат по делам культуры организовал в столичной мэрии выставку народного искусства племени сенуфо, живущего на севере Берега Слоновой Кости.

На снимке: маска сенуфо.

*(Журнал «Жён Африк»)*

Жители Абиджана увидели оригинальные скульптуры, маски, нарядную традиционную одежду, украшенную красочным орнаментом, музыкальные инструменты, старинные предметы быта, культовые принадлежности.

Всего на выставке было представлено около 250 изделий народных мастеров. В это же время в Абиджане танцоры и музыканты из племени сенуфо дали несколько концертов.

Как сообщает журнал «Жён Африк», секретариат по делам культуры планирует в дальнейшем постоянно устраивать в столице выставки произведений народных мастеров различных племен Берега Слоновой Кости.

## ВЕНГРИЯ

### «ИСТОРИЯ ВЕНГЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Советские читатели хорошо знают имя венгерского писателя Иштвана Ши-

мона — лауреата премии имени Кошута: в советской периодике публиковались его стихи, статьи и очерки, отдельным изданием вышел его поэтический сборник.

Теперь поэт выступил в новом для себя жанре—как автор «Истории венгерской литературы», выпущенной недавно в Будапеште издательством «Гондолат». Это не литературоведческий труд, а история венгерской литературы, охватывающая период в семь веков — от ее истоков до наших дней,— популярно рассказанная писателем-беллетристом широкому венгерскому читателю — рабочим, крестьянам, учащимся и всем тем, кто постигает сегодня богатую культуру своего народа.

Книга делится на две части. Первая — это собственно история, вторая — отрывки из произведений писателей, своего рода хрестоматия.

Книга открывается небольшим очерком Шимона «Народ и его культура», в котором автор рассказывает о развитии материальной и духовной культуры человечества и о литературе как органической части духовной культуры, как способе художественного познания мира.

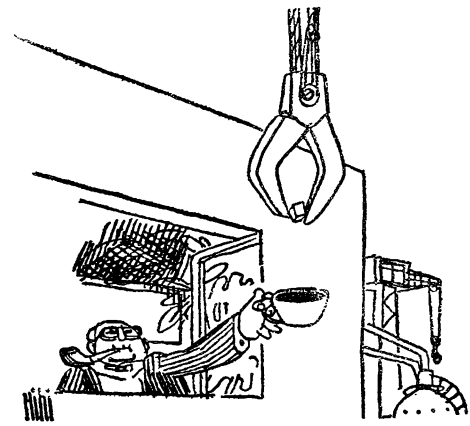
«Историю венгерской литературы писали многие; Иштван Шимон продолжил эту традицию. Как писатель, он воссоздал всю историю венгерской литературы. Он так рассказывает о писателях и их произведениях, что невольно хочется тотчас эти произведения прочитать»,— говорилось в книжном бюллетене «Кеньвилаг» в связи с выходом книги в свет.

## УЛЫБКА ИШТВАНА ХЕГЕДЮША

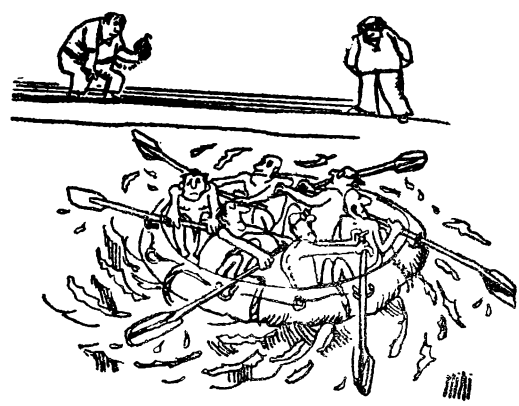
В Венгрии широко известно творчество графика и карикатуриста лауреата премии имени Мункачи Иштвана Хегедюша.

На снимке — карикатуры художника, опубликованные газетой «Мадьяр немзет».

Работа над мемуарами.



Хорошо организованное производство.



Отлично сыгравшаяся команда.

## ВЕНЕСУЭЛА

### ТРУДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Венесуэльский журнал «Имахен» в своей подборке «Экран» описывает критическое положение, сложившееся в венесуэльской кинематографии: она лишена государственных дотаций, не имеет крупных киноконцернов, способных взять на себя производство фильма в целом. Достаточно вспомнить историю с картиной «На востоке Маракаибо», снятой два года назад молодым талантливым режиссером Даниэлем Оропесой, которая не вышла на экран из-за отсутствия денежных средств на озвучивание. Вместе с тем венесуэльская кинематография располагает достаточно квалифицированными кадрами кинематографистов и довольно хорошо оснащена технически.

С успехом прошел фильм, снятый режиссером Маурисио Валештейном и оператором Абигаилем Рохасом — кстати, считающимся одним из лучших операторов Латинской Америки,— по роману венесуэльского писателя Мигеля Отеро Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу» (роман опубликован в «Иностранной литературе» № 7, 1972 г.). Но успех этого фильма не повлиял на дальнейшее развитие отечественной кинематографии.

## ГДР

### ПРЕМИИ ПИСАТЕЛЯМ

Лауреатами премии имени Генриха Гейне за 1973 год стали поэтесса Сара Кирш («ИЛ» № 6, 1973 г.) и писатель Герхард Хольц-Баумерт.

В своей речи, произнесенной при торжественном вручении премий, профессор Ганс Кауфман, лауреат премии имени Гейне за 1972 год, отметил, что в творчестве этих писателей «сохранился дух великого Гейне». «Недавно Гюнтер де Бройн сказал, что в нашей литературе нужнее всего те писатели, которые открывают что-то новое. Стихи Сары Кирш, особенно ее «Заклинания», и есть такое открытие. Сказочные и мифологические мотивы смешиваются в ее лирике с мыслями и раздумьями о жизни, фантастика и реальность как бы дополняют друг друга. Сара Кирш с большим искусством использует различные ритмы, метры, ее язык богат и разнообразен».

Ганс Кауфман рассказал также о работах Герхарда Хольца-Баумерта. «В своих рассказах для детей Хольц-Баумерт показывает себя знатоком детской психологии и проблем, которые волнуют детей. Он — один из самых видных теоретиков и пропагандистов в области детской литературы».

Литературная премия имени Лиона Фейхтвангера за 1973 год присуждена известной писательнице Гедде Циннер за творчество в целом. В речи при вручении премии писатель Карл-Георг Эгель сказал о больших ее заслугах, о том, что она «своими талантливыми, гуманистическими произведениями, построенными в основном на историческом материале, помогает людям понять и осмыслить историю».

### «ВОСПИТАНИЕ ПОД ВЕРДЕНОМ»

В третий раз обращается телевидение Германской Демократической Республики к романам Арнольда Цвейга, объединенным в серию «Большая война белых людей». Телезрители уже познакомились с экранизацией романов «Спор об унтере Грише» и «Молодая женщина 1914 года». Сейчас Эгон Гюнтер и Гейнц Камницер поставили трехсерийный телевизионный фильм по роману «Воспитание под Верденом».

«Прежде всего наш фильм рассказывает о людях, об их надеждах и их отчаянии,— сказал автор сценария Гейнц Камницер.— Мы рассчитываем на самого разного зрителя, а не только на тех, кто хорошо знает роман».

Рассказывая историю писателя Бертина и его поисков выхода из мира варварства и ужасов, создатели фильма показывают широкую историческую панораму первой мировой войны. Используя документальные материалы, они старались сделать фильм как можно более реалистическим. «Мы

Кадр из телевизионного фильма «Воспитание под Верденом». В роли Бертина — Клаус Пионтек, в роли сестры милосердия Клэр—Кристина Шорн.

*(Газета «Берлинер цайтунг»)*

Кадр из фильма «Торговец четырех сезонов».

*(Еженедельник «Вельтвохе»)*

воспринимаем Верден 1916—1917 годов не как далекую историю, а как близкие нашей современности события,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Фильм связывает прошлое с настоящим, он рассказывает не только об одной войне, а вообще о «большой войне белых людей».

«Можно сказать, что «Воспитание под Верденом» — это нужный и полезный фильм, который явится вкладом в борьбу за мир»,— пишет Хельга Щюц в еженедельнике «Зонntаг».

Пресса ГДР отмечает удачную работу Эгона Гюнтера и Гейнца Камницера, которым удалось, использовав богатые кинематографические средства, создать интересные сценичные характеры, и талантливую, эмоциональную игру исполнителя главной роли Клауса Пионтека.

## ФРГ

### «ТОРГОВЕЦ ЧЕТЫРЕХ СЕЗОНОВ»

Маленький полный человек катит по улицам Мюнхена тележку с овощами. Это главный герой нового фильма известного западногерманского режиссера Райнера Вернера Фассбиндера «Торговец четырех сезонов». Он не стыдится своей профессии, она ему по душе, он считает ее вполне достойной. Иного мнения придерживается его семья. В обществе, где внешний успех, материальное процветание — высшее мерило, он — неудачник, «белая ворона», на него смотрят свысока. Осмеянный, задерганный родственниками, которые спешат пробиться «наверх», герой спивается и умирает. Даже единственный, казалось бы, близкий человек— сестра в решающий момент бросает его.

Рецензент еженедельника «Вельтвохе» называет фильм «точным снимком немецкого буржуазного сознания послевоенной эпохи». По его мнению, это не только лучшая работа Фассбиндера, но и одно из наиболее значительных явлений западногерманской кинематографии вообще.

## ДАНИЯ

### ПИСАТЕЛЬ ОТДАЕТ ПРЕМИЮ ГАЗЕТЕ

Большая премия датской Академии присуждена писателю - коммунисту Хансу Шерфигу. Церемония вручения состоялась в Копенгагене, в зале Музея прикладного искусства.

Профессор Ф. Буллесков Янсен выступил с речью о творчестве Ханса Шерфига. Он сравнил «Замок Фрюденхольм» с «Тихим Доном» Шолохова и назвал роман Шерфига современным эпосом.

После того как Шерфигу был вручен чек на 50 тысяч крон, писатель взял слово и сказал: «Спасибо датской Академии! Спасибо профессору Буллескову Янсену! Я испытываю такую же признательность, какую чувствует человек, который получает спасательный пояс после того, как добрался до суши. Но лучше поздно, чем никогда. То обстоятельство, что все написанное мною теперь удостоено награды, само по себе — отрадный факт.

Писать — значит обращаться к другим людям. Я не утверждаю, что творчество писателя — это всегда или проповедь, или воззвание. Но все-таки это — общение с другими. Человек пишет не для самого себя. Нельзя быть художником в одиночку. Искусство — это союз с обществом.

Я не думаю, что мое творчество — коммунистическая пропаганда. Но если человек имеет мировоззрение, то нельзя избежать того, чтобы это мировоззрение не проявилось в том, что человек пишет...

В течение многих лет и в самый плодотворный период моей жизни я чувствовал холодный прием прессы и радио.

Роман «Загубленная весна» был запрещен на радио. А роман «Идеалист» вообще запретили... Есть солидные датские газеты, которые годами не хотели печатать мои книги. Кроме «Ланд ог фольк», ни одна буржуазная газета никогда не упоминала о моих произведениях. Единственный раз буржуазная газета упомянула о моем романе «Скорпион», да и то назвала... фельетоном...

Нельзя бороться против буржуазного общества, под-

рывать его основы и в то же время пользоваться его благосклонностью.

Я признателен своим читателям, которые заставили меня писать понятно. Человек не может писать для всех, но может писать для многих. Датский язык — точный, живой, удобный в обращении, и по-датски возможно выразить всё существующее и все человеческие чувства. Маленький датский язык. Он имел силу для того, чтобы пережить вековую неметчину при оленбургских королях. Пусть он переживет и пресловутую «неоевропейскую общность».

Быть прочитанным — это гораздо большее удовлетворение, чем быть избалованным газетами. Встречать читателя лицом к лицу по всей стране и ощущать то единение, которое возникает между теми, кто создает искусство, и теми, кто его воспринимает,— это важнее, чем более официальное признание. Но я благодарен и за официальное признание. Я воспринимаю это и как добрый знак, как один из признаков того, что вульгарный антикоммунизм, который сейчас оборачивается профашизмом, по крайней мере можно удержать за пределами духовной жизни.

Но когда художник на склоне лет получает премию, которая имеет также и денежную стоимость — большую стоимость, — почти столько же, сколько зарабатывает журналист за полгода, тогда являются журналисты и спрашивает: «На что вы все-таки истратите так много денег?» Несколько дней они меня преследовали вопросами.

Теперь, когда моя премия у меня в кармане, я отвечаю: «Я отдам эти деньги той газете, в которой в течение 40 лет имел право писать то, что хочу. Я отдам деньги «Ланд ог фольк» в благодарность за свободу слова, которую она предоставила мне в те годы, когда другие газеты были закрыты для меня».

## ДРВ

### НЕУМИРАЮЩИЙ ШЕДЕВР

Театральная труппа «Кай лыонг» («Обновленный театр») Демократической Республики Вьетнам поставила спектакль по мотивам известной поэмы классика вьетнамской литературы Нгуен Зу «Стенания истерзанной души». Трудно найти такого вьетнамца, который не знал бы наизусть если не всю поэму, то ее отрывки. Отдельные четверостишия поэмы давно уже стали во Вьетнаме крылатыми выражениями, и редкий вьетнамец обходится без них. Ее сюжет вкратце таков.

Пьеса названа по имени героини, Кьеу — красивая, талантливая девушка полюбила юношу Ким Чонга. Но чтобы спасти своего отца от посягательств жестокого мандарина, она продалась в жены богатому чужаку. Ее страдания были безмерны. Она очутилась в публичном доме и находилась там 15 лет. Столкновения между талантом, достоинством и безжалостной судьбой, подчиняться которой учила религиозная мораль, составили основу этой драматической истории. Пьеса воспринимается вьетнамскими зрителями с живым интересом, несмотря на то что она была создана в XVIII веке.

На снимке — артисты Тиеу Ланг в роли Ким Чонга и Ким Суан в роли Кьеу.

*(Еженедельник «Ван нге»)*

## ЕГИПЕТ

### НОВЫЙ РОМАН АС-САХХАРА

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в Каире в серии «Книга сегодня» вышел роман «Внук», принадлежащий перу одного из ведущих египетских писателей-романистов Абд-аль-Хамида Гоуды ас-Саххара.

Журнал отмечает гуманизм и глубокую эмоциональность этого произведения, посвященного проблемам современной египетской семьи и общества.

## ИНДИЯ

### ПОЭТИЧЕСКИЙ ВКЛАД В МАЙТХИЛЬСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Как сообщает издающаяся в Патне газета «Арьяварта», калькуттское издательство «Митхила даршан» выпустило в свет сборник стихов майтхильской поэтессы Иларани Синхи под названием «Винданти» («Страждущая»). В опубликованной газетой рецензии издание сборника расценивается как заметное событие в литературной жизни майтхильского народа. «Этот сборник стихов, написанных на языке майтхили,— говорится в рецензии,— является еще одним убедительным свидетельством процесса утверждения нового сознания, который наблюдается среди всех народов Индии в условиях независимости».

На майтхили существует многовековая непрерывная литературная традиция, восходящая к XIV веку. Родоначальником современной майтхильской литературы стал Чанда Джха (1830—1907), создатель эпической «Майтхильской Рамаяны».

В столичном делийском театре большим успехом пользуется сатирическая пьеса Виджая Тентулакра «Начальник полиции». Спектакль высоко оценен театральной критикой. Сцена из спектакля.

*(Журнал «Линк»)*

Вместе с литературами других народов Индии майтхильская литература внесла свой вклад в борьбу за независимость страны. Учитывая высокий уровень ее развития, Всеиндийская литературная академия в 1965 году признала майтхили самостоятельным литературным языком. Первым лауреатом Литературной академии стал майтхильский поэт Вайдьянатх Мишра. Творчество нового лауреата поэтессы Иларани Синхи продолжает славные традиции майтхильской поэзии. В ее сборник вошло 35 стихотворений — от философски раздумчивого «Кто я?» до эпического «Видьяпати». Рецензент пишет, что стихи Иларани Синхи подкупают свежестью чувства и изяществом формы. По мнению рецензента, они вносят заметный вклад в современную майтхильскую поэзию. Поздравляя поэтессу с большой удачей, рецензент говорит, что своим творчеством она оправдывает те большие надежды, которые в майтхильской литературе связывают с ее именем.

## ИРАК

### АНТОЛОГИЯ О РОМАНЕ

Роман — молодой, но бурно развивающийся жанр современной иракской литературы.

Проблемам, стоящим перед ним, посвящено исследование видного иракского литературоведа доктора Юсуфа Эззеддина «Роман в Ираке; развитие и идеологические воздействия».

Книга Эззеддина опубликована Институтом арабистики при Лиге арабских стран в Каире.

## ИТАЛИЯ

### «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»

Вышедший под таким названием новый сборник рассказов Альберто Моравиа, по мнению литературного критика газеты «Унита» Витторио Спинаццолы,— одна из лучших книг писателя, изданных в последние годы. Спинаццола в своей рецензии восхищается неиссякаемым богатством фантазии Моравиа, отмечая, что именно этим качеством его произведения выгодно отличаются от произведений большинства других современных итальянских писателей, пишущих либо на потребу «маскультуры», либо предающихся интеллектуалистским забавам, игре ума и настроений, далеким от подлинных тревог и забот итальянского общества. Моравиа, следуя традициям классиков, полагает, что выдумка, фантазия состоит в умении находить материал для литературного произведения в реальной действительности. Благодаря этому, пишет критик, в книгах Моравиа ощущается ответственность писателя перед обществом, а вместе с тем это делает их нужными, отвечающими требованиям и ожиданиям читателей, ежедневно сталкивающихся с этой действительностью.

Центральные персонажи тридцати одного рассказа, входящего в сборник,—все женщины. Они принадлежат к зажиточным слоям, некоторые недавно «поднялись наверх» и теперь нежатся в убаюкивающем благоденствии «общества потребления». Чаще всего это молодые девушки, красивые, чувственные, воплощающие один из мифов общества, в котором они живут,— миф о юной женской красоте как одной из высших ценностей. Однако в них пробуждается желание вырваться из этой атмосферы сонного существования, привычного самолюбования; это происходит благодаря таящейся в них жизненной силе, энергии. В женщине постепенно созревает решимость наконец стать личностью, хозяйкой своей судьбы. Однако эти попытки обрести подлинную связь с жизнью, с окружающей действительностью, хотя и порождены глубокой внутренней неудовлетворенностью, не сопровождаются процессом роста самосознания, ими не руководит разум, они почти неосознанны. В результате героини Моравиа терпят неуда-

чу, им не удается установить подлинные связи с реальностью; недостаточно решительные и недостаточно осознанные попытки, их тщетность лишь углубляют чувство неудовлетворенности жизнью, еще сильнее угнетают психику...

Автор, как отмечает Спинаццола, настроен весьма скептически, он не видит какой-либо надежды на духовное возрождение буржуазного индивидуума, обреченного на вечные колебания между конформизмом, с которым он сам уже не может мириться, и стихийным, бесплодным бунтом.

Наиболее удачными рассказами в сборнике критик считает те, в которых Моравиа показывает, с одной стороны, нелепость повседневной жизни своих героинь, а с другой — не менее беспросветную серость той, «другой жизни», начать которую они пытаются. Ирония автора настолько же блестяща, насколько и драматична. Моравиа внимательно исследует мир подсознательного и бессознательного своих героинь, но делает это саркастически, иронизируя и осмеивая объекты своего исследования и мир, в котором они живут.

Заслуга последней книги Моравиа в том, что в ней он «решительно выступает против тяги к иррациональному, которая все шире наблюдается в итальянской литературе как отражение переживаемого страной кризиса», — заканчивает свою рецензию Спинаццола.

## НОВЫЙ ФИЛЬМ ЛУИДЖИ КОМЕНЧИНИ

В Чинизелло Бальзамо, близ Милана, известный режиссер Луиджи Коменчини снимает фильм «Преступление по любовным мотивам».

Герои фильма — молодой рабочий Нулло, ломбардиец, и работающая на том же заводе, что и он, девушка Кармела, приехавшая с многочисленной семьей на Север из нищего селения Сицилии.

Нулло и Кармела очень различны по характерам, по взглядам, воспитанию. Однако горячо любят друг друга. Но любовь их обрывает трагедия: Кармела умирает, отравленная ядовитыми парами на заводе, где она работает, а юноша в припадке отчаяния убивает хозяина предприятия.

По замыслу режиссера, фильм призван привлечь внимание общественности к бедственному положению переселенцев из Южной Италии, к важной для Италии проблеме внутренней эмиграции, к которой в свое время обратился еще Лукино Висконти в фильме «Рокко и его братья» (сценарий этого фильма был опубликован в журнале «Иностранная литература» № 8 за 1961 год).

Новая картина Коменчини, вслед за фильмом Петри «Рабочий класс идет в рай», фильмом Этторе Сколы «Тревико-Турин» и другими лентами, развивает рабочую тему в итальянском кинематографе и, как полагает критика, приумножит число произведений прогрессивного направления политического кино Италии.

Стефания Сандрелли и Джулиано Джемма в фильме «Преступление по любовным мотивам».

*(Газета «Унита»)*

## ЛИВАН

### «ЛИВАНСКАЯ ПРИНЦЕССА»

Журнал «Аль-Адиб» сообщает о присуждении премии Саида Акля историку и писателю Жоржу Масруа за его сборник рассказов «Ливанская принцесса».

Ж. Масруа известен своими историческими исследованиями, среди которых особенно выделяется работа о древнем карфагенском полководце Ганнибале.

В решении жюри отмечается простота и вместе с тем высокая художественность рассказов Масруа, подчеркивается их значение в деле воспитания патриотизма. О рассказе «Ливанская принцесса», давшем наименование всему сборнику, говорится, что это — маленький шедевр.

## НИГЕРИЯ

### АЛЛЕГОРИЯ ВОЛЕ ШОЙИНКИ

Новый роман известного нигерийского писателя Воле Шойинки «Время беззакония», как это всегда бывает с его произведениями, обратил на себя внимание критики. Писатель рисует в нем картину коррупции дельцов и чиновников, местной буржуазии в вымышленной стране, расположенной в Африке. Атмосфера, воссозданная Шойинкой в новом романе, характерна для всех его произведений. Однако, указывает рецензент английского еженедельника «Таймс литерари саплмент», новый роман, «как и вся его послетюремная проза, отмечен желанием взглянуть в лицо кошмару, более прямолинейно использовать аллегорию и условные характеры», что сближает эту книгу с пьесой Шойинки «Безумцы и специалисты».

Если в предыдущем романе, «Интерпретаторы» («ИЛ» № 10, 1970), продолжает рецензент, художественный метод его можно было бы назвать мифологическим реализмом, то во «Времени беззакония» «все насквозь аллегорично— от персонажей до ситуаций». По мнению рецензента, в новом романе писатель прежде всего ставил себе задачу показать трагедию народа, пережившего гражданскую войну, заставить читателя почувствовать, какой ценой была оплачена эта национальная трагедия. Наряду с аллегорией Шойинка широко использует в книге и свои излюбленные мифологические образы.

«Наиболее удачными в художественном отношении представляются описания событий, однако все, что описывает в последнее время Шойинка, вселяет ужас... Писатель взял на себя неблагодарный, но, видимо, необходимый труд напомнить своим согражданам факты, которые сегодня забыты или отрицаются». В заключение рецензии выражается надежда, что последующие книги Шойинки станут свидетельством начала нового этапа его творчества.

## НИДЕРЛАНДЫ

### ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРЕХТОМНИК

Издательством «Мартин Харкамп» выпущен трехтомник «Избранных стихов» Симона Вестдейка. Проза его известна русскому читателю по недавно вышедшей в издательстве «Прогресс» книге из серии «Мастера современной прозы».

В трехтомник вошли поэмы «Летучий голландец», циклы сонетов «Трапеза стрелковой гильдии», «Мнемозина в горах» и другие стихотворения.

Отмечая высокие художественные достоинства сборника («благородный стиль», «виртуозность рифмы»), критика обращает внимание на мифологическую в основном тематику стихов, справедливо усматривая в этом проявление «типичного для Вестдейка дуализма», противополагавшего гармонический дух творчества мелкой, унижающей философии обывателя. Не случайно образцом для Вестдейка-поэта служили Поль Валери и Рильке. «Вестдейк не только стилист, но почти всегда большой поэт»,— заключает рецензент бельгийского журнала «Кюнст эн политик» Франс Бундере.

## НОРВЕГИЯ

### СКАНДИНАВСКИЕ БАЛЛАДЫ

В издательстве «Каппелен» вышел сборник «Скандинавские баллады». Сюда включены произведения поэтов Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, классиков жанра баллады, таких как Ферлин, Таубе, Сигфред Петерсен, и современных трубадуров — Олле Адольфсона, Корнелиса Врейсвика, Лилкебьетна Нильсена и многих других. Книга широка в жанровом отношении—здесь собраны философские баллады, любовные, баллады протеста, застольные песни.

«Ценность этого издания в том, что баллады разных эпох, разных жанров и поэтов разных стран Скандинавии собраны в единый красочно оформленный буклет. По этой книге можно проследить развитие жанра баллады в скандинавской поэзии на протяжении нескольких веков»,— отмечает литературный обозреватель газеты «Фрихетен».

## ПОЛЬША

### «ГАЛЕРЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ ТРИДЦАТИЛЕТИЯ»

Под таким названием еженедельник «Литература» ввел рубрику, где представлены наиболее значи

тельные писатели, внесшие вклад в развитие польской литературы. В этой рубрике представлены прозаики, поэты, драматурги, а также критики и литературоведы. Их творчеству в каждом номере еженедельника посвящены пространные эссе, которые дают представление не только о данном писателе, но и о всей сложности развития польской литературы в период тридцатилетия в целом.

В редакционном вступлении к рубрике говорится: «Именно в этом году стоит оглянуться на пройденный путь, чтобы проследить весь процесс нашего художественного развития, дать оценку тому, что составляет всеобщее достояние нашего народа».

Рубрику открывает большой материал о Леоне Кручковском Яна Клоссовича. Давая высокую оценку Леону Кручковскому как романисту, критик считает, что Кручковский внес огромный вклад в польскую драматургию. «Такое цельное, такое ясное в идейном отношении творчество Леона Кручковского в то же время является примером необычайно сложного писательского пути. Один из известнейших романистов межвоенного периода, автор «Кордиана и хама», «Павлиньих перьев», «Тенет» после второй мировой войны совсем оставил прозу и, если не считать публицистического сборника «Очерки из ада честных», писал в основном пьесы. В истории польской литературы мы имеем как бы двух Кручковских: в истории литературы межвоенной — прозаика, в истории литературы последнего тридцатилетия — драматурга».

Говоря о мастерстве Кручковского, критик отмечает, что для его пьес характерна напряженная драматичность, острота конфликтов, жизненная убедительность характеров, блестящие диалоги, индивидуальный язык персонажей. Используя художественные приемы, свойственные современной драматургии, метафоричность, лаконичность, стилизацию, Кручковский, убежденный писатель-реалист, борется за социальное искусство.

Ян Клоссович отмечает, что три драмы Кручковского — «Немцы», «Первый день свободы», «Смерть губернатора» — принадлежат к современной польской классике и «являются блестящим примером политической драматургии в лучшем значении этого слова».

Следующее эссе в еженедельнике «Литература» посвящено Тадеушу Брезе, хорошо известному советским читателям по романам «Бронзовые врата» и «Лабиринт», переведенным на русский язык.

С неизменным успехом на сцене Варшавского драматического театра идет спектакль, поставленный режиссером Людвиком Рене по пьесе советского драматурга И. Дворецкого «Человек со стороны». Театральная критика отмечает высокое исполнительское мастерство актеров, особенно игру Густава Холубека в роли Чешкова. Его игра, пишет рецензент, «лишена публицистической однозначности, он очень человечен, его поступки — и моральные, и общественные — глубоко мотивированы».
С огромным успехом прошел спектакль на Всепольском фестивале советской драматургии в Катовицах.
На снимке — Катажина Ланевска в роли Щеголевой и Густав Холубек в роли Чешкова.

*(Журнал «Театр»)*

---

### «20 ИЮЛЯ»

Небольшая книга под таким названием вышла в январе этого года в издательстве МОН. Автор ее — известный польский писатель Ежи Путрамент.

В основу книги положены события, связанные с покушением на Гитлера в 1944 году. Уже первые ее главы, которые печатались в еженедельнике «Литература», вызвали большой интерес у читателей.

В интервью, данном корреспонденту Польского агентства печати, Ежи Путрамент сказал: «Эта книга не является чем-то новым в моем творчестве. О Гит-

лере я уже писал в рассказе «Пустые глаза», где я показал Гитлера в переломный момент войны во время Сталинградской битвы. Событиями, связанными с покушением на него в 1944 году, я интересовался давно. Изучал многочисленные материалы и документы, благодаря чему мне удалось подробно, час за часом восстановить события того дня, когда совершилось покушение».

В новой книге проявляются свойственные произведениям Путрамента острота проблематики, драматизм конфликтов и динамичность действия.

## РУМЫНИЯ

### «1973—ГОД РОМАНА?»

Под таким заголовком публикует «Ромыния литерарэ» обложки лучших романов, выпущенных в минувшем году издательством «Эминеску». Здесь представлены: «Королевская охота» Д. Р. Попеску, «День забвения» К. Штефанаке, «Наш близкий ближний» Пл. Пардэу, «Кровь поколения» Ал. Симиона, «Первые и последние» Яноша Саса и др. Под снимками — ответ: «Романы, выпущенные издательством «Эминеску», утвердительно отвечают на поставленный вопрос».

Иного мнения придерживаются критики, пишущие о современной румынской прозе. В статье К. Регмана в «Ромыния литерарэ» и в передовой статье «Стяуа» отмечается, что стремление большинства хороших новеллистов Румынии выступить обязательно хотя бы с одним романом еще не означает, что в этом жанре достигнуты особые успехи. Исключений немного — «Королевская охота» Д. Р. Попеску, «И ангел воззвал» Ф. Нягу. Но и эти талантливые произведения по существу не романы, а сборники прекрасных новелл. «Вряд ли можно утверждать, будто в последнее время появились именно те романы, в которых нуждается такая зрелая литература, как наша»,— заключает «Стяуа».

Но поводом для оптимизма является, по мнению обозревателя «Лучафэрул», тот факт, что в этом году ряд талантливых прозаиков выступил с фрагментами новых книг на страницах журналов. «Мы убедились: «главный жанр» нашей литературы переживает в настоящее время период оживления, это позволяет надеяться, что грядущий год будет одним из самых плодотворных в области романа. Как явствует из напечатанных отрывков и из издательских планов, «именинниками» этого года станут Марин Преда, Ф. Нягу, Э. Барбу, С. Тител, А. Бузура, Ал. Ивасюк, В. Дуда, Дж. Бэлэицэ, Б. Неделкович, К. Штефанаке, Н. Маня и др...»

### «ЛЮДОВИК XIX»

«Я с бесконечным волнением смотрел постановку пьесы Дж. Кэлинеску «Людовик XIX», показанную нашим телевидением»,— пишет в передовой статье еженедельника «Ромыния литерарэ» его главный редактор Дж. Ивашку.

Эта высокая оценка, это возведение обычной театральной рецензии в ранг передовой статьи—не случайны. Дж. Кэлинеску оставил яркий след в истории румынской литературы: крупный ученый-литературовед, автор монументальных историко-литературных трудов, нескольких больших романов и ряда драматургических произведений, он написал пьесу «Людовик XIX» к 20-летию освобождения Румынии от фашистского ига. В ней он стремился показать те революционные сдвиги, которые произошли за годы социалистического строительства не только в области экономики, но и в духовном росте граждан свободной Румынии, страны, где подлинным правителем является народ. Недаром пьеса названа именем несуществующего короля.

Написанная по принципу «театра в театре», пьеса

---

Актеры Ион Маринеску и О. Молдован в сцене из спектакля «Людовик XIX».

*(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)*

рассказывает о жизни бригады рабочих на крупном промышленном объекте. Весь досуг свой рабочие отдают подготовке пьесы из истории Франции XVIII века. Роль короля исполняет горняк, кардинала — инженер, маршала — взрывник, губернатора — бетонщик, генерального инспектора — электрик. «Наша пьеса,— говорит режиссер рабочим,— тоже своего рода туннель, ведущий к людям, к новому гуманизму». Так, в постоянном противоборстве двух форм миропонимания — героев исторической пьесы и играющих их рабочих — раскрывается гуманистическое звучание социалистической нови, созидательных усилий народа.

«Пьеса Дж. Кэлинеску,— заканчивает Дж. Ивашку,— плод революционного осмысления мира, творческого воплощения диалектики истории».

## СИРИЯ

### ИНТЕРЕСНЫЙ СБОРНИК

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в Сирии вышла книга Закарии Тамера «Дамаск в огне пожарищ».

Это — четвертый сборник рассказов одного из крупнейших современных сирийских писателей-новеллистов, чьи произведения публикуются в других арабских странах и переводятся на многие языки.

В новой книге Тамера, как и в его ранее опубликованных произведениях, с большой остротой рассматриваются сложные проблемы, присущие современному миру.

## США

### ДЖОН ГАРДНЕР, ПАСТОРАЛЬНЫЙ РОМАН

Джон Гарднер дал своей новой книге «Никелевая гора» подзаголовок — «Пасторальный роман». Как подчеркивает издательская аннотация на супере книги: ее «простота и душевное тепло производят впечатление полного отказа от сложности «Диалогов с Солнечным», мрака «Гренделя» и виртуозности «Ясона и Медеи», предыдущих книг Гарднера. Эта книга, по мнению критики,— новое свидетельство богатства и разнообразия художественных средств, которыми располагает молодой, но уже известный у себя на родине автор, верности и глубины его писательского видения. Роман «Никелевая гора» — трогательная история двух людей: человека средних лет, размышляющего о своей неустроенной жизни, возрасте, больном сердце и долгах, и шестнадцатилетней девушки, которую заносит в его жизнь, и она остается в ней, становясь постепенно неотъемлемой частью этой жизни. «Спокойно и тонко Гарднер показывает, чем становятся эти двое друг для друга в течение лет, на протяжении которых они проходят через вечные ритуалы ухаживания, брака, рождения ребенка, утраты наивности, признательности, искупления, прощения и наконец приятия смерти».

Действие романа происходит неподалеку от Катскилла, куда еще не успел проникнуть «современный цинизм». Как считает рецензент американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревю» Джордж Стад, писателю удались и другие персонажи романа, знакомые всем с детства провинциальные типы, колоритные и пленительные в своей простоте и человечности. Именно обрисовка простых, обыкновенных людей, отмечает он, и входила в задачу писателя, который «стремился не избежать клише, а сдуть с них пыль», вернуться к вечным истинам, вечным человеческим ценностям, поскольку, по мнению многих художников Запада, только их и возможно противопоставить современному духовному кризису.

Совершенно очевидно, что по своей форме и содержанию новая книга Гарднера — плод серьезных писательских размышлений. «Возможно, на современном этапе новаторство состоит именно не в изобретении новых художественных форм, а в возврате к старым,— пишет рецензент,— во всяком случае Гарднер доказал, что на основе старых форм можно создавать хорошие книги».

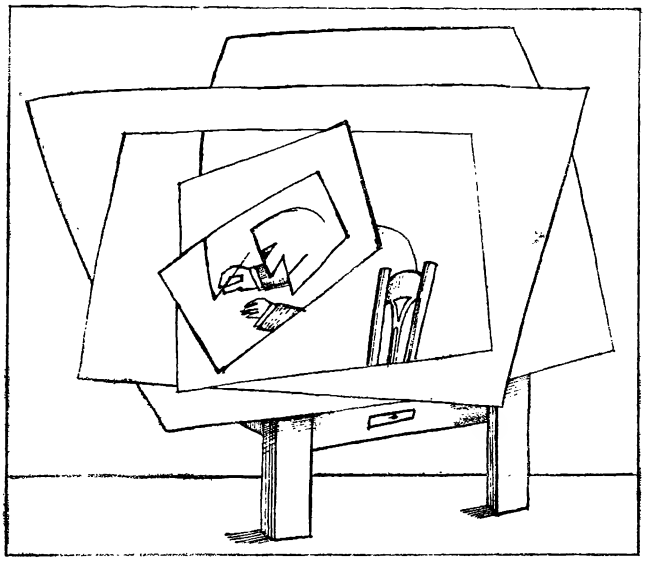
### РАССКАЗЫ ШЕРЛИ ЭНН ГРАУ

Недавно вышел сборник рассказов американской писательницы Шерли Энн Грау «Ветер меняется на восточный». Ее творчество знакомо нашему читателю по получившему в 1964 году Пулитцеровскую премию роману «Стерегущие дом» («ИЛ» №№ 3—4, 1969 г.).

Как указывает рецензент американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревю», Грау демонстрирует в нем писательское мастерство, присущее ее ранним произведениям, она пишет о «семейной жизни, об особом, свойственном жителям Юга США чувстве «дома», о расовых проблемах»,—таким образом, писательницу, как и обычно, занимают вопросы, характерные для так называемой «южной школы» американского романа.

Однако, подчеркивает рецензент, сборник примечателен еще и тем, что видный представитель этой школы обращается в своей книге к проблемам современности. Девушка-негритянка, героиня одного из рассказов сборника, умоляет разрешить ей уйти из школы «только для белых»; вдова солдата, погибшего во время несправедливой войны во Вьетнаме, вспоминает свою недолгую замужнюю жизнь.

Как справедливо указывает критик, литература Юга со времен Фолкнера существенно изменилась. Однако основные ее черты, сообщающие ей своеобразие и единство, сохранены в книгах молодых писателей Юга. В заключение рецензии приведены подтверждающие эту мысль



«И так далее» — рисунок из последнего альбома «Инспектор» карикатуриста Сола Стейнберга. Приветствуя появление книги, рецензент американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревю» замечает, что хотя художник часто не дает названий своим работам, зритель тем не менее каждый раз испытывает радость узнавания. Меткость политической и социальной сатиры Стейнберга подчеркивает и журнал «Паблишерс уикли», сравнивая художника с хирургом «больного американского общества», а его рисунки с сильно действующими гомеопатическими средствами. «Общественная пародия — плоть книги,— пишет журнал.— Искусство Сола Стейнберга вселяет ужас и надежду, отражает свет и тень нашего почти нереального в своей абсурдности мира».

*(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревю»)*

---

слова самой Шерли Энн Грау из одного ее недавнего интервью: «Мне и сегодня по душе существующие на Юге отношения в семье, близость к природе, уважение к традициям, пусть даже устаревшим, но в этом мироощущении недостает чувства времени, которое толкает каждого из нас в настоящее».

## ФРАНЦИЯ

### ЮБИЛЕЙ «НУВЕЛЬ КРИТИК»

Исполнилось 25 лет со дня основания «Нувель критик», литературного и общественно-политического журнала. Это событие было отмечено многолюдным собранием в Париже. Генеральный секретарь ФКП Жорж Марше, поздравляя коллектив редакции, отметил возрастающую роль работников творческого труда в современной борьбе за демократию и социализм.

Директор «Нувель критик» Франсис Коэн рассказал о работе журнала. Он распространяется ежемесячно, помимо Франции, в 90 странах, число его читателей достигает 60 тысяч. Половина подписчиков — студенты, остальные — преподаватели средней и высшей школы, инженеры и техники, рабочие и служащие. В редколлегию входят 43 человека — представители разных отраслей знания; все они принимают активное участие в текущей работе «Нувель критик». Журнал провел за последние годы ряд дискуссий по вопросам философии, психологии, лингвистики, литературы, театра, кино.

«Журнал,— сказал Франсис Коэн,— стремится содействовать завоеванию масс интеллигенции, которые реакция пытается оторвать от демократического и социалистического движения. Он борется с идеологией капитулянтства, иррационализма и распада, а также с реформизмом. Он старается освещать новые пути социализма — и в тех странах, где он осуществлен, и там, где он встает в порядок дня как насущная потребность масс. Журнал берется за нерешенные теоретические проблемы, чтобы прояснить их в ходе дискуссии и сделать их ареной столкновения мнений».

Член Политбюро ЦК ФКП Ролан Леруа в своей речи осветил задачи французских коммунистов в идеологической борьбе — в частности, в сфере литературы и искусства: «Мы отвергаем эклектизм, мы вслед за Лениным подчеркиваем, что литература и искусство не могут оставаться на позициях нейтральности, равнодушия перед лицом великих классовых схваток, которые развертываются в разных странах мира. В то же время мы, как верные последователи Ленина, помним, что он писал: «...литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию»... Р. Леруа напомнил о примере великих деятелей искусства XX века, которые, новыми способами проникая в суть явлений, содействовали революционному преобразованию жизни. Он назвал имена Брехта и Пикассо, отметил неустанную творческую активность Арагона, почтил память Пабло Неруды. Пример этих мастеров, говорит Леруа, показывает, что политическая деятельность во имя революционных идей не мешает художественному творчеству, а стимулирует его и открывает перед ним новые просторы.

### О ПОЭТАХ СОВРЕМЕННЫХ И РАЗНЫХ

В издательстве «Сен-Жермен-де-Пре» вышла книга «Современная поэзия на французском языке с 1945 года». Этот объемистый историко-критический труд (980 страниц) охватывает не только собственно французскую поэзию последней четверти века, но и франкоязычную поэзию таких стран, как Бельгия, Швейцария, Люксембург, Канада, страны Африки и Антильские острова. Авторы этой панорамы современной поэзии, создаваемой на французском языке в разных частях света,— историки и критики Серж Брендо, Жан Дежё, Эдуар Ж. Моник, Жак Ранкур и Марк Ромбо.

Журнал «Кензен литерер» обратился к ним с просьбой рассказать о том, как они работали над книгой и какую задачу ставили перед собой.

Непосредственная работа над книгой заняла около пяти лет, но привела к ней авторов давняя любовь к поэзии, стремление объединить и исследовать творчество самых разных поэтов, знаменитых и еще совсем неизвестных, разобраться, в чем своеобразие каждого из них, показать неповторимость и оригинальность поэтов, пишущих по-французски, но живущих за пределами Франции, познакомить с ними как можно больше читателей. Привлечь всеобщее внимание к поэтам молодых, не так давно достигших независимости африканских государств, поэтам Канады и других стран, смело и по-революционному использующих французский язык, к их яркому и самобытному творчеству — это авторы считают особенно важной задачей.

В книге широко представлены поэты разных возрастов, направлений, школ и национальностей. Много места уделено стихам, проникнутым идеями национально-освободительного движения. Творчество каждого из поэтов отражает те проблемы и тревоги, которыми живет его страна, его народ.

Авторы книги надеются, что их труд, богатый выдержками из стихов и снабженный обширной библиографией, пригодится не только многочисленным любителям поэзии, но и послужит учебным пособием для студентов и преподавателей университета.

---

В Авиньоне во Дворце пап открылась постоянная выставка керамических работ Пикассо: 227 произведений керамики, созданных художником в его ателье в Валлорисе с 1949 по 1972 гг. Они поражают неистощимостью фантазии художника, пишет Люсьен Кюризи в «Юманите», разнообразием вдохновляющих его тем и сюжетов. Среди них — и повторенное в разных вариантах изображение жены художника Жаклин, и многочисленные маски, и персонажи корриды, падающий на колени бык, фавны, боги Олимпа, пастухи Аркадии, козы, цветы, мушкетеры с остроконечными бородками. Глубина и значительность образов, выраженные художником с максимальной лаконичностью, красноречиво свидетельствуют о могуществе таланта Пикассо. На снимке—одна из керамик Пикассо.

*(Газета «Юманите»)*

## ЧИЛИ

### ПОСЛЕДНИЕ ЭЛЕГИИ ПАБЛО НЕРУДЫ

Двадцать семь элегий Пабло Неруды опубликованы издательством «Эдитори риунити» в переводах и под редакцией Иньяцио Делогу. В итальянском издании сборник назван «Элегия ухода».

По сообщению газеты «Паэзе сера», бывший преподаватель литературы университета в Сантьяго Эрнан Лойола, выступая в римском «Доме культуры», сказал, что опубликованные элегии вместе с другими произведениями Пабло Неруды последних лет составляют цикл, для которого «характерны противоречивые мотивы одиночества и надежды, утверждения и упадка сил... человека, который интенсивно прожил

На снимке — Ингрид Сандгрен и Эрик Либель в спектакле «О семи девушках».

*(Газета «Норшенсфламман»)*

свой век и сознает приближение смерти».

В стихах Пабло Неруда вспоминает своих друзей, сверстников, товарищей на жизненном пути, к которым обращается как к живым. Среди них Илья Эренбург, Семен Кирсанов, Назым Хикмет. И одиночество как бы отодвигается перед лицом глубокого чувства дружбы, которое Ренато Гуттузо определил как характерную черту Пабло Неруды.

## ШВЕЦИЯ

### ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ

Пьеса Эрика Торстена «О семи девушках», поставленная на сцене «Рикстеатра», вызвала оживленные отклики на страницах шведской печати.

«Этот спектакль никого не может оставить равнодушным»,— пишет газета «Норшенсфламман». «Универсальной для шведской сцены» называет пьесу другая газета — «Ню даг».

Действие пьесы происходит в исправительной колонии. Главные действующие лица — девушки-подростки 15—16 лет, которых пустота и бесцельность существования толкают на скользкий путь «вниз». Как уберечь молодежь от этого пути, как помочь тем, кто уже попал в колонию, какова ответственность общества за эти «социальные издержки» — вот вопросы, которые спектакль ставит перед зрителями.

Собирая материал для пьесы, автор проработал некоторое время в исправительном заведении воспитателем, где никто, кроме директора, не знал, что он драматург. Увиденное в колонии потрясло Торстена, вот почему он с такой резкостью выступил против методов работы, существующих в современных шведских исправительных заведениях для подростков. Почти всюду царят равнодушие и лицемерие. Возможности персонала ограничены. Даже воспитатели, любящие свою работу и своих подопечных, практически не могут им помочь. «Воспитательный процесс» сводится к тому, что девушек перевозят из одной колонии в другую. В конце концов они начинают ощущать себя обездоленными, пропавшими существами, у которых кончена жизнь. А самой старшей из них нет и семнадцати...

«Пьеса Торстена — это призыв к немедленному действию, это крик о помощи. Общество обязано сделать для молодежи нечто большее, чем помогать ей скользить вниз»,— резюмирует «Норшенсфламман».

### ФЕСТИВАЛЬ «СВОБОДНЫХ ГРУПП»

В конце прошлого года в стокгольмском Театральном центре с большим успехом прошел фестиваль так называемых «свободных групп». Эти группы — а их насчитывается уже несколько десятков только в одной Скандинавии — работают вне рамок каких бы то ни было «институтов», ставят своей целью максимальное приближение к народу, проповедуют открытую политизацию искусства. В последние годы «свободные группы» стали настолько заметным явлением культурной жизни Скандинавских стран, что ими начинают серьезно заниматься «солидные критики». Фестиваль «свободных групп», состоявшийся в минувшем году в датском городе Оденсе, вызвал горячие споры театральных деятелей Дании, Норвегии, Швеции по поводу путей дальнейшего развития политического театра.

Как пишет в газете «Дагенс нюхетер» шведский критик Лейф Серн, датские участники дискуссии утверждали, что радикальный политический театр может существовать только вне «институтов», в то время как их норвежские коллеги, по словам Серна, выразили опасение, что «радикальные театры отпугнут публику, если станут слишком красными и

марксистскими; поэтому из тактических соображений им лучше объединиться с обычными театрами». Лейф Серн считает эту дилемму ложной: «Совершенно очевидно, что радикальный театр должен как можно дольше работать в рамках «институтов». Но как долго он сможет продержаться? И на каких условиях?» По мнению Серна, в разных странах эти вопросы будут решаться и решаются по-разному. В Норвегии, например, удалось поставить остро политическую пьесу Арньёта Эггена «Маятники» в Национальном театре в Осло, а шведский «Протеатр», который не собирался быть «свободной группой», был вынужден ею стать. «Шведские институты, — продолжает Серн, — сегодня закрыты для театра, который вскрывает конкретные противоречия капиталистического общества, называя вещи своими именами». Как бы ни решался вопрос об участии или неучастии в «институтах», его нельзя решать с помощью компромиссов, утверждает Лейф Серн. «Тот, кто боится отпугнуть публику, уже фактически сдался, признал силу противника и свою собственную слабость».

Стокгольмский фестиваль «свободных групп» вызвал новые размышления критиков: на этот раз о художественных средствах, используемых политическими театрами. Обозреватель газеты «Ню даг» Томас Форсер обеспокоен некоторым однообразием этих средств (литературно - музыкальный монтаж стал уже шаблоном), невысоким профессиональным уровнем некоторых коллективов, недооценивающих значение формы в искусстве. Поэтому критик особо выделяет группу «Октябрь», которая, по его мнению, в своей работе удачно сочетает форму и содержание. Группа показала на фестивале музыкальный спектакль «Песня никогда не кончается», посвященный предреволюционной России с начала века до октября 1917 года. Исходным материалом для спектакля послужили «Октябрьские стихи» шведского поэта Ларса Форселла, которые были положены на музыку и органически включены в драматическое действие.

Группы, подобные группе «Октябрь», считает «Ню даг», вносят большой вклад в революционную борьбу на культурном фронте.

## «ПОЭЗИЯ — ПОВСЮДУ!»

Воскресенье 27 мая 1973 года было большим днем для шведской поэзии. В этот день в старом здании риксдага около сорока поэтов в течение девяти часов читали свои стихи, в основном нигде еще не опубликованные, перед трехтысячной аудиторией заинтересованных слушателей. «Внушительная победа поэзии» — так определила это событие шведская пресса.

И вот недавно в книжных магазинах страны появилась антология, составленная из лучших стихов, прочитанных в то памятное воскресенье. Антология выпущена совместно издательствами «Призма» и «Фёрфаттарсентрум» и называется «Поэзия — повсюду! Шведская поэзия сегодня».

Как сообщает газета «Хювюдстадсбладет», здесь представлены тридцать девять поэтов самых различных творческих направлений и стилей. Столь же разнообразна и тематика: политические стихи соседствуют с религиозными, любовная лирика — с философской, уличные куплеты — с сюрреалистическими экспериментами.

Среди участников антологии — Сандро Кей Оберг, его стихотворение «Поэзия — повсюду!» открывает книгу и дает ей название; Томас Транстрёмер (литературный критик газеты «Афтонбладет» Бьёрн Хокансон считает его одним из самых интересных шведских поэтов); Бьёрн Юлен, у которого недавно, после десятилетнего перерыва, вышел новый сборник стихов «Между волком и ягненком», стихов откровенно публицистических, выражающих, как пишет «Афтонбладет», позицию автора по одной из самых острых проблем — молодежной; Иоран Сонневи — «этот, пожалуй, самый известный в Швеции политический поэт 60-х годов, в антологии представлен в необычном для него жанре: лирическим стихотворением о музыке Моцарта»,— пишет «Хювюдстадсбладет».

По мнению рецензента этой газеты, самое интересное в антологии — «живой и горячий разговор» между различными поэтами, дающий некоторое представление о той человеческой силе, которая продолжает сопротивляться парализующей структуре окружающего общества».

Составители сборника, пишет газета, надеются на новый День поэзии в 1974 году и на новую антологию.

# Ю. РОДЕЗИЯ

## «ТАЙНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОДЕЗИИ»

Питеру Найсванду, как он сам считает, крупно повезло. Будучи белым, к тому же достаточно известным за пределами Родезии журналистом и имея энергичную жену, сумевшую привлечь к его делу внимание иностранной печати, он получил «огромное преимущество» перед другими лицами (особенно перед неграми), которых сажают в Родезии в тюрьму за аналогичные «преступления». А «преступление» Питера Найсванда состояло в том, что он опубликовал материалы об участии южнородезийских войск в войне, которую ведут португальские колонизаторы против народа Мозамбика, поднявшегося на борьбу за свое освобождение. Обо всем, что с ним произошло — арест с предъявлением весьма туманных и шатких обвинений на основании «Закона о сохранении родезийских официальных тайн», пребывание в тюрьме, апелляция и последующее оправдание высшей инстанцией,— он рассказал в книге, которая вышла недавно в Лондо-

не (издательство «Уиденфелд энд Николсон») под названием «В камере. Тайная юстиция в Родезии».

В рецензии на книгу критик «Таймс литерари саппмент» отмечает, что, хотя Питер Найсванд с его «преимуществами» представляет собой нетипичный случай, его рассказ привлекает внимание к слишком типичным для Родезии ситуациям, из которых складывается весьма характерная черта родезийской действительности. Читатель попадает в страну, где стремление привилегированного белого меньшинства любой ценой сохранить за собой власть, готовность заплатить за это принятием для своего общества законов несвободы и несправедливости оборачиваются эрозией самого общества, моральным разложением личности. «Если книга Питера Найсванда поможет более широкому кругу людей в его стране осознать эту неприятную истину, — пишет в заключение критик, — она послужит большей цели, чем простое изложение личной драмы».

---

## ЮГОСЛАВИЯ

На киностудии республики Босния и Герцеговина «Студиофильм» идут съемки фильма «Доктор Младен» по сценарию Раде Башича, режиссер Мидхат Мутанчич. Это фильм биографический. Он посвящен жизни Младена Стояновича, народного героя, борца против фашизма. «Красный доктор» — так звали партизаны Младена Стояновича, расстрелянного фашистами в 1942 году. В главной роли снимается известный актер Любо Тадич. Кадр из фильма.

◆

# Авторы этого номера

**ФЕЛИКС ПИТА РОДРИГЕС — FELIX PITA RODRIGUEZ** (род. в 1909 г.).

Кубинский поэт и новеллист, председатель секции литературы Союза писателей и деятелей искусств Кубы. Участвовал в борьбе испанского народа против фашизма. Начал печататься в 1929 году. Автор поэтических сборников «Разбросанная поэзия» («Poesia dispersa», 1929—1933), «Ночи» («Las noches», 1940), «Огненный конь боевой» («Corcel de fuego», 1945), сборника рассказов «Тобиас» («Tobias», 1954), сборника стихотворений и рассказов («Poemas y cuentos», 1965) и др.

Публикуемое стихотворение было напечатано в кубинском журнале «Унион».

■

**ГОЛАМХОСЕЙН САЭДИ** (род. в 1937 г.).

Иранский прозаик и драматург. По образованию врач-психиатр. Автор многих произведений разных жанров, в том числе романов «Колыбель и могила», «Званый ужин», пьес «Лучший в мире папа», «Плач по побежденному», идущих на сценах Тегерана.

Повесть «Страх», впервые напечатанная в 1968 году, была с интересом встречена иранскими читателями и выдержала с тех пор три издания. Мы публикуем ее по изданию 1972 года (Тегеран, изд-во Кетаб-е Заман).

■

**УМБЕРТО САБА — UMBERTO SABA** (1883—1957).

Итальянский поэт. (О нем и его творчестве см. вступительную статью Евг. Солоновича.)

Публикуемые стихи взяты из сборника «Канцоньере» («Il canzoniere», 1961).

■

**ПЬЕТРО А. БУТТИТТА — PIETRO A. BUTTITTA** (род. в 1931 г.).

Итальянский поэт и прозаик. Сын известного сицилийского поэта Иньяцио Буттитты. Образование получил во Флоренции — окончил факультет политических наук. В юности участвовал в борьбе сицилийских батраков, выступал против мафии, в студенческие годы включился в борьбу прогрессивной интеллигенции. Переехав в Рим, стал сотрудником газеты «Аванти!».

На литературное поприще Пьетро Буттитта вступил в 1952 году, выпустив сборник стихов «Паруса без ветра» («Vele senza vento»). Затем были опубликованы поэтический сборник «Письмо и другие стихотворения» («Una lettera e altre poesie», 1959), роман «Мачингу» («Macingu», 1972).

Наряду с писательской и журналистской деятельностью Пьетро Буттитта занимается издательским делом — он один из руководителей прогрессивного издательства «Марсилио эдитори», а также ведает в итальянском Синдикате писателей зарубежными связями.

В этом номере мы публикуем его повесть «Листок» («Il volantino». Milano, «Rizzoli Editore», 1965).

■

**НГУЕН ТУАН — NGUYEN TUAN** (род. в 1910 г.).

Вьетнамский прозаик и публицист. Литературное признание пришло к нему в конце 30-х годов, когда вышла первая книга его рассказов. До этого он пробовал играть на сцене, был газетным репортером, за «нарушение паспортного режима» сидел в колониальной тюрьме. После Августовской революции 1945 года активно участвовал

в строительстве новой культуры, а когда началась война Сопротивления (1946—1954 гг.) вступил в отряд Народной Армии. В 1947 году возглавил созданную в освобожденных районах Ассоциацию культуры. В настоящее время — член Правления Союза писателей ДРВ. В последние годы Нгуен Туан работает главным образом в публицистическом жанре. За книги «Очерки Сопротивления» («Tuỳ bút kháng chiên», 1955) и «Очерки Сопротивления и мира» («Tuỳ bút kháng chiên yà hõa binh», 1956) Нгуен Туан был удостоен Национальной премии литературы. В 1960 г. вышла книга его очерков «Черная река» («Sông Dà») о строительстве социализма в ДРВ. Предлагаемые читателю очерки взяты из этих книг, а также из газеты «Кыу куок» (июнь 1973) — органа Отечественного фронта Вьетнама.

Новый публицистический сборник «Наш Ханой здорово бьет янки» («Hà-Nôi ta dánh mỹ gioi») писатель выпустил в 1973 году.

Перу Нгуен Туана принадлежат также эссе о Достоевском, Л. Толстом и Чехове и переводы на вьетнамский язык чеховских рассказов.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
**С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**
Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 8/II 1974 г. А 04698. Подписано к печати 15/III 1974 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,32.
Тираж 560.000 экз. (1-й завод 1—400.000 экз.). Зак. 520.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394